

12/93

ДРУЖБА НАРОДОВ 12/93

ДРУЖБА НАРОДОВ

Геннадий Лисичкин.

Жак Аттали.

Геннадий Айги,
Евгений Рейн.

Даниэль Салленав.

Лилли Промет.

Непонятый Маркс

Первый день после меня

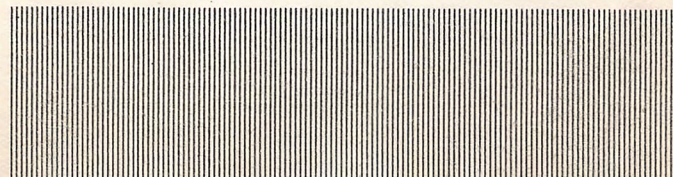
РОМАН
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

Венок Борису Пастернаку

Конец коммунизма: холод сердца

Право, не знаю...

СТИХИ
ПЕРЕВОД С ЭСТОНСКОГО



ДРУЖБА НАРОДОВ



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

12/93

ОСНОВАН В МАРТЕ 1939 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ Что это было 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЖАК АТТАЛИ Первый день после меня.
Роман. С французского. Перевод Михаила Гребнева 13

БОРИС ЕВСЕЕВ Мы — пламя печали...
Стихи 59

ИРИНА
ПОЛЯНСКАЯ Побег.
Рассказ 62

НИКОЛАЙ
КЛИМОНTOВИЧ Джапан.
Рассказ. Из книги «Дорога в Рим» 67

НАДЕЖДА
ПОЛЯКОВА На злых ветрах...
Стихи 74

7 ноября.
Анекдоты и факты. Окончание.
Издание подготовил А. М. Песков 77

ЛИЛЛИ ПРОМЕТ Право, не знаю...
Стихи. С эстонского. Перевод Е. Печерской 127

НАЦИЯ И МИР

ДАНИЭЛЬ
САЛЛЕНАВ Конец коммунизма: холод в сердце.
С французского. Перевод А. Карлова 129

ЕВГЕНИЙ БЕНЬЯШ У разбитых скрижалей 135

ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ ФУРМАН Эстонская революция 138

ГЕННАДИЙ
ЛИСИЧКИН Непонятый Маркс 160

	КРИТИКА	
МИХАСЬ ТЫЧИНА	Там, где тишина и покой	169
	ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ	
Г. АЙГИ	Обыденность чуда	186
ЕВГЕНИЙ РЕЙН	Гений и красавица	198
	ЭХО	
ЛЕВ АННИНСКИЙ	Теперь все знают, куда деть марксизм. Но куда деть Маркса?	202
	ГОЛОСА	
ВЕРА АЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ	Отречение. Вступительное слово Э. Борель	206
	Новые самодержцы. Публикация И. Мочалова	225
	Содержание журнала за 1993 год	236
	SUMMARY	240

Правовую поддержку журнала «Дружба народов» осуществляет Юридическое бюро «Хромцов и партнер».

Тел./факс (095) 161-7455

Главный редактор
Вячеслав ПЬЕЦУХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, заместитель главного редактора Евгений БЕНЬЯШ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Что это было

То-то хорошо нашим западным соседям по континенту, выросшим и воспитавшимся в землях, где столетиями нарабатывались определенные правила поведения, где точно знают, что хорошо, а что плохо, двести с лишним лет не подвергалась ревизии заповедь «Не укради» и жизнь течет в соответствии с законами диалектики, по крайней мере, кровь не льется по пустыкам. А каково нам, бедолагам, перебиваться с петельки на пуговку, если нас взлелеяли не столько отец с матерью, сколько участковый инспектор и комсомол, если мы выросли на трех составных частях марксизма и частушке

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,

если в детстве мы клялись «...жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия», в отрочестве выискивали по задворкам американских шпионов, юношами клеймили «врачей-отравителей», а в зрелые уже годы, несмотря на очевидные преткновения, чаяли «светлого завтра» и безусловно верили в то, что пролетарий — высшее и во всех отношениях безупречное существо... Нам-то, спрашивается, каково, сладко отравленным, точно затяжкой *плана*, идеей о равенстве и братстве всех людей, объединенных социалистическим способом производства, особенно теперь, когда поворачивают привычных идолов и «жезлами уязвляют», а идолы новые не вполне отвечают нашим понятиям о добре?!.. Впрочем, мы, русские, — люди веры и способны освоить любую умозрительную идею, до того даже градусуса, при котором она превращается в вещество, так что для нас не штука — частная собственность, рыночная экономика, Конституционный суд или вот еще та озорная мысль, что свобода слова не обязательно работает на врага. И тем не менее нам любопытно знать: чего ради мы страдали и трудились эти загадочные семьдесят с лишним лет? нам до истерики

хочется найти ответ на вопрос: а что, собственно, это было?

А вот что, предположительно, это было...

Русские радикальные демократы, которые, как известно, «рождены, чтоб сказку сделать былью», в начале нынешнего столетия задумали сделать былью такую сказку: поскольку у каждого человека две руки, две ноги и одна голова, то, стало быть, все равны, — и на этом основании принялись созидать такое общественное устройство, при каком инженерам и золотарям, гениям и злодеям причиталась одинаковая пайка хлеба. Хотя (и это тоже известно) идея всеобщего равенства гораздо старше немецкого коммунизма и русского большевизма; еще в самом начале прошлого тысячелетия Ойкумена наполнилась проповедниками, твердившими в один голос, как в восемьдесят шестом году у нас по очередям твердили о чернобыльском происшествии, будто на землю сошел Сын Божий и сообщил, что лучше быть бедным и больным, нежели богатым и здоровым, что тем не менее все люди «от царя до псаря» равны перед Создателем, вернее, равно обеспечены воздаянием за праведность и грехи, что нации отменяются, поскольку у Бога «несть ни еллина, ни иудея», а только народ Христов, что обездолженному люду нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они, если последуют за Спасителем, беспредельное Царствие Небесное, то есть гораздо больше, чем весь мир, на который потом покусился пролетариат, что кто не работает — тот не ест. Как ни чудно, даже оглушающе чудно было новое учение для древнего, весьма рационального человека, как ни смеялись над ним римские патриции и наш Святослав Игоревич, впоследствии христианство овладело миллионами бедных, больных, богатых, здоровых и сделалось действительно той материальной силой, которая была способна подвинуть мир на самые грациозные перемены. И это нисколько не удивительно, что величайшая

в истории человечества духовная революция совершилась ненасильственно и бескровно, при этом дав ощутительный результат, не в пример многим политическим революциям, которые от чего уходили, к тому и приходили, даром обрекая народы на нестроение и резню. Тем-то, может быть, христианство и привадило миллионы, что не подразумевало никакого противоборства, что достаточно было ничего не предпринимать сверх обычных действий, связанных с добычей хлеба насущного, которых, впрочем, тоже можно было не предпринимать, как бытие обретало громадный смысл и автоматически решалась проблема жизни и смерти — самая значительная и гнетущая из проблем. В том-то и заключалось обаяние христианства, что оно предстало перед людьми как всеобъемлющее учение о спасении, выручающее в любом, предельно тяжелом случае, ибо, с одной стороны, сказано «кесарю — кесарево», а с другой — «не укради» и «не убий», с одной стороны — «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить», а с другой — «не трудящийся да не яст», с одной стороны — «блаженны кроткие», а с другой — «вера без дел мертва»; и тут налицо отнюдь не синодик противоречий, а высшая универсальность, исходящая из того, что «Кто любит попа, а кто полову дочку», что и человек еще слишком слаб, и под стать ему очень несовершенны формы человеческого общежития, которые диктуют свои законы. Наконец, христианство решительно вывело вопрос о равенстве за скобки общественно-экономических перемен, вследствие каковых достижимо только фальшивое либо примитивное равенство (на самом деле: ну, станет государство платить золотарю Иванову, как инженеру Сидорову, — ну и что?). Именно поэтому учение Иисуса Христа в высшей степени продуктивно, ибо оно отвращает человека от бессмысленного насилия, утверждая, что спасение в нем самом.

Не то коммунизм, который придумали Маркс и Энгельс, нацелившиеся на гражданскую войну в мировом масштабе ради учреждения такого общественного устройства, какое активно споспешествовало бы превращению человека прямоходящего в некое высшее существо. Споры нет: история человечества, в частности, представляет собой движение от общественных форм сравнительно примитивных к формам сравнительно совершенным, но при этом трудно сказать наверняка, счастливее ли нынешний обитатель Черемушек жите-

ля древних Фив. Отсюда такой вопрос: а стоит ли ломать капиталистическую систему чересчур дорогой ценой в расчете на гипотетический эффект от упразднения частной собственности, в расчете на туманное равенство и братство, которые могут послужить залогом всеобщего благоденствия, а могут не послужить? Практика последних десятилетий прямо ответила на этот вопрос — не стоит, уже потому не стоит, что, оказывается, общественная собственность на средства производства вступает в коренное противоречие со слабостями несовершенного человека, что рыночное хозяйство на поверку само собой приобретает социальную ориентацию и способно привести общество ко всеобщему благоденствию, как это уже случилось во многих капиталистических странах Америки и Европы. Тут то особенно дорого и завораживает культурного человека, что ход превращения эксплуатирующей системы в систему, обеспечивающую принцип «от каждого по способностям, каждому по труду», развивается достаточно органично, смиренно, в обход кровавой диктатуры пролетариата, многолетней гражданской войны, разрухи, коллективизации сельского хозяйства, государственного терроризма, а критическое количество настолько латентно переходит в новое качество, что как-то незаметно устанавливается то действительное равенство, которое только и достижимо на нынешнем этапе общественного и личностного развития: все ушлые личности катаются в «мерседесах», все талантливые люди обеспечены гораздо выше своих потребностей, все работающие мужики в смысле денег беды не знают, все те, у кого душа не лежит к производительному труду, ночуют в картонных ящиках и глушат копейное вино; разумеется, из этого правила тоже есть свои исключения, однако как мало они весомы по сравнению, например, с тем отечественным исключением, что в России талантливый человек — первый враг общественного порядка, по крайней мере — бельмо в глазу.

Вообще: с чего Маркс и Энгельс взяли, будто человечеству впредь суждено развиваться через коллективные преступления, — это не совсем ясно, поскольку из всех известных нам кардинальных общественно-экономических перемен только переход от феодализма к капитализму сопровождался гражданской бойней, и похоже как раз на то, что этот скачок представляет собой скорее патологию, а не норму, во всяком случае, могущественная Герма-

ния взрастила капитализм задолго до свержения династии Гогенцоллернов, а маленькая Финляндия без особых приключений построила именно что реальный социализм. То есть жизнь гораздо богаче и изощренней любой теории, о чем еще Гете поведал в своих стихах, и, сдается, немецкий коммунизм оказался слишком прямолинейным, отчасти даже и примитивным в приложении к человеку (который, как известно, «широк, слишком широк»), чтобы претендовать на всеобъемлющее значение: базис, надстройка, время от времени вступающие в конфликт «насилие — повивальная бабка истории», в итоге — бесклассовое нечто — вот, по сути дела, и весь марксизм. А куда мы денем преподобного Иванова, который способен украсть завод, даром что он бытует в условиях самого передового общественного устройства, куда мы денем Петрова, которому ничего не стоит вогнать в жестокий голод несколько областей, только бы торжествовало плановое хозяйство, куда мы денем нашего Сидорова, который во имя гуманистических идеалов готов поставить к стенке тысячу человек, включая детей, профессоров, мыслителей, прохожих и собственного дядю по женской линии... Впрочем, в своей положительной части марксизм не только не зло, но, скорее всего, прямое указание на нашу отдаленную перспективу, поскольку, кажется, дело и вправду идет к тому, что характер присвоения помаленьку соотнобразится с общественным характером производства, а в том вред и беда марксизма, что он опрометчиво разбудил печальное известное призраки и пустил его бродяжничать по Европе, подбивая на несправедливые деяния шалопаю, мерзавца и банального дурака. Заместо этого Марксу следовало бы пространный элегию сочинить, подкрепив ее экономическими выкладками и специально оговорив космическую удаленность конечной цели, тогда бы человечество избежало ненужных жертв и Россия не оказалась бы у разбитого корыта, в то время как серьезные, не столь впечатлительные народы во всех отношениях ушли далеко вперед, и многие миллионы наших соотечественников не сатанели бы оттого, что на заведомо проигрышную лошадку был поставлен последний грош.

Да вот говорят — русский человек задним умом крепок, и это только теперь нам понятна вся бессмысленность большевистского опыта над Россией, после того как партия Ленина — Сталина потерпела

фиаско по всем статьям, а в начале нынешнего столетия немецкий коммунизм и впрямь мог показаться единственно годным инструментом для хирургического решения неразрешимых противоречий, и, в общем, легко понять основателя первого пролетарского государства, считавшего, что «учение Маркса всеильно, потому что оно верно», с той же непоколебимостью, с какой чеховский помещик Семи-Булатов стоял на том, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», — защищая солнце от темных пятен. И русского человека, покусившегося на естественный ход вещей, тоже понять легко, поскольку, никогда не имевший собственности, он был падок на гуманистические теории и грабеж из высших соображений, поскольку доходы дельцов в России были самыми высокими, а рабочего человека — самыми низкими в белом мире, и ютился-то он по лачужкам да по подвалам, и периодически звал его к топору блажной русский интеллигент; ну как тут было не подписаться на диктатуру пролетариата, о которой твердили большевики, обещавшие в двадцать четыре часа распатронить чистую публику до социально-экономического положения босяка... В том-то все и дело, что в России очень трудно не быть коммунистом, вот почему лабораторное сочинение, подразумевавшее идеальные условия и уникально чистое вещество, не существующие в природе, нашло странное воплощение на нашей российской почве, да и нигде, кроме нее, учение Маркса не привилось бы и не дало своих диковинных плодов, хотя бы по той причине, что в Европе расчет идет впереди сантиментов, а у нас стоит только крикнуть «Держите вора!», как Ростов поднимается на Владимир, а Суздаль на Кострому. Вот почему марксизм, по крайней мере, в качестве кабинетной теории и факультативного предмета до сих пор представляет для России живой, непростывающий интерес, но если бы Маркс мог знать, где, кто и каким образом попытается осуществить его умозрительную идею, он бы на свой марксизм наложил табу. Ох, недаром родоначальники исторического материализма недолюбливали Россию, точно они чувствовали, что в этой стране поневоле вывернут их учение наизнанку и получат во всех отношениях удручающий результат.

Это сущее несчастье, что родиной практического коммунизма стала наша святая Русь, ни в чем не знающая удержу и живущая по принципу «или грудь в крестах или

голова в кустах», хладнокровно относящаяся к закону, не имеющая за плечами вековой культурной традиции и простых навыков политической жизни, склонная абсолютизировать свои достоинства и грехи; тем более что константное рабское состояние роковым образом сказалось на свечах и обычаях русского человека и последний конторский писарь у нас чувствует себя китайским мандарином по отношению к сторожам, но ничтожным червяком по отношению к председателю поссовета, боготворит диктаторов, уважает только грубую силу и трактует как свою собственность так называемое общественное добро. То есть нетрудно было предугадать, что немецкий коммунизм в реакции с русским национальным характером даст какой-то бедовый, неожиданный результат, а впрочем, большевистская Октябрьская революция свершилась во многом вопреки учению Карла Маркса, ибо у того принципиальнейшим условием перехода от капитализма к социализму было накопление таких производственных мощностей, вообще национального богатства, какое вступало бы в противоречие с архаичными общественными отношениями, а поскольку Россия представляла собой сравнительно бедную, слаборазвитую страну, в которой только-только поднимал голову капитал и конституционная монархия ни в коей мере ему не была помехой, то, сдается, в Октябрьской революции марксизм оказалось не больше, чем в движении Жанны д'Арк или восстании Спартака. Именно поэтому Владимир Ульянов-Ленин двадцать лет перелицовывал немецкий коммунизм на чисто московский лад, подгоняя его под реалии времени и пространства, но даже если бы наши большевики вооружились теорией относительности, победа в октябре семнадцатого года была им гарантирована так и так, потому что российская почва с избытком была удобрена под любой революционный посев хотя бы через застарелую ненависть народную к деспотическому государству, неевропейский уровень жизни и бессмысленную империалистическую войну. Собственно, большевики, а не иная партия коммунистической ориентации, взяли власть только по той причине, что у них имелась отличная организация профессиональных фанатиков, готовых на все ради утверждения своей веры и опирающихся на самую что ни на есть оторву города и деревни, а также еще и по той причине, что родителем и водителем большевизма был Владимир Ульянов-Ленин,

человек огромного тактического таланта и слишком широкой совести, неугомонный практик-идеалист, не гнушавшийся ничем на пути к той искрометной цели, которую нельзя не признать истинно благородной и которой он был предан с младых ногтей. А так к власти в России могли прийти и анархо-синдикалисты, если бы они признавали организационные формы и Петр Кропоткин держал бы их на чеку, или меньшевики, если бы Плеханов не был чистым теоретиком, а Мартов — слишком интеллигентен, или социалисты-революционеры, которых поддерживало народное большинство, если бы они не запятнали себя террором, если бы не мрачный оборотень Азеф, Борис Савинков — профессиональный убийца с литературными наклонностями, бандит Гоц и смертельно больной Гершуни.

Вообще на Руси много, слишком много зависит от человека; в Германии, поди, бытие и впрямь определяет сознание, а у нас сознание — бытие, там у них и роль личности в истории ограничена осознанной необходимостью, а у нас эта личность — бог, и стоит ей пожелать, чтобы кавказцы жили в степях, а степняки-калмыки на Крайнем Севере, как начинается второе переселение народов в скрупулезном соответствии с этой блажью, и деспотия у нас может быть благотворной, что доказал опыт Петра Великого, а парламентская республика — людоедской, что доказал опыт последних лет, и все потому, что течение государственности российской в пику историческому материализму находится в чересчур тесной связи с отдельно взятой предстательной железой. Оттого-то, то есть оттого, что такая физио-историческая зависимость представляется слишком фундаментальной, следовало бы присмотреться к личности среднеарифметического, что ли, большевика, в какой-то, предположительно, и кроется корень зла.

В общем, наши деятельные марксисты, в отличие от марксистов-созерцателей, к которым нет никаких претензий, были слеплены из того же теста, что и прочие фанатики страдания и борьбы, к какой бы конфессии они ни принадлежали, будь то иконоборчество или «La:ssr passer». Все они вышли из психически нового поколения людей, народившегося в середине прошлого века, — из религиозно настроенных безбожников, мрачных радетелей прекрасного будущего, напроць лишенных художественной жилки, не способных угледеть в гармонии мира всеорганизующее начало и, главное, не понимавших той очевидной

вещи, что бытие устроено наилучшим образом и самовольно улучшить его нельзя, можно только ухудшить, а потому объективно нацеленные на бессмысленно разрушительную работу. Прежде всего это были люди, что называется, неудельные: малообразованные, узко начитанные, мало чего умеющие и паракультурные, хотя бы они осилили всю Румянцевскую библиотеку и знали мертвые языки. Затем, это были люди по-своему несчастные, которые по разным причинам пришлось не ко двору своему обществу и эпохе, этаким печоринами, но только уездного уровня и слободского замеса, в силу чего они были крепко сердиты на общество и эпоху, как то: недоучившиеся студенты, незадавшиеся адвокаты, прямые разбойники романтического разбора, непьющие фабричные из мечтателей, то есть публика, как бы зависшая меж сословий, такие как бы лица без определенных занятий и места жительства, которые страстно искали, куда приткнуться. Затем, это были люди хотя по-своему и благородные, но опасного направления, в некотором роде даже инопланетяне, поскольку глубоко порядочных людей много, однако редко кто из них готов пожертвовать жизнью, чтобы внести некоторые коррективы в закон Бойля — Мариотта, и вообще способен существовать на этой нервно-героической ноте, которая выходит за рамки гаммы; также большинство людей чаёт лучшей жизни, но, во-первых, они строят ее собственными руками, а во-вторых, ни за какие благополучия не возьмут на себя ответственность за лучшую жизнь для миллионов своих сограждан, потому что никто, кроме Бога, не знает, как это делается — лучшая жизнь для миллионов своих сограждан; и, конечно, нужно быть более чем холериком, чтобы, как религиозные люди в Троицу, верить в то, что всеобщее благополучие станет явью, если поменять форму собственности и взять курс на ликвидацию государства. Затем, это были люди с ополовиненной, что ли, душой, одной половинкой радеющие о благе народном, но не знающие морали, которая, видимо, сообщается с другой половинкой, и поэтому способные на самые дерзкие преступления против человечества, с тем чтобы осчастливить выжившую часть. Наконец, это были люди, отравленные чисто жлобской ревностью к благополучию и успеху дельного меньшинства.

Разумеется, фигура воинствующего марксиста российской национальности гораздо сложнее, и даже она непостижима для нор-

мально организованного ума, взять Владимира Ульянова, он же Николай Ленин: вундеркинд, злостный атеист, фрондер со студенческой скамьи, незадавшийся адвокат, свободный художник-деструктивист, из всех видов искусств предпочитавший вооруженное восстание и кино, потомственный дворянин в первом поколении, из каковых обыкновенно выходили жестокие крепостники, взятчики-крючковторы и армейские капитаны, крепко пившие и жучившие солдат, отъявленный химик, который видел в людях органический элемент, способный или неспособный вступать в такую реакцию с действительностью, какая была вожделенна по Карлу Марксу, грубый прагматик и одновременно ярый идеалист, примерно воспитанный человек, тем не менее опускавшийся в журнальной полемике до *трамвайного* хамства, политик в последнем градусе, немедленно рвавший отношения с товарищами по борьбе, если они хоть на вершок отходили от его плана, большой любитель немецкого пива и разного рода шествий; он был от природы наделен довольно крутым характером и ничего не имел общего с дедушкой Лениным, которого рисовали нам приспешники социалистического способа производства, необыкновенным практическим умом, свойственным ушлым родоначальникам капиталов, он был несентиментален и отличался несложным мещанским вкусом, не заглянул за всю жизнь ни в одну художественную галерею, играя в шахматы, никогда не возвращал противнику ходов и цепко хватал с доски нечаянно подставленную фигуру, почему-то терпеть не мог цвет русского общества и называл его «господами интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки», не пьянствовал, не курил, не любил быстрой езды, не ведал чувства юмора и смеялся «заразительным марксистским смехом», по свидетельству одного английского чудака, был равнодушен к одежде, женщинам, цветам, гастрономии, деньгам, комфорту, страстно любил собирать грибы и не имел никаких причуд. Вообще люди такого типа могли впадать в некоторые интересные отклонения — например, Троцкий делал себе маникюр, а Дзержинский никогда не моргал, точно у него вовсе не было век, — однако правилом все же следует назвать то, что психологически все они были довольно замысловаты и одновременно просты, как правда, но только совсем уж ерундовая правда, и той именно простотой, которая прискорбнее воровства. Тем не

менее перечень качеств, свойственных Ильячу, отчего-то не складывается в портрет, почему-то образ его ускользает от воображения, то есть, скорее всего, он потому ускользает от воображения, что цепенящий ленинский взгляд, бесконечная самоуверенность и его грандиозные, нечеловеческие дела предполагают не коротконового головастого крепыша, съедавшего по барану в неделю, а какую-то олимпийскую оболочку, бессмертную сущность, августейшее могущество, вообще многие сверхъестественные черты. Но если бы позарез нужно было сформулировать эту выдающуюся особу по национальному признаку, то следовало бы сказать так: Ульянов-Ленин был человек с видом на жительство.

Однако и того нельзя выпускать из виду, что власть не имела для большевиков самодовлеющего значения (эта особенность ленинского движения также загадочна, по крайней мере, оригинальна), а просто они были жестокосердные альтруисты, лишь постольку стремившиеся к политическому господству, поскольку оно позволяло с бухты-барахты привить России коммунистическую идею, которой большевики были околдованы, как впервые влюбленные подростки — предметом страсти, и в которую они слепо верили, как наши богомольные бабушки — в Страшный суд. Конечно, такая энергия отношения предполагала особого рода психику, где-то застопорившуюся в своем развитии от младенческой до умиротворенной, недаром же говорится, что в молодости здорово быть радикалом, в зрелости — либералом, в старости — консерватором, а наши большевики и в преклонные лета были задорны, словно первокурсники, и шало-озлоблены, как измайловская шпана. Вот человек в юном возрасте отнюдь не знает сомнений в том, что он представляет собой центр мироздания и галактики вращаются строго вокруг него, так и большевики не знали сомнений в том, что они вооружены единственно верной и путеводительной теорией социально-экономического строительства (даром что такой теории просто не может быть), которая избрала их на тот предмет, чтобы взять историю под уздцы и направить ее в сторону совершенства. Да еще они так пылко исповедовали эту теорию, что можно было безошибочно предсказать: ради торжества немецкого коммунизма на несчастной российской ниве, то есть из лучших вроде бы побуждений, большевизм пойдет на пубую кровь и, разумеется, физически уничтожит

всех иноверцев, приведет общество к единому психически умственному знаменателю и превратит страну в осажденную цитадель, хотя бы для этого потребовалось внедрить тюремный режим во все гражданские сферы жизни. Да, собственно, у большевиков и не было другого выхода: для того чтобы перетащить огромную страну, по европейскому счету косневшую в правилах XVII столетия, через две экономические формации, необходимо было без колебаний устроить ее варварскими приемами, пресечь инакомыслие, отобрать право на личность, установить беспримерно жесткие формы общественного бытия — именно добиться результата, прямо противоположного тому, какого вождели русские коммунисты, включая самих ленинцев, созерцателей, идеалистически настроенных архаровцев и просто хороших людей, воспитанных на чеховском добром слове. Да еще о русском народе наши деятельные марксисты имели самое смутное представление, потому что знали Россию книжно, жили преимущественно в эмиграции, оперировали стерильными сословными категориями и, поди, о пролетариате судили по тихому Михаилу Ивановичу Калинин, а о крестьянстве — по опыту общения с восточносибирскими кулаками; теоретик Карл Маркс в созидательной части своего учения уповал на культурного, высококвалифицированного рабочего, выпестованного вековой школой капиталистического производства, и на сельского пролетария, кушающего на скатерти и читающего газеты, а практик Ленин-то, интересно, на кого уповал? — на симбирского бурлака, который в свободное время грабит богомольцев и не знает ни одной буквы? на охтинского фабричного, который без просыпу пьет всю Святую неделю и имеет стойкую тенденцию к топору? (Ну разве что Ленин уповал на русского блаженного идеалиста, да только вот незадача: сегодня этот идеалист тонкую статью в газету напишет и последние деньги желтобилетнице отдаст, а завтра, глядь, угробит старушку процентницу из самых, впрочем, отвлеченных соображений.) Так вот, принимая во внимание немарксистские свойства пролетариата и беднейшего крестьянства в России, следовало ожидать, что не только усилиями сверху, но и усилиями снизу коммунистические идеалы будут сильно разведены бесполезной кровью и непременно вырождаются в некую противоположность тому, что было начертано на знаменах. У нас ведь как: у нас низы могут

и пренебречь прямо антихристовой приманкой, но способны дойти до высшей степени озлобления, если воодушевить их каким-нибудь светлым лозунгом, вроде «Человек человеку друг, товарищ и брат», если ничтоже сумняшеся объявить, что через две недели после социалистической революции сами собой исчезнут безответная любовь, болезни и воровство, если, наконец, массама овладеет та практическая идея, что все очень просто и будущее мира находится в их руках, — еще 25 октября ты был ничем, спичками торговал на углу Невского и Садовой, а 26 октября стал вдруг всем и при желании можешь свободно поджечь дом биржевого дельца, который в девяносто третьем году увел у тебя жену. В свою очередь, революционные верхи, давным-давно решившие для себя, что Парижская коммуна не сдюжила потому, что Варлен с Домбровским расстреляли отнюдь не всех, кого в первую очередь следовало расстрелять, загодя взяли курс на устранение всех немарксистских свойств, какие только найдутся в российском простонародье, даже если для этого потребуются вырезать полстраны. И, главное, чего ради? А того ради, чтобы привести многомиллионный народ, в одночасье лишенный права на обыкновенную жизнь с мелкими радостями и жареной уткой по воскресеньям (причем привести стараниями партии революционеров, ненавидящих обыкновенную жизнь, мелкие радости и жареную утку по воскресеньям), к такому общественному устройству, которое гарантирует обыкновенную жизнь, в частности, с мелкими радостями и жареной уткой по воскресеньям, хотя бы этой жизни сопровождали такие чисто большевистские несуразности, как самокритика, политчас или военизированные младенческие отряды. И, на удивление, они гармонировали друг с другом, революционные верхи и революционные низы, то есть большевики сдали народу любимую масть, пригласив его сложно пострадать на пути от империи до империи, благо он искони жаждал новообращения и тяготел к аскезе, но нимало не сжульничали при этом, потому что со дня на день ожидали смены капиталистической формации формацией социалистической и сами тоже чаяли пострадать. Оттого-то нисколько не удивительно, что наивная программа большевиков вызвала живой отклик в наивном нашем народе, не говоря уже о разложившихся тыловиках, наиболее разбойной части балтийцев, а также люмпенах города и деревни, для которых

всякая смута — праздник; в сущности, ленинские рапсоды не выдумали никакой магической формулы, не прибегали ни к какому темному ведовству, а в ударные сроки зачаровали Россию тем, что постоянно зывали к самым возвышенным и наиболее низким свойствам русского человека: к вероспособности, многотерпению, к мятежности духа и духу избранничества, ксенофобии, беспричинной жестокости, мечтательности, всемирности, которую открыл еще Достоевский, завистливости и, наконец, к застарелому чувству справедливости в рассуждении дележа. Оттого-то нисколько не удивительно, что социалистическая революция в чистом виде нигде не произошла, а в России произошла.

Да вот только марксизм тут оказался более или менее ни при чем. Наша отечественная действительность настолько не вписывалась в каноны немецкого коммунизма, что большевикам пришлось подчищать марксизм, как подчищают бухгалтерские книги, скандализируя его под Россию и просто под *неправильную* реальность, именно присочиняя то «наиболее слабое звено в цепи империалистических государств», то «возможность построения социализма в одной стране», то «обострение классовый борьбы», и так вплоть до «рыбного дня», который большевики нам учинили по четвергам. В качестве аллегории: если представить себе оркестр, в котором плоха четвертая скрипка, никуда не годится арфистка и неисправимо фальшивит второй фагот, так что постоянно приходится под них корректировать партитуру, если представить себе вконец озлобленного дирижера, который матерится почем зря и норовит своей палочкой выколоть глаз пьяному пианисту, если представить себе пожарного, который хмуро наблюдает за репетицией и вот-вот схватится за брендспойт, — то как раз и получится процедура, похожая на превращение лабораторного марксизма в русифицированное учение, каковое проходит в новейшей истории под названием — ленинизм. Поскольку в России как в стране бедной, малоцивилизованной и во всех отношениях развивающейся не было никаких предпосылок для превращения капиталистического количества в социалистическое качество, поскольку большевики вызвали Октябрьскую революцию, как в сказках вызывают духов или землетрясения, и поскольку Ульянов-Ленин стоял на том, что «экспроприация даст возможность гигантского развития производительных сил» и «все научатся

управлять», постольку в стратегическом отношении ленинизм представляет собой отточенное учение о третьем конце палки, да еще и до такой степени положительное, что его только практика была в состоянии опровергнуть, каковая практика в наше время и показала — у палки в наличии два конца; в тактическом же отношении ленинизм представляет собой учение об организации стихийных бедствий вроде землетрясения и о ликвидации результатов этих самых стихийных бедствий, которое единственно в том следует упрекнуть, что, например, землетрясения происходят не по желанию пролетариев, а потому, что совершаются глубинные тектонические процессы. Стало быть, ленинизм нацелен на борьбу против природы всею своею сутью, чем он и схватил за живое русского человека, стало быть, ленинизм покусился на естественный ход вещей, между тем из истории нам известно, что покушения этого рода безрезультатны, если не считать трагедий местного и временного порядка, ибо мир наш устроен так: хаос самосильно преобразуется в космос, как мириады беснующихся атомов выстраиваются в полезное вещество, а любая попытка поправить космос, напротив, приводит к хаосу, что предельно доказано нашим сельскохозяйственным производством, меллиораторами, плановой экономикой и бесчинствами первых секретарей. Вот, скажем, молекула воздуха устроена некоторым живительным образом, хотя состоит из всякой гадости, и с этим нельзя ничего поделаться, то есть можно, конечно, но тогда пресечется жизнь, так и человеческое общество устроено некоторым живительным образом, хотя ему довлеет неравенство, эксплуатация труда капиталом, и с этим тоже нельзя ничего поделаться, то есть можно, конечно, но тогда на историческую арену выступают бесчеловечные и бессмысленные режимы, нежизнеспособные или по-дурачки жизнеспособные, как сиамские близнецы. Одним словом, это отнюдь не случайность, что из расчудесного принципа братства человеческого на основе социалистического способа производства, понятого как руководство к действию, вышли сталинские лагеря, румынская бескормица, пхеньянская коммунистическая династия, политические заплывы председателя Мао, людоедские полпотовские деяния, доведшие большевистскую идею до логического конца. И потому уже не случайно, что ленинизм, из сознания превратившийся в бытие, то есть в обязательно социалистический способ

существования целой нации, подразумевает предельную централизацию власти вплоть до прямой зависимости ее характера от отдельно взятой предстательной железы, а такая зависимость, понятное дело, ничего хорошего не сулит.

Итак, большевики, как Сизиф со своим камнем, ратоборствовали с объективными законами общественного развития, собственно, с историческим материализмом, правда, уходящим корнями в небо, ибо они нацелились рукодельно насыпать собственный континент, которому, может быть, суждено образоваться самостоятельно через несколько сотен лет. Естественно. природа (и прежде всего в ипостаси человека) то и дело ставила перед ленинцами неразрешимые задачи, то есть как бы разрешимые, но только за счет позорного компромисса большевизма со здравым смыслом: едва показал себя несостоятельным коммунистический принцип распределения, как Ленин пошел на частичную реставрацию капитализма, вследствие чего численность РКП(б) сократилась на многие батальоны самоубийц; едва Сталина, строго придерживающегося того постулата, что у пролетариата нет родины, прижал немецкий вооруженный пролетариат, как он сразу возродил Родину, а заодно и вспомнил про наших выдающихся полководцев, которым посвятил высокие ордена; едва его малограмотным преемникам стало ясно, что более невозможно управлять страной при помощи насилия да обмана, как им сразу пришлось смириться с унылой фрондой, непоказанными штанами и выходками отдельных вольнодумствующих наглецов; наконец, когда преемники поняли, что искусство многотерпение народное, искусственная экономика не работает, армия не боеспособна и Запад обошел Россию по всем статьям, они отважились на коренное перестроение, того не зная, по большевистской своей простоте, что в лавиноопасных районах выматериться громко — и то нельзя. При этом и Ленин, видимо, понимал, что процесс развивается не по-писанному, что Россия куда-то направляется не туда, и Сталин, видимо, понимал, что взять власть — не штука, штука — построить «тюрьму народов», в которой только и можно наладить социализм, а иначе наладить его нельзя, и преемники, видимо, понимали, что дело плохо, да только образ мыслей у этих людей был настолько религиозен, что во имя пречистой своей конфессии они способны были пойти на любое варварство, да еще и, по национальному

обыкновенно, крепко надеялись на авось. Впрочем, им, наверное, то придавало силы, что они себя чувствовали в некотором роде первопроходцами, разведчиками будущего, отважными исследователями прекрасного завтра, которым не возбраняется рада такого дела и поплутать.

Результаты этой рекогносцировки, впервые предпринятой человечеством во мглу грядущего, почти сразу должны были насторожить, ибо все-то у большевиков выходило шиворот-навыворот, здравому уму и твердой памяти вопреки: счастье у них в борьбе, самопожертвование — норма, смерть желанна, а жизнь — ничто, культура — это когда на пол не плюют, любовь — позор, глупый катехизис у них введен вместо литературы, а вместо песен — веселые кондаки, самое страшное преступление после отцеубийства — оппортунизм, прилагательные взяли такую силу, что если стакан подпадает под категорию «мелкобуржуазный», то это как бы и не стакан, в столице атеистов из атеистов, напрочь отрицающих самодовлеющую личность, лежит под стеклом мумия учителя всех народов, которому, как Осирису, ходят поклоняться эти самые атеисты, предательство у них превратилось в добродетель, снисходительность — в государственное преступление, правда — в кривду, а якобы общественная собственность на средства производства неожиданно родила плохонький государственный капитализм в городе и ярко выраженное крепостничество на селе.

Должны были эти результаты насторожить, да что-то не насторожили. Ладно если бы ленинцы действительно совершили что-нибудь фантастическое из того, что они нацелились совершить (хотя не они ли исхитрились выстоять семьдесят с лишним лет, не имея оснований продержаться более полугода, не они ли поворачивали реки вспять, заставили работать в принципе неработающие механизмы, запустили в космос первого человека, который на земле имел одну смену белья и кушал мясо не каждый день?), а то ведь при большевиках люди и жили скученно, и питались скудно, и одни штаны таскали по двадцать лет, и ничего-то у них не было истинно качественного, первоклассного, за исключением анекдотов. Между тем наши дедушки и бабушки, отцы-матери, да и мы сами во время оно были математически уверены в том, что Страна Советов — самая счастливая страна в мире, наше государственное устройство — справедливейшее государ-

ственное устройство и что советский человек — в некотором роде высшее существо. Конечно, закрадывалось в наши умы тяжкое подозрение, дескать, вроде бы сбылась вековая мечта человечества — раз и навсегда покончено с эксплуатацией труда капиталом, власть принадлежит народу, и учат нас бесплатно, и лечат бесплатно, а счастья как не было, так и нет; однако в другой раз сходишь на первомайскую демонстрацию или прочитаешь в газете про какой-нибудь несуразный подвиг, и снова в душе пламенеет гордость за первое в истории рабоче-крестьянское государство, дескать, пускай мы одни штаны таскаем по двадцать лет, зато у нас богате-ев нету, зато одинаковую зарплату у нас получают гении и злодеи, инженеры и золотари — и как-то сразу весело делается на душе, точно кто ей бессмертия посулил. И ведь ни в одну голову не залетела та напрягающая мысль, что вот, кажется, и революция у нас совершилась по Марксу, и учинено передовое общественное устройство, а простые англичане, которые манкировали «всепобеждающим учением», поголовно имеют автомобили, бесплатно получают в аптеках лекарство и ездят отдыхать на Канарские острова. Напротив: нам твердили, что существует только партийная наука и классовое искусство, и мы честно верили — существует; нас убеждали, что именно однопартийная система обеспечивает прогресс, хотя она не обеспечивает ничего, кроме гражданского вырождения, и мы вторили — верно, обеспечивает, еще как; и мировая революция невозможна, а нам сказали, что она будет, и мы согласились — будет; и социалистический способ производства — неуклонно загнивающий монстр, ибо он не на прибыль работает, а на миф, но нам вдолбили в голову, что он — благо, и мы повторяем как заведенные — точно, благо. Вот попробуй предложи западноевропейцу: «Потерпи, браток, лет так двадцать — тридцать во имя перманентной революции и замены недели на пятidineвку, поскольку-де наличие трудности роста, враждебное окружение, вредитель свирепствует и прочее в этом роде», — он тебе такое ответит, что в затылке начешешься, а русский человек только повздыхает и согласится.

И ведь не сказать, что мы были закоренелые дураки, по крайней мере, немцы тоже накачали себе на шею злокозненных идеалистов — Гитлера и компанию, и французы переливали на пушки реакционные памятники Жанне д'Арк, стало быть, мы

без малого такие же, как и все; малое же, кажется, заключается в том, что мы несколько лучше (хотя и на курьезный манер), что человеческого в нас несколько больше, чем это необходимо для того, чтобы с полным правом аттестовать себя — homo sum. Ну где еще найдется такой народ, который веками сидит на книгах и черном хлебе, который бы «пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», который с довольно веселой миной сносит любые лишения, часто из неподъемных, ради справедливого переустройства вселенной и не отступает от этой своей завети, даже если ему учинить смешение языков... И вот чуть ли не лестное что-то просматривается в забубенной русской доле, ибо в своем парении наш человек высоко, может быть, чересчур высоко поднялся над уровнем муравья, извечный удел которого — труд во имя выживания и производства себе подобных. И даже мы до такой степени воспарили над муравьем, что и в те поры, когда стало ясно: наши кремлевские чудотворцы суть люди некультурные, малограмотные, бесчестящие самую коммунистическую идею, — мы холодно презирали этих комических истуканов, но принципам коммунизма оставались верны, как аист своей подружке. Трудно сказать, блазнит ли тут качество человека грядущего или качество человека средневековья, ибо не исключено, что род людской развивается как бы вспять — от типа пассионарного к типу элементарному, и в этом его спасение — главное, тут очевидно то, что все-таки ленинцам, несмотря на чудовищные усилия, не удалось сделать из русского человека совсем уж нового человека; они хотели нас видеть охмуренными фанатиками, которые страдают товарищеским отношением к женщине, белыми рабами идеи, сладострастно принимающими от отцов большевистской церкви смертную казнь за несвоевременную улыбку, а мы оставались теми же отвлеченными, что ли, особами, что и при Алексее I Тишайшем, и как при Владимире Мономахе, влюблялись, детей рожали, копошились по рабочим местам, хотя и отдавали Марксу Марксово, яко собаке кость. Как ни кощунственно это выглядит в рассуждении миллионов загубленных судеб и резкого увеличения удельного веса горя, на самом деле ничего страшного, экстраординарного не случилось; с исторической точки зрения, просто ехали-ехали и заехали не туда;

а так и голова соображает, поскольку нам понятно, что околицей ездить — себе дорожке, и руки-ноги целы, и даже есть силы вернуться на столбовую, проторенную дорогу, которыми следуют все цивилизованные, то есть не такие бодрые и менее чувствительные народы. Да: еще нужно Провидению в ножки поклониться за то, что большевизм случайно продержался только семьдесят с лишним лет, ибо его органического крушения следовало ожидать гораздо позже, к тому времени, когда иссякли бы природные запасы нефти и минералов, которыми Вседержитель наградил наше отечество, предвидя лютую его участь на много веков вперед.

Из этого прежде всего вытекает то, что человек есть некое несокрушимое существо, и брэнная история ничего, или почти ничего, не может поделывать с излюбленным творением всемогущей и всемудрой Природы, что творение сие способно превзойти все козни и передряги исторического процесса; у нас храмы динамитом взрывали, священников расстреливали походя, мыслителей гноили по тюрьмам да лагерям, сызмальства учили лгать, ненавидеть и доносить, а мы все те же — веруем и крадем. Поэтому человек не может служить истории, во всяком случае, из таких попыток вечно получается ерунда, а должен он служить единственно божественной своей сути, проще говоря, самому себе. История же есть детское недомогание, болезнь роста; если она развивается естественно, то лишь способствует укреплению организма, но если творение по глупости начинает заниматься самолечением, которое, как известно, приводит к беде, ему остается рассчитывать лишь на то, что кризис минует без трагических осложнений.

Так что же, собственно, это было? — ребяческий бунт против Создателя, за который мы получили заслуженный нагоняй? А чего ради мы страдали эти семьдесят с лишним лет? — дабы сполна исполнилось пророчество Петра Яковлевича Чаадаева: Россия выдумана для того, чтобы уведомить человечество, как не годится жить? В сущности, миссия эта необидная, даже почетная в своем роде, тем более что на свете есть много стран, у которых вообще нет миссий, тем более что дело-то сделано и, кажется, смело можно надеяться — горький урок не пройдет бесследно.

Кабы не та кручина, что умные люди повсеместно наперечет.

ЖАК АТТАЛИ

Первый день после меня

РОМАН

С ФРАНЦУЗСКОГО. ПЕРЕВОД МИХАИЛА ГРЕБНЕВА

Последние годы имя Жака Аттали то и дело мелькало в российской прессе — сперва как президента Европейского Банка Реконструкции и Развития, созданного с благородной целью помощи Восточной Европе, затем оно оказалось в центре скандала, разразившегося по поводу перерасходования банком средств на собственное содержание. В конце концов Жаку Аттали пришлось покинуть свой пост. Однако для читателя, мы полагаем, может оказаться небезынтересной и иная ипостась этой личности, не имеющая прямой связи с «заботами суетного света».

Дело в том, что Жак Аттали не только политический деятель (его близость Франсуа Миттерану общеизвестна), не только автор многих книг по экономике, истории и политической жизни Франции, но и прозаик, лауреат «Гран При»

Французского общества писателей (1989 г.), который был присужден ему за историко-фантастический роман «Вечная жизнь». Занимательно, что в этом романе возникают имена и названия мест, похожие на русские, — известно, что автор изучал русский язык и хорошо знаком с русской классической литературой.

Предлагаемый вниманию читателей роман вышел в 1990 г. в издательстве «Файяр». На обложке помещена репродукция картины «Большой концерт» Никола де Сталья, французского художника русского происхождения, родившегося в Санкт-Петербурге и умершего во Франции. Автор то и дело мысленно возвращается к его трагической жизни. Русская культура вообще находит отклик в романе, главное достоинство которого, может быть, в том, что автору удалось построить свою собственную формулу любви.

Очень медленно светает. Мне плохо. Лежа, против обыкновения, на спине, пытаюсь подняться. Ничего не выходит. Резь в глазах. Болезненное пробуждение. Пальцы вцепились в одеяло. Шум дождя — он нарушил мой сон. Закрываю глаза, пытаюсь расслабиться, жду наступления дня... Где я?.. Расслабляюсь, отпускаю одеяло. Левой рукой, не поворачивая головы, обшариваю постель: она уже ушла... Интересно, который час? Справа, на ночном столике должны быть часы. Нахожу и с трудом подношу к глазам. Долго вглядываюсь, прежде чем понимаю: четверть восьмого... Слишком рано! Пробую еще поспать.

Звонит телефон. Снимаю трубку с большим опозданием. Голос отца, из больницы: все в порядке, не надо тревожиться... Обманул меня! Я послушался, не поехал...

Засыпаю.

Опять этот сон! Сколько еще мне будет сниться отец в белой больничной палате на краю света? Без меня. И как он спрашивает обо мне медсестер, врачей.

Всегда будет сниться, пока я сам не умру.

Медленно просыпаюсь. Льет все сильнее. Внизу на улице тормозит машина. Больше не засну. Не позволю себе. Мне страшно снова уснуть его голос, слишком мягкий, слишком правдоподобный.

Не хочется думать о том, что предстоит в этот трудный день. Надо встать, соорудить кофе.

Приподнимаюсь на локте. Тело отяжелело. Голова раскалывается. Обнаруживаю, что нахожусь в удобной и просторной комнате. Сквозь сумрак проступают две японские вазы на низком столике против кровати, а справа от двери тотем команчей — высокая фигура из дерева, по другую сторону — большая мексиканская лошадь из папье-маше. Слева виднеется темный стенной шкаф, похожий на слуховое окно, зияющее в пустоту.

На стуле лежит черное платье — то, что было на ней вчера вечером, значит, она вернулась. Этого я не слышал, но знаю: ее половина кровати не убрана.

У окна на большом мраморном столе с ящиками — ее сумка и туфли. Сара все не могла решить, считать его туалетным или письменным. На кресле у стола — ее джинсы. Во что же она оделась?

Снова лежу на спине, созерцаю потолок. Ледяной пот, опустошение и немота. Невозможно думать. Какой-то прогорклый запах.

Куда она пошла на сей раз? Вернется до того, как я уйду?

Я застрял у темной границы двух миров. Прочь отсюда, к свету! Что же мешает? Ах, да, снотворное...

Бежать! Спать...

Звучит музыка, дешевый оркестр. Музыкантов — специально для нас — привел Жозе прямо в гостиничный ресторан. Я танцую с Ней — Ей хочется танцевать без остановки. Я запыхался — Она смеется. Кажется, никогда я не был так счастлив. Музыка смолкает, Она продолжает танцевать.

Темнота. Одиночество. Тишина... Пробуждение.

Почему картины счастья перемежаются кошмарами? Это угрызения совести: в тот день мне следовало быть с ним; сегодня я должен быть с Ней.

Посплю еще. Впереди трудный день. Объясниться с Сарой, сказать ей, что больше не вернусь; уехать назад в Европу, снова увидеть Ее. Прodelать все быстро. Слишком затянул. Освободиться, положить конец — решительно и грубо, если надо, — чтобы отрезать путь назад.

Не смогу. Знаю — не смогу. Необходимо мужество, а у меня его не было никогда и не будет...

Ничего не говорить Саре. Я слишком ее любил, чтобы вдруг она стала мне безразлична. Просто ждать. Ждать, пока время вылечит ее от любви. Не давать повода для обиды, для отчаяния. Просто не звонить больше. Сама звонить не будет. Она ненавидит телефон. Впрочем, она наверняка уже все поняла. Может быть, даже решила не удерживать меня. Вчера, когда расспрашивала о смерти отца, я догадался...

Как ей удалось отыскать могилу? Видимо, на это ушел не один месяц. Может быть, она даже занялась этим сразу после нашего знакомства. Но кто навел ее на след?..

Спать. Еще чуть-чуть поспать. Где часы? Ага, что-то я держу в руке. Но почему пальцы не чувствуют металла? Голова не поворачивается. Подношу руку к глазам. Темно. Похоже, что ночь, не закончившись, повернула обратно. С трудом удастся разглядеть большую стрелку, потом маленькую: всего двадцать минут восьмого.

Как медленно, как тяжело течет время!

Часы выскальзывают из пальцев. За окном мигает реклама, дождь утих немного. Прогорклый запах ушел. Головная боль притупилась.

Издали доносится какой-то радостный, мерный звук, похожий на звон колоколов. Но откуда здесь, на Ист-Сайд, колокольный звон? А вот полицейская сирена: звук более привычный и не такой призрачный.

Душно. Холодный пот.

Почему вчера вечером я не вернулся в гостиницу? Я должен был оставить Сару еще две-три недели назад, не видеться с ней после той сцены, что она устроила в Лондоне. А я потащился к ней в пятницу... Всегда я медленно, всегда бегу от проблем и надеюсь, что их разрешит время — вместо меня.

Надо вставать. И уезжать — как можно скорее. В аэропорт Кеннеди —

и ничего ей не говорить. Я измотан, опустошен. Вернусь в Европу. Если в пути станет плохо, покажусь доктору — завтра в Брюсселе; Она это устроит.

Она будет ждать в аэропорту. Так Она сказала. Она всегда встречается — даже когда я не предполагаю. Когда вдруг возвращаюсь с края света. Уже давно я перестал гадать, откуда Она узнает. Иногда мне кажется, что на время моего отсутствия Она переселяется в аэропорт Руасси. Может, это моя секретарша Ей докладывает... Наверное, сговорились.

Она встретит меня, даже не зная, откуда я прибыл. Я увижу Ее, хрупкую, с серьезным лицом, сразу же, как сойду с трапа. Затем мы вдвоем, не обронив ни слова, будем ждать багаж. Затем двинемся к машине. Она привычно сядет сзади. Мы покатым в Брюссель, ни единым словом не помянув про Нью-Йорк. Словно я там и не бывал вовсе. И ничего не надо будет Ей говорить, Она и так поймет, что между мной и Сарой все кончено. Она спросит, должен ли я скоро опять уехать. Я помедлю с ответом, промолчу. Чуть позже Она снова спросит: «Ну, по крайней мере, это воскресенье ты проведешь со мной? Ты ведь знаешь, я совсем одна». Неторопливо смакуя новость, я объявлю Ей, что решил оставить работу в Комиссии, вернуться в Руан и завершить в ближайшие пару лет жизнеописание Никола де Сталья¹, которое я начал так давно. Еще я скажу, что больше не буду никуда уезжать без Нее. Если Она того пожелает. Говорить буду тихо, не выделяя слов и поглядывая в зеркала, чтобы не пропустить Ее реакцию. Она улыбнется. Она кивнет, не требуя объяснений, с той сдержанной нежностью, от которой я всегда таял. Она слегка наклонит голову, улыбаясь одними глазами. Я скажу, что власть — это не для меня, что приходится заниматься мелочами, хотя постепенно привыкаешь наделять их значительностью; что сталкиваешься с жестокостью, которая со временем кажется оправданной и даже радует. Я буду говорить о желании вернуться в университет: вначале в Руан, как прежде; что хочу в ближайшее время получить место в Сорбонне. Если только Она не захочет пожить со мной при каком-нибудь университете в Америке...

Она рассмеется, обнимет меня за шею и скажет: «Я тебя люблю».

И тогда я окажусь «за пределами возможностей волноваться», как выразился Никола де Сталь по поводу смерти своей жены... Никогда мне не найти столь простых слов для невыразимого... В моей книге я покажу, что, если из него не получился великий художник, он мог стать великим писателем — в силу острой душевной боли, огромного внутреннего страдания.

У нас пойдет другая жизнь, в другом мире. Я отмоюсь от абсурдных месяцев, лет.

Любой конец — это начало...

Часы на подушке показывают без двадцати восемь. Надо выходить немедленно, мчаться за багажом в гостиницу и, не видясь с Сарой, вылетать из Нью-Йорка.

Слишком вял? Да. И слишком утомлен, чтобы высказывать под дождем в столь ранний час. Повременим еще чуть-чуть. Впереди долгий день.

Дождь хлещет с удвоенной силой, заглушая уличный шум, доносящийся ко мне на седьмой этаж.

Как правило, я люблю просыпаться в такое утро, когда не хочется выползти из дремоты и время словно отодвигается. Но сегодня это невыносимо. Я боюсь всего, что несет пробуждение, но стоит погрузиться в сон, как вновь зазвонит телефон — отец...

Кошмар? Да, еще один кошмар. Ужасный и издевательский на сей раз. Снился Вондеспьюэс. И Она тоже. (Какая глупость! Они никогда не встречались!) Мы все были в его кабинете. Он сидел в очень низком кресле — на самом деле у него нет такого. А я стоял перед ним, опустив руки. Он надменно растягивал слова, будто хотел унижить меня при Ней. Я ничего не мог сделать, даже удивиться, как Она оказалась там; только было стыдно, что Она присутствует при этой сцене...

¹ Французский художник русского происхождения, род. в Санкт-Петербурге (1914—1955). Утонченный колорист, смело работал с формой.

Этот человек мне стал ненавистен, он добился того, что мне теперь невыносимо смотреть на себя в зеркало.

Мне снилось то, чего быть не могло. Но все казалось реальнее этой постели, этой комнаты. Удивительное ощущение Ее близости... Ах, как мне Ее не хватает!

Ладно, встаем. Неимоверное усилие... Невозможно приподнять одеяло. Робкий свет из окна падает на картины. Это ее индейская живопись, естественно... Наверное, и в полдень еще будет темно. Нью-Йорк живет в декабрьских сумерках. Войлочная тишина вокруг. Ни звука, ни шороха в комнате, в ванной и в просторной студии, где у Сары громоздятся доски для рисования.

Наконец рывок удается. Ощущение не из приятных — простыня отдирается от кожи, будто пластырь. Сидя на кровати, жду, когда перестанет кружиться голова.

На ватных ногах, с больной головой направляюсь к двери в студию; она приоткрыта. Никого нет. Ни Сары, ни Макса. Тишина.

Опираюсь рукой на толстую индейскую колонну и иду обратно; закрываю двойную дверь и бросаю взгляд на мраморный столик. Там стоит маленькая корзиночка, в которой мы обычно оставляем друг другу записки, но она пуста. Почему Сара ускользнула вот так, на рассвете? Может, решила опередить меня? Поняла, что я ухожу от нее, что больше не желаю тонуть в ее глазах?

Ed il naufragar m'è dolce in questa mare...¹

Мне вспомнилась эта строчка Леопарди в то зимнее утро, когда на борт самолета, отбывавшего из Денвера в Нью-Йорк, взшла блондинка с непослушными волосами и искрящимися глазами, на ней были изысканно рваные джинсы и скромная блузка черного шелка. Стюардесса указала ей кресло рядом с моим. Девушка поставила под ноги большую желтую матерчатую сумку, сверху положила серый плащ, из кармана достала книжку, стихи Т. С. Элиота. Когда прямо перед вылетом стюардесса предложила ей пересесть на другое место, она с улыбкой отказалась.

Очень скоро я все узнал про нее: как и я, она отправилась из Аспена². Я заметил ее в маленьком самолете, который на рассвете поднялся из горной долины. Может быть, она прикатила на автобусе накануне? Я приезжал, чтобы сделать доклад о состоянии науки в Европе перед высокопоставленными людьми, которые во время семинара корчат из себя больших знатоков, хотя на поверку все их решения — чистой воды импровизация. Но Бог с ними. Для меня это был удачный случай отвлечься от Брюсселя.

А она? Она приезжала похоронить отца на кладбище в Аспене... Она пробормотала эти несколько слов с такой грациозной простотой, как если бы давно привыкла говорить со мной о сокровенном. Позже я понял, что за этой внешней бесстрастностью скрывались паника и отчаянная ранимость.

Не дожидаясь вопросов, которых я все равно не задал бы, она рассказала об отце: немецкий врач, еврей и коммунист, он бежал от нацистов как раз перед войной; во французском гражданстве ему было отказано, и он обосновался в Америке. Вначале старьевщик, затем коммерсант, затем нью-йоркский банкир; он все бросил к концу пятидесятих годов, ошалев от денег и от одиночества, и переехал в Аспен, чтобы здесь построить уединенную гостиницу, небольшую, но самую изысканную и дорогую на континенте. Я знал «Ребекку» — обедал там накануне. Эту гостиницу окружают очаровательные горные тропинки. Наблюдая безупречное поведение официантов, я не мог заподозрить, что ее владельца похоронили пару часов назад.

Не знаю, зачем она так подробно рассказывала о похоронах. В тот день была очень хорошая погода. Сестра приехала накануне, ей сообщили, что отцу становится хуже. Мать не могла присоединиться к ним вовремя. Утром в местной газете появилось печальное известие. Множество друзей пожелали выразить соболезнования. Посыпались телеграммы от монархов, бывших президентов

¹ Мне сладостно тонуть в этом море... (итал.)

² Элитарный курорт в США, куда со всего мира съезжаются интеллектуалы и экономисты.

США и европейских премьеров. Гостиницу не закрыли. Для тех, кто пришел, Сара устроила изысканный завтрак. Днем на кладбище было почти весело, денверские музыканты исполнили Четырнадцатый квартет Бетховена — то, что ее отец особенно любил. Казалось, все было заранее продумано до мелочей и Сара лишь исполняла последнюю волю умершего. На самом деле в завещании, по которому она наследовала гостиницу, ни о чем похожем не говорилось. Сара сама захотела все устроить именно так. Вечером она ужинала в своей комнате, а я сидел за столом внизу, в большом зале, и ни о чем не ведал.

Немного погодя она снова заговорила о гостинице, в которой прошло ее детство и которая теперь принадлежала ей. Что она будет с ней делать? Еще ничего не решила; в любом случае продавать не станет. Но кто будет заниматься гостиницей? Мать? Конечно, нет. Родители уже давно жили раздельно. К тому же гостиница никогда не интересовала ее. Где она жила? В Риме. Одна? Нет, с дочерью, Ребеккой. Ребеккой? Да, отец назвал гостиницу в честь младшей дочери. Ребекка время от времени уезжала из Рима, ее брал с собой в турне один известный виолончелист. Еще был брат — тот жил в Аспене и не проявлял к гостинице никакого интереса, вернее сказать, больше не занимался гостиницей. Почему? Она не ответила.

Перед самой посадкой она погрузилась в стихи Элиота. Я принялся листать рукопись моей будущей книги о Никола де Стале. Девушка бросила на нее взгляд и задала несколько вопросов: она хорошо знала художника из Антиб. Живопись была отчасти ее профессией. Я хотел расспросить, но она уклонилась. Она не задала ни единого вопроса ни о работе, ни о моей жизни. И все-таки я догадался, что она размышляет обо мне. С пугливо-равнодушной сдержанностью. Люди редко проявляют ко мне интерес.

Я чувствовал себя счастливым впервые за многие годы — для этого у меня появилась серьезная причина.

Пока самолет совершал посадку, я пытался придумать повод увидеться — такой, чтобы не напороться на отказ. К сожалению, ничего не приходило в голову, но после таможи она пробормотала самые что ни на есть простые слова: «Может быть, поужинаем вечером?» Я согласился, аннулировал заказ на вечерний билет в Париж и перенес завтрашние деловые встречи в Брюсселе. Она привела меня в очаровательную гостиницу неподалеку от ее дома, на Хаустон-стрит.

— Встретимся в семь, хорошо?

Я позвонил Ей сразу, что задерживаюсь по делам. Впервые врать было так легко.

Мы бродили по Бродвею. Сколько радости! Она здесь знала каждую мелочь. Живопись, танцы, кино, музыку. Ее профессия? Она руководила маленьким агентством, которое рекомендовало молодых художников промышленникам-меценатам. Мы снова заговорили о Никола де Стале. Она сделала очень тонкое замечание о «Большом концерте»¹ — картине, над которой он работал перед самоубийством: что заставило его приехать в Париж на концерт Булеза в тот самый день? Почему он выбрал красный фон, почему набросал этот крупный контрабас? Какая причина дважды толкала его к самоубийству во время работы над полотном столь невероятного размера и такой силы?

Снова и снова она принималась рассказывать об отце, о долгой предсмертной агонии, о которой знала она одна. Она говорила бездельно, подавляя боль. Казалось, он еще был жив, неизменный соучастник безысходного одиночества. Я догадался, что она еще разговаривает с ним. Это неприятно задело меня. Хуже было то, что она, не отдавая себе отчета, напоминала мне о смерти моего собственного отца — в одиночестве, без меня.

Я произнес в ответ две фразы из письма, которое Никола де Сталь написал матери Жанины сразу после смерти жены: *«Благодарю вас за то, что вы подарили жизнь существу, которое дало мне все и питает мою душу, каждый день. Не волнуйтесь за ее детей: они оба — за пределами ваших возможностей волноваться...»*

¹ Никола де Сталь. Большой концерт. 1955 г. Масло, холст 350×500 см. Одна из самых известных работ художника.

Эта последняя фраза сильно тронула ее. Как раньше — меня.

— Я бы хотела, чтобы кто-нибудь так написал обо мне, когда я умру... — сказала она. — Но у меня нет детей...

Я обещал переслать ей эти письма.

Поздно вечером, провожая меня в гостиницу, она попросила рассказать про детство. Я вспомнил несколько банальных эпизодов — то, что вспоминаю как раз редко: солнце, берег моря. Затем, может быть, желая задержать ее или, может быть, желая ответить ей откровенностью, я рассказал, как умер мой отец. Но, не знаю почему, не совсем так, как это случилось... Мой рассказ про самолет, который попал в торнадо и разбился у берегов острова Бали, смутил ее. Она выразила осторожное удивление, что не были найдены останки некоторых пассажиров. Зачем я выдумал эту басню? Ради чего было скрывать правду, в которой на самом деле нет ничего постыдного? От приукрашивания боль не делается легче.

В этом весь я: отталкиваю от себя правду, пока она еще не стала невыносимой, и стараюсь никогда больше не вспоминать ее вслух.

Я покидал холл гостиницы с испорченным настроением, не улыбнувшись, не кивнув на прощание, даже не условившись о следующем свидании. Знаю, она долго смотрела мне в спину, пока я ждал лифта.

Утром я вернулся в Париж. Из аэропорта Кеннеди и из зала прилета я раз десять набирал ее номер. Потом звонил из Барлемона. Ее не было.

С тех пор минуло шесть месяцев, а тогда только начинался дождливый май. Несколько дней спустя она позвонила мне в офис. Я снова прилетел в Нью-Йорк. Мы занимались любовью. Я забросил работу, она тоже. Я пытался себя убедить, что это сладкое наваждение не особенно много значит для меня. Летом я стремился бывать с ней как можно чаще. Она потащила меня в Аспен, в Мехико. Мы съездили в Рим. Но ни разу в Париж или Брюссель: Сара остерегалась чужой территории, впрочем, я все равно не позволил бы нарушать границы Ее владений.

Я отлично знал, что так не могло продолжаться долго. Но думать отказывался. Порой говорил себе, что эта страсть — последняя в моей жизни.

Мой пост генерального директора Европейских сообществ по научным делам вознесен на вершину иерархической лестницы, откуда двигаться уже некуда: вокруг пустой воздух и короткое дыхание тех, кому осталось карабкаться еще несколько метров.

К осени, когда Брюссель понемногу стал отряхиваться от летней дремоты, атмосфера на работе начала накаляться из-за моих исчезновений. Нельзя внезапно уезжать, не вызвав никакой реакции у сотен людей, когда готовятся к подписанию тысячи контрактов, нельзя отменять назначенные встречи, не вызвав раздражения десятков министров или госсекретарей, нельзя вместо себя послать заместителя и при этом не ввергнуть в шок пять министерских совещаний подряд, прежде всего ежегодное, которое обсуждает стратегию генерального директора. Мои заместители забеспокоились, даже те, что нацелились на мое кресло. Только члены комиссии не жаловались на мое отсутствие, они были слишком рады принимать решения вместо меня: политики любят играть со спичками, когда знают, что не обожгутся.

В конце осени Она догадалась. Без слов, без намеков, без вопросов, не вызывая меня на откровенность, Она поняла. И приняла как некий воздушный каприз. И относилась ко мне так же нежно, как прежде. Ее безмятежность не раздражала меня, а успокаивала и ободряла. После смерти матери, три года назад, Она стала мягче, даже терпимее. Ее чувство ко мне сделалось не таким требовательным. Иногда это радовало меня, иногда вызывало беспокойство — и я слегка ревновал из-за этой мягкости, похожей на равнодушие.

Однажды в обществе моих друзей Она непринужденно заметила, что хочет встретиться старость рядом со мной и ничто нас не разлучит. Я не слышал от Нее ничего подобного потом, когда мы оставались наедине. Но, видя, как Она ждет меня в аэропорту, иногда челсами, или на дороге в квартал Барлемон, я понимал, как Она боится меня потерять. Чем старательнее Она скрывала страх за шутками, тем острее я чувствовал, что не в силах успокоить Ее.

Вечера в Брюсселе мы проводили вместе, слушая музыку, читая или беседа в большой пустой гостиной, среди разбросанных книг и пластинок. За шестнадцать лет — с тех пор, как Она вошла в мою жизнь — мне ни разу не наскучило Ее общество. Всегда был повод смеяться или плакать, все было интересно.

Рядом с Ней я никогда не скучаю по Саре. Скоро я увижу Ее снова. И больше уже не оставлю.

Ковыляю к ванной. Приму душ. Потом оденусь, и никто меня здесь не удержит. Если Сара вернется до моего ухода, я объявлю ей, что между нами все кончено, все потеряло смысл и лучшее у нас уже позади. Я скажу, что между мужчиной, которому пятьдесят два, и женщиной, которой двадцать восемь, ничего не может быть. Даже красивого разрыва. Я скажу ей это в лицо ровным голосом, стоя чуть поодаль. Будет ли этого достаточно?.. Как не показаться смешным? Как суметь не рассказать, что я желал от нее удовольствий, которые теперь причиняют мне страдания и пугают; что во мне открылась склонность к воздержанию, которая приводит меня в ужас; что я, конечно, буду скучать, но не могу больше обманывать себя? Я скажу, что никогда не любил ее; я крикну, чтобы до нее дошло, что мне даже приятно это ей говорить...

Нет, я не сделаю ничего такого! Во-первых, я никогда не давал объяснений женщинам, которых бросал. Я опять выбираю побег: лучше выглядеть несчастным, чем циником.

Ведь я бегу не от Сары. От себя. Как обычно. В конце концов я непременно бросаю тех, кто меня любит, — боясь, что они проникнут в мою подноготную.

До чего же светлые мысли приходят поутру! От самокритики до самобичевания... Если начну сетовать на свое ничтожество... Стоп, хватит перегибать палку! От усталости не удастся держать себя в руках.

Неверными шагами ступаю по огромной ванной комнате. На раковине — ее зубная щетка и открытый тюбик пасты, под табуреткой — вечерние туфли; значит, Сара ночевала и ушла очень рано.

Что произошло вчера вечером?

В памяти понемногу всплывает...

Ближе к вечеру она предупредила меня с очаровательной улыбкой, что уходит на вернисаж, но вернется не поздно. Предложила идти к ней и ждать. Непременно дожждаться. Не заснуть до ее возвращения... Опять вернисаж!.. Я согласился, не раздумывая, не смея отказать, оцепенев от ее рассказа о моем отце. Конечно, она разгадала правду... Я побродил по городу, пообедал с Антуаном «У Реми». Я люблю этот ресторанчик на 79-й улице, квинтэссенцию Нью-Йорка, там все словно поддельное — кухня, обстановка, официанты, посетители. Вернувшись на Хаустон-стрит сразу после десяти, я ничуть не удивился, не застав ее дома: она запросто могла застрять где-нибудь до рассвета. Но я тогда сказал себе, что так даже лучше, не очень-то и хотелось ее видеть, и она поняла, конечно.

Лечь и спать — вплоть до ее прихода. Одному в восхитительной тишине. Чувствовать редкостную свободу, удаленность ото всего. Как одинокий скиталец, несомый течением...

На память приходят персидские стихи, которые я читал когда-то очень давно:

*Зашептал мне кто-то в ухо тихим голосом в ночи:
Никому ничто не шепчет тихим голосом в ночи¹.*

Но никакой голос не явился шептать мне в ухо.

Тем временем я немного соскучился по Саре. Хотелось слышать ее голос, заниматься любовью, опять дать себя увлечь и захватить. Мне нравится быть любимым. Но не нравится любить ее...

Ближе к одиннадцати маятник качнулся в другую сторону: кому хотелось позвонить, так это Ей, за океан. Я сопротивлялся: ни разу не звонил Ей от Сары, и если позвоню — то не сейчас! И что, кстати, я скажу Ей? Она будет ждать, конечно, но я не буду добиваться встречи.

¹ Перевод Д. Крупской.

Я положил две таблетки снотворного на ночной столик. Две маленькие ярко-зеленые оливки — их дал мне Фарук, когда я стал хуже спать. Выпил одну в четверть двенадцатого. Значит, заснул, не повидавшись с Сарой — она должна была понять, она знала, что я пью эти таблетки. Мне не придется ей врать в последний раз...

Я позвонил Ей... Потом заснул. Разом. Погрузился в свой первый кошмар... Проснулся — одной таблетки мало: порой нужно две, а то и три.

Взглянул на часы: полдвенадцатого.

Даже посмотрел число: 13. Тринадцатое декабря. Неприятное число, но еще менее приятны чужие предрассудки... Сары все нет. Так поздно... Нашупал вторую таблетку и проглотил. Тяжелый сон до утра.

Смотрю в зеркало в ванной и не узнаю себя: бледный, отсутствующий. Я где-то далеко... Хватит глотать эти таблетки, они мне не подходят. Приму душ, и станет полегче.

Где-то щелкнула дверь. В студию? Приглашенные голоса — приближаются... Кажется, узнаю голос Сары, потом Макса и, может быть, еще Фрэнсис. Наконец! Хохочут. Какие странные звуки, приглушенные и четкие, отдаленные и близкие одновременно.

Пробирает дрожь. Сара здесь! Говорить с ней или нет? Но все равно видеть. И страдать, конечно.

Как обычно по утрам, Макс и Фрэнсис пойдут на кухню готовить кофе. Сара направится к себе в комнату. Да, вот она идет... Слышу, как отворяют двойную дверь. Наверняка она. Я остаюсь в ванной, словно в укрытии, прислоняюсь к стене, в нерешительности, с закрытыми глазами. Нет ни малейшего желания ее видеть. Особенно при том, что я облачен в чужой тренировочный костюм цвета охры, с босыми ногами, небритый и лохматый. Она входит в комнату. Я жду, когда услышу ее звонкий голос.

— Крис... Крис! Ты проснулся?

Как далеко она от меня! Словно в морском тумане... Она шепчет, или я плохо слышу?

Она повторяет:

— Крис, ты спишь?

Почему она снова зовет меня так? Ведь я не выношу это имя...

Я медлю, слова не идут, но она повторяет — настойчиво и как-то ненатурально:

— Крис... Проснись!

Но это нелепо, в конце концов! С чего она взяла, что я сплю? Разве не видно, что в постели никого нет? Я делаю пару шагов и выглядываю в приоткрытую дверь.

И что же? Я вижу, как она склонилась над кроватью... на которой лежу я!

Меня пробивает холодный пот, я прислоняюсь к косяку и не могу вымолвить ни слова.

Он в таком же тренировочном костюме, как на мне, руки вытянуты вдоль тела, одеяло наполовину откинута. Лицо не очень хорошо видно, но сомневаться не приходится — он похож на меня. Разве чуточку старше, дряблый и седой. Его глаза закрыты. Он спит.

Невозможно! Эта нелепость должна проясниться. И очень скоро. Наверное, меня одолеет новый кошмар. Я кричу, чтобы проснуться:

— Сара, я здесь! Я не сплю! Откуда взялся покойник?.. Если это шутка, мне вовсе не смешно!

Я не слышу себя, она тоже не слышит. Она стоит ко мне спиной, склонившись над кроватью. Я вижу складки ее серого костюма. Я подхожу к ней и кричу что есть мочи:

— Посмотри, Сара! Я здесь! У тебя за спиной!

Мой голос словно тонет в вате. Сара не оборачивается. Или делает вид, что не слышит? Склонившись над постелью, ощупывает пульс лежащего и шепчет (но кому?):

— Он умер.

Это уже слишком! Я беру ее за руку, сжимаю. Напрасное усилие: моя рука

проходит насквозь или все-таки нет, не вполне так... Я уже ничего не понимаю. Я ору:

— Сара! Хватит разыгрывать комедию! Пожалуйста, прекрати, я здесь! Посмотри на меня! Я здесь, я говорю с тобой... Что за игра?

Она не слышит, не видит, не чувствует. И все время смотрит на того человека — мертвого? — лежащего в постели. Она растеряна.

Для нее меня уже нет. Я для нее теперь покойник — в ее постели.

Она снова трогает его запястье, долго ощупывает, потом отпускает. Склоняется, прижимает ухо к груди — и выпрямляется с совершенно бледным лицом.

Я приближаюсь, вглядываюсь в неподвижное тело; бессмысленно отрицать очевидное: тело по всем признакам мое.

Утро, восемь часов тридцать четыре минуты, понедельник, тринадцатое декабря.

В это утро я не проснулся.

Я умер.

Начался первый день после меня.

Какая абсурдная ситуация! Я наблюдаю за кем-то, вживающимся в мою смерть, но дальнейшие действия Сары волнуют меня больше случившегося со мной.

Да и как поверить? Слишком невероятно. Найдется же когда-то всему объяснение... Я вырвусь из дрянного кошмара, пусть и больше похожего на явь, чем другие...

Хорошо бы пораньше! Мой разум не выдержит, если многоточие протянется слишком долго.

Подхожу к двери в студию, протягиваю руку — проходит насквозь. Ужас! А ведь я помню, как утром брал часы и глядел на них. После смерти — если правда, что я умер — мне уже ничего не поднять рукой.

Я никогда не думал о том, что жить — это значит брать, поднимать, держать. А после смерти ты утрачиваешь эту способность и постепенно удаляешься... Как бы удержаться? Только что я мог держать в руке одну вещь. Но я еще вижу, слышу и что-то чувствую. До поры, до времени... Что останется от меня?

Растворюсь. Исчезну — бесследно. Голова кружится от страха. Я так часто думал об этом... Надо быть сильнее! Не верю, что смерть ведет в небытие, смерть — это порог иной жизни, которая вначале видится туманной, чем прежняя... И все-таки страшно. Я часто размышлял об этой минуте, когда сознание воспаряет, готовясь к выбору своего вечного пути...

Паника.

Нет, невозможно. Я слишком много думал об этом, и это только сон... Вот и все, не более того.

А если правда? А если я и в самом деле — там и смотрю на себя издалека?.. Куда отправится мое тело? В какую жизнь переместится мое сознание? Разойдутся ли они, разъединятся ли навсегда?

Как можно так думать? Зачем так легко соглашаться на роль покойника? Да ни за что! Смехотворное, дикое положение!

Надо подумать. Но прежде спихнуть этого человека с кровати. В конце концов Сара заметит меня. Берусь за матрас, пытаюсь сбросить труп. Тщетно. Пытаюсь толкнуть его, но руки не толкают — словно проходят насквозь, вернее — мимо. Даже не знаю, как объяснить.

У меня комичный вид, стою на кровати — на четвереньках, выбиваюсь из сил, дергаю его за мои собственные ноги, тут же сидит оцепеневшая Сара и ничего не замечает.

Снова подступает тошнота. Утренний прогорклый запах. Затхлый запах смерти. Отодвигаюсь, встаю на ноги. Меня качает, делаю шаг в сторону и пытаюсь ухватиться за кресло у большого мраморного стола. Сваливаюсь на Сарины джинсы. Надо успокоиться. Дышать помедленней. В конце концов кошмар уйдет. С минуты на минуту я проснусь.

А ведь со мной уже бывало такое. Однажды вечером — впрочем, когда и где? — я принял, как вчера, одну из зеленых оливок, которые Фарук готовит

в Лондоне специально для аптеки Хэрродз¹. Я улетел тогда очень далеко, но не в такую даль, как сейчас, и не застревал там так долго. Да еще так реалистично.

Зря я проглотил две. Я всегда остерегался снотворных. Еще год назад боялся их как наркотика, затягивающего в рабство. Я чувствовал себя сильным, не поддавался печали. Но потом стал пропадать сон, сделалось все труднее выносить долгие ночи. Однажды в самолете, летевшем в Бомбей, я все-таки взял пилюлю у Фарука. Ее действие мне понравилось, и я попросил еще. С тех пор он посылает мне их регулярно, а Она очень возражает против пилюлей. И Сара тоже. Это единственное, в чем они сходятся. «Это твоя слабость», — говорит Сара. «Что у них там внутри? Ты знаешь хотя бы?» — вопрошает Она.

Конечно, дело в снотворном — оно мешает мне вырваться из мерзкого кошмара.

Кошмар? А Сара все же реальнее сейчас, чем кто-либо в моих снах. Все окружающие предметы более чем реальны: цвета, запахи, ощущения, вещи. Только звуки кажутся удаленными.

Мало что увидишь в обычном сне. Да и когда снится, разве спрашиваешь себя то и дело, не сон ли это?

А если я и вправду умер? Если это я разлежусь там, как покойник? Нет, невозможно! Только не здесь, да и время еще не пришло. Еще столько надо успеть! Восстанавливаю в памяти список завтрашних встреч в Брюсселе: куча! Обязательно надо быть там... Хватит, наштутились. Нужно немедленно проснуться, принять душ, мчаться в аэропорт Кеннеди, лететь домой.

Прежде всего нельзя умирать здесь. Я хочу быть рядом с Ней. Чтобы обо мне позаботилась Она! Я не заслужил такого конца. Что скажет Она, если узнает, что я умер здесь, у случайной женщины, о существовании которой Она только недавно узнала? Это будет слишком глупо! Тем более я как раз собирался расстаться с Сарой...

Я смотрю на нее, сидящую в оцепенении на краю постели. Нет, она не убита горем, ее не сотрясают рыдания. Я слишком хорошо ее знаю: если мне случится умереть, ей будет приятно побыть какое-то время несчастной — потом возьмет себя в руки и забудет.

Странное дело: я привыкаю думать о себе как об умершем. Нужно сопротивляться. Жизнь держится только на моей недоверчивости. Стоит поверить смерти — и меня уже не отличить от того, который растянулся на кровати...

Долго я буду так порхать вокруг моего... трупа? *Труп*: какое страшное слово! Но все-таки — кто же из двоих я? Тот, что на кровати, или который на него смотрит?

Реальность... Тоже — сон, разве чуть более сносный.

Она сказала однажды что-то похожее о жизни и грезах. Но что именно?.. Сейчас не время гадать, есть дела поважнее.

Бороться. Отчаянно бороться, чтобы проснуться. Один глоток кофе, и сразу все станет намного проще!.. Нужно подняться, дойти до двери, попасть на кухню и приготовить кофе... Я встаю, шагаю, приближаюсь к тотему. Сара не шелохнулась, когда я проходил мимо, почти задев ее. Я схватил ее за запястье... Моя рука прошла насквозь. Но в стену я при этом упираюсь. Невозможно выйти. Непостижимо.

Снова сажусь в кресло у стола. Я беспомощен. Остается только ждать, словно гадая, где я — в темном туннеле или под открытым ночным небом.

Сара стоит у кровати спиной ко мне и лицом к телу — в нескольких метрах от меня. Может быть, нас разделяет вдобавок несколько световых лет.

Мы долго не двигаемся — в густой вязкой тишине.

Неужели это и означает умереть? Тайна, в которую пытались проникнуть тысячелетиями. Просто находиться рядом со своим телом, но самому при этом быть недостижимым?

Дождь перестал. Декабрьские ночи в Нью-Йорке такие длинные, что день никогда не наступает.

Кто-то осторожно стучит в дверь. Три раза. Слышен голос:

¹ Торговая марка и комплекс самых дорогих магазинов в Лондоне.

- Сара? Все в порядке? Ты идешь?
 Макс. Детский и лукавый голос Макса.
 После долгой паузы Сара отвечает:
 — Все в порядке. Не беспокойся. Я сейчас приду.
 Она говорит так скорбно, что Макс немного колеблется и вдруг просовывает в дверь лохматую рыжую голову.
 — Что случилось? Жюльен заболел?
 Она поднимает глаза и цедит сквозь зубы:
 — Нет, Жюльен не заболел. Он умер.
 Ах, этот голос! Тот самый, что я впервые услышал в самолете, когда мы познакомились, голос, которым она поведала мне о смерти своего отца.
 Входит Макс и закрывает за собой дверь. У него необычно услужливый вид. Он смотрит на Сару, не смея взглянуть на постель.
 — Как ты сказала? Жюльен умер?
 Не отводя глаз от неподвижного тела, Сара шепчет:
 — Да, можешь сам убедиться, если хочешь.
 Он смотрит, бледнеет, приближается к покойнику. Потом отступает на шаг. Густо краснеет. Он словно радуется чему-то, или мне кажется?
 — Как это произошло?
 Она пожимает плечами.
 — Мне ничего не известно. Я только зашла в комнату и увидела, что он лежит вот так.
 — Ты уверена, что...
 — Да, я щупала пульс. Сердце не бьется. Он умер, это точно.
 Макс ищет глазами телефон и обнаруживает его на письменном столе.
 — Надо позвонить в полицию! Или 911 — в спасательную службу. Нам скажут, что делать.
 Она хватается за руку. Он удивленно смотрит на Сару.
 — Нет, Макс. Не суешься, ничего не делай... Пока что... Мне нужно подумать. Никому ничего не говори.
 Макс кладет руку Саре на плечо. До чего же мне не нравится его покровительственный вид! Этому мальчишке со скользкими глазами здесь нечего делать! Она высвобождает плечо. Он отступает на шаг и торжественно произносит:
 — Решать будешь ты. Но, по-моему, нечего затягивать. Тем более это противоречит закону. По крайней мере, надо позвонить врачу, пусть констатирует смерть.
 Она молча кивает. Макс продолжает:
 — Ужасно... Еще вчера, около шести, мы разговаривали с ним. Он был такой веселый!
 Она удивлена:
 — Так ты был там в воскресенье? И говорил с ним?
 Он опять краснеет.
 — Мы только обменялись парой слов... А утром, перед уходом, ты ничего не заметила?
 — Нет, он спал, когда я пришла вчера вечером. И утром еще спал, когда уходила; я ушла очень рано. Немного поработала в офисе и пошла пройтись.
 Он подходит к ней и опять кладет ей руку на шею.
 — Я вижу, ты огорчена... Ты любила его?
 Как он смеет?
 — Не знаю,— бесцветным голосом отвечает Сара.
 Как смеет она?
 Он замолкает. Потом снова спрашивает:
 — Похоже, он не просыпался; может, сердечный криз?
 — Не знаю... Это больше не имеет значения.
 — Я прошу тебя, Сара, надо кого-нибудь позвать! Нужно побыстрей узнать, от чего он умер! Нельзя оставаться вот так и ничего не делать. Прости мою настойчивость, я понимаю твою горе, но, по-моему, действительно очень важно не затягивать...
 Сара не отвечает. Она не слушает. Я вижу только ее спину. А мне так

хочется заглянуть ей в глаза! Макс пристально смотрит на нее. Станным взглядом. Мальчишка явно влюблен. Почему я об этом никогда не думал?

Она неподвижна. Она еще не сделала ни единого нежного или горестного жеста. Даже едва прикоснулась к телу — разве чтобы пощупать пульс и проверить, не бьется ли сердце.

Нет, этого не может быть. Нет, если бы я на самом деле умер, она вела бы себя иначе.

— А по-твоему, — спрашивает Макс, — от чего он умер, от инфаркта?

Сара оборачивается к нему. С кресла, где я сижу, мне не видны ее глаза.

— Может быть. Он говорил, что перенес сильный приступ два года назад. С тех пор вел себя очень осторожно. Кажется, у него недавно был еще приступ.

Неправда! Не было ни одного приступа после инфаркта — два года назад. И об этом я никогда не рассказывал Саре. Определенно!

Как она докопалась? Кто ей сказал? Я и не подозревал, что она так много знает обо мне.

Может, наводила справки?.. Ах, да, смерть моего отца... Значит, она знает все об этом? Как она должна меня ненавидеть...

Сара умолкла, опустила голову. Словно съежилась. Но плечи у нее не дрожат — и не подрагивают, если ей и больно, то она хорошо справляется. Вспыльчивая, несдержанная в чувствах — и вдруг такая спокойная. Мне это малопривлекательно. Пусть бы лучше плакала, причитала, целовала меня, прижимала, пусть бы прогнала всех из дома; пусть бы попыталась спасти, найти меня там, где я сейчас, и вызволить...

Да никакой это не первый день после смерти. Слишком посредственный сценарий. Смехотворный. Как отрывок из «Сумеречной зоны»!

Под утро приснилась смерть отца — теперь снится собственная...

Когда придет моя настоящая смерть, она ничуть не будет похожа на эту жалкую карикатуру. О ней объявят агентства новостей, в церквях исполнят отходную, весь мир перестанет дышать — ну, по крайней мере, задержит дыхание. Обо мне напишут длинные статьи. Осветят роль, которую я сыграл. Будут хвалить описание жизни де Сталя, законченное, не требующее добавлений, потому что я, разумеется, завершу его до того, как умереть.

Ничего похожего на эту историю с неизвестным покойником в разобранной постели случайной женщины, в псевдошикарной студии, в центре чужого города.

Сара оборачивается. Как она бледна! Словно постарела.

— Макс, выйди на минуту, пожалуйста. Мне нужно побыть с ним наедине, — шепчет она ровным голосом. Макс кивает и хочет сказать что-то. Но она прерывает с улыбкой: — Пока что никому ни слова, хорошо? Чуть позже. Постарайся для меня. Можно на тебя положиться?

Макс кивает, прикасается к ее щеке и удаляется, осторожно закрыв дверь.

Она неподвижно стоит у изголовья, слева от постели, и смотрит на умершего. Я подхожу, чтобы лучше ее видеть. Как она красива! Вкрадчивая, безмятежная красота. Только ростом она кажется чуть ниже, чем вчера. Может быть, оттого, что я удаляюсь?.. Она наклоняется. Притрагивается к глазам умершего, будто хочет опустить веки. Разве они остались открытыми? По-моему, я видел, что они закрыты, — это тоже странно.

Рука замирает над лицом. Как тайное благословение или любовная ласка. Потом Сара выпрямляется и смотрит на стакан с водой у изголовья. Берет в руки, внимательно разглядывает и ставит обратно на столик. Выдвигает ящик, вынимает флакон со снотворным и ставит рядом со стаканом, на виду. Зачем?.. Озабоченно обходит комнату, словно ищет чего-то. Проходит туда-сюда передо мной, ни разу не взглянув на кресло, в котором я опять сижу.

Снимает трубку, набирает какой-то номер. Долго ждет. Нетерпеливо топчется. Кому она звонит? Пожимает плечами и раздраженно бросает трубку. В нерешительности идет в ванную и запирается. Долгий шум душа. Наконец выходит — нагая, немислимо красивая. Хочется желать ее. Она роется в шкафу и вытаскивает джинсы и черную блузку, похожую на ту, которая была на ней,

когда мы познакомились в самолете. Может, это те же самые джинсы и блузка.

Мелькает мысль: не отложила ли она их заранее для такой минуты?..

Она торопливо надевает их, босиком идет к постели и одним точным движением прикрывает тело одеялом. Несколько секунд смотрит на одеяло, затем идет к двери и кричит:

— Макс, можешь войти, если хочешь.

Молодой человек сразу же входит. Будто стоял прямо за дверью. Он краснеет и изумляется:

— Ты переоделась? Как ты могла... перед ним?

Она улыбается украдкой.

— Почему нет? Мне нужно взять себя в руки. Что тут такого?

Она почти выкрикнула. Он неловко указал в сторону постели.

— Не надо говорить так громко.

Она пожала плечами и повернулась к нему спиной.

— Почему? Печаль измеряется не тишиной, мой мальчик. Ты поймешь позже...

Я улыбаюсь. Это обо мне.

В октябре мы приехали в Рим повидаться с ее матерью. Сара вдруг захотела, чтобы я познакомился с ней. Я согласился с некоторым беспокойством: ведь я ей ровесник. Встреча вышла маловеселая. Потом, покинув дом, мы поднимались в город и хмуро осматривали один памятник за другим. Вместе с шумной толпой мы попали в церковь Сан Пьетро ин Винколи почти к самой гробнице Юлия II¹, где надо всем царит Моисей работы Микеланджело, — шум вокруг нас Сара сравнила с тишиной на кладбище в Аспене. Кажется, я что-то произнес в ответ — о тишине и сожалении. Я не думал, что она запомнит. И вот она повторила слово в слово... Почему теперь? И почему так громко? Ради чего?

— Перестань называть меня своим мальчиком, — сердится Макс. — И возьми себя в руки. Уже полдесятого. Придут люди. Нельзя Жюльена держать здесь. Это противозаконно. Ты хочешь, чтобы Фрэнсис и Джоан разболтали всем кругом? Надо что-то решать. Лучше всего закрыть офис на сегодня. Я найду, что сказать клиентам.

После минутного колебания Сара четко произносит:

— Нет, Макс, не нужно. Делайте все, как обычно. Моя личная жизнь не должна нарушать наши дела! Кроме того, на утро назначена очень важная встреча — и не думай ее отменять. Ты должен принять их один.

— Но ведь ты отлично знаешь, что мы держим двери открытыми для всех! Если сюда зайдет кто-нибудь... Ты отдаешь себе отчет? Тебя будет допрашивать полиция. Они удивятся, что ты не поставила их в известность сразу.

Сара пожимает плечами.

— Людям незачем входить в эту комнату. Это мой домашний угол. Если понадобится, я закрою дверь на ключ. Послушай, это решено, вниз спускаться я не буду и никому говорить тоже — пока что. Ни полиции, ни врачу. Никому. Обсудим это позже. Мне надо подумать. Я надеюсь, ты способен это понять?

Он качает головой.

— Нет, не могу. Ты не права. Даже по отношению к нему: ему будет лучше в больнице.

Сара словно колеблется.

Нет, она этого не сделает! Не согласится! Я не хочу валяться в морге в выдвижном ящике!

А мое сознание — последует за телом или сможет остаться здесь? Сумею я оторваться от тела? Унести из этой комнаты, из Нью-Йорка?

Возможно. Но нет ни малейшего желания. Во всяком случае — покидать место, где я заснул. Если я это сделаю, я рискую никогда больше не вырваться из кошмара.

Сара овладевает собой. Решение принято. Чеканит слова:

— Не настаивай, Макс. Пока что тело Жюльена останется здесь. Пойми,

¹ Юлий II (1443—1513) — Папа с 1503-го по 1513-й, покровительствовал художникам.

предстоит решить слишком много вопросов. Нужно выяснить, можно ли его вывезти на родину или следует похоронить здесь. У меня нет ни малейшего понятия, как полагается действовать. Не говоря уже о том, что у него имеется брат. Прежде всего я должна найти его, сказать, чтобы он взял все в свои руки. Он и будет решать, что делать. Я не желаю, чтобы о смерти Жюльена ему сообщила полиция, я ничего не скажу до того, как дозвонюсь брату...

Ты права, Сара, я хочу, чтобы именно он занялся этим делом. Так звони же ему, не тяни! Чего ты ждешь? Пусть Она узнает от него, только он подберет нужные слова...

Как Она воспримет это известие? Ужасно...

Нет, не надо Ей знать, что я умер здесь... Для меня это хуже самой смерти. Наверно, все-таки стоит перевезти тело в больницу! И пусть Ей скажут, что я умер там. Быстрее, Сара, решайся! Отправляй меня в больницу, в клинику, я хочу убраться отсюда!..

Я больше не увижу Ее. Не смогу обнять. Может ли умершего душить печаль? Может ли умерший плакать?

— ...И потом,— продолжает Сара,— на это уйдет время: понятия не имею, где искать его брата! Я даже не знаю адреса...

Ну, что ты несешь, Сара? Ты прекрасно знаешь, где живет Эммануэль. Мы обедали у него на конюшнях в Сотвиле меньше двух месяцев назад! Единственный раз, когда ты приезжала в Руан. Ты записала его телефон в свою черную книжку с календарем. В ту, что лежит на столе у тебя за спиной! Почему не позвонить ему сейчас же?

Макс в нерешительности: бросает взгляд на Сару, направляется к двери и, взявшись за ручку, отвечает:

— Очень хорошо, я подожду, никому ничего не скажу. Но я не согласен. Возникнут проблемы. Будет ясно, что Жюльен умер много часов назад. Это не пройдет незамеченным. Не говоря уже о том...

И, краснея до корней волос, потупив взор, с особенно неестественным видом бормочет:

— Не говоря уже о том, что следует известить Ее. Ты подумала об этом, про Нее?

Откуда он узнал о Ее существовании? От Сары? Значит, она все рассказала и обо мне?

— Разумеется, следует известить и Ее...

Она говорит очень медленно. Потом встает и нервной походкой мексиканской лошади направляется к тотему команчей. Макс снова спрашивает:

— Ты хочешь это сделать сама? Может, лучше позвоню я? Или свяжусь с французским консульством, чтобы известили они?

Она отвечает резким голосом:

— Нет, Макс, не звони никому. Вначале я должна поговорить с Эммануэлем. Мне кажется, я знаю, как его найти. Но я не буду звонить ему сейчас, позвоню после полудня. В Европе тогда будет вечер. И мы с тобой решим, кто — ты или я — известит Ее.

Я вздрагиваю. Нет, я этого не желаю ни в коем случае! Я против, чтобы Ей звонила она. Нельзя Ей узнавать о моей смерти от Сары! Я категорически запрещаю ей пользоваться моей смертью для того... Нет! Вдобавок сегодня вечером Ее не застать: Она будет в Руасси — ждать меня.

Сара повторяет внушительно, прерывисто:

— Вначале я позвоню Эммануэлю, после двенадцати, в течение дня. После этого я скажу, что нужно делать.

Почему мне приходит в голову, что она долго размышляла над словами, прежде чем их произнести? Будто исполняла некий ритуал, который долго вынашивала в себе. Будто декламировала заготовленный текст. Таким голосом произносят молитву, обращаясь одновременно к присутствующим и к тем, кого рядом нет. Но к кому?

Может быть, она думает, что я ее слышу? Знает ли она, что умерший еще может слышать?..

Откуда-то из-за дверей доносятся пререкающиеся голоса. Мне кажется,

я узнаю хриплый голос Фрэнсис и нетерпеливый Сиднея. Они все ближе, кто-то приоткрывает дверь. Фрэнсис. Ей не видно кровати.

— Ты замешкалась, Сара. Скоро придешь в офис?

По-прежнему красный, вспотевший и услужливый, Макс бросается к двери и начинает закрывать — слишком резко, неестественно резко.

— Пожалуйста, идите работать. Я тоже сейчас приду. Сара просила меня... Я должен вам кое-что сказать насчет этой встречи... Сара скоро придет.

Он улыбается Саре вымученной утешительной улыбкой и выходит, хлопнув дверью. Слишком сильно. Приглушенные голоса, падает стул, быстрые шаги, кто-то снимает трубку, набирает номер...

Эта ведьма Фрэнсис наверняка заметила тело. А обманывать Макс не умеет. Может быть, он даже подтвердил. Насколько я их знаю, не пройдет и часа, как весь Нью-Йорк будет в курсе. А затем Брюссель и Париж. Она узнает о моей смерти по радио, или завтра утром из газет, или от подруги, которая прочтет об этом или услышит разговор. Нет, я так не желаю! Пусть лучше позвонят Ей сейчас же, пусть сразу скажут Ей, не затягивая!

Я не заслужил такого обращения. Это слишком несправедливо.

И все, что я писал, останется незаконченным, бесформенным... Даже если проживу еще тридцать лет...

Только мысль о Ее горе заставляет меня сожалеть о смерти!

Это уже кощунство... Оно убьет меня.

Нужно успокоиться. Я слишком долго рисовал себе смерть во многих подробностях — и эту насмешку принять никак не могу.

Гордость... Наивность... Кто вообще предвидел свой конец? Разве какой-нибудь самоубийца. Или Карл V¹, присутствовавший на собственных похоронах в монастыре, куда удалился...

Жизнь — беспорядочное нагромождение подробностей. Смерть — лишняя подробность, от которой все нагромождение рушится.

Смириться. Как галька, гонимая волной. Забыться навсегда.

Одни рисуют себе свою свадьбу, другие — рождение первенца, а я вырисовывал, выписывал свою смерть и ее первые часы, не подозревая, что она может ускользнуть.

Я говорил об этом с Сарой однажды в августе — в Аспене. В тот день мы слушали концерт Монтсеррат Кабалье, которая пела Верди, Беллини, Бизе... Вечером мы признались друг другу, что как раз такую музыку нам бы хотелось слышать на том свете. Тогда-то она и сказала, что предпочитает кремацию. Несомненно. Потому что после смерти ничего нет, сказала она. А я, как я представлял себе свою? Я улыбнулся. Я был счастлив. У меня в ушах еще звучала *Casta Diva*. Смерть казалась очень далекой, я мог говорить о ней безболезненно.

В десять лет я думал, что умру на войне, брошенный в окопе. (Сара расхохоталась.) В пятнадцать — мне рисовалась агония в тюрьме, где я сижу, забытый всеми, за серьезное политическое преступление. (Она улыбнулась.) Потом я долго в мыслях не возвращался к этому; право забыть про смерть — вероятно, единственное преимущество юности. Через какое-то время эти мысли стали посещать меня снова. Мне стало казаться, что я умру в глубокой старости, у себя дома, в Люке, в том самом доме, который построил для Нее, ради Нее. (Сара отпустила мою руку.) А теперь я представляю себе мирную смерть от неизвестной болезни, не слишком долгой, не слишком мучительной; медленное погружение в сон. Сопровождаемое желанием поскорее заснуть. Без всяких страхов перед будущим. (Она пристально посмотрела на меня.) Мне больше не хочется умирать смертью борца, представлять себя запуганным или страдающим от боли; рядом будет Она, Она знает, что надлежит делать... (Сара удивилась.) Да, я часто говорил с Ней об этом. Извращение? Вовсе нет; по-моему, весь мир об этом думает. Она знает церемониал: закроет мне глаза, положит рядом особенно дорогие мне вещи, те, что достались от отца — у Нее есть список, — потом позовет моих друзей, они проведут здесь ночь и будут говорить обо мне. Затем Она повезет меня в Руан, домой, и там закажет службу. Служба пройдет

¹ *Карл V* — король французский, по прозвищу Мудрый (1364—1380), родился в 1337 г.

в синагоге. Будет играть орган. Мне нравятся песни румынских гетто. Особенно хочется, чтобы звучали мужские голоса. Приедут со всей Европы, даже со всех концов света. На этом все кончится. Склеп на муниципальном кладбище. Не важно...

Одно время я мечтал быть похороненным в Иерусалиме, но слишком боялся, что Она не сможет приехать. Конечно, Она бы не поехала! На это у Нее есть своя весомая причина... На могиле в Руане — мое имя и две даты... Все предусмотрено... Не слишком далеко от отца. Но и не рядом... Но я не говорил об этой могиле с Сарой... И не без основания!

Почему такое внимание к деталям? Потому что речь идет о том первом дне, от которого зависит все. Это настоящий судный день, когда принимается решение о вечности.

Сара рассмеялась: решение о вечности? Она объяснила, что мне нечего надеяться на подобную церемонию. Почему же? «Потому что, когда человек умирает, у евреев его стараются побыстрее похоронить и забыть, его не несут в синагогу; потому что у них — у нас — нетерпимость к смерти, только живые в счет; прах не должен быть объектом внимания». Я стал возражать. «Дай мне рассказать одну историю,— перебила она.— Царь Давид умер в праздник, то есть когда запрещено прикасаться к покойникам. Поэтому нельзя было поднять и перенести тело. А надо было побыстрее избавиться от него. Тогда решили сверху положить новорожденного, это позволило поднять тело Давида и вынести из храма. Ты только подумай,— прибавила она,— еще два часа назад он был самый значительный человек в этом мире; а стоило ему умереть, и безмянный новорожденный стал значить больше, чем он». Откуда она знала эту историю? Кто рассказал? Она ничего не ответила; упрямо молчала. Нет, я все равно хотел, чтобы надо мной был совершен обряд по моему вкусу. Во что бы то ни стало!

В тот же вечер мы сидели на террасе, под вечерним небом, любовались горой Эльберт и слушали дуэт из второго акта «Риголетто». Вдруг серьезно и даже с каким-то волнением она спросила, хочу ли я, чтобы она была рядом в мой смертный час. Я ушел от ответа, но она возобновила попытку:

— Ты хочешь, чтобы я была рядом в первый день после твоей смерти?

Я сказал «да», чтобы не сделать ей больно и поскорее закончить разговор.

После долгой паузы, ни разу не запнувшись, она прошептала строчки Никола де Сталья, которые я читал ей по памяти два месяца назад:

«Благодарю вас за то, что вы подарили жизнь существу, которое дало мне все и питает мою душу каждый день. Не волнуйтесь за ее детей: они оба — за пределами ваших возможностей волноваться...»

Почему она запомнила эти строки? Только я хотел спросить, как она принялась за другой отрывок из того же письма художника к матери Жанины:

«Не думайте, что люди, которые набрасываются на жизнь с такой пылкостью, уходят, не оставляя следа. Смысл вашего существования — быть ее матерью, и, со своей стороны, я буду счастлив умереть в столь насыщенном красками мире. Нет ни одного человека на земле, чьи мысли или труд освещают этот мир, который не приветствовал бы его во всем его величии».

Она не запинаясь, не рылась в памяти, когда произносила эти фразы, и глядела мне прямо в глаза: мы сидели на террасе, наши пальцы были сплетены. Я не сразу понял, что в ее устах слова приобрели совершенно другой смысл — не тот, что в них вложил художник. Будто написаны они были для меня. Ею.

И вот сегодня я лежу в ее комнате мертвый. Она сидит у постели и глядит на тело. На ночном столике, ближе к ней, пачка отскерокопированных писем художника, которые я ей дал в начале лета. Кто положил их туда? Их, определенно, не было вечером. Еще одна загадка.

Прожить всю жизнь и вдруг закончить ее так неуклюже. Неудача, насмешка?

К тому же я умер тринадцатого... Я никогда не придавал значения таким вещам. А Сара суеверна. Однажды в Риме нам пришлось пригласить хозяина таверны пообедать вместе с нами. Потому что нас было тринадцать — ее мать, сестра и друзья обеих. При таких условиях она не желала садиться за стол.

Как она меня довела в тот вечер! Впрочем, она лишь хотела быть собой, и никто не пострадал от ее желания...

Эта комната убивает меня. Чудится, что вот-вот явятся мои враги и заруют меня в землю... Где моя одежда? Хочется спрятаться.

Бежать... Умереть...

Может ли умерший хотеть покончить с собой, чтобы не видеть собственных похорон?..

Шум за дверью. Возможно, Макс суетится, чтобы избавиться от меня. Я уверен, что он не послушался Сары. Наверно, изо всех сил старается отправить меня на родину.

Сара снимает трубку — телефон стоит на столе, рядом с креслом, в котором я по-прежнему сижу. Набирает номер. Кому она звонит? В полицию? Эммануэлю?

— Добрый день,— спокойным голосом говорит она.— Будьте любезны, попросите Ивлин. Ах, вы думаете, что... Может быть, она уже в своем кабинете? Хорошо, я попробую позвонить вниз. Спасибо.

Она кладет трубку, потом набирает другой номер — номер ООН, конечно,— просит, чтобы соединили со службой переводов, где работает ее лучшая подруга. Долго ждет. Поворачивается ко мне спиной, я мог бы прикоснуться, обнять. Обнять ее!.. Она говорит с кем-то, благодарит, кладет трубку: Ивлин еще нет.

Интересно, который час? Пытаюсь разглядеть стрелки часов у нее на запястье — это мой подарок: почти одиннадцать. Как быстро бежит время после смерти! Куда быстрее, чем если бы все снилось.

Эти часы она не носила уже несколько недель...

Сара не двигается, ее правая рука лежит на трубке. Я вижу замешательство, вижу, что она хочет поделиться с кем-нибудь. Пусть лучше с Ивлин, чем с Максом.

Урок смирения. Первый день после меня — это также ворох забот о других.

Сара идет к окну, опускает шторы. Возвращается, зажигает лампу на столике у изголовья, справа от кровати, потом поворачивается к шкафу, отодвигает дверцу. С верхней полочки берет две черные витые свечи. Кладет их на кровать, снова поворачивается к шкафу, вынимает два больших хрустальных подсвечника и располагает их по краям длинного низкого стола, справа и слева от японских ваз. Тщательно закрепляет свечи в подсвечниках, зажигает их и тушит лампу.

Два подсвечника! Две черные свечи! Она помнит... Как они оказались там, наготове?

Однажды я сказал ей — кажется, в «Абрико»,— что человек после смерти, пока не ляжет в землю, не видит света, кроме огня двух черных свечей.

В землю... Неужели придется последовать за телом, когда его поднимут и понесут? И потом меня вместе с телом заточат на вечные времена?

Оставит ли меня сознание, когда буду лежать в земле? Я всегда боялся темноты. Пуще всего. Как избежать могилы? Но ради чего наблюдать собственное разложение?..

Ужас! Умирать, уже умерев... Поскорее бы потерять сознание!..

Ясно, что после смерти меня ждет постоянная тревога за свое сознание. А может, и желание его потерять.

На том свете нет безмятежной вечности, а есть зыбкость и обилие страхов, как в жизни.

Тот свет! Обиходное слово. Я сейчас там — ничего особенного, только никто тебя не слышит. А ведь сколько таких, кто считает себя живым...

Дурная ночь, подтачивающая нас, лживость, наполняющая нас: каждую минуту смерть отмечает их победу.

Отчего она подумала о свечах? Почему они оказались под рукой? Я никогда не узнаю. Отключусь, забуду раньше, чем пойму.

Сара, скажи, что ты будешь делать?

Она обходит кровать, снимает одеяло, с трудом переворачивает тело, соединяет ноги вместе, складывает руки на груди. Двигается словно механически,

как если бы хотела успокоиться и подумать или через простейшие действия проникнуться новой реальностью.

Она долго созерцает умершего — напоследок. В ее глазах скрыто много непонятого — ни разгадать, ни прочесть...

Резким движением она снова прикрывает останки и собирает мою одежду, разбросанную у кровати. Поднимает куртку. В кармане бумажник с двумя фотографиями: Ее и Лолы. Но нет карточек Сары. Почему Лолы? Если Сара найдет эту фотографию, она решит, что у меня есть какая-то другая женщина... Забавно... Если бы она знала!.. Нет, не забавно: ей стало бы больно. Напрасно и незачем.

Она не роется у меня в карманах, тщательно приводит в порядок мой костюм в шкафу, как если бы я вышел из дома на пару часов. Закрывает шкаф и направляется к телефону. Звонит Ивлин на работу. Той по-прежнему нет.

Она садится спиной к кровати, на середину длинного низкого стола между двумя подсвечниками.

Сидит там долго, неподвижно, прижав ладони к лицу. Ну, вот, теперь мы оказались лицом друг к другу. Может быть, это последняя минута, когда мы вместе? Как я любил помолчать с ней вдвоем!

Быть умершим — значит, наверно, согласиться им быть?.. Но почему я должен...

Сара встает, открывает дверь в гостиную и выходит из комнаты. Слышен ключ в замке.

Не оставляй меня одного!

Наедине с этим телом... С тех пор, как умер, я стараюсь держаться подальше. Не смею смотреть на него.

Я хотел бы уйти отсюда. Могу ли я ходить, как живой? Смогу сесть в машину, доехать до аэропорта Кеннеди, проскользнуть в самолет и вернуться домой?.. Конечно, нет. Нечего даже мечтать. Пока что... Не нужно сопротивляться течению сна. Если только сон не переходит в реальность.

Мне холодно. С тех пор как Сара оставила меня одного, я мерзну все сильнее. Неужели в аду холодно? Скоро ли Страшный суд? И если Бог есть, то где Он? Когда Он даст знать о Себе? Какой будет приговор, какое наказание?.. Мне страшно. Дано ли мертвым право бояться?

Я должен был проявлять больше внимания к тем, кого находил в горах в Алжире тридцать лет назад. Они, наверно, тоже страдали от одиночества, убитые в засаде, валяясь в лощине иногда неделями, пока мы не отваживались выйти на поиски. Как, наверно, им было страшно, погибшим, рядом со своими останками в лохмотьях! Никто их не утешил. Никто не позаботился о них в их первый день. Сколько вечности растрчено из-за малодушия живых, из-за варварства войны!

Зачем ходить так далеко? А мой отец? Я-то сам разве позаботился о его первом дне?.. Нет... Даже если это и не было полностью моей виной...

Жюльен, хватит лить слезы! Ведь при жизни ты только и делал, что натягивал сети лжи между правдой и совестью. Вот реальность и поплыла.

Нужно взять себя в руки. Ужасная ситуация, но пока я контролирую ее: сон снится достаточно долго, чтобы не сомневаться — это сон. Вот что самое важное.

Итак, не сходить с ума, оставаться вне происходящего. Тогда я сумею себе сказать — все это скоро кончится, я всего лишь зритель. А если я просто зритель, то остальное не более чем кошмар — разве что чуть более продолжительный. Когда проснусь, посмеюсь от души. А может, и забуду обо всем.

Странно: даже я сам хочу забыть про собственную смерть. Чего же ждать от других...

Слышу поворот ключа. Сара возвращается. Немного теплеет. Она направляется к постели, откидывает одеяло и смотрит. Что она хочет найти? Живого она никогда меня так не разглядывала. В глазах — смешанное чувство обладания, насилия и триумфа. Ни намек на печаль.

Мне трудно смотреть на труп. Я слишком далеко, различаю его с трудом.

Но сомневаться не приходится: это я. От чего же я умер? Сердечный криз? Неизвестно. Он... Я... Вид у него спокойный, расслабленный. Вот только губы сжаты, словно опечатаны страхом. Снотворное?.. Я не должен был принимать вторую таблетку. Я знал, когда глотал ее, что утром будет плохо. Но не хотелось больше думать, я слишком долго ждал Сару.

Она вчера обещала вернуться «через часок». Ее позднее возвращение — это не просто небрежность: это неуважение, это презрение к нашим отношениям, это желание затоптать все. Я был вне себя. Большинство мужчин предпочитают, чтобы их бросали. Но не я.

Сара сейчас кажется такой близкой, такой нежной. В сумраке я угадываю ее силуэт, едва освещенный двумя свечами, руки у нее соединены, как тогда в «Абрико». Молится? Любопытная мысль...

«Абрико»... Самые счастливые минуты жизни. Во всяком случае, я чувствовал себя свободным, как никогда. Был вечер в Нью-Йорке, День Благодарения. Было скучновато, или, вернее, мы собирались поговорить друг с другом о чем-то очень серьезном, но ни у нее, ни у меня не было настроения. Ей хотелось солнца. «И мне тоже», — сказал я. Мы поехали в аэропорт без определенных планов, вылетели в Порт-о-Пренс почти случайно: потому что там хорошая погода, говорят по-французски, больше нет Дювалье и еще по всяким глупым причинам.

На следующий же день нам пришлось пожалеть, что приехали: у дверей отелей топтались прокаженные. Мы увидели любопытных до неприличия туристов и выставку посредственных картин — для полных простаков...

Без особых споров мы решили на другой день переместиться в Пуэрто-Рико.

Чтобы занять себя после обеда, мы поехали вдоль берега. Несмотря на четыре «ведущие», взятая напрокат машина с трудом преодолевала плохую дорогу, на облезлых указателях мы читали странные названия деревень: Тазик с тряпками, Коралл, Иеремия, Морон. Добравшись до другого конца острова, мы хотели повернуть назад, когда увидели деревянный указатель с неловкой надписью от руки — нас очень привлекло название: *Абрико*¹.

Она положила мне руку на колено, улыбнулась, бросила взгляд в ту сторону — ладно, туда.

Минут пять мы тряслись по пыльной дороге через поле, засеянное сахарным тростником, потом показался деревянный дом с зелеными дверьми и частоколом, у которого бродили куры, нам навстречу выбежали дети. Неподалеку стоял очень похожий дом, за ним еще несколько, пруд, лошади со спутанными ногами. Вечерело. Мы ехали сюда три часа, надо было или сразу возвращаться в гостиницу или найти место переночевать.

Я спросил Сару:

— Хочешь вернуться?

Она улыбнулась чуть напряженно.

— На самом деле нет. Мы, конечно, найдем комнату в этой деревне или где-нибудь рядом. А завтра утром поедem за чемоданами в гостиницу, как раз перед вылетом.

— Хорошо. Давай так.

Перед нами раскинулась деревня, обведенная каналом с водой, двадцать приземистых домов; посередине, на перекрестке двух улиц — площадь. Грязновато-белые фасады, охристые ставни, дворики, скрытые от взгляда. Там внутри — звуки кухни и веселые голоса детей. Все дома были с фиолетовыми балконами, на них мелькали тени обитателей. По обеим улицам к площади стекалась толпа, видимо, не только односельчан, людей было слишком много.

Женщины улыбались, гордые своими кружевными корсажами, длинными выцветшими платьями, юбками с обручами и огромными шиньонами. Мужчины, напротив, серьезно шагали в старых запятнанных рединготах, из которых иногда выглядывали пожелтелые жабо; черные ботинки были тщательно начищены.

¹ *Les Abricots* — (франц.) — абрикосы.

— Пойдем посмотрим, что здесь происходит,— сказала Сара.— Оставь машину на площади.

Толпа проходила мимо без удивления, враждебности или приветливости. Мы задержались в машине, колеблясь. Пожилая женщина в огромной вышитой, когда-то сиреневой юбке взяла Сару за руку и, широко улыбаясь, вытащила из машины.

— Идемте, сейчас начнется бал! Милости просим. Выходите! И обед будет хороший. Откушайте наших блюд.

Ее странный голос, хриплый и отчетливый, нарушил тишину.

— Пошли! — сказала Сара.— Как тут откажешься!

В пестрой толпе мы последовали за сиреневой юбкой. Вскоре оказались у ворот, за которыми были видны дворик с фонтаном, деревья в цвету, около двадцати деревянных столиков и соломенные стулья. Подальше, на эстраде, у лестницы — пять скрипачей. Сиреневая юбка показала нам ближайший к эстраде столик и предложила сесть. К нам подсели три пожилые дамы. Понемногу толпа со смехом и шутками заняла столики и ступеньки. Потом женщины из соседних домов принесли разные блюда: отварных кур, иньям, сладкий картофель. Мы уже проголодались и ели с удовольствием. Женщины за столом улыбались, наблюдая за нами. И мы улыбались в ответ.

К концу обеда музыканты принялись играть что-то вроде менуэта Люлли¹ и почти правильно. Самый молодой из скрипачей в смокинге и высокой шляпе играл даже очень хорошо. У меня было чувство, что он не сводил с меня глаз. Понемногу музыка стала громче, ускорилась, и все присутствующие погрузились в молчание. Чуть ли не пугающее. Одна из пожилых дам наклонилась ко мне и прошептала:

— Вы не хотите потанцевать?

Я улыбнулся:

— Потанцевать? Мне не приходило в голову...

— Очень скоро можно будет танцевать. Но не сейчас,— торжественно проговорила она.

— Почему так?

— Потому что сейчас их очередь,— ответила она, понизив голос.

Она говорила так тихо, что Сара рядом со мной едва ли слышала. А я сомневался, что понял. Никто не встал. Площадка для танцев была пуста. Никто не двигался.

— Их очередь? — спросил я.— Чья очередь?

Женщина улыбнулась, приподнялась, огляделась и потом снова села, не проронив ни слова. Сара внимательно смотрела на нее с некоторым беспокойством.

— Очередь мертвых, конечно. Они всегда танцуют первыми.

Сара нахмурилась. Женщина повернулась, остановив на ней долгий взгляд, потом сказала чуть громче:

— Не бойтесь, они не опасны. На самом деле мы их вовсе не интересуем, если пропускаем вперед. Они будут танцевать, пока не устанут. Тогда наступит наш черед. Сейчас надо только ждать.

Все это она произнесла очень серьезно, словно излагала протокол королевского двора.

Мелодия замедлилась, музыканты один за другим остановились, за исключением скрипача в смокинге. Свет померк, как если бы кто-то задул большую часть свечей. Люди вокруг нас застыли, как статуи, некоторые — в очень неудобных позах.

— Они танцуют? — спросил я шепотом пожилую соседку по столу.

Она утвердительно улыбнулась понимающей улыбкой.

— Но как вы почувствуете, что ваши мертвые устали? — спросил я.

Ее улыбка потухла. Она повернулась ко мне спиной и продолжала смотреть на площадку. Сара тревожно взглянула на меня.

Скрипач спустился с эстрады и принялся обходить молчаливых слушателей,

¹ Люлли, Жан Батист — французский виолончелист и композитор (1632 — 1687).

не переставая играть. Был ли он церемониймейстером? Теперь я мог разглядеть его получше. Худощавый и нескладный, с узким лицом, он был почти подросток, его вечерний костюм казался новее, чем у других. Удары смычка замедлились, и он замер. Мелодию неловко подхватил альтист. Молодой человек вытащил из кармана маленькие синие и желтые бумажки и бросил их в шляпу. Он переходил от стола к столу, предлагал всем взять по бумажке и благодарил каждого с монаршей обходительностью. Он подошел ко мне и церемонно протянул шляпу.

— Здравствуйте, уважаемый господин,— прошептал он мне на ухо.— Я счастлив видеть вас среди прочих гостей на этом... несколько своеобразном приеме. Меня зовут Фунт Стерлинг. Возьмите, пожалуйста, один из этих билетиков, синий... отлично! Какой у вас там номер? Пять?.. Отлично. Вы будете танцевать с той дамой, у которой окажется желтый билетик с цифрой пять. Очень польщен знакомством.

Он кивнул мне и положил шляпу перед другим человеком за нашим столом, не задержавшись перед Сарой, что ее удивило. Он лишь улыбнулся ей, а потом, когда шляпа опустела, вернулся к музыканту, который невозмутимо наигрывал тот же самый менуэт; опустив скрипку, он хлопнул в ладоши.

— Они уже натащевались! — крикнул он.— Теперь наша очередь!

Зрители сразу же вскочили, весело размахивая своими билетиками, желая отыскать партнеров.

В тот вечер я танцевал менуэт с одной очень толстой женщиной, у которой мои оплошности в танце вызвали гомерический хохот. Сара серьезно и сосредоточенно танцевала с Фунтом Стерлингом.

Потом из-за тесноты на площадке Фунт Стерлинг уговорил нас пойти с ним в соседний дом «отдохнуть», как он выразился.

Мы не устали, но согласились: переночевать, видимо, предстояло там.

Когда мы оказались одни и лежали в темноте на деревянной кровати, я спросил Сару, почему она сохраняла такую серьезность во время бала.

— Тебе, по-моему, было не очень весело...

Она покачала головой.

— Ошибаешься. Это был прекрасный вечер. Я не надеялась, что у меня в жизни еще будет такой замечательный вечер. Я счастлива, что провела его с тобой... Танцующие мертвецы, застывшие лица, прекрасный музыкант, красивая музыка... Но меня еще пробирает дрожь... А ты веришь в это? Как, по-твоему, их умершие и в самом деле были там, рядом, и танцевали перед нами?

Она прижалась ко мне и, казалось, озабоченно ждала ответа.

— Конечно, верю! Их умершие живут вместе с ними, с ними едят, разговаривают, участвуют в их праздниках. Здесь живые и мертвые помогают друг другу.

— Ты и вправду думаешь, как говоришь?

— Ну, конечно! По всему миру живые и мертвые живут в добром согласии. Во всяком случае, жили раньше. Тысячелетиями живые заботились об умирающих, а мертвые пребывали рядом с живыми, оказывая им помощь и принося утешение. Умершие, к которым проявляли большое внимание, были, в свою очередь, особенно внимательны к нуждам живых. Теперь все это на Западе исчезло, наших стариков и больных мы отправляем умирать в больницу. Мы забываем о мертвых еще до похорон. Мы бежим от них, ненавидим их. Вот они и мстят, оставляя нас наедине с нашими проблемами. Это называется цивилизацией.

— Ты преувеличиваешь! Никто не умирает в одиночестве, даже в больнице... И потом, какая разница, там или в другом месте! В любом случае после смерти ничего нет. И ничего не будет никогда.

Я не ожидал такого отчаяния в ее голосе. Среди женщин не найдется ни одной, кто бы не отступил перед ужасом небытия. Моя попытка возразить прозвучала довольно неуклюже:

— Ничего? Все зависит от того, как пройдет первый день после смерти, который и сам зависит от того, как прожита жизнь.

— Вот и все, что ты ждешь от жизни? — пробормотала она.— Чтобы она

подготовила твою смерть? У тебя нет другой задачи, повеселее? Мне отвратительно сама мысль о вечности. Я всегда думала, что те, кто верит в вечность, недолголюбивают жизнь.

Как заставить ее поверить? Какие найти слова, чтобы... не рассказать ей все?

— Не говори так, это несправедливо. Я жду от жизни всего. Но ни на что не надеюсь. Потому что в конце всех радостей, всех успехов — стена, о которую разбивается все. Но по ту сторону стены может быть что угодно. Первый день после смерти — это точка перехода с одной стороны на другую; она подобна призме, в которой разделяются направления.

Она приподнялась и села, вдруг сделавшись очень серьезной, прижав колени к груди и опустив на них подбородок.

— Объясни, как один-единственный день может предопределить вечность? Ты мне уже говорил что-то похожее в Аспене. Я не поняла.

Я почувствовал, что она втягивает меня в разговор о том, что я слишком давно скрывал. Чем не желал делиться. С ней, во всяком случае.

— Да, если в первый день после смерти живые хорошо обращаются с умершим, он может рассчитывать на вечность. Если же, напротив, обращаются плохо или просто-напросто пренебрегают, его уделом будет Небытие.

— Где ты это раскопал? Из какой варварской религии взялись эти причудливые и несправедливые правила? Никому не дано знать, что произойдет в первый день после его собственной смерти. Если бы в этот день предопределялась вечность, то она зависела бы от чистой случайности.

Итак, необходимо было объяснять, слишком много рассказывать. Я знал, что когда-нибудь придется пожалеть об этом. Я медленно начал.

— Если тебя любили, если ты кому-то давала счастье или надежду, непременно в день твоей смерти найдется человек, который закроет тебе глаза, поставит два больших хрустальных подсвечника у твоих ног и зажжет две черные свечи; найдется человек, который соберет твоих друзей, устроит ночное бдение, произнесет молитвы и окружит дорогими тебе вещами. Иначе говоря, найдется такой человек, который поможет тебе вынести ужас перехода.

Она долго размышляла и потом мягко, печально спросила:

— Ты веришь, что умершим помогают в их первый день?

— Да, верю. Во всяком случае, в тот день живые должны все делать так, словно умершие слышат. Они должны говорить для них.

Она слушала очень внимательно; никогда раньше я не видел ее такой отстраненной от меня. Ни ей, ни мне не хотелось приблизиться, прикоснуться друг к другу. Для нежности в ту минуту мы были вне досягаемости.

— Так это для тебя и значит преуспеть в жизни? — тихо спросила она. — Найти кого-нибудь, кто возьмет на себя заботу о твоей смерти?

В моих мыслях я никогда не находил для этого таких слов.

— Некоторым образом да.

— Но это столь же бессвязно, насколько несправедливо! Бывает, что человек умирает от несчастного случая, вдали от близких, один. И что — тогда он лишается вечности, даже если жил праведно? Но это ужасно! Представь, мы оба сегодня умрем; не проснемся утром (это не исключено, допустим, нам подсунули отравленное блюдо, мало ли что) — как пройдет первый день после нашей смерти? Ты можешь себе представить? Здесь обнаружат два трупа, совершенно ненужные этим крестьянам, которые так заботятся, чтобы все выглядело прилично! Они не будут знать, что делать с нами: в лучшем случае положат в кузов грузовика и отвезут в Порт-о-Пренс; в худшем — бросят в море, чтобы не создавать себе проблем с полицией, — это скорее всего. Отличное начало! И если тебе верить, тогда нам не светит никакая вечность?

Ах, эта ее упрямая горячность... Что за этим скрывалось, чем она была возмущена?

— Ты слишком реалистка, слишком... американка! Через пару минут ты затеешь разговор о похоронных расходах, перевозке тела и страховках! Попытайся посмотреть с другой стороны. Глубже того, что лежит на поверхности. Я знаю, ты можешь, ты так хорошо чувствуешь... То, как эти люди отнесутся к нам завтра, если мы сейчас умрем, будет зависеть от того, как, на их взгляд, мы

вели себя сегодня. Мы приняли участие в их празднике, уважили их традиции, ушли по их просьбе — они, конечно, готовились заняться чем-то, не имеющим к нам отношения,— может быть, поговорить с усопшими. Поэтому они уважают и наши обычаи. Если на рассвете найдут нас мертвыми, они, несомненно, сделают все, что положено, по их мнению, и как можно лучше. Нас отправят в Порт-о-Пренс и будут читать молитвы.

— Откуда такой оптимизм? Это на тебя не похоже.

— Никакого оптимизма. Я просто констатирую, что подобный поступок — самый рациональный для них. Уничтожить трупы — значит создать себе проблемы. Даже если выбросить тела в море, все равно станет известно, что мы были здесь.

— Да кто узнает? Кто вообще знает, что мы на Гаити? — она вздрогнула. — ...А, вот почему... ты сказал Ей?

Секунду я колебался:

— Да, я предупредил Ее. Я всегда говорю Ей, куда еду. Я обещал позвонить завтра утром. Если не позвоню, Она будет волноваться, разыскивать. В конце концов найдет... Но даже если не найдет, Ее волнение для меня дороже любых молитв.

Она недовольно отодвинулась. Я редко упоминал о Ней. Не договариваясь, мы всегда старались не произносить того, что могло встать между нами. Я никогда не скрывал, чем Она была для меня; Сара, кажется, смирилась с этим, как с неким непреодолимым и невидимым препятствием.

После долгой паузы она пододвинулась ко мне, словно хотела, чтобы я понял, насколько серьезно то, что она решила сказать:

— А если ночью я умру вместе с тобой, обо мне никто не побеспокоится.

Взволнованный ее глухим голосом, прозвучавшим будто издалека, я совсем не знал, что ответить, и пробормотал в конце концов:

Что ты знаешь об этом? Может, как раз в эту минуту в Риме твоя мать гадает, где ты, чем занята. Она и спасет тебя. Расстояние тут не имеет значения... Сара пожала плечами.

— В Риме сейчас семь утра, мать, скорее всего, легла поздно, с кем-то случайным, нюхнула, наверное, дозу кокаина. Проснется к двум часам дня. Она удивится, что за тип лежит с ней рядом, прогонит его и начнет искать, с кем бы провести следующую ночь. А сейчас она спит... Или, вернее, в отключке. Как же, по-твоему, она может думать обо мне? А завтра не будет думать и по-прежнему.

— И больше думать некому? — спросил я.

Я никогда не спрашивал, был ли у нее еще кто-нибудь, кроме меня. Я никогда не смел вмешиваться в ее жизнь: это означало дать ей право влезать в мою.

— Нет, никто не думает обо мне,— грустно сказала она.— Никто. Даже ты не станешь, когда я умру. Разве что ты тоже умрешь, тогда другое дело... Видишь, лучше всего нам умереть вместе. Может, тогда ты возьмешь меня в свою вечность, какой бы она ни была.

Я был тронут и взял ее за руку.

— Да, я поведу тебя в мой Рай. Или, вернее, ты присоединишься ко мне потом, попозже, ведь ты еще слишком молода, чтобы думать об этом. В то время как я...

— Я решительно не верю твоим рассказам. Если это правда, то мир мертвых хуже нашего: абсурдней и еще банальней. У нас богатство и бедность, любовь и ненависть зависят от случайности. А там от случайности зависит вечность... Мне спокойней думать, что после смерти нет ничего, только небытие, одинаковое небытие для всех! По крайней мере, небытие справедливо.

Никогда не забуду, как чуть позже она прошептала:

— Я смогу любить только раз. И выхода из этой любви не будет. Она будет бесконечной, потому что безвыходной... А если выход найдется, я заложу его кирпичами.

Я не был уверен, что хорошо понял, но повторить она не могла — уже заснула.

Звонит телефон... Далеко? Нет, на столе. Сара нерешительно подходит. После четвертого звонка снимает трубку.

— Алло, привет, Ивлин, спасибо, что звонишь...

— ...

— Да...

— ...

— Ничего серьезного... В конце концов, если... Но я хотела бы поговорить в другом месте. Надо увидаться, срочно.

— ...

— Ну, не прямо сейчас, мне нужно еще кое-что сделать... Скажем, через полтора часа, хорошо?

— ...

— Не стоит. Я сама приеду. Давай встретимся в кафетерии на Плаца и там позавтракаем.

— ...

— Не волнуйся. До свидания.

Кладет трубку. Что она теперь будет делать? Я слышу голоса за двойной дверью: деловая встреча, о которой она недавно говорила, началась без нее. По какому поводу? Ах, да, припоминаю: уже несколько месяцев ее агентство пытается привлечь продавцов к ретроспективе индейской живописи. Утром она должна была предложить картины представителям одной очень крупной нью-йоркской галереи. И вот эти люди пришли. К их удивлению, Сары нет. Макс показывает полотна, чтобы занять время.

Эта встреча в студии еще раз доказывает, что я умер: нельзя увидеть во сне столь подробное течение завтрашнего дня.

Как и я, Сара прислушивается к звукам за стеной. Нерешительно направляется к двери. Пойдет к ним? Ей не до того. Но очень хочется. Слишком сильно ждала.

Когда как-то в августе мы впервые приехали в Аспен, она потащила меня искать индейские сапоги, уверяя, что они мне очень пойдут. Мы исходили не одну деревенскую улицу, и в нескольких лавках я мерял сапоги. Мне казалось, что неловко строгие выглаженные брюки заправлять в тесные голенища. Она очень смеялась. В конце концов удалось отговорить ее от затеи.

Она хотела идти в гостиницу пешком. Стояла прекрасная погода.

— Зря ты отказался, это настоящие индейские сапоги. Таких не найдешь нигде в Европе.

— Как они будут выглядеть в кулуарах Комиссии?

— Да нормально. Это прекрасные сапоги, ручной работы.

— По-моему, их делают на фабрике. В Денвере или на Тайване.

— Ничего подобного. Их здесь шьют искусные мастера, художники.

— Художники? Не слишком ли?

— Да-да, среди индейцев есть художники, великие художники...

— Ну, самое большее, кустари. Это еще не искусство. В первый раз слышу об индейских художниках.

— Ты не прав, бывают исключительные... Даже художники.

— Художники? Почему-то до сих пор они не подавали никаких признаков жизни.

Она нерешительно посмотрела на меня и пробормотала:

— В гостинице я покажу тебе что-то такое, о чем не знает никто, даже моя сестра с братом, не говоря о матери.

— Что же это?

— Увидишь.

В гостинице, миновав комнату ее отца, мы поднялись на последний этаж. Оттуда она любила наблюдать, как восходит солнце над горой Эльберт. Узкая лестница вела вверх, под самую крышу. Сара повернула ключ в двери, отперла два висячих замка, и мы вошли в длинную комнату, где стояли в деревянных рамках десятки, а может, и сотня картин всех размеров. До сих пор помню запах того сомнительного масла.

С насмешливо-надменным видом она повернулась ко мне и сказала:

— Ну, гляди, чего ты ждешь?

Я осмотрел несколько полотен: пейзажи, симпатичные животные, тонкое сочетание красок, но ничего по-настоящему нового. Любительская работа прикладного художника.

— Тебе нравится? — радостно спросила она.

— Это неплохо... Кто автор? Твой отец?

Она расхохоталась:

— Нет, не он, несчастный... Это крупнейшая в мире коллекция индейской живописи. Отец собрал здесь лучшие с начала века полотна художников сиу, шошонов, хопи, команчей и апачей. В соседней комнате — великолепные гончарные изделия, можешь тоже посмотреть, если хочешь. Но его главной страстью была живопись. Я уверена, что здесь находятся произведения величайших творцов Америки. Я хочу, чтобы люди узнали о них!

Меня смутил ее энтузиазм. Обладая столь верным вкусом, увлечься незнамо чем...

— Да, понимаю, чтобы люди узнали... Это, пожалуй, будет трудно...

— Да нет, все уже готово, — воодушевленно сказала она. — Я мечтаю выставить все полотна в большой нью-йоркской галерее. Уже очень скоро. Весь мир тогда признает их ценность. Нечто похожее ожидается в декабре — ретроспектива художника-шошона. Ты придешь, конечно? Нью-Йорк будет потрясен. Америка всегда считала индейцев паразитами, низшими существами, желая оправдать экспроприацию земли и истребление. Они никогда не имели права быть художниками или музыкантами. Благодаря этим картинам все переменится, индейцы откроются для мира по-новому, к ним станут относиться серьезно. А потом я из этих картин сделаю музей. Никто тогда не посмеет сказать, что мой отец был всего лишь хозяин гостиницы.

Как ей объяснить, что ее увлеченность заслуживает большего, чем эти посредственные полотна? Мне стало неловко, она поняла и обиделась. Остаток дня прошел грустно...

Нет, Сара не выйдет к посетителям, хотя отказаться трудно. Она опять снимает трубку, набирает номер, ждет. Напрасно. Снова набирает, опять безрезультатно. Колеблется, набирает другой номер, длинный — наверно, заокеанский. Кому она звонит? Там отвечают. Похоже, по-французски. Она спрашивает Эммануэля. Значит, все-таки решилась! Но... Сегодня она говорит по-французски почти без акцента! Мы-то с ней всегда говорили по-английски, потому что по-французски у нее получалось неловко, как она объясняла. Так оно и было: очаровательно и неловко. А сейчас какой у нее правильный язык! Почти безупречный. Может, после смерти речь воспринимается иначе?

Моего брата нет. Как и следовало ожидать: он никогда долго не засиживается в своем бюро. Он не особенно любит работать и, во всяком случае, никогда не задерживается в Руане. Он, наверно, уже на дороге к своим конюшням в Сотвиле. Он больше интересуется генеалогией своих лошадей, чем клиентов. Не глядя в записную книжку, Сара набирает другой номер, снова иностранный — опять Эммануэля, я догадываюсь по набору. Как она запомнила номер?.. Брат будет дома через несколько часов. Она кладет трубку. Значит, до вечера он ничего не узнает. Тем лучше. В любом случае он уже не сможет прибыть в Нью-Йорк до завтрашнего полудня. И еще ему придется лететь одиннадцатичасовым рейсом. С другой стороны, он не любит рано вставать! Он так прелестно небрежен, всюду опаздывает...

Сара, кажется, немного расслабилась. Почти улыбается... В ее распоряжении первый день после моей смерти. Что она будет с ним делать?

Она колеблется. Снова листает записную книжку. Переписывает номер в блокнот, принимается набирать, кладет трубку, не закончив. Задерживает руку на трубке. Я уверен, что это Ее номер. Она звонит Ей... Я не хочу! Незачем Саре говорить с Ней! Сара может обронить какое-нибудь страшное слово, она уже сделала все, чтобы отдалить меня от Нее.

С той поры, как Она узнала о Саре, Она почувствовала в ней врага. Не конкурентку и не соперницу — а врага. Теперь, когда я отправлялся в Нью-Йорк,

Она больше не провожала меня в аэропорт — под всяческими благовидными предложениями Она удалялась в квартиру на улице Тэн Бош и сидела там обиженная.

Если я хотел бросить Сару, то по единственной причине — из-за Нее. Чтобы больше не причинять Ей ни малейшей боли и чтобы сохранить Ее... еще немного. И если я решил порвать именно сегодня, то потому, что вчера они в первый раз поговорили друг с другом.

Сразу же после второй таблетки снотворного захотелось услышать Ее голос... Чтобы Она успокоила меня. Я позвонил Ей. В Брюсселе было пять утра, тринадцатое декабря. Я не разбудил Ее: Она тотчас сняла трубку, словно ждала звонка. Я объявил Ей, что приезжаю вечером. Не дожидаясь ответа, я попросил Ее сесть в поезд и ехать в Париж к прилету моего «Конкорда». Она ответила «да». Потом сделала паузу, Она отлично знала, что я звонил не только из-за этого: я никогда не предупреждал Ее о возвращении из Нью-Йорка. А Она никогда не встречала меня.

— У тебя все в порядке? — спросил я после паузы. — Ты рада, что я приеду?

Она коротко рассмеялась.

— Конечно... Но я удивлена: я думала, ты отложил свой приезд.

Ах, этот голос, столь детский для Ее лет, столь серьезный, столь зрелый.

Она повторила:

— Так это правда? Ты приезжаешь завтра?

Грустный голос. Словно Она плакала... Из-за чего? Это было невыносимо.

— Разве кто-то говорил тебе обратное?

Я услышал глухой звук, как если бы Она уронила аппарат.

— Мне недавно звонила Сара и объявила, что ты останешься в Нью-Йорке еще на несколько дней.

Это имя Она не произносила никогда. Я даже не знал, известно ли Ей оно. Оно ужалило меня, как давно вынашиваемая и отточенная угроза. Как если бы запах чего-то прогорклого нарушил уют в саду с цикламенами.

Я так надеялся никогда не говорить с Ней о Саре, так хотел, чтобы она никогда не услышала имени другой, так мечтал, чтобы они навсегда остались в двух непроницаемых мирах.

Абсурдно... Надо было уже давно познакомить их. Может, они и примирились бы друг с другом, и все стало бы так просто... Слишком поздно, теперь поздно.

От таблеток путаются мысли. Трудно разбирать слова.

— Она звонила тебе?.. Я не подозревал, что она знает твой номер!.. Когда она звонила?..

— Около часа назад. Было плохо слышно; по-моему, она звонила откуда-то из бара. Знаешь, она мне сказала что-то ужасное. Но сейчас это не имеет значения, все будет хорошо, если ты сегодня приедешь.

— Что-то ужасное? Чего она наболтала? Так ты знаешь, кто она? Ты с ней уже говорила?

Не отвечая на мои вопросы, Она сказала:

— Пожалуйста, береги себя. Она замыслила какой-то кошмар, не знаю, что именно. В ней скрывается огромная сила, я чувствую. И она хочет идти до конца, чего бы это ни стоило...

— До конца чего?

— Не знаю; откуда, по-твоему, мне знать? Но мне страшно. Будь осторожен.

Я не нашелся, как успокоить Ее тревогу.

— Прошу тебя, папа, будь внимательней к себе,— повторила Она после паузы.— Она сделает все, чтобы не отпустить тебя. По-моему, она любит тебя, ты знаешь.

— Почему ты говоришь так, моя маленькая?

— Потому что это правда, и поэтому она не знает предела.

— Не знает предела?

— Да, она не такая, как другие, я чувствую... Она хочет все... как я... В конце концов, я говорю это...

Образовалась долгая пауза. Я прервал ее, пробормотав:

— Ты обижена на меня?

— Нет. Ты мне сделал больно, но я знаю, тебе нехорошо от этого. Если мне и было грустно, то только потому, что тебе нехорошо.

Поразительно! Это великодушие у Нее было уже в пять лет. Где Она встретит такое же сочувствие? Я был слишком взволнован, чтобы ответить. Как мог я из-за случайной женщины сделать Ей больно? Хватит, больше этого не будет! Но как убедить Ее отсюда, издалека? Мысли путались. Я погружался в сон...

— Не могу больше говорить, моя маленькая, я засыпаю... Ты завтра будешь в Руасси, правда? Я должен кое-что сказать. Поезжай поездом. Я оставил машину в аэропорту, и мы сразу же выедем в Брюссель, хорошо?... Я объясню. Ты увидишь, все будет очень хорошо.

— Ты уже спишь? — забеспокоилась Она. — Который час в Нью-Йорке?

— Около одиннадцати. Я принял кое-что, чтобы заснуть.

— Ах, папа, зачем! Ты отлично знаешь, что это нехорошо для твоего сердца. Напрасно... Особенно сегодня!

Это уже был не серьезный взрослый голос, а боязливый детский.

— Обожаемая доченька, ни о чем не беспокойся. Когда я в отъезде, я не могу спать без снотворных. Я давно уже пью таблетки, ты знаешь. Это не опасно. Все принимают снотворные. Завтра вечером я буду в Париже. И долго никуда не уеду... Я объясню. Я мечтаю увидеть тебя поскорей.

— Я тоже. Ну, пока, папа... Да, это так... Не важно где, но вечером я буду рядом.

— Что ты болтаешь? Я буду в Париже. И ты тоже.

Молчание. Странный звук..., Всклипывание?... Она повесила трубку.

Я был один... Итак, я задремал...

Море, набегающие волны... Пляж. Солнце. Ненастье. Шторм. Глухой крик. Вижу, как двое дерутся в волнах... Нет... Не дерутся, плывут, вот уже они на берегу. Один тащит другого. Тот, кто тащит, ранен, другой — без сознания. Они падают у леса, сокрушенные ослепительным светом, после дождя, в тишине.

Ах, эта тишина!

Из-за стены доносятся отдельные слова, хлопают двери, деловая встреча закончилась. Макс провожает посетителей, затем стучится в комнату.

— Сара? Они сказали, что дадут ответ через восемь дней. Но, по моему впечатлению, они не заинтересовались.

Кажется, она расстроилась. Но вскоре ее лицо снова делается непроницаемым.

— Да... Ты извинился за меня?

— Да. Не волнуйся, найдутся другие галереи. Я тут кое о чем подумал, скажу тебе завтра.

Сара пожимает плечами и надолго запирается в ванной. Появляется немного накрашенная. Почему мне кажется, что она сейчас плакала? Вынимает из шкафа манто и шарф. Макс спрашивает из-за двери:

— Можно войти?

Сара кивает головой и идет открывать.

— Чего ты еще хочешь?

— Но... ты уходишь?

— Да, иду завтракать.

— Завтракать?... Тебе удалось связаться с его братом?

Она качает головой.

— Так ты ничего не сделала? Но это неправильно!.. Тебе нужно немедленно этим заняться! Здесь нельзя оставлять тело...

Она улыбается — раздраженно-снисходительно.

— Не волнуйся, Макс. Я нашла телефон Эммануэля в Руане и звонила...

— Уже хорошо!

— Но его не было дома. Он придет через два часа, не раньше. Мне нужно подышать воздухом. Пойду позавтракаю с Ивлин. Когда вернусь, позвоню Эммануэлю, потом в полицию.

— Но, Сара, через два часа будет слишком поздно! Чересчур поздно! Коронер¹ будет в ярости, когда узнает, что ты так медлила. Возникнут лишние проблемы. Ты отдаешь себе отчет? По крайней мере, надо вызвать врача. А потом уже пойдешь завтракать! Я могу за тебя вызвать полицию.

Потеряв самообладание, чуть не плача, Сара цедит сквозь зубы:

— Нет, Макс, сначала я хочу поговорить с Эммануэлем и только потом позвоню в полицию.

— Послушай...

— Ничего не хочу больше слушать, мой маленький Макс. Я беру всю ответственность на себя. И не беспокойся, тебе ничего не угрожает. В конце концов, Жюльен умер в моей постели, а не в твоей.

Макс в ярости поворачивается на каблуках и выходит, хлопнув дверью.

Сара улыбается и выходит следом.

Я прислушиваюсь к звукам. В студии — тишина. Конечно, днем никто не придет. Никто не посмеет работать в двух шагах от покойника.

Сейчас, наверно, около часа. Я уже должен был лететь в самолете. Проводила бы меня Сара в Кеннеди, в аэропорт? Нет, у нее работа... Она бы не поехала... Она никогда этого не делала. Я бы объявил о своем решении прямо перед уходом или лучше по телефону из зала вылета... Как подобрать нужные слова? Обманывать, чтобы уберечь от страданий, — болезненно само по себе. Но обманывать, чтобы заставить страдать... В конце концов лучше быть мертвым — сейчас, по крайней мере, мне не придется ей говорить, что я больше не люблю ее.

Теперь я знаю: я не расставался с Сарой только потому, что не хватало мужества оставить Ее... потерять Ее до того, как Она сама оставит меня...

Я не мог себе представить, что настанет день, когда мне милее будет умереть, нежели лгать Саре.

Может быть, это и есть жизнь: обладать свободой в той мере, чтобы никому не лгать больше, даже самому себе.

Мне пришлось дожидаться смерти для того, чтобы, освободившись от оков тщеславия, прикоснуться к этой высшей истине.

Неужели это был я, тайный влюбленный, робкий честолюбец, боязливый мирянин? Возможно. Сейчас все, что было, мне уже не интересно.

И вместе с тем всего лишь несколько часов назад в высшей степени важные, неотложные дела ждали меня-его, ждали его — в Европе. А сейчас все эти смехотворные дела тают в гнетущей тишине этой комнаты.

Ничего не предпринимать, пока не станет ясно, что мною найдено единственное решение и замены ему быть не может. Ничего не предпринимать такого, что бы не был готов отстаивать, даже если суждено умереть через 8 дней. Этим двум правилам я следовал всю жизнь, когда строил планы. Или думал, что следовал. Это меня утешало.

Теперь я знаю, что нарушал оба правила: я не сотворил ничего незаменимого — кроме Нее; и если бы знать, что предстояло умереть сегодня, я переиграл бы все свои планы: поехал бы во Францию, помчался в Люк, привел в порядок бумаги, проверил страховки — я думаю, они все в порядке, — день и ночь работал бы над жизнеописанием Никола де Сталья, готовя рукопись к публикации. Я бы просмотрел все свои записи, относящиеся к другим книгам. Что для меня де Сталь, как не повод рассказать тысячу и одну из моих историй. Может, я отправился бы помолиться в синагогу Карпантра... Во всяком случае, я провел бы все это время рядом с Ней. И смог бы Ей снова объяснить наедине, как надо выстроить первый день после моей смерти.

Умереть — значит понять чужие страдания?

Сейчас Сара уже на Плаца. Находит тихий столик в углу, в глубине переднего зала элегантного серо-голубого кафетерия. Читает меню и нетерпеливо ждет. Появляется подруга. Они целуются. Ивлин вопросительно смотрит.

¹ Коронер — судебный чиновник.

Сара ничего не говорит. Официант приносит еще одно меню для Ивлин, та быстро решает: салат, сыр, кофе. Сара долго думает.

Как это меня всегда раздражало, эти минуты колебаний перед любым ресторанным меню! Вспоминается, как однажды в крошечной пиццерии она обсуждала с официантом различные тонкости печения пирогов и в конце концов заказала... рыбу! Почему эта нерешительность в мелочах так выводила меня из себя? В конце концов, все это лишь показывало, что для нее ничего не имело значения — только быть рядом со мной...

Как медлительность времени раздражала меня при жизни! Как не хватает мне этого теперь!

Наслаждаться ленью других — жизненный урок.

Приглушенная музыка проникает в комнату, узнаю заставку Си-эн-эн, наверное, два часа дня. Кто-то в соседней квартире включил телевизор; военный переворот в Венгрии, парламент распущен, социал-демократы арестованы, разговор о регентстве. Президент Северной Кореи с официальным визитом в Белом доме. Вчерашнее столкновение при посадке двух реактивных самолетов в Гонконге произошло по причине нездоровья одного из летчиков. Идет тридцатый день войны между Индией и Пакистаном, сегодня убито всего десять тысяч. Запрет на импорт в США индонезийских сигар: табак поражен новым смертоносным вирусом. Результаты полуфинала супербола... Сводка погоды... Сегодня понедельник... Тринадцатое число... Как же завтра утром в Брюсселе будут подписывать договор о научном сотрудничестве с Южной Африкой?..

Отлично справятся без меня. Никому я там не нужен.

Сейчас-то я понимаю, жалеть не о чем, даже о моей непрожитой старости. Разве что о концерте Монтсеррат Кабалье в ближайшую пятницу. И о моей незаконченной книге.

И о Ней, конечно... Как я буду скучать по Ней!.. А она по мне? Немножко — это точно. Какое-то время Она будет носить в сумке мою фотокарточку. Потом спрячет в ящик. Потом... В конце концов останется лишь выцветший образ — на задворках Ее памяти. Притворяться, что живешь ради других, — эгоизм: кому нужно, чтобы жили ради него?..

Ничего не останется после меня. Ничего. Как я в себе ошибся! Сколько всего намечтал, сколько планов построил! И вместе с тем я надеялся, что не обманусь, что оставлю после себя след. Мало кто знает, что именно переживет их. Даже великие люди. Архимед и да Винчи считали себя инженерами, а Маймонида хотел быть грамматистом, Веласкес стремился стать испанским грандом, Макиавелли и Сент-Джон Перс¹ полагали себя дипломатами. Те и другие — творили и пережили себя как раз в творчестве. И наоборот, кто-то — кто считал себя художником, — отказался от творческой работы, которая могла бы принести славу. Ныне каждый мнит себя звездой в переменчивом небе ликов и голосов; и все, как ночные мотыльки, летящие на огонек, падают прахом суеты: судьба министра — стать бывшим министром, судьба писателя — быть писателем.

И я, зная об этом, не сумел добиться большего, чем другие. Я хотел стать гениальным физиком, а вышел из меня честный профессор. Я считал себя искусным дипломатом, а кончилось тем, что встрял в бюрократию. Я надеялся стать известным писателем, но ни у кого на полках не найдешь моих книг.

Вот такой была моя жизнь. Я ничего не умел делать, даже любить.

Нечего сетовать теперь. Надо было думать раньше. Оставить яркий свет, заняться собой. Жить. Писать. Не растерять себя в честолюбии, как в своем, так и в чужом: сколько людей использовали меня, притворяясь, что служат мне!

Абсурдно умереть как раз тогда, когда хотел все бросить и начать снова, по-настоящему.

Я представил себе, как это случится. Прямо завтра, во вторник, по приезде в Брюссель я пойду к Вондеспюэсу и объявлю об отставке без объяснения причин: по соображениям личного характера. Он разозлится, что не опередил меня, что сам не отправил меня в отставку. Он прибавит что-нибудь вроде: «Мы будем сожалеть о вас, господин Клавье». Затем устроит прием. Перед

¹ Сент-Джон Перс — французский дипломат и поэт (1887—1975).

всеми генеральными директорами прочтет речь, подготовленную этим дураком Кальвино. Мое ответное слово прозвучит под хруст печенья. Текст моей речи я уже почти придумал. Как жаль, что не пришлось произнести! Я метил в самую точку! Для заключительной части моего выступления я приготовил отрывок из «Истории Французской революции», где Луи Блан¹ рассказывает об аресте Филиппа Орлеанского²: апрельским вечером 1793 года Мерлин де Дуэ пришел объявить принцу, который с графом де Монвиллем обедал в Пале-Рояле, что Конвент его арестовывает за предательство революции. «Меня! — воскликнул принц. — Меня, арестовать меня после стольких жертв! Какая неблагодарность! Что вы думаете об этом, друг мой?» Граф де Монвилль, рассказывает Луи Блан, взял лимон, сжал его салфеткой и бросил в очаг с такими словами: «Монсьеур, они сделают с Вашим Высочеством то же, что я — с лимоном». И вот, закончу я, я уйду от вас, чтобы мне, в свою очередь, не уподобиться лимону. Я хорошо представляю себе недовольные серые лица в первых рядах, хихиканье секретарш, ухмылки журналистов, которых Вондеспюэз пригласит, наверно. Ах, какая приятная минута!

Вондеспюэз попросил меня отправиться с ним в Европейский Совет. Там должна была обсуждаться широкая программа исследований по защите лесов, которую разработало и проводило мое управление. Но по существу мое присутствие было лишним: европейские чиновники не допускаются в зал Совета. Как и функционеры из других делегаций, они вынуждены просто ждать в тесных кабинетах неравномерного поступления неряшливых стенограмм, чтобы потом их комментировать с ученым видом. Потерянное время в океане самонадеянности.

Вондеспюэз пожелал взять меня с собой — чтобы я был под рукой, как прочие.

Я согласился и позвонил Саре в Нью-Йорк; предложил ей тоже приехать в Лондон. Она радостно согласилась: днем она походит по галереям, а вечером мы пообедаем в «Ватре», самом индейском из всех ресторанов в районе Кенсингтон. Потом проведем пару дней в Шотландии, где ни я, ни она не бывали.

В тот день, желая увидеть ее поскорей, я вырвался из душного кабинета, прошел через комнаты, где толпились сидящие дипломаты, которые с серьезным видом поверяли друг другу свои смехотворные тайны. Оказавшись на главной лестнице, спускающейся к выходу, я вдруг почувствовал всю нелепость этого средоточия честолюбия и призрачности.

Что же я там созидал? Ничего. Ничего особенного. В любом случае ничего неповторимого.

Я сбежал до конца совещания, почти не чувствуя вины, если меня вдруг начнут искать и не найдут. Думаю, что на самом деле никто не заметил моего исчезновения.

В тот вечер — была пятница, десять дней назад, — я все рассказал Саре. Я размышлял вслух и принял решение раз и навсегда: обрубить концы, отрезать путь обратно. Я уеду из Брюсселя, вернусь в Руан. Буду свободен, мы станем видеться чаще, и во Франции тоже.

В ресторане было так шумно, что серьезный разговор не получился. Но по нескольким словам, оброненным ею, по смущенному взгляду, по нетерпению, которое она с трудом сдерживала, я понял, что Сара никогда бы не согласилась обосноваться в Европе. Точно так же и я не мог себе представить, чтобы Она переехала в Америку, — значит, выхода не было.

На следующее утро под предлогом каких-то срочных дел Сара улетела в Нью-Йорк. Все было сказано. Мне не следовало возвращаться в воскресенье. В последнее воскресенье, 11 декабря.

Мой израненный отец на пляже острова Бали... Его самолет упал в море. Тело так и не нашли... Сколько раз я рисовал себе эту картину? Вчера

¹ Луи Блан — французский историк и политик (1811 — 1882).

² Луи Филипп Жозеф Орлеанский, он же Филипп Эгалитэ (1747 — 1793) — герцог Орлеанский (1785 — 1793). Депутат Конвента, голосовал за смерть Людовика XVI. Умер на эшафоте.

она пригрезилась мне опять... В конце концов я уверовал в ее правдивость — забыл, как сам придумывал ее, чтобы выбросить из головы смерть отца в одиночестве, когда я не поехал в больницу, в Денпасар... Как я страдаю от собственного вранья!

Отчаянное одиночество мертвых... Вот чего я боюсь в этой тишине...

Значит, я оставляю Ее одну. Что станет с Нею?.. Она переедет к Эммануэлю, он позаботится о Ней, как позаботился бы о своих детях. Она будет ходить в лицей вместе с Дельфиной. Беспокоиться не о чем: конюшни Ей нравятся, лошади скрасят Ее существование. У нас с братом все предусмотрено, мы как-то говорили об этом и обменялись парой писем. Я знаю, он присмотрит за Ней — настолько, насколько потребуется... Трудностей не будет... Все равно у меня больше нет сил бояться.

Я стал труслив даже в своих прогнозах...

Хочется верить, Она сохранит нежные воспоминания обо мне. Вот все, на что могу надеяться. Буду защищать Ее — оттуда, где я буду. Может, даже лучше, чем отсюда.

Разумеется, я все еще там, гляжу на свой труп, ожидающий погребения. Скоро это должно кончиться. Я уверен: мне уготована не блаженная вечность и не какое-нибудь темное небытие. Нет. Но я также не ожидаю появления из-за угла величавого Бога — бородатого и недоверчивого. Нет — не ад и не рай. Меня ожидает другая жизнь.

Забуду ли я о Жюльене Клавье? Потеряю ли я Ее? А Ее мать? А Лолу и Сару? Воспоминания — мой единственный багаж. Нельзя оставлять их здесь. Если мне уготована другая жизнь, я возьму их с собой.

Я больше не знаю, верю ли я в это... А верить так хочется!

Ради меня самого, ради него... Отец, конечно же, здесь, где-то рядом.

Любая иная мысль невыносима: он был слишком большим для одной жизни.

И вот теперь уже я стою на пороге новой жизни; какой она будет? Это решится сегодня, в первый день после меня.

Она может прийти как беда, как последняя кара за мое беспутство.

Кем я стану в этой новой жизни? Почему-то хочется улыбнуться. Стану ли лакандоном¹ в сельве Чиapas² среди диких лошадей и крокодилов? Или филиппинским новорожденным, которого бросят у подножия дымящегося вулкана в Маниле? Почему не цветком?.. Или морским ежом?.. Да, непременно морским ежом. Жизнь у меня была слишком исковеркана, чтобы надеяться на лучшее... И не искупит ее этот первый день, истраченный впустую.

Почему я наврал Саре про смерть моего отца? Зачем это ребячество с первого дня знакомства? Для правдоподобия приходилось без конца добавлять подробности: о путешествиях отца, о его работе, о книгах...

Знаменитый антрополог профессор Жорж Клавье работал на Целебесе³. Он написал научную работу, ставшую всемирно известной книгой о похоронном ритуале у туземцев тораджа. Он объясняет, почему в удаленных горных деревнях Индонезии принято консервировать трупы в течение нескольких лет, прежде чем предать их пышному погребению на уступе высокого утеса. Умершие имели право на могилу лишь в том случае, если родные могли принести в жертву шестьдесят быков и устроить пышные празднества для всей деревни хотя бы на пять дней. А кого не похоронят, тому нечего надеяться на вечность. Таким образом, каждый на протяжении своей жизни должен готовиться к собственной смерти и смерти близких: откладывать на похороны и на жертвенных животных. Иначе тело будет гнить в общей могиле и не перестанет тревожить потомков.

В строго научном смысле отец вовсе не желал делать из этого общие выводы, которые были бы верны и для других народов. Но, поскольку он говорил со мной об этом, я отлично видел, что он разделял убеждения тораджа

¹ Лакандоны — особенно нищее племя индейцев.

² Чиapas — штат в Мексике.

³ Целебес — остров Сулавеси, Индонезия.

и вместе с ними верил, что вечность каждого зависит от заботы близких после его смерти. Он полагал, что именно оттуда, с острова на краю света, до потустороннего мира ближе, чем откуда-либо еще.

Зачем иначе ему бы хотелось туда вернуться в конце жизни?

А я, почему я так стремился понять его веру, даже присоединиться к ней после тридцатилетнего бунта? Только ли ради того, чтобы он простил, будучи там, где он сейчас, мою последнюю небрежность к нему?

В замке поворачивается ключ: Сара вернулась из кафетерия. В сумраке я смутно различаю ее фигуру. Она с размаху бросает сумку, проверяет, хорошо ли закреплены свечи в подсвечниках, ненароком прикасается ко мне и открывает штору позади письменного стола. Сумрак чуть-чуть расступается — день в разгаре.

Как она красива! Только глаза будто заплаканные. Не стала бы она плакать в кафетерии. Она колеблется. Каким будет ее решение? Нужно сообщить в полицию и известить Эммануэля. Давно пора! Что сделают со мной... с ним?

В студии полная тишина. Вероятно, Сара отставила все прочие дела. Она берет мантию, сумку и заталкивает в шкаф. Смотрит на часы... Явно кого-то ждет. Но кого? Ивлин наверняка убедил ее позвать врача или даже коронера... Кто-то обязательно придет. Что сказал Эммануэль, когда узнал?

Что сделают со мной? Оставьте меня здесь. Не говори никому! Будь всегда здесь, со мной! Защити меня!

Тишина разрывается стрекотанием звонка. Сара вздрагивает, идет к дверям и возвращается, за ней следом — седеющий человечек с потухшей сигаретой в зубах, в сером куцем костюме, рубашке в коричнево-белую клетку и в красном галстуке; в одной руке у него потертый портфель, в другой — старый плащ. Входит еще один, постарше, полнее, почти лысый, с угрюмым взглядом, с чемоданчиком в руке. Коронер и врач.

Первый быстро осматривает комнату: роскошная мебель, форма занавесок, высокий индийский тотем, рисунок китайских ковров, изящество японских ваз — ничто не ускользает от его взгляда. Он подходит к кровати, приподнимает одеяло и осматривает покойника. Прикрыв тело, знаком подзывает другого. Тот садится у кровати, открывает чемоданчик и вооружается стетоскопом: это, конечно, врач.

Коронер вынимает из портфеля продолговатый лист желтоватой бумаги и ручку, поворачивает лицо к Саре.

— Значит, говорите, Жюльен Клавье. Вы его жена?

— Нет, только подруга.

Он записывает, склонив голову.

— Ах, подруга... Вы знаете, есть ли семья у этого... друга? Жена, дети?

Она отвечает очень тихо, глядя на редкие волосы коронера:

— Он вдовец, у него есть дочь, она живет с ним в Брюсселе.

— Вы давно его знаете?

— Примерно восемь месяцев. Я встречалась с ним, когда он приезжал в Нью-Йорк.

— Его адрес в Брюсселе знаете?

— Улица Тен Бош, 23. Но он француз. Он занимает... занимал пост в Европейском Сообществе.

Он поднимает глаза с насмешливым выражением:

— Все это я знаю. Я навел справки, сразу же как мне позвонили... Вернемся к обстоятельствам смерти. В котором часу она наступила, как вы думаете?

— Это мне неизвестно. Он просто не проснулся. Я ушла около половины восьмого утра, мне казалось, он спит.

— Как он себя чувствовал вчера вечером?

— Когда я уходила — хорошо.

— Значит, вы уходили?..

— Да, я ушла около семи вечера. Когда вернулась около трех утра, он спал.

— Если я правильно вас понял, вы ничего не знаете?

— Да, это так, я ничего не знаю.

— Когда вы обнаружили, что он умер?
 — Около девяти утра, вернувшись из офиса, где я работаю, тут рядом.
 — А почему вы сообщили нам так поздно?
 — Я хотела вначале поговорить с его родными... Чтобы они узнали об этом не официальным путем.

Он пожимает плечами.

— Все так говорят!

Она бормочет:

— Но это правда!

Он незаметно улыбается и смотрит на нее, прищурившись.

— Я вас не упрекаю...

Он протягивает ей регистрационную карточку:

— Заполните, пожалуйста, здесь, две последние строчки... И подпишите внизу, под красной чертой.

Сара берет карточку, кладет на угол стола, подписывает, потом отдает коронеру. Поворачивается к врачу, который склонился над телом. Я почти чувствую, как она съеживается... Оттого ли, что он заметил что-то — может быть, лекарство? Он поворачивается к Саре и спрашивает:

— Он часто принимал это?

— Да. Он плохо спал. Он принимал по одной таблетке каждый вечер. Если просыпался посреди ночи, то принимал еще одну.

— Две? — удивляется врач. — Это слишком много! Вы знаете, чем он болел?

— Он был сердечник. У него было два приступа. Вот все, что я знаю.

— Два приступа! — повторяет врач. — Не понимаю, кто ему позволил принимать это снотворное!

Сара шепчет машинально:

— Я не знала.

— Это может иметь отношение к кончине? — спрашивает коронер.

Прежде чем ответить, врач несколько секунд размышляет:

— По-моему, он умер от остановки сердца около двух часов утра. Снотворное такого рода, пожалуй, не могло не усугубить... Но даже если оно не явилось причиной смерти, все равно ему не следовало принимать это. Для сердечника...

— Хорошо. Доктор, я тороплюсь, — прервал его коронер, взглянув на часы. — Что-нибудь вам мешает выдать разрешение на захоронение?

— Нет. Ничего, коронер: естественная смерть от остановки сердца. Я подпишу.

Коронер протягивает карточку врачу, и тот наскоро ставит росчерк.

— Хорошо, все в порядке, — заключает коронер. — Поскольку у него нет родных в Нью-Йорке, вы имеете право, если желаете, заняться похоронами... Если только не предпочтете, чтобы муниципалитет взялся кремировать его.

Только не это! Она не согласится!

— Нет, — спокойно отвечает Сара. — Он хотел, чтобы его тело было предано земле, он говорил. Я отправлю его в Париж. Там у него брат, он и займется всем этим.

— Отправить во Францию?... Это осложняет дело.

— Я знаю. Но юридически ведь это возможно?

— Разумеется, никто не возражает. Это нужно урегулировать с французским консульством. Консульство выправит формальности с муниципалитетом Нью-Йорка. Я только хочу сказать, что более практично — и менее обременительно — кремировать его здесь, а потом урну отправить на родину.

Сара дрожит, отрицательно качает головой. Коронер пожимает плечами, убирает блокнот. Он, кажется, спешит уйти.

Она колеблется. Она должна сказать им что-то еще. Что-то для нее исключительно важное. Словно с мольбой она обращается к кому-то третьему, отсутствующему:

— Я бы хотела оставить здесь тело до завтра. У вас нет возражений?

Коронер ошеломлен. Врач, взявшись за дверь, поворачивается вполборота и, нахмутив брови, смотрит на Сару:

— Хотите оставить здесь? На всю ночь? Но, простите, почему?

Бледная, в нерешительности, она отвечает наконец:

— По причинам... по религиозным причинам. Он хотел, чтобы после смерти было устроено ночное бдение, с молитвами. Мне кажется, он нарочно выбрал для этого мой дом — не больницу.

Вспомнила... Это хорошо!

— Понимаю,— улыбается коронер.— У меня нет возражений... Ведь родных у него здесь не было?

— Нет, в Нью-Йорке у него никого нет.

— Ну, тогда и проблем нет,— подтверждает коронер.— Можете держать у себя, пока его не отвезут в аэропорт.

Он снова вынимает авторучку и ищет бумагу в портфеле.

— В конце концов... если консульство Франции даст согласие, то и я согласен. Для большего спокойствия я черкну вам пару слов.

Он торопливо набрасывает несколько строк, подписывает и протягивает ей листок.

— Отдайте это им. Они урегулируют все вопросы в мэрии.

Он снова смотрит на часы.

— Хорошо... Мне пора идти. Не беспокойтесь, я найду дорогу.

Коронер берет плащ и, одеваясь, выходит. Врач пристально смотрит на Сару — она отворачивается.

Он, в свою очередь, выходит из комнаты. Сара провожает. Доносится что-то похожее на выражение соболезнований. Щелкает дверь.

Я слышу, как она набирает номер. Спрашивает консула Франции. Словно знакома с ним — еще одна странность. По разговору я понимаю, что он займется отправкой тела в Париж завтра с утра. Значит, ночь я проведу здесь. Тем лучше.

А что будет со мной потом? Я хочу, чтобы меня правильно одели, это важно. Придется ли мне лететь вместе с останками в Париж? Буду ли я присутствовать на похоронах? Последую ли за телом в могильную яму? Или, может быть, меня ждет уже другое тело, где-то далеко отсюда? Приедет ли Сара в Руан? Встретится ли там с Ней? Кто будет принимать соболезнования?.. Ужасная перспектива: одна и другая будут наблюдать, как я опускаюсь в темноту; окруженные друзьями, желающими поскорее вернуться домой, они увидят друг друга...

Сара возвращается в комнату, закрывает дверь, проходит мимо меня и надолго закрывается в ванной.

Труден день, который я навязал тебе, любовь моя... Я слышу, как она красится. Простые звуки. Живые звуки... Она выходит, очаровательная: для консула? Она красива, но по-другому. Будто собралась на вернисаж, она любит вечерами бывать на вернисажах... С ним? Странно: едва ли я задавался этим вопросом. Значит, необходимо было умереть, чтобы начать ревновать! Ревновать к этому бесстыжему нечесаному сборищу, где она болтается...

Вернисажи... Ненавижу! Они — средоточие честолюбия и злобы, порождаемых этим чудовищным городом. Пирожные источают ревность, шампанское — теплое от злобы, икра подпорчена сплетнями. Надо приезжать не слишком рано, чтобы произвести впечатление очень занятого человека. Но и не слишком поздно, чтобы попасть на глаза именитым гостям, которые здесь лишь мимоходом и дают понять, что на тот же вечер у них намечены визиты поважнее, а на деле разъезжаются по домам и заканчивают пивом то, что начали шампанским.

Ну, а при чем тут живопись? А ни при чем, несколько брошенных вскользь определений, которые повторяются кривым зеркалом слухов в хоре критических мнений на страницах утренних газет — критические колонки обычно оплачиваются самими же маршанами.

В прошлую субботу, приехав из Парижа, я пошел с ней в один из таких храмов поверхностного; художник был индеец шошон и приписывал себе гиперреализм: этого я не мог пропустить! И она была очень рада: художник, которого нашел ее отец, выставка, о которой она говорила мне в Аспене...

Галерея была броская, пирожных было мало и только черствые, художника,

длинноволосого старика, хозяин дома перетаскивал от одной группы гостей к другой. Индеец, вы только подумайте! Индейский художник!.. Я увидел хорошеньких взволнованных дам, грезивших о скальпах и огненных колесницах. Однако у него не было ничего общего ни с Сидящим Быком, ни с Желтым Малым¹. Он был седым, как его краски, с расплывшейся фигурой, как предметы на его картинах. Приглашенные делали вид, что они этого не замечают: в тот вечер им хотелось говорить о гениальности.

Возможно, я единственный разглядывал картины с каким-то вниманием. Я задержался на несколько секунд у незаметного пейзажа, где был изображен дилижанс в движении — на запотевших стеклах красиво чередовались цвета. Я вспомнил заметки Никола де Сталья про ночь — как она видится из окна поезда: на его холстах она так же хороша, как под его пером.

Пробившись через толпу гостей, Сара подошла ко мне и ласково обняла за шею:

— Тебе нравится?

— Пожалуй... Больше всего эта работа — она напоминает мне, что де Сталь писал о движении. Знаешь, примерно так: «Поле как набросок, белые нити дождя на первом плане, освещенном комнатной лампой, все остальное в полной глубине, еще четыре доски, стена, два куба, усеянные красными звездами по оранжевым полосам, огоньки железнодорожных стрелок...»

Она с улыбкой ответила:

— Я помню. Я тоже кое-что помню: это из письма. Из пачки писем, которую ты мне дал. Немногие художники владели пером так, как твой Никола де Сталь. А это тебе знакомо? — И она выпалила на одном дыхании: — «Благородная дикая арабская дочь соблазна овеванная дымкой хрусталя Людовика XV сотрясает полет пятнистых голубей своим орошенным слезами телом в пышных волосах пылающих в окончании древка черного знамени которое занавешивает трещины в радуге растянутой сушиться на жалюзях окна смычка от звука ее глаз стучащегося в дверь...»

Она остановилась перевести дух и поцеловала меня в шею:

— Знаешь, откуда?

— Ни малейшего представления. Может, Андре Бретон²?

— Вовсе нет! Он художник.

— Ну, тогда... Дали?

— Нет, Пикассо!

— Пикассо?

— Он писал такие страницы по-испански, единым духом, а потом старательно переносил на холст.

— Звучит неплохо.

— Нет, великолепно! Одно его слово стоит всех сегодняшних выставок в Нью-Йорке... исключая эту, конечно.

Она рассмеялась и, оставив меня, пошла к гостям.

Какие странные воспоминания. Только что я слово в слово повторил оба отрывка, ни разу не запнувшись. Память еще действует... Моя память: неотчуждаемая собственность. Мои воспоминания, чувства, влюбленность, надежды, никто не сможет овладеть ими после меня.

Сара быстро шагает от кровати к окну, от ванной к дверям. Похоже, нервничает, волнуется. Потому ли, что должен прийти консул? Долго смотрится в зеркало. Будто разговаривает сама с собой для смелости. Я люблю ее способностью менять выражение лица, казаться уверенной в себе, спокойной, в стороне от огорчений и радостей. Она ничем не рискует, пока держится так: ведь преследуют только убегающего зверя. А она никогда не убегает. Любую трудность встречает с открытым забралом.

Я — другое дело. Я давно уже больше не смотрюсь в зеркала.

Сара хлопает в ладоши, будто хочет положить конец паузе. Открывает

¹ Индейцы киногерои.

² Андре Бретон — французский писатель (1896—1966), один из основателей школы сюрреализма.

шкаф, роется. Что она ищет там? Потом направляется к ночному столику, осматривает ящики, заглядывает под кровать, под одеяло, в карманы своей одежды и моей.

Она вскрикивает, произносит какое-то непонятное слово. Из черной сумки, которую вчера брала с собой, вынимает флакон. Кажется, она растеряна, будто не знает, что с ним делать. Пожимает плечами, идет в ванную, выходит без флакона. Я проверяю: поставила на виду, на полочку над раковиной.

Звонят. Она вздрагивает, выходит из комнаты, возвращается, за ней двое мужчин: один, которого я знаю, говорит по-французски. Другой... Ах, это тот самый претенциозный, самодовольный выпивоха Верлинг, представитель Вондеспюэса в Нью-Йорке! Что он тут делает? О чем болтает?

Француз — может быть, консул? — не смеет подойти к постели. Стоит, опустив глаза, будто ищет иголку на ковре.

А Верлинг не смущается поглядывать на покрытое одеялом тело. У него разочарованный вид. Словно он расстроен, что не может лицезреть его — то есть меня — в образе покойника. Омерзительный бюрократ да еще мой недоброжелатель, нечего ему здесь делать! Должно быть, консул сообщил ему, и он, конечно, сразу же позвонил Вондеспюэсу, который попросил его сопроводить дипломата. Не ради меня: Вондеспюэсу плевать на мою смерть, он не любил меня и будет рад отдать мое место одному итальянцу. Но ради того, чтобы продемонстрировать французам границы своей территории. Показать, что жизнь и смерть некоторых людей тоже в его компетенции.

Сара не замечает Верлинга и обращается только к другому, по-французски. Она выражается безупречно — этой способности я за ней не знал и не подозревал. Какую же комедию она разыгрывала!.. Зачем?

— Спасибо, господин консул, что вы прибыли так быстро. Мне нужна ваша поддержка, чтобы решить ряд формальностей. Коронер сказал, что вы можете помочь отправить тело на родину, в Париж, в течение завтрашнего дня. У меня имеется его письменное согласие, но, по-моему, требуется также и ваше одобрение.

Она протягивает письмо коронера. Консул пробегает глазами и улыбается:

— Разумеется. Если коронер согласен, то и я тоже. Я сейчас же отдам все необходимые распоряжения... С вашего позволения, я оставляю эту бумагу у себя.

— Благодарю вас за помощь. Я не совсем знаю, что полагается делать в таких случаях. Расходы...

— Не беспокойтесь, мы все берем на себя, — вступился Верлинг.

— Это исключено, — сухо сказала она. — Я хочу заплатить сама.

Она направляется к шкафу, открывает ящик, берет большой конверт и протягивает консулу.

— Тут его паспорт и личные бумаги. Я также положила сюда двадцать тысяч долларов. Организуйте все получше, гроб и перевозку. Хватит этого?

Как это она сумела? У нее не было такой суммы, уж я-то знаю... Мне известно, в каком состоянии ее счета...

Консул не знает, что делать с конвертом. Держит в руке, как что-то грязное.

— Это не обязательно сейчас... Завтра с утра я распоряжусь доставить тело в аэропорт, гроб отправят одним из рейсов в Париж. Я займусь немедленно. Э-э... На будущей неделе вы получите счет и квитанцию, разумеется...

Сара пожимает плечами и улыбается. Возбужденный Верлинг возобновляет попытку:

— Я поставил в известность госдепартамент. Со своей стороны, президент Вондеспюэс принял все необходимые меры, чтобы тело было доставлено в Брюссель без малейшей задержки.

Но о чем он болтает? Госдепартамент не имеет к этому никакого отношения! Все зависит только от города Нью-Йорка! Это смешно. Кроме того, я не хочу в Брюссель, я хочу в Руан!

Консул словно не слышит. Сара тоже. Это очень хорошо.

— Отсюда, — говорит консул, — его нужно перевезти в похоронное агентство. Вы об этом думали?

Она съезживается:

— Да, думала. Но я предпочитаю оставить его здесь для ночного бдения. По-моему, он хотел так. И я знаю, что у меня есть право на это.

Консул качает головой, немного удивленный суховатостью в ее голосе.

— Конечно, у вас есть право... И я понимаю вас.— Он смотрит на часы.— Ах, уже десять минут пятого! С вашего позволения, я откланяюсь. Если у меня возникнут затруднения, позвоню вам ближе к вечеру. Если нет, то явлюсь завтра с утра, часам к девяти, вместе с гробом... и всем необходимым.

— Прекрасно... Можете приехать даже позже...

Они выходят, я слышу их удаляющиеся голоса:

— Еще раз спасибо... Я была уверена, что смогу рассчитывать на вас.

— Вполне естественно... Я очень любил вашего отца... и речь идет о французе.

Отца?.. Он знал ее отца?

— Отец говорил о вас много хорошего. Я тоже помню...

— Что вы будете делать дальше, после этого? Вернетесь в Аспен? Через месяц я собираюсь к вам в «Ребекку»... Я заказал комнату...

— Очень хорошо... Не знаю. Я еще не решила...

Он знает эту гостиницу?.. Ну, конечно! Ведь там мы с ним уже встречались! Мы вместе обедали однажды в августе, после концерта Ростроповича, когда там проходил музыкальный фестиваль.

А на следующий день после того концерта произошел один из самых забавных эпизодов за лето — вот почему дипломат совершенно вылетел у меня из головы!

Мы отправились в колорадское селение, неподалеку от Вайля, где, как говорила Сара, жил великий художник племени хопи. Это была нищая деревушка с лачугами из ржавых листов железа. По улицам бродили индейские старики в джинсах и несколько туристов, охотников за экзотическими кадрами. Перед хижиной, в почти такой же рваной одежде, как у других, сидел молодой человек, разложив картины прямо на земле. Сара подошла к нему. Полотна были неплохие. Она хотела поторговаться и купить одну работу. Для начала она стала толковать о его предках и назвала имена других индейских художников. Он удивленно поднял брови, вытащил отпечатанный ценник и спросил, будет ли она платить кредитной карточкой, потом опять остановил ее — ему нужно было отойти на минуту, принять факс из Токио...

Мы уехали, ничего не купив. Сара села за руль, раздраженная, но ее разбирал смех.

Я сказал ей:

— Они не настоящие художники, зато настоящие дельцы. Тебе следовало бы отказаться...

Она нахмурилась, резко выехала на обочину и выключила зажигание.

— Отказаться от чего? — со злостью спросила она.— От живописи? А ты, а ты отказался от чего-нибудь, с тех пор как мы знакомы?

— От чего мне отказываться?.. Не знаю. Что ты хочешь сказать?

— Отлично знаешь.

— Нет, объясни!

Она пожалала плечами и, глядя прямо перед собой, добавила:

— Если не знаешь, тогда все не имеет смысла. Нам лучше расстаться.

— Не говори глупости!

Она долго вела машину молча. Я снова спросил:

— От чего ты хочешь, чтобы я отказался?

— Только ты можешь знать об этом.

— Я?

— Да. Если бы хотел, то уже решил. Всякая любовь когда-то кончается. Как жизнь.

— Не говори так! Любовь может продолжаться... Она может влиться в вечность...

— Все слова... Обрати внимание: слова все больше и больше заменяют тебе жизнь... Вечности не существует. После моей смерти никто не вспомнит о моем существовании. Даже ты. После моей смерти не будет ничего...

Потом, улыбаясь сквозь слезы, она добавила:

— ...если только ты не возьмешь меня в свою.

— В мою? Что ты хочешь сказать?

Она прибавила газу и, пожав плечами, пробормотала:

— Ничего.

Из глубины студии снова доносится звонок. Я слышу, как Сара извиняется перед консулом и Верлингом. Они выходят, заверяя ее, что постараются решить все вопросы и позвонят завтра.

Сара выпускает других посетителей — смутно слышатся голоса. Возвращается в комнату, за ней врач, который недавно сопровождал коронера. У него в руке плащ, как в прошлый раз. Чего ему надо еще? Следом за ним появляется молодой человек. Худой, с бледными глазами, плохо одетый — серая рубашка с короткими рукавами, рваные джинсы, красные кеды, — в руке толстый черный чемоданчик, который он располагает на полу у кровати.

Впустив их, Сара снова закрывает дверь. Вид у нее измученный, встревоженный, она смущена их появлением.

Хочется обнять ее... Как досадно, что я взвалил на нее это бремя. Кажется, назревают неприятности.

— В чем дело, господа? Чем я еще могу быть полезна?

Врач медленно кладет свой плащ на постель и цедит, не выпуская потухшей сигареты из зубов:

— Видите ли, мне пришлось кое-что в голову в связи со смертью вашего друга.

— Конечно, если вы считаете... Я слушаю вас.

— Я хотел бы еще раз взглянуть на таблетки, которые он принимал... вы знаете, снотворное...

Сара указывает на ночной столик.

— Они всегда в одном и том же месте.

Врач молча берет флакон. Внимательно изучает этикетку. Потом выдвигает ящики в столике у изголовья. Задвигает обратно. Приподнимает одеяло, снова вглядывается в лицо покойника. Оттуда, где я нахожусь, лица лежащего не видно.

— То, что я думал. Это снотворное не могло вызвать такого стягивания лицевых мышц... Он принял что-то другое... Но что?.. Можно посмотреть вашу аптечку?

— Конечно... Это там... В ванной...

Врач подает знак молодому человеку. Я слышу, как один за другим выдвигаются ящики. Он входит с кучей флаконов и показывает врачу. Я готов поклясться — среди них тот, что она недавно нашла в сумке. Врач вываливает содержимое в руки ассистента. Потом сортирует пилюли, берет круглую серую таблетку, протягивает Саре и спрашивает, медленно расставляя слова:

— Вы уверены, что он не принял такую?

Сара смотрит на него в нерешительности и кладет таблетку на ладонь.

— Не думаю... Не знаю. Меня же не было...

Любопытно: голос у нее стал хрупким, неуверенным. Почему она сомневается? Я никогда не принимал таких таблеток. Я их даже никогда не видел.

Врач по одной бросает таблетки во флакон. Со стуком, похожим на удары гонга. А серую таблетку держит кончиками пальцев и пристально глядит на Сару.

— Вы говорили, что он принимал по две таблетки снотворного с интервалом в несколько часов, верно?

— Я сказала «может быть»... Одну — точно, насчет двух я ничего не знаю. Очень вероятно. Он часто так делал. Но меня же не было. Почему вы спрашиваете?

— Потому что, если бы он принял одну из этих таблеток вместо второй, привычной, у него мог бы быть сильный сердечный приступ, ему свело бы лицо... Потом наступила бы смерть. Вы уверены, что он не мог проглотить одну такую?

Она колеблется, потом отвечает почти безразлично:

— Откуда мне знать? Я никогда не видела этих таблеток. Я их не пью.

По-моему, он их не принимал. Кроме того, вы ведь нашли их не у постели — а снотворное он всегда держал под рукой. Вот все, что я знаю.

— Тогда кто же, по вашему мнению, положил их в ванную?

— Не знаю, доктор, ничего не знаю.

— Очень вероятно, что он принес их сюда вчера, принял одну в ванной, оставил там флакон и лег спать.

— Возможно. Но, повторяю вам, я никогда не видела этих таблеток.

— Хорошо, давайте еще раз. Кто мог принести их?

— Не знаю, доктор. За исключением его и меня, в этой ванной никто не бывает.

— Может быть, у вас кто-нибудь работает? Кто-то прекрасно прибирает квартиру!

— Да, ежедневно, это Джоан. Но с какой стати она станет подсовывать мне свои лекарства!

Он хмурится.

— Это не лекарство, барышня. Это наркотик, очень опасное возбуждающее средство, смертельное для сердечника.

Сара пожимает плечами и направляется к шкафу.

— В любом случае, трудно представить, зачем Жюльену его принимать. Он не употреблял наркотиков. Он не мог спутать эти круглые плоские светло-серые таблетки с привычными темно-зелеными. Взгляните, их невозможно спутать!

Ассистент тоже подходит к кровати со стороны мексиканской лошади.

— И в самом деле, барышня. Трудно не заметить разницу... спутать.

Она делает нетерпеливый жест:

— Иначе он бы оставил какую-нибудь записку. Жюльен не самоубийца. Я не верю, что он мог сознательно отравиться. Не говоря уже, что вчера он был вполне счастлив.

— Это сказали вы!.. Знаете, если быть до конца логичным, то я должен потребовать вскрытия.

Ах, нет, только не это! Да он с ума сошел!

Он подходит к ночному столику между стеной и кроватью. Сара стоит к нему лицом. Невозмутимо. Потом мягким голосом, медленно и устало она говорит:

— Поступайте, как вам угодно, доктор. Но если вы это сделаете, вы надругаетесь над его смертью — ничего большего не добьетесь. А смерти он придавал больше значения, чем жизни.

Врач умолк, по-прежнему не выпуская потухшей сигареты из зубов.

— Что вы подозреваете, в конце концов? — спрашивает Сара. — Что он покончил с собой? Что его убили? Что я его убила?

— Может быть, одно... Может быть, другое... Может быть, ни то, ни другое. Только вскрытие позволит что-то сказать.

Теперь они стоят слева и справа от кровати, разделенные продолговатой поперечиной, прикрытой одеялом. Они смотрят друг на друга. Сара не мигает, она стала спокойнее, будто почувствовала слабое место у противника.

— При вскрытии вы ничего не найдете.

— Может быть...

— У него не было причин для самоубийства, утром он должен был лететь в Париж, там его ждала дочь и работа.

Врач бормочет равнодушным голосом:

— Кто знает? Может, для него это уже было несущественно...

Она пожимает плечами:

— Счастливые не совершают самоубийств.

— По крайней мере, если кто-нибудь не пришел, когда ваш друг заснул, не подменил вторую таблетку и потом не разбудил его, чтобы он ее проглотил.

Она переходит в наступление:

— Кто — кроме меня — знал, что ему случалось принимать снотворное дважды? Значит, я его убила? Зачем? Как? Я пришла домой только в три часа ночи. До этого я была на вернисаже в Сохо, можете опросить двести свидетелей. Кроме того, если бы я хотела обмануть, я бы сказала, что видела, как он

принимал эти пилюли. Нет... Все ваши предположения неправдоподобны. Он принял только две свои обычные таблетки. И умер от сердечного криза. Ваше первое заключение было правильным.

— Решать это будет полиция, а не врач. Я только исполняю свой долг.

Он вынимает листок из чемоданчика и начинает писать. Затем останавливается в нерешительности, комкает бумагу и бросает на пол.

Потом качает головой и жует сигарету. Пристально смотрит на Сару. Оба молчат. Она тоже смотрит на него настороженно. Словно боится испугаться.

Как она красива, великие боги! Как я мог забыть, что она так красива?

— Ради чего? — в конце концов вздыхает он.— Ради чего? Обнаружить ничего не удастся. У нас в городе сотни людей умирают каждую ночь от своих химических коктейлей. Придумывают себе путешествия, из которых не всегда возвращаются. Не сомневаюсь, что и ваш друг грешил тем же... Но никто не сможет найти тому подтверждения. Еще труднее доказать, что ему подсунули яд — вы или кто-нибудь другой. Даже если аутопсия даст положительный результат, ее заключение будет говорить о самоубийстве, и все завершится прекращением уголовного дела. Мне трудно себе представить, чтобы какой-нибудь детектив взялся за это дело: у полиции в Манхэттене есть заботы поважнее.

Сара повторяет металлическим голосом:

— Поступайте, как считаете нужным.

Голос звучит чуть тверже.

Ассистент педантично собирает бумаги, вещи и потом бормочет:

— Похоже, у человека были веские причины бежать от повседневной жизни... А вы как думаете, барышня?

Сара такая слабая. Я чувствую, как она цепенеет от растущего холодного ужаса. Она молчит. Расплачется, если вымолвит хоть слово.

Она не... Нет, невозможно! Зачем ей?... Ни малейшего смысла. Как только я мог подумать?..

Врач делает знак ассистенту: пора идти. Потом внезапно останавливается в дверях, устремив указательный палец на одеяло.

— Не провожайте меня, барышня, позаботьтесь о нем. Он умирал, по-видимому, достаточно трудно. И едва избежал вскрытия. Обо всем этом стоит слегка поразмыслить.

Сара смотрит, не шелохнувшись, как он выходит. Хочется обнять ее, утешить.

Надо было все бросить и жить вместе! Годы, что мне оставались,— какой в них смысл, если они не имели смысла для Нее?... Я должен был заставить Ее, Ее — принять Сару, нечего было бояться насмешек, нечего было стремиться к какой-то новой любви, ведь я уже был любим. Ницше прав: «Пока тебя хвалят, ты похож на других». Новизна нарушает привычки и раздражает. Пришлось умереть, чтобы это понять.

Опять звонит телефон. Сара снимает трубку. Рука дрожит. Это консул. Все готово: завтра тело можно отправлять в Париж. Она благодарит, кладет трубку, прижимает ладони к лицу... Плачет?

Что со мной сделают в Руане? Насколько я знаю Эммануэля, он постарается поскорей избавиться от трупа. В среду утром две молитвы на кладбище, а потом... Явятся ли они обе? Не люблю похорон. Толпятся нетерпеливые люди, шепчутся, поглядывают друг на друга. Никто не думает, что придет и его черед. Никто не смеет представить себя в гробу — на месте покойника. Все на скорую руку, торопливо. А ведь в первый день решается самое важное.

Сумерки. В среду я их уже не увижу. Буду лежать на дне ямы.

Слишком рано! Слишком несправедливо! И слишком глупо — умереть в тот самый день, когда бросил разыгрывать комедию, когда решил жить свободно... Если только свобода не приходит вместе со смертью?

Смерть очищает чувства. Оценивает желания. У меня столько угрызений за горести, которые я принес отцу, друзьям, женщинам, Ей. Столько боли за утерянные радости, за бесконечные передышки между бурями.

Я так хотел завершить свою книгу, постичь жизнь этого русского пажа, который превратился во французского legionера, потом в художника и канатоходца, так хотел показать, как он грезил, как выстрадал все, что творил, как воплощал формы, таящиеся в словах, как давал им жизнь, прежде чем найти выход для себя. Я так мечтал показать всю его жизнь на натянутом канате и его смерть — прыжок с балкона.

Я хорошо говорил о нем, но не сумел написать. Меня никогда не хватало на долгие усилия, я был всего лишь хорошим преподавателем. После меня останутся разве что черновик да заметки. Писательская стезя пролегла мимо меня, как и другие пути. Да и о чем писать? Размышления о жизни того, кто не пожелал пройти ее до конца? Я всегда пытался ограничиться описанием чужой жизни, и напрасно. Ничего не создал и ничем не жил сам.

Вспоминается одна фраза: «Слишком глупо. Слишком глупо явиться туда сегодня». Я рассчитывал, что у меня, по крайней мере, смерть вызовет более высокие мысли... Тем хуже. Приходится мириться с этим. Даже я сам не вижу себя достойным большего, чем мимолетная скорбь, минутная тоска. Чего же ждать от других?

Сара пошла проводить врача и ассистента. Я опять остался наедине с телом. Не смею приближаться. В любом случае одеяло мне не поднять... Только пытаюсь вспомнить его лицо.

Врач сказал, что я сильно страдал. Не помню. От чего я умер? Если бы вторая таблетка отличалась от первой, я бы заметил. Сара не могла убить... Невозможно вообразить, как она напрягает слух, ждет, когда я засну, входит, подкладывает яд вместо снотворного, будит меня прикосновением к плечу, выходит и следит за мной, пока я не приму вторую таблетку, а потом снова уезжает на свой вернисаж, чтобы обеспечить алиби.

Нет, невозможно! У нее нет мотивов. Она не настолько меня любила, чтобы ненавидеть до такой степени. И я не понимаю, какая ей выгода от моей смерти... Нет, я выпил две таблетки, и меня прикончил сердечный криз. «Естественная смерть». Я мог бы долго болеть смертельной болезнью, видеть и слышать, как люди жалеют меня. Мог бы погибнуть от диковинного, врезающегося в память несчастного случая. Ничего похожего. Я умер обычной смертью. Может быть, и насильственной, но обыкновенной. Убийство сделало бы ее интересной. Я должен к этому привыкнуть: от меня останется лишь имя с двумя датами — на безразличной могиле.

Я никогда не хотел видеть могилу отца. У меня даже нет снимка, который сделала Она, когда приходила туда с Эммануэлем. Для меня отец все еще жив в его любимых вещах, а не покоится под тем обтесанным камнем, среди других, таких же.

Я выдумал его смерть. Я выдумал ее, а потом воображал так часто, что в конце концов поверил в эту сказку. Теперь мне пришлось, в свою очередь, умереть, чтобы признаться — тот несчастный случай был лишь утешительной фантазией. Зачем?

Отец... Как его не хватает!

Будет ли Она так же тосковать обо мне? Сейчас Она в Руасси и сходит с ума: самолет пришел без меня. Она поедет в Париж, к Сандрине, как обычно. Оттуда позвонит в Нью-Йорк. В гостинице меня не найдет, встревожится. Ах, если бы была возможность поговорить с Ней!

Однажды вечером в моем забытом детстве я спросил отца, сможет ли он еще поговорить со мной оттуда, после смерти, — странно, как дети не думают о том, что могут протянуть ноги прежде своих родителей!.. В тот вечер его обычная робость сменилась оживлением. Очень мягко он ответил мне, что уверен в этом. «Почему ты так уверен, папа?» Один исключительный случай убедил его, когда-то очень давно. «Что за случай, папа?» Он помедлил, потом принялся рассказывать: однажды он ужинал у брата одной покойной подруги — по его голосу я догадался, что она много значила для него. Один из гостей предложил вступить с ней в контакт. Его воодушевление вызвало улыбки. На круглом столике он расположил стакан и квадратики

бумаги с буквами алфавита. Заинтригованные, все собрались вокруг столика. Хозяин поставил свечу рядом со стаканом, потушил свет и закрыл ставни. Стало очень тихо. Хриплым голосом он спросил: «Сестричка, ты слышишь меня?» По прошествии нескольких секунд стакан начал двигаться, помедлил у одной буквы, потом у другой — получилось «ДА». Отец видел это, он был уверен, у него даже сомнения не было. Затем тот человек спросил: «У тебя все хорошо?» Стакан опять помедлил, прежде чем показать «НЕТ». Потом он долго перемещался от одного квадратика к другому, на которых по кругу располагался алфавит, и составилось: «ЕЩЕ НЕТ». Отец подобно другим был убежден, что речь шла о шутке сомнительного свойства. Он заглянул под стол, осмотрел все вокруг, но ничего не нашел. Он хотел выяснить правду и придумал, на чем подловить брата подруги. По словам отца, из присутствующих только он говорил на иврите, и умершая — в прошлом — тоже. Он взял несколько клочков бумаги, написал на них еврейский алфавит и перевернул их обратной стороной вверх. Потом громким голосом задал вопрос на иврите. «Стакан, не колеблясь, — рассказывал он, — указал буквы, сложившиеся в ответ».

Он так и не раскрыл мне, о чем спрашивал и какой получил ответ. Но и имени умершей не назвал.

Много позже, сопоставляя факты, я понял, что умершей была мать — моя и Эммануэля. И что тот вечер перевернул всю жизнь отца.

Я так упрекал себя за то, что больше ни разу не пробовал поговорить с ним! Ни об этом, ни о чем другом...

Так до самого последнего дня перед его отлетом на Целебес спустя несколько месяцев после Ее пришествия на свет...

Он пригласил меня пообедать. Он рассказал мне, как организовал эту экспедицию, как в одиннадцатый раз отправится к тораджа. Он знал, что принцесса, скончавшаяся у него на глазах несколько лет назад, будет наконец погребена. И он станет первым антропологом, который сможет наблюдать королевские похороны у этого туземного народа. Без сомнения, последние — перед тем, как новая эпоха окончательно разрушит их традиции.

В тот вечер я был усталый и нервный. И плохо слушал — меня тревожили денежные затруднения, о которых я не смел заговорить. Трогали ли его мои проблемы вообще? Я перебил его:

— Всю жизнь покойники больше интересуют тебя, чем живые.

Я думал, что обронил невинное замечание, естественное при его работе. Ведь все его книги повествовали о похоронных обрядах — здесь он был общепризнанный специалист. Но он услышал упрек. И не ошибся.

Он побледнел, выпрямился и пробормотал:

— Твоя мама...

С тех пор между нами легло молчание, которого было не разорвать обычными словами... С тех пор я больше не видел его...

Понемногу наступает ночь. Который час? Когда вернется Сара?.. Все невыносимее одиночество.

Приоткрывается дверь. На секунду возникает голова Макса. Слышу, как он уходит из студии. Я опять наедине с телом. Не смею смотреть туда.

В котором часу я умер? Страдал ли? Ничего не помню... Вспоминается радостный взгляд Макса утром. А если отравил меня он? Этот парень на все пойдет, если своего захочет. Но разве я спутал бы таблетки?

Щелкает дверь... Сара, наконец-то!.. Возбужденная, приближается к постели, роется в сумке, вынимает фотокарточку и ставит на ночной столик.

Невозможно поверить! Карточка моего отца!

И не какая-нибудь, а сделанная сорок лет назад в лагере на Целебесе, — отец стоит среди молодых голландских ученых и балийских проводников. Он выглядит счастливым, уверенным в себе, торжествующим. Я хорошо знаю эту карточку, она стояла на моем столе в Брюсселе четыре дня назад!.. Она успокаивала меня. На обороте было написано: «Я горжусь тобой».

Как Сара раздобыла ее? Неужели ездила специально? Она могла поехать только позавчера. Конечно! Из Лондона она не полетела напрямик в Нью-Йорк, а я попал сюда только позавчера утром... Как же ее пустили в мой кабинет?

Исключено! Если только нет сообщницы... Но кто? Секретарша?.. Она?.. Абсурд!..

Почему Сара поставила карточку рядом с холодным телом? Что она хочет доказать этим? Кому? Не понимаю...

Она смотрит на улыбающееся лицо, потом снова роется в сумке. Вынимает другую карточку и ставит бок о бок с первой. Отступает и всматривается с расстояния.

Могилы отца — на кладбище в Руане! Неизвестная мне фотография.

Значит, она знает, как он умер. Один в больнице. Один, потому что я не счел нужным мчаться к нему на Бали, когда узнал, что он ранен в джунглях и лежит в больнице в Денпасаре. Рана была не серьезная. А меня не отпускала работа...

Как она провела, что тело перевезли во Францию и захоронили в Руане? Зачем по-прежнему слушала мои рассказы о самолете, рухнувшем у берегов Бали, и как не нашли останков? Мне приходилось все время выдумывать новые подробности, я принимал ее тактичность за равнодушие и врал все больше. Пока сам не поверил.

Почему она не сказала, что знает правду? Не хотела сделать больно?

Этой фотографией она подает мне знак из жизни — и бросает упрек. Неужели она знает, что я вижу ее сейчас? Говорил ли я что-нибудь, заставившее ее поставить сюда карточку?

Не помню... Может быть, в *Абрико*?

Одно не вяжется с другим. И при этом все отлично подготовлено. Словно она совершает некий ритуал, объяснимый лишь убийством.

Да, она убила меня, она хотела моей смерти, потому что не желала расставаться с живым... Чтобы я полностью принадлежал ей, мертвый.

Тогда все встает на свои места: вчера вечером она должна была прийти очень рано, вероятно, прежде, чем я заснул. Она подменила таблетку, потом разбудила меня. Затем вернулась на свой вернисаж.

Можно ли в любви дойти до преступления?

У Нее было нехорошее предчувствие, когда Она говорила со мной вчера из Брюсселя: «Где бы ты ни был завтра вечером, я буду с тобой». Мне это приснилось, или мы и правда с Ней говорили? Неужели мир снов так тесно граничит с потусторонним?

Как-то ночью — Ей тогда было восемь — Ей не спалось, и Она сказала: «Может быть, есть две жизни, одна днем, другая — в снах... Но этого никогда не узнаешь».

Две жизни... У меня не остается даже одной! Я ничего не совершил за свои дни. Я искал лишь удовольствий, которые обращались в одиночество, чувство вины, страх и страдания. Я никогда не желал копаться в своих чувствах, разобраться в своих суетных амбициях, не ценил маленьких радостей. Вечно прятал свои пороки за улыбками, топил грезы в словесном мареве. А когда любил, то лишь плохо и коротко, притворно и лениво.

Исковерканная — сказал я про свою жизнь? Суетные — сказал я про свои амбиции? Нет, омерзительные, чудовищные, скотские. Но меня всегда терзали угрызения совести, я всегда мечтал об очищении.

Ах, если бы был у меня кто-то, перед кем очиститься!

Сара... Сара. Слишком поздно...

Вечность... Кружится голова. Моя жизнь — пробежавшая искрой от одной вечности к другой...

Опять колокольный звон... Как утром около семи. На расстоянии целой жизни отсюда!.. Странно, он звучит по-другому, иначе, чем в Люке,— там в голосах колоколов больше металла. Теперь будут звонить без меня.

И Она будет смеяться без меня тоже. И пусть. Маленькая девочка обожала меня, взрослая девушка забудет.

Ну, и ладно. Неважно где — Она будет рядом. Моя любовь и поддержка последуют за Ней.

Вот и ночь... Мне страшно. Чего ждать дальше? Как выдержать это первое испытание тьмой?

Сара поправляет одеяло и замирает. Кажется, молится.

У меня больше нет ненависти к ней. Даже если она и прикончила меня, я уже простил. Она выполнила мое слишком давнее желание. И правильно сделала... Я люблю ее.

Всемогущий... Я знаю: когда придет ее черед умереть, она найдет меня. Где бы я ни был. Я скажу ей все, что не мог сказать раньше. Иногда нужно повернуться спиной к будущему, и тогда делаешь шаг вперед. Она знала это. А я — нет.

Колокола на Ист-Сайд бьют девять раз... Нет, это часы в студии.

Сара вздрагивает, выходит и возвращается, за ней следом толпа незнакомых людей: бороды, длинные волосы, поношенные черные костюмы, серьезные лица; верующие, ортодоксы. Один из них, самый молодой, единственный в очках, приподнимает тело под одеялом. Я догадываюсь, что он раздевает его; потом, не разворачивая одеяла, переносит тело и укладывает между кроватью и перегородкой. Он действует очень быстро, профессионально. Остальные сидят на стульях, которые принесли из офиса: Открывают молитвенные книги и начинают читать псалмы — на иврите.

Она подумала об этом!.. Ночное бдение после убийства! Зачем такое извращенное внимание?

Возносится благотворная молитва. Ясные и теплые голоса. Ах, если бы их услышал отец!

Один за другим входят мои нью-йоркские друзья: Лео, Жан, Фрэнк. Она сказала им! Неловко садятся, берут каждый по книге, молчаливо листают. Я улыбаюсь, никто из них не читает на иврите. Зачем им притворно молиться рядом с теми, для кого это профессия?

Теперь, когда они все здесь, я могу посмотреть правде в глаза. Мне некого больше обманывать. Их комедия — моя правда. Покойник не станет лгать: никто больше ничего не выиграет и не проиграет от его лжи.

Мне страшно. Молодость не знает покоя. А старость полна страхов.

Я рад, что они пришли... Завтра меня начнут забывать. Даже Жан, которого я познакомил с его женой. Даже Фрэнк, с которым мы делили когда-то большие надежды. Я не приготовил ничего, чтобы оставить им на память. А ведь я будто только об этом и думал.

Сара сидит позади них. Она кажется спокойной, далекой. Она улыбается Жану, а он словно ищет ее одобрения.

Неужели это она сама все подготовила?.. Неужели постаралась в точности исполнить мои желания?

Даже если она убила меня, ее любовь — мое единственное счастье...

Скоро все удалится. Она пойдет провожать и оставит меня одного. Она не сможет здесь спать.

Надо научиться выносить... Выносить себя — самое трудное для умершего, да и для живого. Это толкает человека на любые низости. Пока сам себе не делаешься невыносим.

Сара возвращается. С трудом различаю ее в темноте... Останься со мной!.. Я слышу все хуже и хуже... Уходит сознание? Не оставляй меня одного... Я так боюсь ночи! На самом деле ведь умирают только ночью... Останься! Если ты уйдешь, я пропал!..

Она проходит через комнату и запирается в ванной. Слышу, как открывает кран... Возвращается. Ага! Черное платье с синей бахромой, купленное месяц назад во время нашей последней поездки в Мексику. Зачем надевать его теперь впервые?..

Мы вышли из музея масок — перед глазами еще стояли свирепые воины, фосфоресцирующее оперение, тигры из папье-маше, — когда к нам приблизилась пожилая индианка. Я отчетливо помню ее у ступеней музея, маленькую, высохшую. С платьем в руке — счастливая, будто давно ждала именно нас и никого другого...

— Это платье для тебя, — на плохом испанском сказала она Саре. — Ты должна купить его.

Сара рассмеялась:

— Почему ты так говоришь?

— Потому что это необычное платье. Оно как маска: прикрывает тело и открывает дух. В тот день, когда ты его наденешь, Небо узнает твои самые сокровенные желания. И исполнит, даже если ты этого боишься. Но будь осторожна: платье послужит тебе только раз, и ты не должна снимать его, пока Небо не поймет и не исполнит твою волю. Но больше носить его нельзя, разве если...

Мы с Сарой расхохотались. Старая индианка пожала плечами и пошла прочь. Сара вдруг перестала смеяться и догнала ее. Они долго говорили, но я не слышал их. Сара вернулась с платьем. Я спросил:

— Ты поторговалась, по крайней мере?

— Вовсе нет. Я заплатила даже больше, чем она просила.

— Молодец! Ты умеешь блюсти свои интересы!

— Но это необычное платье!

— Потому что ты веришь ее рассказам?

— Конечно! Но ведь ты веришь и в нечто более экстравагантное...

— Это не одно и то же...

— В самом деле, ты и я — не одно и то же.

— В тот день, когда ты наденешь это платье, постарайся, чтобы меня не было рядом, а то я узнаю о тебе слишком много...

Она улыбнулась и перевела разговор на другое.

Подсвечники. Фотокарточки. Молящиеся. А теперь — черное платье с синей бахромой...

Убийство с похоронным ритуалом.

Сара подходит к постели, приоткрывает тело, наклоняется и украдкой целует.

Я ревную ее к телу. Ревную ее любовь к нему. Я в отчаянии, что умер и не могу принимать эту любовь живым.

Однажды она процитировала Тургенева: *Как бы я хотела встать перед кем-нибудь на колени и сказать: «Я пойду за тобой на край света».*

Она рассмеялась и добавила: «Хоть раз».

Как же я не понял, что она имела в виду меня?

Прости... Ну, прости же!.. Не бросай меня!

Мне случалось ненавидеть близких и даже желать им смерти. Я восхищался собой — тем, что мог лелеять такие мысли без содрогания. Просто ради перемены ощущений. Поставить под удар чужую жизнь: жизнь близких подобна засову на воротах в будущее. Кроме той дверцы, через которую они вас тащат.

Может быть, ад — это дойти до конца самого себя, сорваться в стремительную спираль, которая выбросит тебя на дно отчаяния.

Рай — та же спираль до очищения?

Сара снова подходит к шкафу, открывает один из ящиков, вынимает флакон и ставит на ночной столик рядом с пачкой писем Никола де Сталья. Долго листает книгу. Что она там ищет? Останавливается, подчеркивает две фразы и тщательно обводит. Потом удаляется.

Читаю:

«Не волнуйтесь... они оба --- за пределами ваших возможностей волноваться...»

Почему именно эта фраза?.. Нет... Нет!

Она берет стакан и серую таблетку — из флакона, который поставила на стол.

Нет, Сара! Не делай этого! Я не заслуживаю! Ты можешь долго еще жить без меня. Куда торопиться? Вечность подождет!

Она медленно пьет, не сводя глаз с кровати.

Раздается — как она красива! — и ложится рядом с покойником. Обнимает его. Я вижу ее всю, целиком, чувствую, как ее бедра прижимаются ко мне...

Она засыпает, кончиками пальцев касаясь моих закрытых глаз. Дыхание у нее замедляется, останавливается. Она умерла. Она теперь со мной.

Мы оба достаточно сходили с ума, чтобы наша вечность стала интересной...

Все исчезает... Значит, я уйду?.. Значит, мне дано право только на один день?.. Значит, все уже кончилось?.. Не отпускай меня!.. Не забывай... Побудь еще... Пойдем со мной, куда мы хотели...

Сон... Щелкает дверь... Поднимаю голову: я в постели. Где мое тело? Слил ли я наконец со своей смертью? С моим прахом?..

Рядом Сары больше нет. Тела на полу — тоже. Что случилось? Где она?

На столе часы... Без десяти два.

Значит, так заканчивается первый день после меня...

Где Сара?

Я внимательно разглядываю квадратик циферблата с датой: 13...

Тринадцатое? Невозможно... Сегодня должно быть четырнадцатое! Ведь умер я тринадцатого, с тех пор еще целый день миновал. Это точно, я его прожил! Уже два часа, как вторник, четырнадцатое число. Снятся ли сны после смерти?

Между тем я чувствую себя в точности как десять минут назад. Неужели я не умер?.. Неужели это был сон?.. И я еще не совсем проснулся?

Без десяти два... Я живой. Ужасно грустно.

Живой... Я не стану счастливым... Я чувствую себя посторонним... Я так постарел со вчерашнего дня! Нет... Очень скоро...

Как раз в эту минуту вчера я проснулся, чтобы принять вторую таблетку, роковую.

Если теперь события будут развиваться, как во сне, то Сара сейчас стоит за дверью и следит за мной. Она подменила таблетку, ласковым жестом разбудила меня и ждет, когда я проглочу смертельную отраву.

Глупости.

Но, по-моему, в темноте кто-то притаился.

Там, за дверью, стоит Сара, я уверен.

Это легко проверить: я смотрю на ночной столик. В темноте трудно различить цвет и форму таблетки, которая лежит на столе между стаканом и книгой.

Нащупываю круглую, плоскую, шероховатую таблетку... Ту, что снилась.

Какое-то безумие. Шутки смерти?

Неужели и вправду за те три часа, между одиннадцатью и двумя, я увидел во сне весь следующий день?

Есть ли у меня еще шанс на спасение?

Спасение... Ради чего? Чтобы опять погрязнуть в лицемерии? Чтобы бросить Сару? Чтобы уехать к Ней и все начать заново, скучно и банально?

А если бы я все-таки решился дожить мою настоящую любовь? До конца... Любимой конец — начало... Чьи это слова?

А Ее я буду поддерживать, все равно откуда... Много лучше, чем раньше...

Мне дан шанс — шанс вечности... С Сарой...

Завтра она последует за мной, думал он, глотая таблетку.

А может быть, смерть — это просто нескончаемое повторение первого дня?

БОРИС ЕВСЕЕВ

Мы — пламя печали...

* * *

В саду, сквозь вишенник, не слышно перелома,
В саду, в терновниках — сияющая дрёма,
Раскопки, антики, сухой сорочий сор,
Рябая тень, обрывком — разговор.

Но переломленный хребет Левиафана
Из моря горбится, грозит из океана,
И в страхе не расчесть, кто выжрет наш весь хлам:
Сороки, тернии, вода, Левиафан?

А ближе к вечеру сад распускает губы,
Кладёт на мокрый лоб и пагубы, и убыль,
Ему навстречь, как пьянь, ты отверзаешь рот,
Срыгнуть остатки вин, нудот, острот, щедрот...

И вот — почти темно. И всё, что входит, — мимо!
Дрожит в руке слепая маска мима,
В костре скворчит цыплек и сквозь толчки поллюций
Сочится дым бунтов и революций.

* * *

Свет стоит за спиной,
Как святой в алтаре.
Отвергаемый мной
И живущий во мне.

И восходит в зенит,
И струится в наدير,
И спокойно следит,
Как, сверкая из дыр,

Свет бушует и льёт,
И болит на ветрах,
Собирается в плоть,
Иссекается в прах.

Мир встаёт под крылом,
Дрогнув жилками рек,
Перевитый добром,
Словно предчеловек.

* * *

Господи, не к кому, кроме тебя...
Был бы хоть где-то, хоть в чем-то, хоть кто-то...
Хоть бы какую на жизнь позолоту
Мог положить, свою душу губя....

Господи, некуда, кроме тебя...
Если ж смогу я продлиться, провиться,
Дай мне кремень и кресало провидца,
Или возьми мою жизнь, вострубя.

¹ Борис Тимофеевич Евсеев родился в 1951 году в Херсоне. Окончил музыкальное училище по классу скрипки — там же. В Москве учился в ГМПИ имени Гнесиных.

Первая публикация — журнал «Огонек», 1987 год. Печатался в журналах «Октябрь», «Волга», «Согласие», «Урал», в альманахе «День поэзии», в «Литературной газете», в коллективном сборнике «Граждане ночи». Член Союза писателей. Живет в Подмосковье.

«Или возьми...» Я опять поспешил:
Мудрость не выпита, смыслы — не сведаны,
Как же стеку я с равнин моих бедных
В голубоватые кладки могил?

Как же уйду я? С войной за спиной,
С тяжким сомнением, со светом кровавым,
Где в огнедышащих толщах и лавах
Некому быть ни Тобою, ни мной?

Напев

Прощай, армиллярная сфера!
От наших забот и хлопот
Останутся рвы да химеры
У напроць разбитых ворот.

Земля парусов и скитаний,
Скитов, теплотрасс и воды,
Под бременем бед и изгнаний
Изгнанницей станешь и ты!

Прости, тебя вижу нечетко
Сквозь хлынувший жар бытия:

Ты бьешься туманным расчетом,
Скуднеешь дымком корабля...

Любовь моя, боль и страданье,
Из будущих снов и миров
Услышу ли выдох твой дальний,
Закрученный, словно ядро,

Над морем, над кромкой
печальной,
Казавшейся жизни стежком,
А бывшей лишь строчкой
начальной
Высоких небесных стихов?

Колыбельная переводчику с грузинского

Комната в даче, хромой, как сравненье.
Некуда дальше. Дальше — забвенье.

Что перед этим под пёрышком билось —
Вмешано в немошь, впрыснуто в гнилость.

Рвется трико. Перезрела малина
По-над щекою.

Стыдно и холодно не шевелиться,
Тяжко дышать ледяною трухою.

Рыщут по сумракам страшные враки:
По небу — барсы, по строчкам — собаки,

А поверх них — жизнь с кастетом и плёткой
Все-то пугает расправой короткой:

«Мать твою — в глотку, отца — на помойку,
А самого — в простыню и на койку...»

Так что спешу, колыхай переливщик,
Тело свое, словно чей-то излишек,

Спой ему песню на пенном, бурлящем,
На своем первом, молочно-ледащем

Языке. Он простит тебя голого
За то, что в горло лил ему олово,

Чтоб убиваемый щёкот плескался
В каменных гроздьях, в подстрочниках Картли.

Чтоб, запирая навек свою дверь,
Смерть улыбалась и плакала твердо...

* * *

Гражданские войны стихают на время дождей.
Сожжённые воды текут желобками штыков,
Во всех углубленьях, бороздках и впадинках шей
Связуясь легко.

По счёту, по времени — нам остаются нули.
На шкалах, спидометрах стрелки предсмертно дрожат.
Не видим сквозь них мы ни сути, ни лисьей земли,
Но слышим сквозь жар,

Сразившие время, разливы безмолвий в стволе,
И посвист заправленной в трубки змеиной слюны,
И гул разрастанья и сильных, и слабых долей
В сурдинках войны...

Осенние войны стихают, незримые воды — нежны.
Но в зеркале вод мы себя не узнаем в упор.
Мы — пламя печали, мы дымом исчезнуть должны
Сквозь цепкий прицельный обзор.

* * *

Так и тянет от стихов
Дымом да расстрелом,
Да сомненьем, да грехом,
Да мясцом горелым.

Так и тянет лебедой,
Смертью придыханий,
Едкой уксусной водой,
Девками, духами...

Отойди! Отлынь от них!
Да прирос навечно,
Словно к рукояти штык,
Словно к нищете ярлык,
К ним бессмертный наш язык,
Мягкий, быстротечный,

Жёсткий, каверзный, шальной,
Иссечённый плетью,
Облапошенный судьбой,
Обнесённый лестью...

Тянет прахом от стихов,
Йодом, хлороформом,
Тянет к ним волков, волхвов,
Мелких птах соборных,

Пастухов, певичек с дач...
Но у сути, края
Всех от белого листа
С кровью отрывает...

И толкутся в чашах дней,
Потерявши разум,
Строчки без поводырей,
А над строчкой красной

Гроб с царевною висит,
Мёртвым сном царевна спит,
Лишь звонок хрустальный
Бьёт из ямки тайной...

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

Побег

РАССКАЗ

Последний раз Зина видела своего мужа полтора месяца назад. Открыв дверь своим ключом, она застгла Вадима на верхней перекладине стремянки, куда он взобрался в поисках тренировочного костюма, и не успел он ввинтиться в антресоль, как Зина повисла на его ногах, стащила на пол и, движимая гневом, придавшим ей дополнительные силы, повлекла мужа по дому, как сквозь строй объектов, чреватых будущей семейной катастрофой: наводнением, пожаром и обильным снегопадом. Неисправный кран на кухне уже месяц разгневно ворчал и плевался, разбрызгивая во все стороны кипяток, газовая конфорка пылала адским огнем, а в разбитое стекло форточки летели присущие октябрю осадки... У них случился наконец давно назревавший некрасивый разговор о семье, о мужской чести и чувстве долга, об отцовских обязанностях хотя бы перед дочерью, бедной кровиночкой, давно выросшей из всех своих полудетских одежек и лишенной самого необходимого.

Вадим внимал безропотно. По настоянию жены сунул руку в кипяток, потом, как Сцевола, в пламя, потом сокрушенно смахнул дождевку со щеки, стоя под разбитой форточкой; глядел прямо в душу Зине синими, как незабудки, глазами, блестел чистыми, как маргаритки, белками, теснимый ею со всех сторон, потом вдруг запустил руку во внутренний карман пиджака и, роясь там, как монах в своей рясе, окруженный грешниками, извлек помятую индulgенцию — свежий номер институтской многотиражки «Интеграл»...

— Зин, вот ты так говоришь, без конца меня ругаешь, а послушай, как обо мне написали. То есть напечатали. То есть это я сам написал, а они напечатали... Смотри сюда, вот это вот... «Голубая даль» называется. Этюд... — И тонким, дрожащим от обиды голосом стал читать: — «...и березки как будто окликают друг друга, множатся, подобно эху в горах... Их белоснежная кора покрыта многочисленными очами, они так и смотрят тебе прямо в душу. Гигантские шаги стволов уводят в лес, в сказку, к мерцающей вдаль речке, над которой сбиваются в стада кудрявые облака. Запрокинув голову, смотришь сквозь ажурную, нежно-изумрудную страну листья и невольно задаешься вопросом: не царство ли это Берендея?..» Ну как? Меня главный редактор сегодня поздравил, руку пожал...

— В Берендеевом царстве, — закрывая глаза от гнева, закричала Зина, — все мужчины делом занимались, об этом еще в берестяных грамотах писано было!

Против этого Вадиму нечего было возразить, да он и не собирался. Он довел почти до совершенства, до микроскопической отточенности ряд приемов, которые давали ему возможность жить так, как ему хотелось, в том числе и этот, самый убийственный — никогда не возражать, со всем соглашаться, и что бы ни выкрикивала ему разгневанная Зина, она всегда неизменно попадала в ласковую, заманивающую трясину согласного молчания, в глухонемой колодец. Вадим слушал ее, рассеянно кивал, как погруженный в сложные вычисления ученый, или молча смотрел на нее с сокрушенным видом, точно не понимая, зачем так бесноваться, когда в мире такое делается, и это тоже был прием — все время

сворачивать в мир больших величин, проезжая мимо отваливающих на кухне обоев и протекающей крыши.

Когда они только поженились и Вадим въехал в этот большой деревянный дом на окраине, доставшийся Зине от родителей и требовавший лишь небольшого ремонта и мужского глаза, он пообещал со временем сделать для нее все, что в его силах: и крышу перекрыть, и подвести газ от магистрали. Пусть только она немного потерпит, пока он не закончит университет и не встанет на ноги. Зина и терпела, считая копейки, работала за двоих на свои полторы ставки, даже чуть было не родила однажды в чужой квартире, оказавшись там по вызову у одной пожилой астматички, с которой они потом валетом тряслись на носилках по пути в больницу; терпела и позже, носясь по участку с детской коляской, иногда вдруг отрываясь от груди больного и, как взъерошенная курица, взлетала коленями на подоконник, бряцая фонендоскопом о стекло, чтобы проверить: на месте ли ребенок; терпела она и тогда, когда дочери дали наконец путевку в ясли-сад, и приходилось приплачивать за свои опоздания молоденьким воспитательницам, потому что Зине не всегда удавалось вовремя забрать свою дочь из сада, а Вадим все учился, учился и учился, как заговоренный — уходил в академический отпуск, потом уходил из университета, потом восстанавливался, пересдавал, переписывал диплом, и его учеба повисла над всею семьей, как затяжная хмара...

Он увлекся фотографией и все чаще запирался от них в чулане, повесив на дверь записку: «Не входите! Не беспокоить! Идет фотохимический процесс», — на несколько дней исчезал из их жизни, печатая фотографии — якобы на продажу. И все реже его можно было увидеть дома: то он в чулане, порог которого никому не позволялось переступить, то в университете, то на каком-то поэтическом вечере, то на выставке, а то следы его терялись в пригородной электричке, на которой он уезжал в подшефный колхоз с группой студентов на уборку картошки... Не сразу это началось, но постепенно Вадим сделался неуловим. Порою среди ночи Зина вдруг начинала различать сквозь не стихающий и ночью шум автостреды какой-то поскреб, как будто где-то в пустом ларе гремит норушка или стену слева ковыряет черенком от ложки аббат Фариа — и это надо было понимать так, что у Вадима опять заговорила совесть, он вернулся наконец из колхоза (с выставки, с вечера) и теперь сидит в крошечной тьме над чаном с водой, печатает чужие фотокарточки, и из чана медленно всплывают замечательные детские лица, лица, лица, по одному и целой детсадовской группой; пленки над ним как змеи обвивают бельевую веревку — это висит на прищепках чужая свадьба или выпускной класс; а если подойти к чулану и прислушаться, то можно услышать тихую музыку, льющуюся из транзистора.

После поездок и чулана Вадим несколько суток отсыпался, и его опять не было ни видно, ни слышно, утонувшего в продавленной кровати с подушкой на ухе, смягчающей куриным пухом дотошные звуки жизни, и все вокруг ходили на цыпочках, оберегая его покой, а Зина на те небольшие деньги, оказывавшиеся в ящике трюмо, накупала продукты и расплачивалась с долгами.

Но вскоре Вадиму наскучило в родном среднерусском городе, и он принялся, как исполин, раскручивать пространство, разматывать параллели и меридианы, осуществлять захват доселе неведомых территорий при помощи своего объектива. Начались поездки Вадима в другие города. Путешествуя в свое удовольствие, в дороге он опять же подрабатывал фотографией. Под колокольный звон по его письменному столу величаво прошествовали прекраснейшие храмы: Василия Блаженного, Исаакиевский, Софийский, Боровско-Пафнутаевский; потом потянулись святыни ислама — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясеви и Сунницкая мечеть; промелькнула синагога, отснятая в закатных лучах в Ростове-на-Дону, прозвучал орган Домского собора... Как созванные на пир неким дон Гуаном, мимо внимательной Зины тяжело прошагали памятники, гремя доспехами, посеребренными плащами и мраморными султанами, один памятник даже приподнял чугунный цилиндр, приветствуя ее. Зине грех было жаловаться — при желании теперь она всегда имела возможность получить представление о последнем маршруте мужа: например, если на стол, как барханы, ложились изображения верблюдов и на снимках громоздились огромные снаряды дынь,

это означало, что Вадим перевалил Уральский хребет, пересек Тургайскую ложбину и переплыл Сырдарью, а если со всех фотографий на фуникулере ехали лыжники к покрытой снегами вершине, то, значит, Вадик побывал в Карпатах или на Домбае. Однажды Зина увидела размноженный в десятках экземпляров хрестоматийно-знакомый памятник архитектуры и со страхом подумала: а не Пизанская ли это, часом, башня?..

Ветшающий дом, доставшийся родителям Зины еще от бабушки, требовал рук и постоянной заботы. А Вадим при каждом напоминании Зины увядал как цветок, становился скучлив и рассеян. Он упорно цеплялся за малейшие крохи свободы, на которую якобы посягала Зина, как утопающий за свою шляпу из соломки. Зина никак не могла справиться с обвалом мужской работы по дому, иногда она приглашала мастеров, но денег, как всегда, у них было в обрез. С прохуdivшейся крыши капало, так что ходить по комнатам приходилось, оглябая расставленные тазы и кастрюли, из лампочек горели наиболее самоотверженные, кран с надписью «хол.» обваривал кипятком, но Вадим все терпеливо сносил: зимой он готов был стучать зубами от холода, пока Зина не приходила с работы и не растапливала печь, потому что ленился принести дров, летом скрывался в своем чулане от палящих лучей прямого солнца, но выглаженные Зиной шторы упрямо не вешал, а однажды попал в настоящую западню, когда по телевизору пустили его любимый фильм «Солярис» и Вадим забился в туалете, как пойманная птица, умоляя Зину подкатить телевизор вплотную к двери, пока он не совладеет с заевшей автоматической защелкой. И такой он выказывал стоицизм по отношению ко всем этим размножающимся неудобствам, такое гордое презрение являл быту, хватающему его, как стая мелких разъяренных шавок, за пятки, такую неколебимую волю противопоставлял судьбе, желающей загнать его в лямку жизненных забот, в удушающий смрад действительности, оторвать от чудесных грез и путешествий по родной стране, которым он отдавался всем сердцем, что оставалось лишь развести руками и отойти в сторону, удивляясь причудливому напору жизни в этом молодом человеке с ранним брюшком и пустяковой отговоркой наготове. Напрасно Зина суетилась, зывая к его совести, которая у Вадима, конечно, была, но в каком-то другом измерении, в той дивной плоскости, где жили некие существа невесомо и несуетно, и он был среди них своим. Напрасно Зина пересказывала ему вычитанные из газет различные случаи нравственного разложения: например, о том, как у одного человека умерла мать, он вынес ее на балкон, на тридцатиградусный мороз, и стал дожидаться возвращения из больницы жены, свалившейся на неделю с сердечным приступом, чтобы она занялась похоронами, а когда жена вышла, то от потрясения сразу получила разрыв сердца, и мужу пришлось на балконе рядом с матерью положить валетом и жену, дожидаясь теперь приезда вызванной телеграммой из Минска сестры... Вадим слушал этот бред, как оклеветанная жертва на сцене в окружении врагов, устремляя кроткий, исполненный молчаливого благородства взор в зрительный зал, и у Зины руки чесались взять в руки нож и разжать ему лезвием зубы, как эпилептику. А Олечка, отрывая локоть от тетрадок, затыкала уши, чтобы не слушать маминих страшных историй про мертвецов, лежащих на городском балконе валетом.

Последние недели они общались при помощи записок, приклеиваемых скотчем к дверце холодильника, который тоже давно барахлил, подтекал и требовал ремонта. Вадим научился виртуозно избегать встреч с женой, несущих ему одни неприятности. Сама жизнь подталкивала Зину к какому-то отчаянному решению, к последнему разговору и выяснению отношений. Наступил такой момент, когда она наконец решила поставить вопрос ребром: или Вадим возвращается в семью, или она подает на развод.

А Вадим чувствовал, как постепенно сгущается над его головой опасность. Как что-то грозное надвигается на него — то ли в образе гневливой жены, то ли еще в каком, но, как всегда, надеялся талантливо увернуться от направленного на него с укоризной перста судьбы. Он решил бежать. Бежать, в то же время не покидая законных квадратных метров, где был прописан, и жены с дочерью, которых все-таки любил. Это был единственный выход. Он и так, конечно,

уходил из дому, до глубокой ночи просиживал на своей станции юного техника, на которой он подрабатывал фотографом, но у ночного сторожа станции были какие-то свои виды на пустующее к вечеру помещение, и он всячески давал это Вадиму понять, а сторожей, вахтерш и уборщиц Вадим благоговейно побаивался, ладя только с чужими детьми. И он решился на побег — но, как человек начитанный, знал, что к побегу надо хорошенько подготовиться: все разведать, запастись провиантом, картами, компасом, спальным мешком. Нужно время и еще раз время, особенно выгодно, можно было использовать те часы, когда Зина на работе, а Оля в школе, тогда тайна будет соблюдена.

— Что-то давно папы не видно, — глядя на свое повзрослевшее отражение в зеркале, как в даль, подернутую голубой дымкой, сказала Оля.

На что мать ядовито заметила, что это ей, маленькой ленивице, ничего не видно, а вот ей прекрасно видно: вчера перед сном, падая с ног от усталости после суточного дежурства, наvertsела двадцать котлет, а сегодня пять из них куда-то испарились вместе с полбанкой меду. На что Оля находчиво ответила:

— А ты не верти свои котлеты. Ты же знаешь, что я их не люблю.

Зина ежедневно находила следы присутствия Вадима. Например, еще вечером на столе уютно покоилась обжаренная в сухарях курочка, готовая к скромному домашнему пиршеству, — а утром вместо нее аскетической горкой лежат обглоданные кости. В ванной из таза и корыта взывают к Зине засаленными манжетами замоченные рубашки, а сам Вадим, нырнув в ванну, о чем кричала траурная мыльная полоса по ее краям, вынырнул благоуханный, как пеннорожденная Афродита, в каком-то другом месте. Носки он стирал сам, и вот с батареи в комнате свисает гирлянда сырых дырявых носок. Что они знали про своего хозяина? Где носили его, как сапоги-скороходы? Пылью каких путей-дорожек пропитались? Что за мистика, наконец? Что за шелест и робкое дыхание вытягивается из-под дверей чулана под рокот автострады по ночам, что за шестивие гномов струится по дому, где гнездятся в час ночной чавкающие полтергейсты?..

Несколько дней Зина готовилась к облаве на мужа. По всему дому разложила ловушки и рассыпала приманки, так что мышь не проскочит. У холодильника поставила табуретку, которая должна была рассыпаться от малейшего дуновения ветра, карманы его плаща подпорол, чтобы, если ему все-таки удастся уйти, отыскать его по звону и следу рассыпанной мелочи, как по струйке проса из старинной сказки, на буфет гостеприимно выставила сочащийся спелостью арбуз, которым он не мог не соблазниться... Вечером улеглась в постель и погасила свет, затаившись под одеялом и чутко прислушиваясь к ночным звукам живущего своей странной, поскрипывающей жизнью деревянного дома. Измотанная за день на работе, она не заметила, как задремала, и встрепенулась лишь в полночь от какого-то постороннего шороха. Еще не пробудившись полностью от сна, Зина поняла, что опять опоздала: он только что был здесь! Еще секунду назад на выступе стены промелькнула тень, в трюмо отразилась крадущаяся фигура, — и уже стена чиста, зеркало безмятежно, а Вадим убежал, отстреливаясь от жены арбузными косточками — вдали прозвучал отчетливый цокот копыт! И все ее приманки и уловки он разгадал. Не поскользнулся на арбузной корке, коварный табурет обошел на цыпочках, подбирая полы, а вывернутая шкатулка для ниток свидетельствовала о том, что ему удалось зашить карманы плаща. Чайник был горяч, из носика его издевательски струился парок, свет на кухне еще горел — но его опять не было!

Расстроенная неудачей, Зина опять улеглась в постель и смежила веки. Но среди ночи внезапно пробудилась, как от толчка, оторвала голову от подушки и прислушалась. Тихо. Лишь недовольно ворчит сорванный кран на кухне, полузадушенный накрутой на него тряпкой, да изредка шелестят по асфальту шины пронсящих мимо окон машин. Она поднялась с постели и, как дух, как Зарема, на цыпочках подошла к чулану. Из-под двери выбивалась полоска света! Он был там, сидел, слушающая тихо журчащую в транзисторе музыку, и занимался чем-то загадочно-преступным...

— Открой! — налившись до краев яростью, крикнула Зина и ударила кулаком в дверь, потом сорвала с нее и скомкала ненавистную табличку «Не

входить! Не отвлекать! Идет фотохимический процесс». — Вадим! Выйди, нам надо поговорить.

Светящаяся полоска в двери молниеносно погасла, и установилась мертвая тишина. Даже кран на кухне затих, подлец, подыгрывая хозяйину. Зина схватила давно приготовленный туристский топорик и поддела хлипкий замок. Рывком открыла дверь и впервые переступила запретный порог чулана. Ударила кулаком по включателю, уверенная, что теперь-то он оказался у нее в руках, целиком в ее власти... Однако чулан был пуст. Лишь в пепельнице тлела незатушенная сигарета «Салем», в ароматном дымке которой и растворился, должно быть, Вадим, как старик Хоттабыч, просочился сквозь стену и бесследно исчез в пространстве...

Зато ее изумленному взору предстала картина, достойная того, чтобы вставить ее в раму...

В чулане, как в шкатулке бережливой женщины, царил продуманный порядок. Приветным светом горела небольшая, под хрусталь, люстра. Удобная спальная полка, дном скобой прижатая к стене, была аккуратно застелена развернутым спальным мешком. На столике, покрытом салфеткой с крахмальными подзорами, лежали ледоруб и годовой комплект туристского альманаха «Ветер странствий». В углу свернутая в рулон веревочная лестница с «кошкой». Костровой комплект с треногой. Но главное, главное!.. Стены чулана были густо оклеены многотиражкой «Интеграл» с «Голубой далью», а также цветными фотообоями с изображением берез, берез, со всех сторон берез, как будто окликающих друг друга, множившихся прямо на глазах, как эхо в горах... Их белоснежная кора покрыта многочисленными очами — они так и смотрят тебе прямо в душу. Гигантские шаги стволов уводят лес к мерцающей вдали реке, над которой сбиваются в кудрявые стада облака. Щебечут птицы из своих пернатых гнезд — чу! — промелькнул рыжий хвост лисицы... А верхушки берез раскачиваются под ветром, шелестят, и сквозь ажурную, нежно-изумрудную листву Берендеева царства на потолке сияет синее-синее, лазурное небо — небо наших грез.

НИКОЛАЙ КЛИМОНТОВИЧ

Джанан

ИЗ КНИГИ «ДОРОГА В РИМ»

РАССКАЗ

Хронику сладкой блатной жизни можно было бы писать посезонно, причем всякому сезону соответствовало бы имя кабака, где не работали, но отдыхали фарцовщики, проститутки, каталы, торговцы наркотиками, так сказать, молодость криминального мира, потому что отцы семейств предпочитали Сандуны по понедельникам, загородные сауны, обеды в *Узбекистане* или *Берлине*, вот примерные вехи: *Золотой Колос* на ВДНХ, кооперативный ресторан в Тарасовке, небольшая и малоприметная стекляшка в Измайловском парке, мотель на Можайке, *Русь*, *Изба*, *Иверия*, *Русская сказка*, другой мотель — *Солнечный*, тоже на кольцевой, ресторан гостиницы *Союз*, — и если вы знакомы со столичной кабацкой географией, то без труда убедитесь, что переменчивая и стихийная якобы мода последовательно выбирала эти места подальше от Центра, от глаз праздной публики и правоприменяющих органов. Маленький зал при огромном ресторане гостиницы *Дружба* на Вернадского, куда меня позвал однажды Витольд, не был в этом смысле исключением, а во времени расположился где-нибудь между Измайлово и мотелем *Минск*, — но сперва о Витольде, одна из девиц с Калининского, из *системы*, как тогда говорили, меня с ним и познакомила.

У него была весьма распространенная в криминальном мире кличка — Монгол, хоть ничего монголоидного в нем не было, причем так же назывался знаменитый в те годы вор в законе, наставник самого Япончика, так что Витя — так его звали в миру — *по центру* проходил как Витольд, предпочитая в лучшие свои минуты представляться — Витольд фон Герних, такой у него был блатной шик, такая тяга к красивому, хоть это именно он выдал мне как-то не без иронии фразу о том, как *на зоне* рисуют себе свободу — чтобы бикса попышнее, чтоб пиджак кожаный и суп с лимоном. Сам он *в законе*, конечно, не был, но из своих тридцати половину провел по тюрьмам, стартовав в колонии лет в пятнадцать, и антракты между *ходками* у него были кратки, но — вдохновенны. Впрочем, когда мы были друг другу представлены — он, рецидивист, сидевший за квартирные кражи, грабеж и рэкет, и я, профессорский сынок и начинающий журналист, — как раз тогда Витольд всерьез, кажется, решил *завязать*, но, скажу сразу, это его намерение было одно из тех, что вымостили для него дорогу прямо в ад. Дело здесь не в недостаточной прочности характера или силе воли, как вы понимаете, — Витольд был как раз весьма *духовитый*, но однажды отпущенный на волю его волчий инстинкт, давно превратившийся в сумму звериных рефлексов, никогда не отпустил бы его, и он кончил плохо, был убит в камере следственного изолятора внутренней Бутырской тюрьмы; в один из загулов в фойе мотеля, где тогда был единственный, если не считать валютных, ночной ресторан, он повстречал свою бывшую *маруху* и снял у нее с пальца бриллиантовое кольцо, подарок — о чем он не мог знать, а она ему не подсказала, да это б только подлило масла в огонь — ее нынешнего любовника-*автомата*, за что Витольд был прострелен двумя пулями тут же, в холле, забран МУРом, подлечен в тюремной больнице, чтобы быть зарезанным сокамерниками, получившими, видно, на то указание с воли.

Но это было потом, а в то лето Витольд работал в каких-то художественных мастерских в Боровске, километрах в девяноста от Москвы — куда его, разумеется, не прописывали к нестарой еще матери, до странности пристойного вида женщине, — он был не без способностей, не без своеобразного художественного чутья и вкуса, и на выходные он наезжал в Москву, где ждала его подруга, а моя приятельница по *Метелице* — Танька-Барабан.

Была Танька на редкость тоща, фамилия ее была то ли Бородина, то ли Баранова, не Барабанова, и кличка, видно, была дана ей от противного, как сказал бы логик. У нее это была *настоящая любовь*, она прождала Витольда всю его последнюю отсидку, а когда он *откинулся* — ездила встречать из зоны; из предыдущего его появления в Москве запомнилось длинное кожаное пальто, звериная гибкость и чуткость повадки, волчье узкое лицо в шрамах с длинным и мясистым, чуть свернутым на бок носом, с маленькими цепкими глазами весьма редкого цвета — бурого, как если бы в воде долго мыли испачканную коричневой акварелью кисточку. Танька не была проституткой в нынешнем смысле, хотя, говоря сегодняшним языком, *путанила*, конечно, с товарками время от времени. Да и вообще вся тогдашняя центровая *система* была, не в пример современной, малопрофессиональна; проституция, фарцовка, торговля анашой — все было неорганизованно и стихийно, сферы влияния не поделены, не отрепетирован раз и навсегда подкуп *ментов*, не обложены регулярной данью даже самые сладкие точки, и в этом смысле все напоминало сегодняшнее состояние официальной экономики, тогда как черный бизнес как раз подобрался и наладился; да это и не был бизнес тогда, скорее — стихийно сложившийся образ жизни, при котором грань между рабочим временем и досугом у проституток, скажем, была очень размыта, а вся *система* представляла собою не набор пусть и находящихся в сложных отношениях, но строго организованных группировок, но, скорее, что-то вроде патриархальной общины с чертами социалистического фаланстера, со своей, весьма романтической, идеологией братства, противостояния властям и раблезианским отношением к *низу* жизни, включая сюда всяческие огорчения телесного свойства; да и сама публика, *системе* составлявшая, за вычетом немногих действительных мастеров своего дела, была по своему простодушна и на изумление пестра: спившиеся актеры и списанные танцовщики, вдохновенные бляди, денег не бравшие, но спавшие *с кем понравится*, то есть на круг со всеми, *зеленки*, отдававшиеся иностранцам не столько за *гринь*, сколько за тряпки, и имевшие не сутенера-профессионала, а молоденького любовника, зачастую кавказской принадлежности, который, впрочем, *рубил капусту*, перепродавая ею же заработанные носильные вещи, добродушные — в отличие от нынешних, весьма агрессивных — педерасты, чьи-то опустившиеся *дети*, неслучившиеся певички, мелкие спекулянтки, натурщицы, работавшие, конечно, только время от времени, неудачливые художники, просто праздные молодые люди — вроде меня, с удовольствием разделявшего все наивные радости этих прожигателей жизни и в глубине души оправдывавшего себя тем, что мне это *когда-нибудь пригодится*; сегодня в памяти из этой толпы выплывают лишь немногие лица — уличной проститутки по кличке Луна, дававшей кому придется в подворотне за стакан, когда подпирало похмелье, но по трезвости — невероятно высокомерного выражения круглого, откуда и прозвище, лица, высокой и сутулой, — она заболела сифилисом, спилась и нынче вряд ли живет на свете; бывшей детдомовки Аньки по кличке, конечно же, Пулеметчица, что шло ей, ртутной, очень смазливой малышке, трогательно любившей театр и спавшей с актерами бесплатно; сочинской наводчицы Лиды Шелегия, девки невероятной красоты и еще более необычной внутренней силы, и если б было место, я вспомнил бы нашу с ней недолгую любовь на почве моей идеи записать за ней ее мемуары; трагического пьяницы Геннадия, обаятельного и рассудительного человека лет под сорок, но с седеющей бородой, неудавшегося театрального режиссера, никогда не суетившегося, ни за кем не ухаживавшего, но, когда выпьет свое, всегда ухажившего с самой молоденькой и симпатичной; а там и целого выводка смазливых юнцов — вроде Внучка, родители которого были за границей и оставили ему квартиру тут же, на Калининском, над *Ивушкой*, за что его все любили, поили и баловали, а Луна наградила-таки *сифоном*, или сколовшегося уже

к двадцати трем Юрочки, сына актрисы кукольного театра, когда-то снимавшейся и в кино, с которым по прихоти судьбы я был некогда в одном пионерском лагере. Мы с ним приятельствовали, сбегали на пару в лес и сидели у костра, но он мне не был интересен, я ждал воскресного появления его мамыши; всегда на автомобиле и с новым мужчиной, ослепительной мамыши, в которую я тогда был изнурительно и скорбно влюблен...

Представление состоялось так: мои родители отбыли на летний отдых, и я остался один (бабушка моя к тому времени уже умерла) — блаженствовать в большой квартире, как позвонила Танька и, уяснив обстановку, сказала, что заглянет с *приятелем*. О времени мы точно не сговаривались, я выходил куда-то и был очень удивлен задыхающимся от волнения ее голосом в трубке — *где же ты!* Они были у меня через четверть часа, мы с Витольдом пожали друг другу руки, и я был приятно порадован франтоватостью его костюма, скромным достоинством манер, умеренностью в потреблении алкоголя и уж вовсе подкуплен чинным разговором за ужином — о литературе, — и только после Танька рассказала мне, что они звонили несколько раз и Витольд сказал, что *бодяга* ему надоела и что эту квартиру он, пожалуй, сожжет. Он и сжег бы, убежденно завершила меня Танька.

Они остались ночевать, но утро пошло уже не так фасонисто: проснувшись и выйдя на кухню, я застал Витольда в одних трусах, а тело его было густо покрыто синевато-трупной татуировкой, как чешуей хвост русалки; Танька сидела здесь же, с голыми тощими ногами, стягивала зябкими ручками на плоской своей груди порванную до пояса нейлоновую комбинацию и, не мигая, следила за всяким движением своего повелителя; Витольд хлебал прямо из кастрюли оставленный мне матерью суп, запивал водкой, взятой в моем холодильнике, и кивнул мне вполне дружески, указывая ложкой — мол, присаживайся, и даже чуть двинул от себя на середину стола кастрюлю, напоминавшую ему, должно быть, котелок на дальнем участке лесоповала; Таньке ни водки, ни супа не полагалось, даром что Барабан, впрочем, замечу, я никогда больше не видел Витольда в столь умиротворенно-домашнем облике, расслабившегося и примиренного, — видно, в то утро и он к Таньке испытывал признательность и, чем черт не шутит, что-нибудь похуже на нежность.

Трудно объяснить отчего, но Витольд с того утра проникся ко мне симпатией. Вряд ли из-за Таньки, по которой мы были-таки с ним *молочными братьями*, он не был настолько сентиментальным, хоть и это имело значение; может быть, потому, что, как выяснилось позже, Витольд тайком писал стихи, а я был хоть и начинающий, но литератор; наконец, здесь играла свою роль и обычная у воров тяга к *интеллигенции*, какое-то смутное к ней уважение, какого напрочь нет у простого люда, не прошедшего зону. Нет, симпатия — это даже мягко сказано, Витольд записал меня в *кореша*, что, признаюсь, не всегда было уютно при его свирепом и непредсказуемом нраве. Скажем, можно припомнить такую сценку: раз мы сидели все в той же *Метелице*, как появился ошивавшийся здесь что ни день гроза местной шпаны, парень — моего возраста, но выше меня, очень хорошо сложенный и с какой-то inferнально-кинематографической внешностью — по кличке Шоколад; он был бы очень красив, если б не мучительно-брезгливое и жестокое выражение, выдававшее непроходящее большое желание кого-нибудь мучить и унижать, как унижали и мучили, должно быть, его самого в лагере, о чем, впрочем, однозначно свидетельствовал присвоенный ему псевдоним; не дойдя до нас двух столиков и не видя нас, Шоколад нагнулся вдруг к каким-то девицам и ни с того ни с сего плюнул одной в лицо; та закрылась руками, а подруга ее, должно быть, что-то сказала, потому что Шоколад без размаха ткнул ей в рожу кулаком; вокруг все стихло; и тогда Витольд негромко произнес то, что он произнес, и Шоколад отлично его услышал; ну ты, *опущенный*, сказал Витольд, и ничего не прибавил; Шоколад быстро обернулся, физиономия его мигмом подобострастно скорчилась, и, став ниже ростом, он пошел к нам, твердя: что надо, Витя, я принесу, что надо; Витольд сделал знак, чтоб тот нагнулся к нему, Шоколад опустился на корточки, и Витольд коротко и резко ударил его ногой в грудь так, что на пиджаке и белой рубашке хорошо отпечатались подметка; Шоколада отбросило метра на два, а там уж он картинно повалился на спину.

Деньги Витольд добывал просто — *крутился на крутящихся*, так это тогда называлось, попросту занимался самым незатейливым рэкетом — подходил к *комку* на Восстания, где нынче магазин *Кабул*, у первого попавшегося спекулянта брал из рук любую вещь, выжидал паузу, а потом спокойно предлагал — купи, недорого отдам, двести рублей. И не было случая, чтоб не *покупали*. Самое поразительное, что Витольд и жил, и *работал* один, за ним никто не стоял, абсолютно, что не могло прийти в голову потерпевшим, иначе тому не сносить бы своей головы, некому было его *отмазать* и прийти на выручку, он рассчитывал только на свои силы — всегда, что ж удивительного, если в конце концов он проиграл.

В кабаках, куда он меня таскал за собой, платил всегда он, не могло быть и разговоров, и, чтобы как-то ответить ему, я привел его однажды в дом одного знакомого, бывшего комсомольского поэта, отчаянного остолопа, которому я прощал, впрочем, его великовозрастную дурачность за трогательное бескорыстно-преданное отношение к Литературе. Поэт собирал у себя пеструю компанию сочинительствующих, преимущественно графоманов, но бывали там и люди одаренные, что не странно — в те глухие годы некуда было податься, вот и сбивались в кучу, — и кое-кто с крушением большевиков всплыл-таки на поверхность, вынырнул на свет Божий (кто в толстых журналах, а кто и в парламенте).

Витольд читал там стихи. Я слышал тогда эти стихи в первый и последний раз, не поручусь, что принадлежали они именно Витольду, а не его соседу по нарам, но были они вывезены из зоны, это точно, и мне припоминается жалостливый стих про голодную лагерную дворнягу, которую нечуткие люди — не уточнялось, из эков или из охраны — часами заставляют стоять на задних лапах, держа на носу кусок ароматной колбасы. Жестом мэтра снимая и водружая на место очки, устало потирая переносицу, поэт, не ведавший, конечно, кто его гость, стал учинять профессиональный разбор услышанного, и надо было видеть, с каким беззлобным спокойствием слушал его Витольд, глядя бурыми глазами из глубин своего темного опыта на это чучело гороховое, рассуждавшее о рифмах и аллитерации. Сцена отпечаталась в моей памяти именно наглядностью неисповедимости путей человеческих, неисповедимостью и многообразием путей, ведущих всех нас, в сущности, к одному и тому же...

Зал действительно был невелик, человек на двести, и когда мы воссели за оставленный специально Витольду большой стол с закусками и я огляделся, то понял, что сегодня здесь гуляет элита *системы*, те люди, при виде которых начинают шушукаться за столиками дешевых кабаков на Калининском: богатый валютчик Гамлет, причем сам факт, что это было его настоящее имя, говорил об авторитете, ибо очень немногие в этом мире могли обойтись без *гликухи*, сорокалетняя гречанка по кличке Линтата, *мамочка* центральных притониток, сводница, бандерша и гадалка, вся в золоте и с большим декольте, целый букет *зеленок*, в центре которого блистала яркой цыганской красотой знаменитая в те годы в центре Шу-Шу, полностью — Шура Шаровая, в черном платье с открытыми плечами, только что без розы в черных волосах, — вокруг них все порхали армянского вида юноши в длинных блестящих, как у иллюзионистов, пиджаках с громадными отворотами; была здесь и Лида Шелегия, с которой я был тогда еще не знаком, но о которой слышал много интриговавших меня историй. Играл оркестр, кем-то выписанный и оплаченный, ибо в обычные дни музыка была только в большом зале, пела певичка какие-то тогдашние шлягеры вроде *сладку ягоду ели вместе, горьку ягоду я одна*, причем помимо игривости ей удавалось вместить в песню и ноту глубокой блатной тоски, так что неясно становилось — о беременности в конечном итоге идет речь или о сроке, что дал героине народный суд. И все вместе — водочка, льющаяся по столам, кабацкая чувственная хрипотца полуголой певички, ударная установка, исторгающая громы и звон, расфуфыренная и распаренная публика, размалеванные девицы с поплывшей уже краской и размазанными хмельными улыбками, красные мужские лица, — все уж сочилось тем алкогольно-сексуальным угаром, ради которого, собственно, и затевались подобные праздники. Витольд изредка кивал кому-то, иногда даже приподнимал в приветствии тяжелую, испещренную татуировкой руку, но ни

веселье, ни алкоголь не брали его, он — я неоднократно уже наблюдал это — лишь замыкался и сжимался внутри, не пьянея, и чувствовалось, как со дна его души медленно поднималась муть, ядовитая смесь горечи, обиды и злобы, от которой душно становилось ему самому. Это создавало вокруг него физически осязаемое поле, и не всякий решился бы в это поле ступить. А сам он пока никого не звал, коротко опрокидывал рюмку за рюмкой, молча, но не забывая каждый раз со мной чокнуться — давай.

Впрочем, вглядываясь в толпу танцующих, я все разыскивал глазами Шелегию, мечтая, чтоб она подошла к нашему столику, — я знал, что они с Витольдом накоротке. Но посетила нас внезапно — Шу-Шу, причем держала себя с той фамильярностью, что позволяют себе секретарши с шефом, переспав с ним, но во время не поставленные на место. Она не была пьяна, но под хмельком, конечно, и попыталась даже сесть к Витольду на колени, но он довольно грубо пихнул ее на соседний стол. Впрочем, она была не глупа, хитра и сообразительна, другие, собственно, и не удерживались на ее-то работе, требовавшей бесконечного лавирования между швейцарами интуристовских отелей, клиентами и топтунами из КГБ. Она была бы безукоризненно красива, если б не особое, такое же, как у Шоколада, брезгливо-вульгарное выражение алчного рта, печать порока, говорящая приподнято.

Я не прислушивался к их разговору, изыскивая в себе резервы храбрости, чтобы пригласить на танец Шелегию самому — Впрочем, я не был уверен в том, как отнесутся к такому ухаживанию и ее конвой, и Витольд, да и она сама, — как вдруг услышал неприятную ноту в тоне Витольда. И резкий ответ Шу-Шу с оглядкой на меня:

— Монгол, о таких вещах вслух молчать надо!

— Я ей напомнил, — сказал Витольд, когда Шу-Шу отошла, — как мы месяц назад с корешом ее на пару харили. — Это было не в его духе, об интимных делах он в принципе не распространялся, да и вообще говорил мало. Я понял, что он на взводе. Я вспомнил, что рассказывала про его художества Танька — как он ни с того ни с сего мог войти в незнакомый подъезд и принимался лупить по железной двери лифта: вставайте, идиоты, вас же имеют! — был диссидентом своего рода. Но здесь-то он, кажется, был среди своих, Впрочем, кто из нас может сказать, где у него свои. Сейчас он уперся взглядом в затылок парня, сидевшего вдалеке от нас, спиной к проходу и танцующим, и я тоже посмотрел туда: ничем не примечательный затылок.

— Ты его знаешь? — спросил я.

— Зачем мне его знать, — был ответ.

Но тут опять появилась Шу-Шу, спасительница.

— Витя, — затараторила она, ластясь, и было понятно, что она желает загладить размолвку. — Витя, смотри, кого я тебе привела.

За ее спиной, пугливо поджимаясь, стояли две девицы.

— Это джапан, Витя. Понимаешь, джапан. Они японки. А? А вы садитесь, садитесь, — говорила она девицам, показывая на свободные стулья.

Все озираясь по сторонам, без улыбок, эти две скуластые круглолицые японки, с черными короткими волосами, с носами уточкой, коротконогие, но с довольно широкими неловкими бедрами, уселись напротив нас, а Шу-Шу всё приговаривала: сит даун, плиз.

Это был совсем другой колленкор. Как раз когда мы совсем соскучились, у нас за столом оказались натуральные японки, здесь и сомнений быть не могло, желтолицые, узкоглазые, приземистые, и это вмиг открывало перед нами совсем новые перспективы.

— Послушай, у тебя были когда-нибудь японки? — спросил меня Витольд, разглядывая наших гостей. — И у меня нет. Была одна румынка. Из Молдавии.

Я бы тоже должен был признаться, что и у меня ни разу не было иностранки, не то что японки, кроме разве что одной полячки, что училась со мной в одной группе, но ведь курица — не птица...

Витольд преобразился и стал сама любезность. Первым делом он позвал официанта, шепнул тому на ухо, и вот умножились на столе вазочки с красной

и черной икрой, шампанское — тоже многократно размножившееся — перековало в ведерки со льдом, а там повалилась и рыба разных сортов, и жюльены, и мясное ассорти. Японки переглядывались и тихо переговаривались друг с другом.

— Слушай,— попросил меня Витольд, когда бокалы запенились,— что они всё говорят на своем кельды-бельды, скажи им что-нибудь по-английски, они ж должны понимать.

Я сказал. Не знаю, поняли ли японки меня, но отвечали на своем тарабарском. Впрочем, это не помешало им выпить шампанского и навернуть икры за обе щеки, закусывая ее копченой колбасой.

— Слушай,— сказал Витольд,— у них же там полно своей икры на Дальнем Востоке, а? Что ж они ее так хавают?

Я пожал плечами.

— Соскучились по родной пище, наверное, вот и берляют.

— А-а,— сказал Витольд глубокомысленно и погрузился в разглядывание обеих, примериваясь и выбирая.— Слушай, Колян, отдай мне их, чтоб парюю.

Этот поворот дела не входил в мои планы, я уж раскатал губу — пусть и таким несколько экзотическим маршрутом, но прикоснуться-таки к заветной загранице. Но — во-первых, деньги платил Витольд, во-вторых, японок Шу-Шу привела все-таки тоже не мне, а ему, к тому ж на волне его задора я мог урвать и свой кусочек, попросить его познакомиться меня с легендарной Шелегией.— Нет,— стукнул рукой по столу Витольд,— давай уж на пару. Сделаем чендж, идет? Хата есть... Скажи им, что валим на флэт. Мьюзик слушать. Мьюзик, понимать? — обратился он к японкам.

— Мьюзик, дья-дья,— закивали японки и стали показывать куда-то в оркестр.

— Они согласны,— констатировал Витольд.— Всё это забираем с собой, халдей сейчас завернет. И валим сразу, чего здесь менжеваться...— Он глядел на японок очень плотоядно, хоть ни одна из них, объективно говоря, не годилась в подметки Шу-Шу или Шелегии, даже Таньке-Барабану. *Халдей* уж пробирался к нашему столу.— Всё завернуть,— сказал Витольд,— берем с собой. Еще три шампуня. И коньяку...

— Понял,— сказал официант.— Вот, просили передать.— Он положил перед Витольдом сложенную пополам бумажную салфетку.

Витольд развернул записку. Прочел, скомкал и швырнул в пепельницу.

— Где она?

— В гардеробе. Они уходят...

Витольд встал и пошел к выходу. Я достал записку из пепельницы, разгладил и прочел, едва разбирая куриные буквы: «Монгол, это твои земли. Люби их и береги. Твоя Шура». Я посмотрел на японок. Этоное дело, они были монголками, странно, что мы сразу этого не просекли. Впрочем, сейчас было не до них. Шу-Шу неплохо отомстила, но только вряд ли Витольд оценит ее юмор. Где она их только раскопала? Впрочем, гостиница не принадлежала Интуристу, в ней вполне могли жить и монголки, а Шу-Шу подхватила их в холле... Витольд возвращался, и по его виду я понял, что Шу-Шу не такая идиотка, чтобы после подобной шутки дожидаться в гардеробе. Он подошел к монголкам сзади, они — то ли перехватив мой взгляд, то ли почувствовав опасность — хотели было обернуться, но Витольд крепко взял одну за правое ухо, другую за левое — вместе с волосами — и стал покачивать их головы, как бы примериваясь ловчей расколоть одну об другую.

— Витольд,— сказал я.

Он замер, но не смотрел на меня. Монголки замерли тоже, не издавая ни звука. Думаю, он боялся на меня смотреть, потому что тогда ему могло бы захотеться меня убить, а убивать меня он не хотел. Лицо его побледнело, обтянулись скулы, и кожа на них мелко дрожала.

— Витольд,— повторил я, чувствуя, что и сам бледнею — от гнева и страха вперемежку.

Он медленно разжал пальцы, и две монгольские головы разошлись, как механические, причем одна из монголок принялась тут же тихо поскуливать.

По-прежнему не глядя на меня, Витольд развернулся и неторопливо пошел к центру зала, где сейчас не танцевали, а всё пространство между столиками было пусто. Какая-то зловещая грация была в его неспешной походке, но я не мог угадать — что он задумал. Вторая монголка всё таращилась на меня. Они не понимали, по краю какой пропасти прошли, ни хрена не понимали, взять бы с них тугриками за спасение, на худой конец могли бы расплатиться бараном... Что-то произошло в воздухе, какая-то мгновенная перемена, хотя — *видимо* — ничего не изменилось, исчез только тот парень, затылок которого так пристально разглядывал Витольд, а свисающий край белой скатерти стал ярко-алым, как если бы его окатили из пульверизатора. Витольд той же походкой шел дальше мимо этого стола, и даже сидевшим за ним впору было засомневаться — не сами упал их товарищ с коня.

Я стал пробираться к выходу. Возможно, что-то было у нас общее, недаром он хотел *корешить* со мной, быть может, склонность к одинокому бунту; я ведь тоже чувствовал себя в известном смысле в зоне и тоже мечтал о свободе; да и свобода грезилась мне тогда, в конечном счете, так же — бикса попышнее, и чтоб пиджак кожаный, и чтоб суп¹ с лимоном. Но нам было не по пути, и у каждого — своя дорога. Прощай, Витольд.

НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА *На злых ветрах...*

Вариация на тему сказки о Золушке

Принц постарел. Стал Королем. И спился
От дум и от того, что сон не сбился
О Золушке в избушке лесника.
И Золушка изрядно постарела,
Жалея, что она не королева,
От мачехина прядась тумака.

Когда король, поддерживаем справа
И слева, объезжал свою державу,
Осоловело глядя на толпу,
В окне увидел тощую старуху,
Одну ладонь приставившую к уху,
Ладонь другую — козырьком ко лбу.

Король сказал: «Карга!» И отвернулся.
Старуха прошептала: «Как он гнусен!
Развалина, страшной гнилого пня!
Как хорошо, что бог меня избавил,
Что принц не нарушал дворцовых правил
И не нашел по туфельке меня!»

А муж ее, у печки грея руки,
Спросил: «Кто там проехал?» — у старухи.
«Не знаю, кто. Не до проезжих мне!»
Старик, не усомнившись в ответе,
Был так ревнив, что верил сотне сплетен
О Золушке. И верил ей вполне.

Она ему все девочкой казалась,
Когда легко руки его касалась
За ужином с цыпленком и вином.
Он улыбался, говорил «спасибо»
И думал: «Как жена моя красива
И как нам с нею хорошо вдвоем!»

Элегия

Сад гол, как мысль, подобная стреле,
Летящей к цели. И укрыться негде.
Парчовой, кленом скинутой одежде
Гнить, плавно покачавшись на воде,

Где селезень доволен сам собой,
Лениво утки чистят оперенье.
Припомнилось питье под смех и пенье
В саду, не перешедшее в запой.

Бурление споров, глупые стихи
С наивной верой — а во что? во что-то —
Затихли здесь, как летняя забота
Столетних кленов расправлять листки.

Сад гол и пуст, и нем. Иных уж нет...
По одиночке милые отплыли
В ладье Харона. Ни пыльцы, ни пыли.
Свободно ветки пропускают свет.

В холодном свете стало все видней,
Больней и горше, и непримиримей.
Сад, как ладонь, расчерчен сетью линий.
В кармане грею пару желудей.

Сад вычитан, заучен наизусть,
Осенний холст над ним натянут туго.
За плащ гипотетического друга,
Как будто за соломинку, держусь.

Блокадница

Не сестра. Не мать. Не жена.
Никому она не нужна.
Только в том не ее вина:
Все, что было, взяла война,
Обморозила добела
И младенчика отняла.

Остальное в цеху осталось,
Где к станку от станка металась
И опять к станку от станка
Ради красненького флажка.

От щедрот — пенсионных крошек —
Ходит, кормит бездомных кошек
На помойках, в чужих дворах,
Коченея на злых ветрах.

Зябко ей на пустой планете,
Кошек носит в свое жилье.
Ненавидят ее соседи,
Сумасшедшей зовут ее.

То под дверь ей насыплют дуста,
То супешник ее прольют.
То кричат, чтоб ей было пусто,
То грозятся отдать в приют.

Осуждают за кошек драных,
Превозносят свои дела.
Лучше б сплетничала на равных,
Лучше бы самогон гнала.

Но по павловскому ученью,
Как собаки на тот звонок,
Кошки тянутся к угощенью
И ласкаются возле ног.

Жанровая картинка

Скольжу усталым взглядом
По трещинам торцов,
По выцветшим фасадам
Соборов и дворцов.
По куполам и крышам
С антеннами крестов,
По ноздреватым рыжим
Льдам у быков мостов.
Что временно, что вечно?
Не скажет мне никто.

И вырастает в нечто
Вчерашнее ничто.
У чаек мерзнут лапки,
Алкаш портвейн сосет,
И беженка в охапке
Ребеночка несет,
Ремнем затянут туго,
Шагает божж босой,
Старухи бьют друг друга
Вареной колбасой.

Бурлящею рекою
Сбивает с ног, слепа,
О чести и покое
Забывшая толпа.

Подросток кроет матом
Трехлетнюю сестру.
И черт подносит атом
К чадающему костру.

* * *

Разговариваю с пассажиром в полутемном купе
И не требую документов, как часовой на КП.
Доверяю словам его, жестам его, улыбке.
Мы спеленуты порознь, как двойняшки в

трясущейся зыбке.

Убаюкивает, укачивает нянька седоволосая,
Темнолицая, одноглазая, усталая, хриплоголосая.
Развеваются космы ее, как метель за холодным стеклом,
За дрожащею занавеской над непрочным столом.
Одинокие люди, то есть два человека,

всего-навсего двое,

Мы от мира оторваны, таем во тьме, растворяемся

в вое

Оголтелого ветра, закрыты в скрипучей коробке.
Мы наивны, глупы, говорливы, растерянны, робки.
Мы не знаем, не верим и верить не смеем, не можем,
Почему нам не спится и сон напряженно тревожен.
Души мечутся — бабочки в междуоконном пространстве,—
Мы глядим в темноту, в потолок будто медиумы

в трансе.

Говорите, я верю, вам будет значительно легче.
Пусть слова означают и жизни, и смерти, и вещи,
И пустые дома, и сторожки, и голые рощи.
В жизни все тяжелее, сложнее, а может быть, проще.
Надо высказать, вышептать, выплакать, выплеснуть,

выжечь

Этот груз, эту накипь и бред, отряхнуться и выжить.
Излечиться, проснуться, заснуть, позабыть и понять,
Почему это нянька нас в люльке качает опять?

* * *

Ни мести, ни расплат. Иначе вновь на плачу.
Иначе кровь за кровь, за горло пятерней.
Сквозь музыкальный фон прислушиваться к плачу,
Сорваться и бежать через проем дверной.

Во тьму, в ночную мглу, горячим лбом к сугробу
Припасть, прожечь сугроб, чтобы взошла трава.
Нет, охладить свой лоб. И снова брать на пробу
Утратившие смысл высокие слова.

Нет, смысл вернуть словам и отобрать, как зерна
На всхожесть, но взойдет не каждое зерно.
По улицам пустым шататься беспризорно,
Подсвистывать себе легко и озорно.

Ни мести, ни расплат. И жертвы с палачами
По пьянке слезы льют под сигаретный дым.
Но Слово было Бог, как сказано вначале,
Вложи его в уста и в души молодым.

7 ноября

АНЕКДОТЫ И ФАКТЫ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ А. М. ПЕСКОВ

1796

БЛАГОДЕНСТВИЕ РОССИИ,
УСТРОЯЕМОЕ ВЕЛИКИМ ЕЯ САМОДЕРЖЦЕМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ

Ты, Павел, ангел мой хранитель,
Пример, краса венчаных глав;
Покров мой, щит мой и отрада...

Жуковский, с. 465

*Как новая звезда, возникнув,
Лучи приятны льет очам;
Живущи на нее все смотрят,—*

*Так на Тебя, всемогущий Царь,
Зрит мир, напастьми угнетенный,
И ждет, что усмиришь Ты зло!*

Державин, с. 58

7 ноября.

АМНИСТИЯ

Указы об освобождении из Шлиссельбургской крепости Новикова, о разрешении въезжать в столицы прочим мартинистам — кн. Трубецкому, Тургеневу, Лопухину. **19 ноября. Серeda.** Освобожден из заключения Костюшко.— **23 ноября. Воскресенье.** Приказ об освобождении Радищева из Илимского острога. **29 ноября. Суббота.** Указ об освобождении поляков, сосланных за 1794 год.

7 ноября. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА: НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Приказ о возвращении корпуса Валериана Зубова в Россию и о прекращении войны с Персией.— «Носилась повсеместная молва, что государь в самые первейшие дни своего царствования отзывался <...>, что теперь нет ни малейшей нужды России помышлять о распространении своих границ, поелику она и без того довольно уже и предовольно обширна <...>, и в сходстве того хочет он все содержать на военной ноге, но при всем том жить в мире и спокойствии» (*Болотов, с. 177*).

О мерах по сокращению численности армии: 10 ноября. Понедельник. Отмена рекрутского набора, объявленного 13 сентября. — «В самое то время, когда скончалась покойная императрица, находились все пределы обширной России в крайнем огорчении и в превеликих заботах, суетах и беспокойстве по причине начатого уже и производимого рекрутского большого набора. <...> Миллионы

сердец поражены были везде <...>, тысячи потоков горьких слез текли повсюду из глаз матерей, жен и близких родственников отдаваемых в рекруты. <...> Одни только моты, корыстолюбцы да доктора и лекаря в губернских городах вместе с подьячими <...> радовались: к сим, со всех сторон, стекались струи золота и серебра <ибо за некоторые деньги можно было откупиться от набора>. Вдруг воспоследовала кончина императрицы, и вмиг почти за оною — высочайший от нового императора указ, разрушивший как все сие зло, так и всю горесть и печаль» (Болотов, с. 177—178).

7 ноября. ВОЕННАЯ РЕФОРМА

О мерах по борьбе со злоупотреблениями.

«Нельзя изобразить, в каком странном и удивительном положении была до сего гвардия и коль многие злоупотребления господствовали в высочайшей степени в оной. <...> Полки хотя счислялись в комплекте, но налицо бывала едва ли и одна половина оных, но как жалованье отпускалось на всех, то командиры <...> из жалованья распущенных скопляли превеликие экономические суммы» (Болотов, с. 221).— «Начиная с Павла довольствие всегда выдавалось точно и даже до срока. Полковники не могли более присваивать то, что принадлежало солдатам» (А. Ф. Ланжерон.— Цит. по Эйдельману, 1982, с.133). В Кронштадте «число кораблей хотя значительно было <...>, но они большею частию были ветхие, дурной конструкции, с таким же вооружением <...>. Капитаны любили бражничать. Офицеры и матросы были мало практикованы <...>. В порте был во всем недостаток, и воровство было непомерное как в адмиралтействе, так и на кораблях. Кронштадт утопал в непроходимой грязи; крепостные валы представляли развалину, станки пушечные оказывались рассыпавшимися, пушки — с раковинами, гарнизон — карикатура на войска <...>. Со вступлением Павла на престол все переменялось. В этом отношении строгость его принесла великую пользу» (Штейнгейль, с. 97—98).— «Нелепости и оскорбления в безделицах заглушили и действительное добро нового царствования. Приведу пример материальный. В арсеналах стоят еще, вероятно, громоздкие пушки Екатеринбургских времен на уродливых красных лафетах. При самом начале царствования Павла и пушки, и лафеты получили новую форму, сделались легче и поворотливей прежних. Старые артиллеристы, в том числе люди умные и сведущие в своем деле, возопили против нововведения. Как-де отменять пушки, которыми громили врагов на берегах Кагула и Рымника! Это-де святотатство <...>. Между тем это было первым шагом к преобразованию и усовершенствованию нашей артиллерии, пред которою пушки времен очаковских и покоренья Крыма ничтожны и бессильны» (Греч, с. 138).

О мерах по борьбе с тунеядством: «Дворянство за первый себе долг почитало записывать детей своих в гвардию <...>, можно было записывать и самых еще младенцев грудных <...>, отыскивались и такие, которые записывали и совсем еще не родившихся.<...> И вся мелюзга сия не только записывалась, но <...> им почти от рождения шло старшинство <...>. Что же касается до взрослых, то и из них большая часть вовсе не служила <...>, однако, чрез происки и деньги, еще скорее самих служащих доставали себе либо поручичьи, либо капитанские чины <...>. На таковое страшное неустройство смотрел государь уже давно с досадою <...>. А посему, не успев вступить на престол, <...> приказал, <чтоб> гвардейские офицеры непременно и в самой скорости явились к своим полкам. <...> Нельзя изобразить, как перетревожились тем все сии тунеядцы и какая со всех сторон началась скачка и гоньба в Петербург. Из Москвы всех их вытурили даже в несколько часов, и многих выпроваживали из города с конвоем, а с прочих брали подписки о скорейшем их выезде» (Болотов, с. 222—223, 187).

О мерах по укреплению порядка и дисциплины: «Всем известно, что гвардейские наши полки, во все те многие годы, покуда продолжалось у нас женское правительство, мало-помалу приходили час от часу в вящее уважение, а особливо чрез действия <...> при бывших переворотах и переменах правительственная <...>. Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная, а господа гвардейские подполковники и майоры делали что хотели» (Болотов, с. 220—221, 222).— «При императрице мы помышляли только, чтоб ездить в общества,

в театры, ходить во фраках» (*Комаровский, с. 53*).— «Отныне ни один офицер, ни под каким предлогом, не имел права являться куда бы то ни было иначе, как в мундире <...>. Далее нам сообщили, что офицерам вообще воспрещено ездить в закрытых экипажах, а дозволяется только ездить верхом или в саях, или в дрожках» (*Саблуков, с. 22*).— «Все пошло на прусскую статью: мундиры, большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, пукли, ордонанс-гаузы, экзерцир-гаузы, шлагбаумы (имена дотоле неизвестные) и даже крашение, как в Берлине, пестрою краскою мостов, буток и проч. Сие уничтожительное подражание пруссакам напоминало забытые времена Петра Третьего» (*Шишков, с. 12—13*).— «В Екатерининское время русская армия имела мундиры светло-зеленого сукна, а флот — белого» (*Саблуков, с. 41*).— «Для содержания себя в Петербурге гвардейскому офицеру требовалось очень многое. Ему нельзя было обойтись <...> без многих мундиров, из коих и один не менее стоил 120 рублей; без множества иной и дорогой одежды <...>. Сверх того надобно было иметь хорошую квартиру, не гнусный стол, многих служителей, одетых порядочно <...>. И как на все сие требовались многие сотни и тысячи рублей, то и <...> принуждены были входить оттого в многочисленные и нередко неоплатные долги и оттого разоряться. В таковом-то положении застал государь свою гвардию. <...> Уничтожил он вдруг и одним разом все сие <...>, перемены сперва у всех гвардейских офицеров мундиры и вместо прежних дорогих приказав сделать их из недорогого темно-зеленого сукна, подбитые стамедом <шерстяной тканью> и столь недорогие, что мундир не стоил более 22 рублей» (*Болотов, с. 188—189*).— «В этих костюмах мы едва друг друга узнавали; все походило на дневной маскарад, и никто не мог встретить другого без смеха, а дамы хохотали, называя нас чучелами» (*Санглен, с. 474—475*).— «Снова введены были у солдат <...> пукли и косы. Меня уверял один гвардейский офицер, что, когда полк должен был на другое утро вступать в караул, солдатам нужно было вставать в полночь, чтобы друг другу завивать волосы. По окончании этого важного дела они должны были, дабы не испортить своей прически, до самого вахт-парада сидеть прямо или стоять и таким образом в продолжение 36 часов не выпускать ружья из рук» (*Коцебу, с. 295—296*).— «В царствование императрицы Екатерины II один только караул Зимнего дворца приходил на Дворцовую площадь, где на особом для сего месте строился во фронт <...> и по отдании чести знамени вступал на двор дворца для смены старого караула.— По принятии же престола императором Павлом I тотчас введены были вахт-парады по примеру прусских и как были в Гатчине <...>. Для изучения нового порядка службы приказано было собираться ежедневно в Зимний дворец, в Знаменную комнату, возле большой церкви, всем гвардии генералам, штаб-офицерам и адъютантам» (*Волконский, с. 180, 185—186*).— «Седые, с георгиевскими звездами, военачальники учились маршировать, равняться, салютовать эспантоном» (*Лубяновский, с. 94*), «должны были ходить в училище, где, в присутствии самого императора, Канабих <генерал-майор>, бывший три или четыре года тому назад фехтовальным учителем, преподавал уроки о военном искусстве» (*Шишков, с. 18*).— Канабих учил так: «Э, когда командуют: повзводно направо,— офицер говорит коротко. Э, когда командуют: повзводно налево,— то просто налево! Офицер, который тут стоял, так эспантон держал и так маршировал; и только и всего, и больше ничего» (*по воспоминаниям А. П. Ермолова.— Шильдер, с. 292*).— «Офицеры и даже полковники, служившие с честолюбием, называемы были перед солдатами во фрунте оскорбительными именами. <...> Сам государь, поставя во фронт офицеров, обучал их метать ружьем и алебардами, с строгим наблюдением, что ежели кто хоть чуть ошибется или не проворно сделает, то сорвут с него шпагу и потащат под караул <...>. Аракчеев, в присутствии государя, за малую ошибку, таковую, как ступил не в ногу, или тому подобную, замечал мелом на спине солдата <...>, сколько дать ему палочных ударов» (*Шишков, с. 18, 22*).— «В царствование Екатерины арест, как мера наказания для офицера, применялся только в исключительных, серьезных случаях, так как он влек за собою военный суд, и офицер, который был арестован в наказание, обыкновенно должен был выходить из полка. Таков был *point d'honneur*¹ в Екатерининское время. Не то

¹ Принцип чести (*франц.*).

было теперь» (*Саблуков, с. 28*).— «Аресты, исключения из службы, прежде что-то страшное, обратились в вещь обыкновенную» (*Санглен, с. 494*).— «Нередко за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки и на весьма большие расстояния. Это случалось настолько часто, что у нас вошло в обычай, будучи в карауле, класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, дабы не остаться без денег в случае внезапной ссылки» (*Саблуков, с. 39*).— За что наказывал? — За дурное поведение. За развратное поведение. За непристойное поведение. За непорядочное поведение. За пьянство. За лень. За нерадение. За лень и нерадение. За нерадение и лень. За неспособность к службе. За дерзновенное прошение. За не дельное прошение. За ложный рапорт. За ложный донос. За упущение по службе. За упущение по службе подчиненных. За ослушивание команды (*формулировки из приказов Павла I*).— Как наказывал? — Гневным криком. Выговором. Кратковременным арестом. Долговременным арестом. Отставкой из службы с мундиром (с правом ношения мундира). Отставкой без мундира (без права ношения мундира). Выключкой из службы без права вступать в оную снова. Взысканием денег. Переводом в отдаленный гарнизон. Лишением дворянства. Вплоть до битья кнутом.— Кого наказывал? — Всех, ибо не ошибается только Бог да Государь, Его подобие на земли.— «Все это, однако, <...> редко касалось частных лиц, не занимавших никакой должности. Только лица, находившиеся на службе, какого бы звания они ни были, постоянно чувствовали над собою угрозу наказания» (*Жоцебу, с. 299*).

10 ноября. Понедельник. «Поутру вступили в С.-Петербург из Павловского и Гатчины все войска, там находившиеся» (*Волконский, с. 180*), «и его величество тотчас поскакал <...> навстречу. Приблизительно через час император вернулся во главе этих войск» (*Саблуков, с. 23—24*).— «По прибытии на площадь Зимнего дворца все сии войска прошли церемониальным маршем, тихим шагом мимо императора, потом зашли во фронт в одну линию, где император Павел I сам изволил объявить им изустно, что они поступают в гвардию <...>. Ober-офицеры поступали теми же чинами, а штаб-офицеры полковниками <...>. Полки гвардии все были переформированы» (*Волконский, с. 180*).— «На сие-то собственное войско <...> и полагал он всю надежду и потому поместил их в старинную гвардию и порядочно перемешал с нею; а чрез самое сие и подсек он ей все крылья; ибо если б и восхотелось ей что-нибудь дурное затеять, так, будучи перемешана с новыми сими войсками, не могла на то отважиться» (*Болотов, с. 221*).— «Новые пришельцы из гатчинского гарнизона были представлены нам. Но что это были за офицеры! Что за странные лица! Какие манеры! <...> Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из <...> офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства. Все новые порядки и новые мундиры подверглись строгой критике и почти всеобщему осуждению. Вскоре, однако, мы убедились, что о каждом слове, произнесенном нами, доносилось куда следует» (*Саблуков, с. 23*).

7 ноября. РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главным военным губернатором Петербурга император назначил наследника Александра Павловича («каждое утро в семь часов и каждый вечер — в восемь — великий князь подавал императору рапорт» — *Саблуков, с. 33*); комендантом — генерал-майора Аракчеева; вторым военным губернатором в С.-Петербурге — генерала от инфантерии Николая Петровича Архарова, а обер-полицмейстером был генерал-майор Чулков, которые, по приказанию его величества, доносили ежедневно не только о малейших происшествиях в городе, но даже о частных разговорах, которые доходили до них чрез полицейских шпионов, собиравших таковые сведения чрез домашних у господ служителей, в трактирах и кабаках от солдат и от всякого звания людей» (*Волконский, с. 182—183*).— «На дворе у нас нанимал квартиру квартальный комиссар (так назывались тогда помощники надзирателей) 14-го класса Сатаров, сын бывшего сторожа в Экспедиции о расходах. Он был тираном и страшилищем всего дома: его слушались со страхом и трепетом; от него убегали; как от самого Павла. Донос такого мерзавца, самый несправедливый и нелепый, мог иметь гибельные последствия» (*Греч, с. 163—164*).

7 ноября.

ГРАЖДАНСКАЯ РЕФОРМА

О мерах по искоренению яacobинства: «Был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавших всем обывателям носить пудру, косичку или гарбейтель и запрещавших ношение <...> сапог с отворотами, длинных панталон, а также завязок на башмаках и чулках, вместо которых предписывалось носить пряжки» (Саблуков, с. 22).— «И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками <...>. Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам <указом 13 января 1797 г.>» (Греч, с. 147).— «Полиция у всякого идущего по улице срывала их с головы и предавала истреблению» (Шишков, с. 12).— «Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб» (Саблуков, с. 22).— «Он запретил особенным указом носить фракки, жилеты и панталоны» (Массон, с. 103). — «Малейшее отступление от формы было проступком, который навлекал неизбежное наказание» (Коцебу, с. 296). «Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения» (Греч, с. 147).

О мерах по изъявлению высокопочитания императорского сана. *Опыт психоанализа и несколько анекдотов:* «Известно, что Екатерина не любила своего сына <...>. При ней великий князь, наследник престола, вовсе не имел значения. Он видел себя поставленным ниже господствовавших фаворитов, которые часто давали ему чувствовать свое дерзкое высокомерие <...>, отсюда образовалась черта характера, которая в его царствование причинила, может быть, наиболее несчастий: постоянное опасение, что не оказывают ему должного почтения <...>. Он не мог отрешиться от мысли, что и теперь <когда он царствует> достоинство его недостаточно уважаемо; всякое невольное или даже мнимое оскорбление достоинства снова напоминало ему его прежнее положение; с этим воспоминанием возвращались и прежние ненавистные ему ощущения, но уже с сознанием, что отныне в его власти не терпеть прежнего обращения, и таким образом являлись тысячи поспешных, необдуманых поступков, которые казались ему лишь восстановлением его нарушенных прав» (Коцебу, с. 277—279).— «Несчастье тому, кто, будучи допущен к поцелую сухой руки Павла, не производил стука о пол, ударяя коленом с тою же силою, с какою солдат <...> ударя(ет) своим ружейным прикладом. Нужно было также, чтобы чмокание губ на руке раздалось во всеуслышание, чтобы засвидетельствовать поцелуй» (Массон, с. 102).— «Было еще предписание едущим в карете при встрече особ императорской фамилии останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, форейторов, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних придворных и сановников, должно признать, что они при исполнении не смягчали, а усиливали требования и наказания.— Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца и сказал без всякого умысла или приказания: «Вот идет мимо царского дома и шапки не ломает». Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание: всем едущим и идущим мимо дворца снимать шапки. Пока государь жил в Зимнем дворце, должно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошаадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, т. е. незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все идущие мимо дворца снимают шляпы, и спросил о причине такой учтивости.— «По высочайшему Вашего Величества повелению»,— отвечали ему. «Никогда я этого не приказывал!» — вскричал он с гневом и приказал отменить новый обычай. Это было так же трудно, как и ввести его. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительно просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верноподданнического почтения» (Греч, с. 147—148).

7 ноября.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

«Я иной выслуги ни от кого не требую, как только непрерывного исполнения повелений моих» (его собственные слова в одном из указов.— Ключков, с. 117).— С 7 ноября 1796-го по 11 марта 1801-го, за 1586 дней правления императора Павла издано 2179 манифестов, указов, приказов и прочих законодательных

повелений (Екатерина II издала вдвое больше узаконений; правда, и царствовала она на 30 лет дольше своего сына) (*подсчеты Эйдельмана, 1982, с. 61*).

7 ноября. РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Никогда так скоро курьеры не разъезжали <...> и никогда в такое короткое время повеления государские всюду и всюду доставляемы не были <...>. Первейшим почти деянием государя, по вступлении его на престол, было то, что он <...> тотчас окружил себя людьми умными, проворными, имеющими великие дарования» (*Болотов, с. 214, 174—175*), «которые впоследствии времени весьма скоро возведены были на высокие ступени и украшены андреевскими лентами и титлами графов. Из оных доступнейшими до государя были: Кутайсов, Кушелев, Аракчеев, Ростопчин, Оболянинов» (*Шишков, с. 20*).— «Установленный государем порядок <...> достоин особенного примечания. Вставал государь обыкновенно очень рано и не позже пяти часов» (*Болотов, с. 198*). «С ранней зари, с 6 часов утра <...> царь сам за работой. <...>— Генерал-прокурор каждый день отправлялся с докладами во Дворец в 5½ часа утра» (*Лубяновский, с. 93*). «К началу седьмого часа должествовали уже быть в назначенных к тому комнатах <...> все те из первейших его вельможей, которым либо долг повелевал быть всякое утро у государя, либо кому в особенности быть, накануне того дня, было приказано <...>, и государь, вошедши к ним, занимается с ними наиважнейшими делами и разговорами, до правления государственного относящимися, и препровождает в том весь седьмой и восьмой час» (*Болотов, с. 198*). «Ad exemplum regis componitor orbis¹. В канцеляриях, в департаментах, в коллегиях, везде на столах свечи горели с 5 часов утра; с той же поры в вице-канцлерском доме, что был против Зимнего дворца, все люстры и все каминны ярко пылали. Сенаторы с 8 часов утра сидели за красным столом» (*Лубяновский, с. 93*). «В восемь часов стоят уже у крыльца в готовности санки и верховая лошадь; и государь <...> разъезжает по всему городу и по всем местам, где намерение имеет побывать в тот день» (*Болотов, с. 199*). «Посещения были часты и внезапны. Заботливость гласная, разительная» (*Штейнгейль, с. 98—99*). «В десять часов возвращается он во дворец своей и, обогревшись несколько, выходит пред оный к <...> гвардейскому разводу. Тут, со множеством своих вельможей и офицеров, занимается он <...> в учении и муштровании своей гвардии» (*Болотов, с. 199*). «Несмотря ни на какую погоду, каждый день выходил к разводу, редко когда без ученья» (*Лубяновский, с. 104*). «По расшествии оных остается государь с одними своими и теми, коим приказано быть или остаться при столе. Стол уже накрывается, и ровно в 12 часов государь садится уже за оный <...>. После стола распускает он всех и берет себе отдохновение на короткое время; ибо в 3 часа готовы уже опять санки и верховая лошадь, и государь отправляется опять в путь <...>. В пять часов должны быть опять уже в собрании в комнатах его министры и государственные вельможи; и государь, по возвращении своем, занимается с ними важными, государственными и до правления относящимися делами весь шестой и седьмой час. <...> В 8 часов государь уже ужинает и ложится почивать; и в сие время нет уже и во всем городе ни единой горящей свечки» (*Болотов, с. 199*).

Памяти государя Петра Первого

О мерах по установлению контроля за порядком исполнения: «Он все хотел видеть собственными глазами, входил в самые мелочи, заглядывал во все закоулки» (*В. И. Штейнгейль. — Цит. по: Эйдельман, 1982, с. 153*).— **Декабрь.** Император отказал депутациям от губернских дворян прибыть в Петербург для поздравлений со вступлением на престол (дабы не отвлекались от дел).— **23 декабря.** **Вторник.** Указ о сокращении неприсутственных (выходных) дней для служащих на время Рождественских праздников: раньше гуляли с 25 декабря по 7 января, теперь — три дня: 25—27-е.— **26 декабря.** **Пятница.** Инструкция генерал-прокурора Куракина по губерниям: «Чиновник, какого бы звания и класса ни был, никуда ни на малейшее время без дозволения Правительствующего сената <чтоб> не отлучался» (*Эйдельман, 1982, с. 94*).— К началу 1797 года от царствования Екатерины уцелели на высших сановных местах немногие. Все братья Зубовы,

¹ Мир живет примером государя (*латин.*).

канцлер Остерман, генерал-прокурор Самойлов и иные прочие были отставлены. Прочно остался лишь Безбородко.

7 ноября.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

«Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце было устроено обширное окно, в которое всякий имел право опустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца, под одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро, в седьмом часу, император отправлялся туда, собирав прошения» (*Саблуков, с. 29*).— О чем просили? — «Обо всем: о скорейшем решении тяжбы, о нанесенных побоях, о дозволении выйти в отставку, о дозволении вступить в службу, об обеде от полкового командира, о покраже скота со двора, о разрешении выйти замуж, о разрешении жениться, о дозволении открыть торговую лавку, об унятии дерзновенных разговоров соседей, о пожарах, грабежах, притеснениях, убийствах... Кто просил? — Кому не лень и не страшно: губернский секретарь *Грабский*, мичман *Фениш*, седельный мастер *Шмиден*, девица *Подлятская*, прапорщик *Штемпель*, вдова капитана *Вельерскейль*, птичий подмастерье *Добринский*, полковник *Дрексель*, аудитор *Акуловский*, подпоручик *Сыроболярский*, надворный советник *Анерт*, корнет *Кобылянский*, жид *Шацкиль*, мещанин *Сидяков*, рядовой *Замахаев*, маркиз *Пакде-Баден*, коллежский регистратор *Гыро*, генерал-лейтенант *Дотишамп*, грек *Кундум*, поручик *Параной* — и не было им счета (все фамилии — настоящие; анонимные доносы принимались к рассмотрению наряду с прошениями). Каждое утро, в седьмом часу, император (...) собирав прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем публиковались в газетах для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. (...) Этим путем обнаружились многие вопиющие несправедливости, и в таковых случаях Павел был непреклонен. Никакие личные или сословные соображения не могли спасти виновного от наказания» (*Саблуков, с. 29*; ящик, впрочем, сняли, ибо в него стали бросать пашквили и карикатуры на лицо и сан императора).— «Народ был счастлив (...). Вельможи знали, что всякому возможно было писать прямо государю и что государь читал каждое письмо (...). Страх внушал им человеколюбие» (*Коцебу, с. 299*).

О мерах по ускорению решения судебных дел: «В конце 1796 года по сенату, вместе с герольдией, нерешенных дел было — 14233 (больше годового поступления), по 41 губернии (...) — 63672 дела (...). О том, как велика была волокита в процессах (...), дает некоторое представление следующий редкий, но не исключительный случай (...). Дворяне Рязанской губ. Антон Тарасов и Григорий Конев были схвачены и посажены под арест (в 1757 г.) по обвинению в грабеже. Дело о них шло по разным инстанциям и в 1782 г. было представлено в сенате, а в следующем году Императрице с приговором о лишении их дворянства и ссылке на поселение, а вопрос об облегчении участи преступников предоставлялся усмотрению Императрицы. Екатерина так до своей кончины и не рассмотрела доклада, и он оставался среди бумаг в ее кабинете. Когда Павлу было доложено о том, он спросил, живы ли преступники; оказалось, они 40 лет находились под стражей, ожидая решения своей участи. Резолюцией 13 августа 1797 г. Павел приказал их освободить, вменив долговременное содержание под стражей в наказание» (*Клочков, с. 103*). За 1797 год в сенат поступило 21951 дело, решено — 20838; за 1798-й поступило 27795, решено — 25517; за 1799-й поступило 30910, решено — 33060 (с зачетом дел, поступивших и не решенных в 1798-м), за 1800-й поступило 42223, решено 44480 (*Клочков, с. 218—219*).— «Толико-то подействовала государева строгость и гнев его» (*Болотов, с. 273*).

О мерах по введению кнутабойного и прочего наказания дворян. «Отрицательно относясь к смертной казни, Павел на умеренное телесное наказание смотрел как на исправительную меру, которая в нужных случаях должна применяться ко всем без изъятия, не исключая и дворян. (Дворяне по жалованной грамоте Екатерины II 1785 года были освобождены от телесного наказания.)» (*Клочков, с. 491—493*).— «Солдат, генерал и полковник теперь все сравнивались (...), и в настоящее время не

стоит гордиться своим чином» (*Дашкова, с. 237*).— «Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи» (*Дашкова, с. 235, 237*).— «Некто из разумнейших сенаторов петербургских <...> рассказывал мне, с каким прискорбием принужден он был подписать кнут и ссылку сыну короткого знакомого своего — да и безвинному почти.— «Для чего ж?» — спросил я. «Боялись иначе», — отвечал он. «Что, — говорил я, — так именно приказано было, или государь особливо интересовался этим делом?» — «Нет, — продолжал он, — да мы по всем <делам> боялись не строго приговаривать и самыми крутыми приговорами старались угождать ему» (*Лопухин, с. 90—91*).

7 ноября.

ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА

«Известно, что за несколько уже лет до кончины покойной императрицы курс на наши деньги крайне унизились и упал так, что иностранные принимали рубль наш не более 60 копеек или еще меньше; а серебро внутри государства сделалось так дорого, что лаж¹ на серебряные рубли, возвышаясь с часу на час, достиг уже до 45 коп. <...>. И все богатство всего государства превратилось только в бумажное и состояло в одних только ассигнациях <...>. Цена на все вещи поднялась, и все вздорожало» (*Болотов, с. 215—216*).— «Кроме того, темной стороной Екатерининского царствования были хронические дефициты. Для покрытия их впервые стали прибегать к систематическим займам как внутренним, так и внешним. В результате появился довольно солидный долг, больше чем в 200 миллионов рублей, почти равный трем годичным бюджетам» (*Клочков, с. 100—101*). **Декабрь.** Постановлено: пошлину с ввозимых из-за границы товаров собирать иностранной золотой и серебряной монетой (по установленному Советом Его Имп. Величества курсу рубля к иностранным деньгам).— Приказано сжечь на площади перед дворцом бумажных денег на 5 млн. 316 тыс. 665 руб. (*Клочков, с. 171*).— Бюджет на 1797 год составлен лично императором из расчета расходов на 31,5 млн. руб.; по согласованию с правительствующими учреждениями уточнен: 80 млн. руб., в том числе с расходом на оборону — 34 млн. и с дефицитом в 8 млн. руб. (*Шумигольский, 1907, с. 115*).

7 ноября.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

27 ноября. Четверг. Разрешено крепостным, ищущим вольности, обращаться в суды.— **12 декабря. Пятница.** Разрешено крепостным подавать жалобы на своих помещиков как в суды, так и самому государю (*ПСЗ, № 17636*).— Кроме того, еще в самом первом манифесте, о восшествии на престол, от 6 еще ноября, объявлено о присяге новому императору не только свободных сословий, но и всех крепостных крестьян.— «Это новая мера, никогда еще не применявшаяся в России <...>. Крестьяне вообразили, что они больше не принадлежат помещикам, и некоторые деревни в различных губерниях возмутились против своих господ» (*Дашкова, с. 244*).

7 ноября.

КОММЕНТАРИИ

МНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОСОБ О РЕФОРМАХ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕРВОГО. МНЕНИЕ ГВАРДЕЙСКИХ ОФИЦЕРОВ: «Полицейские мероприятия <...>, проявление деспотизма <...>, всеобщее неудовольствие <...>, самый дух жителей был подвержен угнетению» (*Саблуков, с. 27, 28*).— «Образ нашей жизни офицерской совсем переменялся <...>, с утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут» (*Комаровский, с. 53*).— **МНЕНИЕ АРМЕЙСКОГО ОФИЦЕРА:** «Был я тогда очень молод, а нельзя было не заметить с первого шага в столице, как дрожь, и не от стужи только, словно эпидемия, всех равно пронимала <...>. Эта эпоха имела уже свои названия. Называли ее, где как требовалось: торжественно и громогласно — *возрождением*; в приятельской беседе, осторожно, вполголоса — *царством власти, силы и страха*, в тайне между четырех глаз — *затмением свыше*» (*Лубяновский, с. 91—92*).— **МНЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-АДЬЮТАНТА:** «Имею честь поздравить вас с нашим милостивым императором, которого вступлением первое дело было изливаться неистинные всем милости» (*Боратынский — отцу, 14 ноября 1797 г., с. 29*).—

¹ Лаж — «приплата к одному роду монеты при промене ее на другую, например, бумажек на серебро» (В. И. Даль. Толковый словарь, т. 2, с. 234).

МНЕНИЕ СЕНАТОРА: «К строгости побуждался он точно стремлением любви, правды и порядка <...>. Он так милостиво меня принял <...>, что ни с кем во всю мою жизнь не был я так свободен при первом свидании, как с сим грозным императором» (*Лопухин, с. 74*).— **МНЕНИЕ ДРУГОГО СЕНАТОРА:** «<...> вспыхнул император; глаза его, как молнии, засверкали, и он <...> во весь голос закричал: «Поди назад в Сенат и сиди у меня там смиренно, а не то я тебя проучу».— Державин как громом был поражен таковым царским гневом и в беспамяты довольно громко сказал в зале стоящим: «Ждите, будет от этого царя толк» (*Державин, с. 184*).— **МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦА:** «Довольно, чтобы какая-нибудь вещь была в царствование его матери, чтобы она не могла существовать в его царствование <...>. Он желает не улучшать, а изменять <...>. Французская революция не совершила такое множество перемен, какое восшествие на престол Павла» (*Массон, с. 104—105*).— **МНЕНИЕ ДРУГОГО ИНОСТРАНЦА:** «Строгость, хотя и не всегда уместная, была, однако, вообще благотворною <...>. Схвативши твердою рукою бразды правления, Павел исходил из правильной точки зрения <...>. Страна, в которой по меньшей мере две трети чиновников об одном только и думают, как ограбить казну, не иначе может быть управляема, как железным скипетром. Так управлял ею, без вреда для своей славы, Петр I, величайший знаток своего народа <...>» (*Коцебу, с. 280, 300—301*).— **МНЕНИЕ ФРЕЙЛИНЫ:** «Вообще характер Павла представлял странное смешение благороднейших влечений и ужасных склонностей <...>. С внезапностью принимая самые крайние решения, он был подозрителен, резок. <...> В минуты же гнева вид у Павла был положительно устрашающий <...>» (*М-те Ливен, с. 177—179*).— **МНЕНИЕ ДРУГОЙ ФРЕЙЛИНЫ:** «У императора Павла были великодушные и рыцарские идеи. <...> У него была гордая душа и деятельный ум <...>. Но его дурной характер быстро взял верх <...>. Потрясение, происшедшее от замены самого мягкого царствования режимом террора, произвело совершенно неожиданное действие <...>. Когда не дрожали от страха, то выпадали в безумную веселость. <...> Надо сознаться, что никогда раньше высшая власть не давала столько поводов к смешному» (*Головина, с. 164, 160, 181, 182*).— **МНЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ПОМЕЩИКА:** «Государь все первейшие дни своего государствования ознаменует милостями <...>, изъявляет кротость и незлопамятство <...>, чувствование негодования к неблагоприятным <...>, свой миролюбивый нрав <...>, оживотворяет всю военную дисциплину <...>, оказывает снисхождение <...>, предпринимает совершенную реформу всей гвардии и разрушает единым разом все бывшие в ней злоупотребления <...>» (*Болотов, с. 212, 172, 173, 177, 176, 221*).— **МНЕНИЕ ПОЭТА:** «О Павел! Ты наш Бог земной!» (*Карамзин. Ода на случай присяги московских жителей <...> Павлу I, 1796*.— *Н. М. Карамзин. Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1966, с. 189*).— **МНЕНИЕ ИСТОРИКА:** «Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства; но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления одного <...>. Россияне смотрели на сего монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней» (*Карамзин. Записка «О древней и новой России», 1811, с. 108*).

8 ноября. Михайлов день. СОБОР СВЯТАГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ: «Одновременно с Богом образом для царя может служить и Михаил Архангел <...>, еще Иван Калита выстроил в Кремле первый Архангельский каменный собор <...>. Михаил (имя его значит «кто, яко Бог») — это своего рода заместитель Бога и его двойник, это воитель и архистратиг, великий князь небесных сил и державный царственный ангел, «ангел истории». <...> Светлое и мрачное чередуются в нем. В нем надежда и угроза. С ним опасно шутить, его нельзя безнаказанно увидеть. <...> Его можно ждать в виде пожара с неба, урагана с гор, в виде водяного столба в море <...>. Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен. <...> Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией» (*А. М. Пан-*

ченко. *Русская культура в канун петровских реформ.* Л., 1984, с. 13—14; О. А. Добиаш-Рождественская. *Культ св. Михаила в латинском средневековье V—XIII веков.* Пг., 1917, с. 392).

Петербург. ВИДЕНИЕ О МИХАИЛЕ АРХАНГЕЛЕ В ЛЕТНЕМ ДВОРЦЕ

«*...*» было для всех сущюю загадкою. А носилась только странная и почти совсем невероятная молва в народе» (*Болотов, с. 255*). «Рассказывали, что часовой в Летнем дворце видел Михаила Архангела и даже имел с ним разговор» (*Грловина, с. 201*).— «Сперва не хотел никто тому верить, как он *...*» и сержанту, а потом и караульному офицеру самое то же под клятвенною рассказывал, то сочли они за нужнее *...* довести историю сию и до самого государя». Но сей, услышав о сем, будто сказал: «Да, это я уже знаю» (*Болотов, с. 255—256*).— «Император сказал, что св. Михаилу нужно повиноваться, что он сам уже получил внушение Свыше построить ему церковь и имеет уже план ее» (*Массон, с. 114*).— «Вот что говорили в народе и какая носилась молва о сем случае, но *...* надобно иметь великую веру, чтоб не почесть все сие выдуманною басенкою или, по крайней мере, политическою страгемою» (*Болотов, с. 256*). «Как бы то ни было *...*», **20-е число ноября** сделалось достопамятно повелением от государя, чтоб с того времени находящийся в Петербурге старинный Летний дворец на Фонтанке называть навсегда Михайловским», затем «Летний дворец решено было сломать», и скоро «начали строить новую церковь и новый дворец» (*Головина, с. 201; Болотов, с. 255; Массон, с. 114*).— «Известно, с каким пристрастием Павел смотрел на Михайловский замок *...*». Его предпочтение *...* происходило от чистого источника, из кроткого человеческого чувства, которое за несколько дней до своей смерти он почти пророчески выразил *...*: «На этом месте я родился, здесь хочу и умереть» (*Коцебу, с. 317—318*).

Борясь за добро, он часто бывает яростен...

МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ

1 декабря. Понедельник. Приказ московскому военному губернатору М. М. Измайлову: «Объявите княгине Дашковой¹, чтоб она, напаятовав происшествия, случившиеся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние свои деревни *...*. Извольте смотреть, чтоб ехала немедленно *...*. Пребываем вам благосклонный.— Павел» (*Шильдер, с. 312*).

Того ж числа. Приказ военному губернатору Петербурга великому князю Александру Павловичу: «Государь император *...* делает примечание *...*, чтоб более было учтивостей на улицах» (*Анекдоты, с. 235*).

2 декабря. Вторник. ИЗВЕСТИЯ О ПЕТРЕ ФЕОДОРОВИЧЕ

«Петр III умер уже не царствующим императором *...* и был погребен в Невском монастыре, а не в Петропавловском соборе, который служит усыпальницею русских императоров, начиная от Петра Великого *...*. Вслед за обнаружением церемониала о погребении императрицы тело Петра III *...* вынута из могилы *...*» (*Саблуков, с. 25—26*).— «С. И. Плещеев рассказывал *...*, что гроб вскрыт на момент — ни образа, ни подобия; уцелели только шляпа, перчатки, ботфорты» (*Лубяновский, с. 98*).— «Для оказания почестей праху Петра III выбрали именно тех людей, которые подготовили его смерть; из них выделялись *...* граф Алексей Орлов, герой Чесмы, и обер-гофмаршал князь Барятинский» (*Головкин, с. 136*).— «Тот, кому назначено было нести корону Императорскую *...* Орлов», зашел в темный угол и взрыд плакал *...*. Гроб Петра III стоял несколько дней в Зимнем дворце рядом с гробом Екатерины *...*.— **5 декабря. Пятница.** *...* В день выноса в крепость гроб императора предшествовал гробу императрицы» (*Лубяновский, с. 98*).

¹Княгиня Дашкова в 1762 году была одной из составительниц заговора против Петра Феодоровича.

Явился Новый год нам в мире
И Павел в блещущей порфире.

.....
Да мы, под Павловым владеньем,
Еще светлее процветем
И век Его бессмертным пенем
На лирах сердца воспоем.

Державин, с. 60—61

Фавориты

Генварь. М-lle NELIDOW ВЕРНУЛАСЬ К ГОСУДАРЮ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ и занимает теперь отведенные ей апартаменты в Зимнем дворце.

ПЛАНЫ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА. Заговор в армии

Полковник Каховский (Александр Михайлович) говорил, что-де «Государь хочет все по-прусски в России учредить и даже переменить закон <православную веру>», а посему надобно — «восстав против государя, идти <...> на Петербург». — «Однажды, говоря об императоре Павле, он <Каховский> сказал Суворову: «Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу». Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому. «Молчи, молчи, — сказал он, — не могу. Кровь сограждан!»¹

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

11 генваря. Воскресенье. Тульчин. СУВОРОВ ЖЕЛАЕТ СКРЫТЬСЯ: «Мои многие раны и увечья убеждают Вашего Императорского Величества всеподданнейше просить <...> о Всемиловитвейшем увольнении меня в мои <...> деревни на сей текущий год» (*Суворов. Письма, с. 319*) И ВЫКАЗЫВАЕТ НЕДОВОЛЬСТВО ВОЕННОЙ РЕФОРМОЙ: «Пукли не пушки, коса не тесак. Я не немец, а природный русак» (*Шишков, с. 12*); «нет вшивее пруссаков <...>; головной их вонью подарят вам обморок» (*Суворов. Письма, с. 319, 314*. — Суворов был отставлен 6 февраля). **11-го же генваря.** УКАЗ О ЗАПРЕЩЕНИИ принимать в гражданскую службу дворян, выключенных приказом императора из гвардии или армии. **Того же числа.** РЕСКРИПТ О НАКАЗАНИИ: «Козьмодемьянской штатной команды прапорщика Хвостова, застрелившего из пистолета до смерти новокрещена из черемис Ивановна, повелеваем, лиша чинов и дворянства, написать вечно в рядовые в Селенгинский пехотный полк. Военной же коллегии, которая мнением своим старалась оправдать сие преступление, доказывая, что оно будто бы учинено не из злого умысла, делается выговор за *неуважение жизни человеческой*» — Павел (*Клочков, с. 292*).

16 февраля. Понедельник. О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СВОБОДЫ СЛОВА Утвержден указ, данный сенату Екатериной II незадолго до ее кончины: «В прекращение разного рода неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг» — повелено закрыть все частные типографии

¹ Из следственных показаний капитана В. С. Кряжева и из воспоминаний А. П. Ермолова. — Т. Г. Снытко. Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века. // Вопросы истории, 1952, № 9, с. 112. Каховский был арестован, однако, только в августе 1798-го — в связи с другим заговором, возникшим в одном из полков, расквартированном под Смоленском (*М. М. Сафонов. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988, с. 54—65*).

и учредить в Петербурге и Москве духовную и светскую цензуры, а в Риге, Радзивиллове и Одессе — цензуру для иностранных книг, ввозимых из-за границы (ПСЗ, № 17811; Шумигорский, 1908, с. 116).

17 февраля. Вторник. **САМОЗВАНЦЫ НОВЫЕ, ИМЕНА ПРЕЖНИЕ** «За обольщение простого народа в Динамюнд в работы навсегда» определен некто Петраков, Семен сын Анисимов, объявлявший себя под Москвой, в Быкове, императором Петром Феодоровичем (Эйдедьман, 1982, с. 35).

МЕСТО РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НАКОНЕЦ РАЗРУШЕНО ДО ОСНОВАНИЯ. МЕСТО СМЕРТИ УЖЕ ВЫБРАНО. ОСТАЛОСЬ ЕГО ЗАСТРОИТЬ

26 февраля. Четверг. «Государь <...> положил первый камень в фундамент Михайловского дворца на том же самом месте, где был Летний дворец <...>. Раскапывая место для фундамента этого дворца, нашли камень, на котором было вырезано имя несчастного Ивана <Иоанна VI Антоновича>» (Головина, с. 201).

МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ СВОЕГО ЦАРЯ

15 марта. Воскресенье. Император со свитой прибыл в Петровский замок.— **16 марта. Понедельник.** Император со свитой, осмотрев Кремль при обильном стечении народа, вернулся в Петровский дворец.

18 марта. Середа. **О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СВОБОДЫ СОВЕСТИ** УКАЗ: «обеспечить каждому свободу исповедания веры, им содержимой» (ПСЗ, № 17879; «свобода веры <...> есть наилучшее средство сохранить между обитателями различного закона тишину и спокойствия». — Из другого указа, от 3 апреля 1797 г.— ПСЗ, № 17904).

МОСКВА СОЗЕРЦАЕТ СВОЕГО ЦАРЯ

25 марта. Середа. Благовещение Пресвятой Богородицы: Первое торжественное, троекратное и во всеуслышание, провозглашение предстоящего 5 апреля коронования: в Петровском дворце, в Кремле и в торговых рядах (Головкин, с. 151).—

26 марта. Четверг. Собор Гавриила Архангела: Второе торжественное, троекратное и во всеуслышание, провозглашение предстоящего коронования. **28 марта. «В Вербную субботу** был торжественный въезд государя в Москву» (Головина, с. 177).— Шествие из Петровского замка в Кремль продолжалось с часа до пяти пополудни (Головкин, с. 152).— **29 марта. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим:** Третье торжественное, троекратное и во всеуслышание, провозглашение предстоящего коронования.— **3 апреля. Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.** Репетиция церемоний коронования: «Император вел себя как ребенок, который в восторге от приготовляемых для него удовольствий». — Репетиция шла безостановочно — у придворных даже «не было времени для отправления простых и естественных нужд» (Головкин, с. 152—153).

5 апреля. Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА. КОРОНАЦИЯ

в Успенском соборе Московского Кремля: «Около 8 часов шествие тронулось. Путь от дворца до собора в Кремле так короток, что для его удлинения шествие обогнуло колокольню Ивана Великого. Император был в мундире и высоких сапогах, императрица в платье, сотканном из серебряной парчи и расшитом серебром» (Головкин, с. 153).— «Посредине церкви, напротив алтаря, было устроено возвышение, где стоял трон императора <...>. Император короновался сам, потом он короновал императрицу, беря свою корону и дотрагиваясь ею до головы супруги» (Головина, с. 179).— «Павел Петрович объявил себя главою церкви и при короновании, прежде чем облечься в порфиру, приказал возложить на себя далматик — одну из царских одежд византийских императоров <...>, но Святая Тайны в алтаре принял из рук священнослужителя, а не сам лично, вопреки распространившимся тогда слухам» (Шумигорский, 1907, с. 121—122).—

«Император, в порфире, в короне, со скипетром и державою в руках, под балдахинном, шел (...) бодрым шагом и с веселым лицом. Поравнявшись с князем <Репниным>: «Fais-je bien mon rôle, mon prince?» — сказал ему; а императрица, следуя за ним, тут же два раза вслух повторила: «Mais plus doucement, mon ami, plus doucement»¹ (*Лубяновский, с. 114*). — «После обедни, причастия, коронавания (...) император приказал прочесть громким голосом *Акт о престолонаследии* <«Избираем Наследником, по праву естественному, после смерти Моей, Павла, Сына нашего большего, Александра...»>. Этот Акт был положен на алтарь в Успенском соборе» (*Головина, с. 179—180*).

5-го же апреля.

ПАСХА. КОРОНАЦИЯ. ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ

135 именных указов — «о пожаловании разным лицам чиновного и придворного мира земель и угодий с крестьянами, чинов и титулов княжеского, графского и баронского достоинства» (*Клочков, с. 534*).

После 5-го апреля.

«ИМПЕРАТОР И ИМПЕРАТРИЦА НА ТРОНЕ

в Грановитой палате принимали поздравления» (*Лубяновский, с. 115*). — «Императору все казалось, что приходило слишком мало народу. Императрица постоянно повторяла, что она слышала от императрицы Екатерины, будто во время коронации толпа, целовавшая руку, была так велика, что рука у нее распухла, и жаловалась, что у нее рука не распухает. Обер-церемониймейстер Валуев, чтобы доставить удовольствие Их Величеству, заставлял появляться одних и тех же лиц под разными названиями» (*Головина, с. 181*). — В Москве во время поздравлений и торжеств император впервые увидел m-lle Лопухину: «У нее были красивые глаза, черные брови (...)». — Впрочем, всему своя эпоха: зерно страсти еще только заронено в царское сердце; пусть зреет до времени — возрастет в будущем году.

ПОЕЗДКА ПО СТРАНЕ

3 мая. Воскресенье. «Государь император с наследником великим князем Александром Павловичем и великим князем Константином Павловичем, и со свитом поехали чрез Смоленск в Минскую, Гродненскую, Виленскую, Курляндскую и Лифляндскую губернии (...), а императрица с великими княгинями и великими княжнами (<и с m-lle Nelidow>) чрез Тверь и Новгород в Павловское» (*Волконский, с. 189*).

СТРОГОЕ ВОСПРЕЩЕНИЕ

всем начальствующим в губерниях устраивать парадные встречи. «Его Величество желал видеть обыкновенный, всенедневный быт народа, и затем строго было воспрещено поправлять дороги, чинить мосты и делать какие бы то ни было приготовления для путешествия государя» (*Лубяновский*).

ВИЗИТ В ПНЕВУЮ СЛОБОДУ

По дороге в Смоленск, несколько не доезжая онога, в Пневой слободе император увидел новый мост. На вопрос, кто смел нарушить воспрещение приуготовлений, Павлу отвечали, что пневские ямщики, а по чьему приказу — неизвестно. Государь пришел в крайнее неудовольствие, когда услышал, что ямщики провели на постройке моста три недели, «упустя чрез то столь удобное время к хлебопашеству». Смоленскому губернатору Философову был послан приказ разыскать того, кто распорядился о строительстве моста, выяснить причины и, если ослушник виноват, отдать его под суд. Когда 6 мая император прибыл в Смоленск, губернатор Философов объявил ему, что виновные найдены, но что мост они велели строить для собственной надобности и по неведению о строгом воспрещении на счет приуготовлений. Павел поверил и всех миловал. Пневским мостостроителям было отпущено из казны 2500 рублей за потерпленный убыток (*Клочков, с. 37—41*).

¹ «Хорошо ли я исполняю свою роль, князь?» — «Но потише, мой друг, потише!» (*франц.*)

ПНЕВЫЕ АНЕКДОТЫ

1. Однажды государь путешествовал по стране. Под Смоленском, на одной станции, пред ним бросилась на колени толпа крестьян. Они стали жаловаться на притеснения уездного предводителя дворянства: тот заставил их прокладывать новую дорогу для царского проезда. Государь, разгневавшись, что разоряют питателей отечества, воскричал: «Палача сюда! Палача!» Но так как палача с собою в путешествие не брали, предводителя просто заковали в кандалы и отправили в Смоленск. Вскоре туда прибыл и сам государь. Первым делом он направил свои стопы в собор. Но смоленский губернатор Философов заградил ему путь: «Ты, государь, в гнев... нельзя гневному входить в Храм Господен». Государь опаматовался и простил предводителя (*А. М. Тургенев, т. 83, с. 87—88*).

2. Однажды государь путешествовал по стране. Под Смоленском, на одной станции, проезжая через один мост, он увидел свежие щепы и стружки и понял, что мост чинили прямо перед его проездом, несмотря на приказ о запрете на приуготовление. Государь разгневался и потребовал назвать ослушника. Им оказался местный предводитель дворянства. Государь немедленно велел князю Безбородко писать указ о наказании. Безбородко, взяв перо и бумагу, пошел в избу, сел за стол, и тут к нему на руку приполз таракан. Безбородко боялся тараканов больше, чем государя. Он выскочил из избы с пером в руке, без шляпы и в ужасе помчался по деревне. Доложили о том государю. «В погоню! — приказал государь. — И сюда привести!» Когда привели Безбородку, гнев государя уже остыл, и он только сказал: «Что, князь Александр Андреевич, трусили? Бросьте!» (*Ф. П. Лубяновский. Воспоминания. — РА, 1872, кн. 1, с. 159—160*).

3. Однажды государь путешествовал по стране. Под Смоленском на одной станции государь увидел множество крестьян, починяющих дорогу. На вопрос, по приказу какого ослушника они это делают, крестьяне ответили, что по приказу их помещика Храповицкого. И тотчас стали жаловаться на него. Государь взволновался, громко выразил свое негодование и наконец спросил у окружающих: «Как вы думаете, Храповицкого надо наказывать в пример другим? — Свита безмолвствовала. Тогда государь повернулся к великому князю Александру Павловичу: — Ваше высочество! Напишите указ, чтобы Храповицкого расстрелять. — Великий князь был поражен. В эту минуту подъехала карета князя Безбородки. — Как вы думаете, — спросил его государь, — хорошо ли я сделал, что приказал расстрелять Храповицкого?» — «Достождолжно и достохвально, государь», — отвечал Безбородко. Все ахнули. «Вот видите, — сказал император, — что говорит умный человек. А вы чего испугались?» Но тут Безбородко добавил: «Только, государь, Храповицкого надо казнить по суду, чтобы все знали, что ослушника повелений государя карает закон; следовательно, нужно послать указ Смоленской уголовной палате, чтобы она немедленно приехала в полном своем составе на место и поставила свое определение». Государь согласился с мнением умного человека, и тотчас в Смоленск был отправлен фельдъегерь с соответствующим приказом. — Иногда при пересказе сию историю на этом месте обрывают (*см.: Анекдоты, с. 147*). Но у сочинителя ее, царского адъютанта Николая Кутлубицкого, анекдот кончается счастливо: Безбородко перехватил тройки со скачущими чиновниками, подошел к председателю уголовной палаты и напомнил ему, что во всяком деле следует сообразовываться с законами, иначе можно подпасть под государев гнев. Храповицкий был оправдан, ибо суд установил, что он послал крестьян поправлять дорогу не к приезду государя, а из-за весенних дождей, сделавших ее непролазной (*Рассказы генерала Кутлубицкого о временах Павла I в записи А. И. Ханенко. — РА, 1866, вып. 7/8, ст. 1079—1080*).

ЧЕРНОЕ И ЖЕЛТОЕ. Ошибка губернатора

20 мая. Серeda: «Я узнала о новой подлости Архарова. Говорят, что он принуждает всех окрасить двери своих домов ромбами в черный и желтый цвета (<...>); приказал объявить хозяевам, которые исполнить его требования отказываются,

что он придет к ним маляров и они разрисуют им двери на их счет. Все это падает на нашего доброго императора, который, несомненно, и не думал отдавать подобного приказа, существующего, как я знаю, по отношению к забoram, мостам и солдатским будкам, но отнюдь не для частных домов. Архаров — негодяй» (*имп. Мария Феодоровна — m-lle Нелидовой, 20 мая 1797 г. — Шумигорский, 1798, с. 90*).

27 мая. Суббота. ГОСУДАРЬ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОЕЗДКИ ПО СТРАНЕ, уволил Архарова (17 июня) от должности петербургского генерал-губернатора и назначил (19 июня) на оную генерала графа Буксгевдена, мужа ближайшей подруги m-lle Нелидовой («На государя сильно влияет императрица, она вмешивается во все дела <...>. Чтобы усилить свою роль, она соединилась с m-lle Нелидовой <ставшей ее лучшей подругой после 7 ноября>»). — *Ростопчин, с. 182—183*. — **ЗАМЕЧАНИЕ НА ПАМЯТЬ:** «Когда он что-нибудь хочет, спорить с ним не решается никто, ибо возражения он считает бунтом. Случается, что потом императрица, чаще же m-lle Нелидова, или обе вместе укрощают его, но бывает это редко» (*лейб-медик Рожерсон — С. Р. Воронцову, 10 июня 1797 г. — АкВ, т. 30, с. 86—87*).

ГОСУДАРЬ ОТБЫЛ НА ОТДЫХ В ПАВЛОВСКОЕ. НО СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ КОНТРОЛИРУЕТ

2 августа. Воскресенье. «Когда однажды вечером он прогуливался в Павловске вместе с двором и лицами, составлявшими его постоянное общество, послышались звуки барабана. Все насторожились. Для вечерней зари было слишком поздно. Император остановился, заметно взволнованный. Били тревогу. «Это пожар», — вскричал он, повернулся и быстро пошел к дворцу вместе с великими князьями и военными. Императрица с остальным обществом следовала за ним издали. Подойдя к дворцу, увидели, что одна из ведущих к нему дорог занята частью гвардейских полков. Остальные кавалеристы и пехотинцы поспешно бежали со всех сторон. Спрашивали друг у друга, куда надо идти, сталкивались, и на узкой дороге, наполненной войсками, военные, пожарные и различные повозки пролагали себе дорогу только с помощью страшного крика. — Императрица, опираясь на руку одного из придворных, пробиралась через толпу, разыскивая государя, потерянного из виду. Наконец, беспорядок настолько увеличился, что многим из дам, и именно великим княгиням, пришлось перелезть через барьер, чтобы избежать опасности быть раздавленными. — Немного спустя войскам был дан приказ разойтись. Император был взволнован и в плохом настроении. Много было движения, продолжавшегося до позднего вечера. После долгих розысков открыли, что причиною суматохи был трубак, упражнявшийся в казармах конной гвардии. Войска в примыкающих казармах подумали, что это сигнал <тревоги>, и повторили его, таким образом тревога передалась от одного полка к другому. В войсках думали, что это или пожар, или испытание на быстроту сбора» (*Головина, с. 187—188*).

3 августа. Понедельник. Всем чинам гвардии объявлено **ВЫСОЧАЙШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ** «за вчерашнее усердие и исправность во время тревоги» (*Санкт-Петербургские ведомости, 1797, № 63*).

4 августа. Вторник. «Почти в те же часы, когда двор был на прогулке в другой части сада, отделенной от большой дороги только небольшим барьером <забором>, послышался звук трубы и показало несколько кавалеристов, скакавших во весь опор по тропинке, примыкающей к большой дороге. Император в бешенстве бросился к ним с поднятой тростью и заставил их повернуть обратно <...>. Все были довольно удивлены. В особенности растерялась государыня. Она кричала, обращаясь к придворным: «Бегите, господа, спасайте вашего государя!» <...>

История окончилась несколькими наказаниями и больше не повторялась» (*Головина, с. 188—189*). — О причинах волнений отчасти дознались: еще днем офицеры нашли своих солдат готовыми к сбору и пытались их разубедить, но те непреклонно ожидали сигнала тревоги, что и случилось под вечер. В суматохе несколько человек было ушиблено и ранено. Причиной был приказ государя

Павла, не дошедший до полков,— о том, чтобы почталионы возвещали свое прибытие сигналом рожка: один из почталионов стал трубить по прибытии с письмом из Петербурга (*Шумигорский, 1898, с. 96—99*).

6 августа. Четверг.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ

жителям Павловского: «Чтобы во время высочайшего присутствия в городе не было там ни от кого произносимо: свистов, криков и не дельных разговоров» (*Шумигорский, 1898, с. 99*).

14 августа. Пятница.

ВЫСОЧАЙШИЙ ГНЕВ

«Лейб-гвардии Преображенского полку поручик Шепелев выключен в Елецкий мушкетерский полк за незнание своей должности, за лень и нерадение, к чему он привык в бытность его при князьях Потемкине и Зубове, где вместо службы обращались в передней и в пляске» (*РС, 1873, № 3, с. 108*).— С 1 мая по 24 августа исключено из службы 117 офицеров — за лень, нерадение, пьянство, развратное поведение, дурное поведение и прочая, и прочая, и прочая (*Шумигорский, 1907, с. 129*).— «Я из вас потемкинский дух вышибу! Я вас туда зашлю, куда ворон ваших костей не занесет!» (*А. М. Тургенев, т. 48, с. 70*) — так или примерно так говорил государь, когда бывал в неудовольствии на гвардию.

1 — 15 сентября.

ЕСЛИ ЗАВТРА — ВОЙНА. Маневры

«Переехали в Гатчину. Там начались опять новые ученья и строи. Настала мнимовоображаемая война. Окружной лес был неприятель. Государь по ночам не раздевался, чтоб, при нечаянном нападении, быть готову к сражению» (*Шумилов, с. 42*).— Всего было собрано 3 дивизии; 7 с половиной тыс. человек.— Во время маневров «давались и празднества. Балы, концерты, театральные представления беспрерывно следовали одни за другими, и можно было думать, что все увеселения Версаля и Трианона по волшебству перенесены были в Гатчину. К сожалению, эти празднества нередко омрачались разными строгостями, как, например, арестом офицеров или ссылкой их в отдаленные гарнизоны без всякого предупреждения» (*Саблуков, с. 51*).

20 сентября. Воскресенье. ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ — СОРОК ТРИ ГОДА. ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ТРИ ГОДА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ И СЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ.

Пламенные революционеры

20-го же числа. Гатчина. «ГРАФ ПАЛЕН приказом, объявленным при пароле, <...> снова принят в службу и по этому случаю <...> просил удостоить принять подобострастное приношение живейшей благодарности и купно всеподданнейшие уверения, что он жизнь свою по гроб посвящает с радостью высочайшей службе и для того пред лицом государя повергает себя к священным стопам его величества» (*из приказа Павла I от 20 сентября и из всеподданнейшего письма гр. Палена к Павлу от 1 октября 1797 г.— Лобанов-Ростовский, с. 366—367*).— «Пален, непроницаемый, никогда никому не открывавшийся <...>, был создан успевать во всем, что бы он ни предпринял <...>, это был настоящий глава заговора, предназначенный подать страшный пример всем заговорщикам, настоящим и будущим» (*Ланжерон, с. 132—133*).— «Он охотно делал добро, охотно смягчал, когда мог, строгие повеления государя, но делал вид, будто исполнял их безжалостно» (*Коцебу, с. 292*).— «Когда Палену приходилось иногда слышать не совсем умеренную критику действий императора, он обыкновенно останавливал говоривших словами: «Messieurs! Jean foutre qui parle, brave homme qui agit!»¹ (*Саблуков, с. 50*).— «Раз Пестель² мне рассказывал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они <в 1817 году> с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него зародыш революционных идей, однажды ему сказал: «Escoutez, jeune

¹ «Господа! Разбездельник тот, кто только говорит, молодец — дело делает!» (*франц.*)

² Пестель Павел Иванович — глава заговора декабристов в 1825 году, наш несбывшийся Наполеон.

homme! Si vous voulez faire quelque chose par une société secrète,— c'est une bêtise. Car si vous êtes douze, le douzième sera invariablement un traître! J'ai de l'expérience et je connais le monde et les hommes!»¹ (*Лорер. Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 69.*)

«НЕУДОВОЛЬСТВИЕ ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА

всёобщее. Наклонность русских к революциям, привычка их к женскому управлению, безнравственность их побуждений — все это могло бы повлечь за собою самые прискорбные последствия, если бы добродетели императрицы не ставили ее выше всякого искушения (т. е. Мария Феодоровна стоит выше искушения повторить революцию 28 июня 1762 года). Император, желая исправить ошибки предыдущего царствования, вводит новую систему в управление (...). При этом государь занимается лишь мелочами (...), теряя оттого из виду важные дела» (*из донесения в Берлин прусского посланника Брюля, 1 мая 1797 г.— Шумигорский, 1807, с. 125.*)

К СОБЫТИЯМ В ГАТЧИНЕ

«Как-то раз в то время, когда я находился во внутреннем карауле, во дворце произошла забавная сцена. Выше я упоминал, что офицерская караульная комната находилась близ самого кабинета государя, откуда я часто слышал его молитвы. Около офицерской комнаты была обширная прихожая, в которой находился караул, а из нее шел длинный узкий коридор, ведущий во внутренние апартаменты дворца. Здесь стоял часовой, который немедленно вызывал караул, когда император показывался в коридоре. Услышав внезапно окрик часового «караул вон!», я поспешно выбежал из офицерской комнаты. Солдаты едва успели схватить свои карабины и выстроиться, а я обнажить свою шпагу, как дверь коридора открылась настежь, и император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату, и в ту же минуту дамский башмачок, с очень высоким каблуком, полетел через голову его величества, чуть-чуть ее не задевши. Император через офицерскую комнату прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда же, откуда пришла. На другой день, когда я сменялся с караула, его величество подошел ко мне и шепнул: «Mon cher, nous avons eu du grabuge hier». — «Oui, Sire!»² — отвечал я» (*Саблуков, с. 51—52.*)

«НЕУДОВОЛЬСТВИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

со дня на день. Отнимая у (...) командиров возможность грабить, им не дают средств к жизни (...), вместе с тем солдата утомляют до невероятной степени (...). Беспрестанные нововведения, неуверенность в том, что можно сохранить занимаемое место на завтрашний день, доводят всех до отчаяния (...).

(...) ИМПЕРАТОРА ЛЮБЯТ

только низшие классы городского населения и крестьяне» (*из донесения прусского посланника Брюля 16 июня 1797 г.— Шумигорский, 1898, с. 92—93.*)

ИМПЕРАТОРА НЕ ЛЮБЯТ

Мнение народное (извлечения из судебных дел): «Царь Павел — настоящий дьявол» (*дело № 3508 Сенатского архива*). — «Мы ожидали, что после Государыни будут от Государя Павла Петровича милости, а от него (произнесены тут бранные слова) — вот какая милость» (*№ 2930*). — «Тот, кто царствует, рожден не от христианской крови, а от антихриста» (*№ 3130*). — «Да он дурак

¹ «Послушайте, молодой человек! Ежели вы собираетесь что-то предпринять, собрав для дела тайное общество,— это глупость. Ибо когда вас 12 человек, без сомнений, двенадцатый окажется предателем. У меня опыт, и я изведаль людей и свет!» (*Франц.*)

² «Мой милый, мы вчера немного повздорили». — «Так точно, государь!» (*Франц.*)

(изругавши матерно), его давно повесить <...> надобно. Извести, как отца» (№ 3508).— «Государь сдурел, и недаром его мать не воцарила» (№ 3554).— «Царишко», «плешивый и курносый» (№ 3409, 31116) (Клочков, с. 603—604).

7 ноября. АНЕКДОТЫ

«Обер-прокурор Синода докладывал государю: «Не благоугодно ли будет Вашему Величеству пожаловать в присутствие Св. Синода?» — «А зачем?» — спросил тот. «Государь, вы изволите быть в Сенате, а Синод есть место равного достоинства». — «Делайте, что хотите, — ответил на это император, — моя власть исполнительная» (Анекдоты, с. 183).

«Раз в Петергофе Павел сидел в беседке. Два лакея, которые его не заметили, хотели пробраться чрез калитку и вдруг нашли ее заложенною. «Кто приказал ее заложить?» — спросил один из них. «Кто же, как не государь! — ответил другой. — Ведь он во все вмешивается». Тут они употребили несколько неприличных выражений, которые вывели Павла из терпения. Он бросился на этих лакеев, исколотил их собственноручно и отдал их в солдаты. Как часто и Петр Великий сам справлялся своею дубиною!» (Коцебу, с. 303.)

8 ноября. Михайлов день. СОБОР СВЯТАГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Спустится на землю судья праведный
 Михайло архангел-свет,
 С полками он с херувимскими,
 С херувимскими и с серафимскими,
 Со всею он силою небесною
 И со трубою он златокованую.
 И первый он раз вострубит —
 И души в телеса пойдут;
 Второй он раз вострубит —
 От гробов мертвые встают;
 В третий раз вострубит —
 Все на суд Божий пойдут.
 И праведные идут по правую руку,
 А грешные — по левую.
 У праведных лица — хорошие,
 На главах волосы, как луна, светлы,
 А у грешных волосы, словно стрелы, стоят,
 Праведные идут — все стихи поют
 Херувимские и серафимские,
 Величают Христа, Царя небесного,
 Пресвятую они Матерь Богородицу.
 Величают они Михайла архангела:
 «Не возможно ли, батюшка,
 Михайло архангел, помиловать?»
 Отвечает Михайло архангел со ангелами:
 «Проходите, рабы крещеные, души верные,
 Уготовали себе вы царство небесное».
 А грешные идут — сильно плачут,
 Плачут они да рыдают,
 Ко Михайлу архангелу причитаются:
 «Не возможно ли нас, батюшка,
 Михайло архангел, помиловать?»
 Отвечает Михайло архангел-свет им со ангелами:
 «Отойдите, злые, окаянные!
 Белый свет вам на волю дан был,
 Сами вы себе место уготовили —
 Муку вечную и тьму кромешную!»

9 ноября. Понедельник. «ЛИША ЧИНОВ И ДВОРЯНСТВА, сослать в Нерчинск в работу» — капитана Эгерса и поручика Штакельберга за объявленное ими возмущение генерал-майором бароном Аракчеевым, называвшим их «болванами» и «дураками». — Эгерс и Штакельберг прощены 25 декабря (*Эйдельман, 1982, с. 92—93*).

29 ноября. Воскресенье.

ЦАРЬ-РЬЦАРЬ

После недолгих переговоров посланника католического Мальтийского Ордена рыцарей св. Иоанна Иерусалимского — графа Юлия Литты и императора всероссийского, самодержавного государя Павла I Российская империя объявляет свой протекторат над островом Мальтой, принадлежащим Ордену, и обязуется способствовать финансовому и прочему благополучию оного. Император всероссийский награжден высшей рыцарской наградой Мальтийского Ордена — крестом Ла Валетта, а также, наряду со всей императорской фамилией, Мальтийским крестом, каковой отныне введен в число российских наград. Рыцарское достоинство требует заступаться за невинно униженных и оскорбленных, а посему в ноябре принят на содержание и поставлен на зимние квартиры в Волынской и Подольской губерниях корпус (7 тыс. человек) принца Конде. Принц Конде с своим сыном герцогом Бурбоном и внуком герцогом Энгийенским по приезде в Петербург награждены орденом Андрея Первозванного — высшей российской наградой — в знак благодарности за пламенную борьбу против мировой революции. — Французскому королю в изгнании — Людовику XVIII — предоставлено убежище в Митаве с пенсией в 200 тысяч рублей. — Людовик XVIII просит государя помочь освободить несчастную дочь покойного Людовика XVI, спасенную от якобинцев, но задержанную из политических интриг австрийцами в Вене. — «Государь, брат мой! — отвечал Павел. — Королевская принцесса будет вам возвращена, или я не буду Павел I» (*Шумигорский, 1907, с. 145*). — Русскому послу в Вене, графу Андрею Разумовскому (тому самому) приказано добыть принцессу. Принцесса привезена в Митаву с почтовой скоростью. — Таковы рыцари.

1798

Высочайшие роды

28 января. Четверг.

ШАНС ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

«Императрица родила сына, названного по желанию императора Михаилом. — У государыни были трудные, но не опасные роды. Так как ее постоянный акушер умер, выписали другого из Берлина. Этот последний, без сомнения, подговоренный теми, кто желал разрушить влияние императрицы и Нелидовой (именно Кутайсовым), объявил Государю, что он не ручается за жизнь Государыни, если она еще забеременеет. Это послужило источником всех интриг, имевших место в течение года» (*Головина, с. 200, 202—203*).

29 января (9 февраля).

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (продолжение)

В Папской области Франция провозглашает Римскую республику (заявляя ее предварительно войсками). В Ломбардии, Генуе, Голландии республики уже учреждены; называются: Цизальпинская, Лигурийская, Батавская.

ИМПЕРАТОР НЕДОВОЛЕН СВОИМИ ПОМОЩНИКАМИ: ОТСТАВКИ ГЕНЕРАЛОВ

1 марта. Понедельник. Генерал-майор барон АРАКЧЕЕВ уволен от всех должностей за то, что довел бранными словами до самоубийства подполковника Лена («Отлично зная людей, он <Аракчеев> пользовался этими познаниями с отменной ловкостью и лукавством; мастерски умел отыскивать и затрагивать чувствительнейшие струны человеческого сердца». — *Из мемуаров Е. Ф. Фон-Брадке. — Аракчеев, с. 5*). — Вскоре вслед Аракчееву уволен генерал-лейтенант РОСТОПЧИН, хотя этот никого еще ни до чего особенного не довел.

Март — апрель. МАРИЯ ФЕОДОРОВНА ОСТАЕТСЯ ОДНА

В середине марта государыня получила второе горестное известие. Первое было в декабре — о кончине отца, теперь — о последовавшей за ним матери. — Доктора предписывают ей покой, ибо опасаются за дальнейшую жизнь, ослаб-

ленную, помимо горестей, январскими родами.— Решено, что императрица не будет сопровождать супруга во время его новой поездки по стране в мае — июне.

10 марта. Середа.

РАЗРУШЕН ПАМЯТНИК

Указ: «По расстройке, в которой оставлены дела кн. Потемкиным, в управлении его бывшие, неприлично быть монументу, в память его воздвигнутому, и для того сооруженный от казны в г. Херсоне повелеваем уничтожить». — Впрочем, уничтожать, кажется, было нечего, ибо, как клялся новороссийский губернатор, мраморную гробницу, которую повелено было возвести еще в прошлое царствие, соорудить не успели, а гроб с телом, содержащийся в склепе под церковью, уже само херсонское начальство распорядилось поместить без особых объявлений — «в особо вырытой яме» (Клочков, с. 246).

9 апреля. Пятница. ЗАПРЕЩЕН ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

«Государь император высочайше повелеть соизволил: по причине распространившегося ныне в иностранных училищах вредного образа мыслей отпуск туда молодых дворян для воспитания воспретить» (резолуция генерал-прокурора кн. Куракина, 8 апреля 1797 г. — Клочков, с. 248). — Резолуция касалась, разумеется, не тамбовских или чембарских дворян, а эстляндских и курляндских, ибо в Тамбове и Чембаре никто не изъявлял желанья ехать в Геттингенский и Лейпцигский университеты, а в Дерпте, Ревеле, Риге и прочих западных окраинах — изъявляли. Посему именно там особым указом был

УЧРЕЖДЕН ДЕРПТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ —

«дабы не пресечь способов к образованию и просвещению <...> дворянству и рыцарству» (из той же резолуции кн. Куракина).

ГОСУДАРЬ СНОВА ОБЪЕЗЖАЕТ СВОЕ ГОСУДАРСТВО. БОРЬБА ПАРТИЙ ПРИ ДВОРЕ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ОСТРОЙ

5 мая. Середа. Петербург. Государь император с наследником великим князем Александром Павловичем и великим князем Константином Павловичем и со свитой поехали чрез Москву в Казань. **Май. Москва.** «Орудием, которым агитаторы всегда пользуются столь же ловко, как и успешно, всегда служили дураки. Для привлечения их на свою сторону агитаторы начинают с того, что сверх меры превозносят их честность; дураки хотя внутренно и удивляются этим незаслуженным похвалам, но так как они льстят их тщеславию, то они беззаветно отдаются в руки коварных льстецов. Таким-то порядком произошло и то, что Кутайсов вдруг оказался образцом преданности своему государю; стали приводить примеры его бескорыстия, стали даже приписывать ему известную тонкость ума и выражать притворное удивление, как это государь не сделает чего-нибудь побольше для такого редкого любимца. Кутайсов в конце концов сам стал верить, что его приятели правы; но он дал им понять, что императрица и фрейлина Нелидова его не любят и мешают его возвышению. Этого только и ждали: стали еще больше превозносить его и уверять, что от него самого зависит господство над Павлом, если он подставит ему фаворитку по собственному выбору, которой предварительно поставит свои условия. Напомнили ему о девице Лопухиной и внушали ему, что он должен делать в Москве. <...> — Встреча, оказанная государю, была восторженная, а так как сердце у него от природы было мягкое, то он был живо тронут этими выражениями преданности и любви. <...> Исполненный радости, он в тот же вечер сказал Кутайсову: «Как было отрадно моему сердцу! Московский народ любит меня гораздо более, чем петербургский; мне кажется, что там теперь гораздо более боятся, чем любят». — «Это меня не удивляет», — отвечал Кутайсов. «Почему же?» — «Не смею объяснить». — «Тогда приказываю тебе это». — «Обещайте мне, государь, никому не передавать этого». — «Обещаю». — «Государь, дело в том, что здесь вас видят таким, какой вы есть действительно — благим, великодушным, чувствительным; между тем как в Петербурге, если вы оказываете какую-либо милость, то говорят, что это или государыня, или г-жа Нелидова, или Куракины выпросили ее у вас, так что когда вы делаете добро, то это — они, ежели же когда покарают, то это вы покараете». — «Значит, говорят, что <...> я даю управлять собой?» —

«Так точно, государь». — «Ну, хорошо же, я покажу, как мною управляют!» Гневно приблизился Павел к столу и хотел писать, но Кутайсов бросился к его ногам и умолял на время сдержаться. — На следующий день государь посетил бал, где молодая Лопухина (младшая дочь Петра Владимировича — Анна) неотлучно следовала за ним и не спускала с него глаз. Он обратился к какому-то господину, который как бы случайно очутился поблизости от него, но принадлежал к той партии. Господин этот с улыбкой заметил: «Она, ваше величество, из-за вас голову потеряла». Павел рассмеялся и возразил, что она еще дитя. «Но ей уже скоро 16 лет», — ответили ему. Затем он подошел к Лопухиной, поговорил с нею и нашел, что она забавна и наивна, а после беседы об этом с Кутайсовым все было устроено между сим последним и мачехою девицы. Решено было соблюдать величайший секрет; между тем и родители, и вся семья должны были быть перевезены в Петербург» (из записок сенатора Гейкинга. — Цит. по Шумигорскому 1898, с. 124 — 126).

18 мая. Вторник. Муром: «Муром, конечно, не Рим, но вокруг меня нечто прекраснейшее: толпы народа, исполненного любовью ко мне». — **3 июня. Четверг. Нерехта:** «Вы принимаете воды, а я переправляюсь по ним то на баркасах, то на лодках наших поселян, кои, замечу в скобках, куда любезнее, чем, чем... Тс-с! Об этом не говорят, это надо чувствовать!» (Из писем Павла I к Марии Феодоровне во время поездки по стране. — Панчулидзева, т. 2, с. 249).

ОППОЗИЦИЯ УСИЛИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ. ГВАРДИЯ ПОКА НЕЙТРАЛЬНА

«Хитрый Безбородко (...) снизошел с своей высоты и присоединился к Кутайсову, чтобы с его помощью подняться еще выше (...). Безбородко руководил Кутайсовым, а Кутайсов направлял императора по воле своего друга. Девуцу Нелидову необходимо было удалить (...). В императорской семье не было согласия, чего они и желали, так как оно могло быть опасно их влиянию» (из воспоминаний сенатора Гельбига. — РС, 1887, № 4, с. 443). — После парадов и учений, проведенных государем в Казани, он вернулся в столицу. — «Государыня и Нелидова выехали навстречу ему в Тихвин. Оне были крайне поражены переменою его отношения к ним» (Головина, с. 205). — «По возвращении его я решалась четыре раза говорить с ним (...), что мое здоровье восстановлено, что Рожерсон, Бек и Блок (медики) уверили меня, что новая беременность не подвергнет меня никакой опасности (...). Император возразил мне, что он не хочет быть причиною моей смерти и что вследствие последних тяжелых моих родов это лежало бы на его совести, что il était tout à fait mal en physique, qu'il ne connaissait plus de besoin, qu'il est tout à fait nul et que ce n'était plus une idée qui lui passait, par la tête, qu'enfin il était paralysé de ce côté»¹ (из письма Марии Феодоровны — С. И. Плещееву. — Шумигорский, 1907, с. 156 — 157).

Меры против подозрительных

28 июня. Понедельник. НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЮ

«Развратное правило и буйственное воспаление рассудка, поправшие закон Божий и повиновение установленным властям, рассеянные в некоторой части Европы, обратили внимание Наше (...), приняли Мы все меры к отражению зла от пределов Империи Нашей строгими предписаниями пограничным Нашим губернаторам о наблюдении за всеми теми, кои в Империю Нашу приезжать пожелают; а дабы при всем том споспешествовать торговле (...), признали Мы за нужное (...) установить»: (далее в сокращенном переводе) 1) Все едущие в Россию иностранцы должны: а) получить рекомендательное письмо от какого-либо торгового дома к кому-либо из российских подданных или в какой-либо из русских торговых домов; б) завизировать это письмо у русского посланника

¹ Не знаю, как перевести.

в том государстве, в коем проживает иностранец; в) получить от посланника «свободный пропуск» на въезд в пределы России. 2) Российские посланники а) имеют право выдавать визы только «несомнительным людям»; б) проверять возможные случаи обмана и подлога со стороны едущих; в) подробно сообщать по дипломатическим каналам о каждом едущем с указанием маршрута и цели его движения. 3) По прибытии иностранца на границу России пограничная стража должна: а) проверить его документы; б) известить об иностранце тех губернаторов, через чьи губернии он поедет; в) «сомнительных же задерживать на самой границе под присмотр» (*приказ рижскому военному губернатору Бенкендорфу, 28 июня 1798 г.— Анекдоты, с. 261—262*).

MADEMOISELLE ЛОПУХИНА

ЕДЕТ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ. Хроника переворота

Середина июля. «Государь высказывал живейшее нетерпение поскорее отправиться в Петергоф. Сообразно тому, насколько государь находил приятным пребывание в Павловске, придворные определяли степень влияния государыни на своего супруга. К несчастью, государыня схватила трехдневную лихорадку почти в тот момент, когда двор должен был отправиться в Петергоф. Это препятствие страшно раздражило государя, и он готов был думать, что государыня притворилась больной, чтобы помешать ему» (*Головина, с. 206*).— Между тем государыня написала письмо m-lle Лопухиной с угрозами. Письмо до адресата не дошло, а было принесено государю.— Гнев государя был велик.— Заступничество m-lle Нелидовой за государыню удесятирило гнев, и государь перестал его скрывать.— Государыня пыталась остановить супруга. Тщетно. «Я ограничиваюсь лишь единственною просьбой — относиться ко мне вежливо при публике» (*Мария Феодоровна — Павлу Петровичу, 13 июля 1798 г.— Шумигорский, 1898, с. 133*).—

21 июля. Среда. Петергоф. Вечером статс-секретарь Нелединский-Мелецкий шел по коридору петергофского дворца и на свою беду повстречал государя в сопровождении Кутайсова. Когда Нелединский исчез из виду, Кутайсов сказал: «Вот кто следит за вами днем и ночью и все передает императрице».— Наутро Нелединскому было приказано не выходить из своих комнат и задернуть шторы на окнах, а через день он был отправлен из Петергофа (*Шумигорский, 1898, с. 135*).

22 июля. Четверг. Петергоф. Бал в честь тезоименитства Марии Феодоровны: «Государь был в явно дурном настроении <...>, Нелидова казалась мне погруженной в глубочайшую печаль <...>. Бал этот скорее был похож на похороны, и все предсказывали скорую грозу» (*из записок Гейкинга.— Цит. по Шумигорскому, 1898, с. 135*).

«25 июля в воскресенье» гроза разразилась. Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать, но государь, вне себя, крикнул: «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!» Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла. Его Величество прошел к императрице, обошелся с ней грубо, и говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ и что она в течение трех часов не могла ни с кем сноситься. Г-жа Нелидова <...> пошла к рассерженному государю <...>. Она указала ему на несправедливость его поведения с столь добродетельной женой и столь достойной императрицей <...>, далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем <...>. Удивление императора, который до тех пор слушал ее хладнокровно, превратилось в гнев. «Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных,— воскликнул он,— но я вооружусь полезным скипетром, и вы первая будете им поражены, уходите вон!» Не успела г-жа Нелидова выйти из кабинета, как она получила приказание оставить двор» (*Головкин, с. 183—184*).

В тот же день. Уволен вице-адмирал Плещеев, бессменный конфидент Марии Феодоровны.— Отставлен от должности Санкт-Петербургского губернатора генерал Буксгевден, муж лучшей подруги м-лле Нелидовой.— На его место назначен Палён («После возвращения императора из Москвы Кутайсов только и знал, что расхваливал Палёна».— *Гейкин; цит. по Шумигорскому, 1898, с. 135*). И после этого государю осталось жить ровно 960 дней.— У Михайловского замка уже строится первый этаж.

8 августа. Воскресенье. Алексей Куракин отставлен от должности генерал-прокурора; на его место назначен Петр Владимирович Лопухин — отец ожидаемой м-лле Лопухиной.

11 августа. Середа. Генерал-лейтенант барон Аракчеев вновь призван в службу.

19 августа. Четверг. Полковник Нелидов отставлен от службы.— «Вспомните мою жизнь: не была ли она исключительно посвящена тому, чтобы любить вас? (...) Я не искала ни почестей, ни блеска (...). Я знаю участь, которая постигнет мое письмо: я жду всего, если вы только станете выслушивать истолкования г. Кутайсова вместо того, чтобы верить лишь своему сердцу» (м-лле Нелидова — Павлу I, 19 августа 1798 г.).— «При чем здесь Кутайсов? (...) Он или кто другой, кто позволил бы внушать мне или что-либо делать противное правилам моей чести и совести, навлек бы на себя то же, что постигло теперь многих других (...). Я очень мало подчиняюсь влиянию того или другого человека, Вы это знаете» (Павел I — Нелидовой в ответ.— *Шумигорский, 1898, с. 144—146*).

24 августа. Вторник. Генерал-лейтенант Ростопчин вновь принят в службу.

Того же числа. Лучшая подруга м-лле Нелидовой г-жа Буксгевден за вольные разговоры в кругу своих гостей получила приказание императора выехать из Петербурга. М-лле Нелидова желает ехать вместе с лучшей подругой. Государь разрешает: «Хорошо же, пускай едет; только она мне за это поплатится» (*записки Гейкинга.— Цит. по Шумигорскому, 1898, с. 144*).

5 сентября. Воскресенье. М-лле Нелидова вместе с г-жою Буксгевден и ее супругом, бывшим военным губернатором Петербурга, отставленным от всех дел генералом Буксгевденом выезжает в Эстляндию — в замок Лоде.

6 сентября. Понедельник. Анна Петровна Лопухина назначена камер-фрейлиною, Екатерина Николаевна Лопухина, ее мачеха, — статс-дамой, Петр Владимирович Лопухин, ее отец, нынешний генерал-прокурор, произведен в действительные тайные советники.

3 октября. Воскресенье. Петербург. Придворный бал.— Семейство Лопухиных впервые во дворце.— М-лле Лопухина впервые присутствует на придворном ужине.— «У Лопухиной была красивая головка, но незначительная фигура (...), без всякой грации в манерах (ср. с м-лле Нелидовой). У нее были красивые глаза, черные брови и такие же волосы, прекрасные зубы и приятный рот, маленький вздернутый нос». Лицо — «с добрым и ласковым выражением. Она действительно была добра и неспособна пожелать или сделать кому-нибудь злое; но она была не очень умна и без всякого воспитания (...).— Ее влияние выражалось только в испрашиваемых ею милостях (...). Часто она получала от государя прощение невинных, с которыми он жестоко поступил в момент дурного настроения. Она плакала тогда или капризничала и получала таким образом, что она желала. Государыня Мария Феодоровна, из угождения супругу, обходилась с ней очень хорошо; великие княжны, дочери Павла, ухаживали за ней так, что это неприятно было видеть (...). Император придал своей страсти и всем ее проявлениям рыцарский характер, почти облагородивший ее. (...) Имя Анны, в котором открыли мистический смысл Божественной милости¹, стало девизом государя. (...) Государь подарил Лопухиной огромный дом на дворцовой набережной. Он ездил к ней ежедневно (...) инкогнито, но в действительности всем было известно, что это едет государь. (...) Балы давались часто, чтобы удовлетворить страсть к танцам м-ль Лопухиной. Она любила вальсировать, и этот невинный танец, запрещенный до сего времени как неприличный, был введен при дворе. (...) Но прежняя требовательность относительно всего, что касалось службы, была доведена до высшей степени» (*Головина, с. 214, 211—212*).

¹ Анна — Божья благодать (*еврейск.*).

7 ноября.

НОВЫЕ АНЕКДОТЫ

«В 1798 году, в жестокое зимнее время, Павел совершал тризну или панихиду по тесте своему, герцоге Виртембергском <...>. Вдоль Невского проспекта стояла фронтом вся гвардия <...>, Павел разъезжал верхом, надуваясь и пыхтя по своему обыкновению.— Великие князья Александр и Константин, как теперь их вижу, в семеновском и измайловском мундирах, бегали на морозе перед церковью, стараясь согреться. Один полицейский офицер стоял на краю площадки, во фронте. Вдруг подали сигнал. Все поспешили к местам. Раздалась музыка, ружейные выстрелы, пушечная пальба. Потом войска прошли церемониальным маршем. Все утихло; площадь опустела. Один только этот полицейский стоял на месте. К нему подошел другой, коснулся его, и он упал на снег: несчастный замерз!» (Греч, с. 164.)

«Сказывали, что кто-то попался ему в Петербурге в новомодном платье. Государь ехал, приказал остановиться и подозвал модника. У того от страха и ноги не идут, верно, почуял, в чем дело. Государь приказал ему повернуться, осмотрел его со всех сторон, и так как был в веселом расположении духа, то расхохотался и сказал своему адъютанту: «Смотри, какое чучело!» Потом спросил франта: «Что ты, русский?» — «Точно так, ваше величество», — отвечает тот, ни жив ни мертв. «Русский и носишь такую дрянь: да ты знаешь ли, что на тебе? Республиканское платье! Пошел домой, и чтоб этого платья и следов не было, слышишь?.. а то я тебя в казенное платье одену — понял?» (Янькова, с. 166).

8 ноября.

СОБОР МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

«И речет Пресвята Богородица Михаилу архангелу: «Поведи меня туда, где многие народы мучатся». И привел ее Михаил архангел ко древу железному — и тут многие народы мучатся <...>. Речет ей Михаил архангел: «Сии люди были неправедны и криво судили; правого винили, а виноватого правили». И рекла Пресвятая Богородица: «Поведи меня к иной муке». И привел ее Михаил архангел к реке ко огненной, и тут многие народы мучатся <...>. То были митрополиты и епископы и прочих священных и монашеских чинов <...>. Оставили свет, а тьму возлюбили, тем себе Царство Небесное затворили. О горе умеющему грамоте! Устами своими чтут, а на сердце зло мыслят! <...> И речет Пресвятая Богородица: «Поведи меня к иной муке». И привел ее Михаил архангел к реке ко огненной, и тут многие народы мучатся. И спросила Пресвятая Богородица: «Сии люди о каких делах мучатся?» Отвечал ей Михаил архангел: «То были цари и князи, напрасно и безвинно рабов своих мучили» (Стихи духовные, с. 218—220).

ИНОСТРАННАЯ ПОЛИТИКА: КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ.
РОССИЯ ОТПРАВЛЯЕТ ВОЙСКА В ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ЕВРОПЫ

«Павел питал явное отвращение к принципам Французской революции. Он выражал свое расположение к Мальтийскому ордену, к королям сардинскому и неаполитанскому и к швейцарским олигархам. Кабинеты сент-джемский <Англия> и венский <Австрия>, столько раз обманутые коварной Екатериной, поверили в рыцарский характер ее сына. Все предвещало войну <...>. Порта <Турция> объявила республике <Франция> войну. Англия, Австрия, Россия и Неаполь образовали вторую коалицию» (Наполеон, с. 294).— С осени войска Французской республики имели бурные успехи в италийских государствах: король Сардинии и король Неаполитанский, по мере занятия их королевства французами (октябрь — декабрь), один вслед другому отреклись от престолов; генерал Бонапарт отправился освобождать Африку — в Египет, по дороге заняв Мальту и выставив оттуда русское посольство.— Вследствие свержения и слабодушного поведения великого магистра Мальтийского ордена — Гомпеша, император Павел I отдельным манифестом (30 августа) объявил о принятии Мальты в свое высочайшее управление, обязался защищать остров от посягновений, принял на себя звание великого магистра Мальтийского ордена и согласился вступить в коалицию для совместного похода на Францию. В коалицию кроме России вошли: Австрия, Англия, неаполитанский король, Турция. В Средиземное море

была отправлена русско-турецкая эскадра адмирала Ушакова и английская эскадра адмирала Нельсона. Они должны были с моря атаковать занятые французами южные земли Европы.— Корпус генерала Розенберга готовился к действиям вместе с Австрией в Швейцарии и Италии.

1799

Он хочет спасти Европу —
все равно от кого.

Ростопчин

ЗАВТРА — ВОЙНА. ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ

«Всем известно, что революционное французское правительство, как некий беснующийся исполин, терзая собственную свою утробу и в то же время с остервенением кидаясь на других, навело страх немецким державам. Россия также не могла на сии судорожные движения Франции смотреть спокойно. Австрийский император присланным к Павлу письмом просит, для принятия повелительства над войсками его, прислать к нему Суворова» (*Шишков, с. 62*).— **4 февраля. Понедельник:** «За ним послан был адъютант с письмом, и старик сего утра **⟨9 февраля⟩** приехал» (*Ростопчин, с. 192*). Государь возложил на фельдмаршала Суворова Мальтийский крест (**13 февраля**), и **17-го** фельдмаршал отбыл в Вену спасать царей Европы во главе соединенных российских и австрийских войск.

НА ФРОНТАХ ЕВРОПЫ И АФРИКИ

«**В марте** 1799 г. Франция выставила 440000 человек: ⟨...⟩ в Египте, Корфу, на Мальте, в колониях, ⟨...⟩ в Голландии ⟨...⟩, гельветскую армию в Швейцарии ⟨...⟩, дунайскую армию ⟨...⟩, итальянскую армию ⟨...⟩, неаполитанскую армию» (*Наполеон, с. 304*).

РОСТ ЦЕН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

6 марта. Середа. «Припасы отменно вздорожали: овес до 6 р. четверть, сажень дров в 7 р., сено до 40 коп. пуд» (*Ростопчин, с. 197*).

В КОЛЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГОТОВЯТСЯ ПЕРЕМЕНЫ. ИЗМЕНИТСЯ ЛИ РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ СМЕРТИ КАНЦЛЕРА?

От того же числа ИЗВЕСТИЯ: «Канцлер князь Безбородко испросил бессрочное позволение ехать к водам ⟨...⟩. Здоровье канцлера в опасном состоянии: дыханье весьма коротко, и думают, что есть в груди вода; кровь поминутно поднимается в голову и идет гортанью и носом» (*Ростопчин, с. 196*).

8 марта. Пятница. День рождения князя Безбородки: исполнилось 52 года. Через месяц он умрет. Память его следует почитать. Не каждый день в России помирают вельможи, умеющие при разных режимах бесперебойно получать от своей власти такой обильный прокорм: «Достиг он первейших чинов и приобрел богатейшее состояние и несметные сокровища в вещах и деньгах, не теряя своей репутации ⟨...⟩. Перед кончиною государыни имел уже он крестьян более 16000 душ, соляные озера в Крыму и рыбные ловли на Каспийском море,— к сему император Павел прибавил в Орловской губернии упраздненный город Дмитриев с 12000 крестьян ⟨да еще титул князя⟩ ⟨...⟩. Он не был женат ⟨...⟩. Беспереводно имел на содержании актрис или танцовщиц, которые жили в другом доме; в летнее время, на даче его, на Выборгской стороне, бывали большие пирушки с пушечной пальбой, на которые, кроме его любимой красавицы, приглашены были его угодники, им взysканные и обогащенные, по большей части также с своими любовницами ⟨...⟩» (*Грибовский, с. 11, 13*).

РУССКАЯ АРМИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Суворов в Италии: 10 (21) апреля взял штурмом крепость Брешиа; **16 (27) апреля** разогнал французов на р. Адда; **17 (28) апреля** вступил в Милан.

ХРОНИКА МИЛОСТЕЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЕЙ

5 мая. Воскресенье. Брადобрей Иван КУТАЙСОВ и барон генерал-лейтенант АРАКЧЕЕВ титулованы графами. В герб Аракчеева государь собственноручно изволил вписать: «Без лести предан».

ГРОМ ПОБЕДЫ, РАЗДАВАЙСЯ!

«Суворов вошел 27-го <16 мая> в Турин» (*Наполеон, с. 313*).

ВЕСЕЛИСЯ, ХРАБРЫЙ РОСС!

«**18-го** <7 июня>, в 5 часов пополудни Суворов атаковал четырьмя колоннами неаполитанскую армию. Французы <...> сосредоточились на правом берегу Трещии. 19-го Макдональд <республиканский командующий> проиграл сражение» (*Наполеон, с. 315*).

АЛЬКОВНАЯ ХРОНИКА. М-ЛЛЕ ЛОПУХИНА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

«Кстати, о рыцарстве <...>. Анна Петровна Лопухина <...> приглашена жить в Павловске. Для нее было устроено особое помещение, нечто вроде дачи, в которую Павел мог легко пройти из Розового Павильона, не будучи никем замеченным. Он являлся туда каждый вечер, как он вначале сам воображал, с чисто платоническими чувствами восхищения; но брადобрей <Кутайсов> и Лопухин-отец лучше знали человеческую натуру и вернее смотрели на будущее. Им постепенно удалась разжечь чувства Павла к девушке путем упорного ее сопротивления желаниям его величества, что, впрочем, она и делала вполне искренно» (*Саблуков, с. 59—61*).— «В Петергофе произошло любопытное событие <...>. Государь, находясь у м-ль Лопухиной, получил известие о победе Суворова, причем последний прибавлял, что прийдет в скором времени князя Гагарина <Павла Гавриловича, 22-х лет>, со знаменами, взятыми у врага, и подробностями относительно этого дела. Это известие вызвало у Лопухиной смущение, которое она напрасно старалась скрыть от государя. Не будучи в силах противиться его настояниям и, наконец, приказу, она бросилась к его ногам и призналась ему, что она была знакома с князем Гагариным в Москве, что он был влюблен в нее и был одним <единственным> из всех мужчин, ухаживавшим за ней, сумевшим возбудить в ней участие <...>.— Государь с волнением выслушал это признание и мгновенно решил устроить брак Лопухиной с князем Гагариным, который и приехал через несколько дней. Он был очень хорошо принят государем <...>, а вскоре был объявлен брак его¹ с Лопухиной и назначение его флигель-адъютантом государя» (*Головина, с. 223—225*). Но свадьба состоялась только в феврале 1800 года, а **7 июля** Лопухин-отец заменен в должности генерал-прокурора А. А. Беклешовым.

СУВОРОВ ОБЪЯВЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ

18(27) июля он занял крепость Мантуя («Суворов покрыл себя бессмертной славой. Его имя вызывало восторг и удивление. Император <...> пожелал, чтобы его поминали за обедней вместе с членами императорского дома» — *Головина, с. 223*); **4 (15) августа** выиграл сражение при Нови.

¹ «По смерти Анны Петровны <в 1805> он надписал на ее гробнице: «Супруге моей и благодетельнице» (*Греч, с. 155*).

ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ. МНЕНИЕ НАРОДНОЕ

«Я живу рядом с домом, где квартируют около 20 бравых гренадеров из императорского батальона, и, проходя мимо, беседую с ними. Всякий день они поручают мне: «Попросите государя, чтобы приказал французов-то живых не оставлять. Уж этот род нечестивый весь перевесть должно» (*Ростопчин — Воронцову, 10 июля 1799 г. — АкВ, т. 8, кн. 1, с. 230*).

«УСПЕХИ СУВОРОВА

вызвали еще большее озлобление императора Павла против республики. Он выставил несколько корпусов: 30000 человек под командованием генерала Корсакова отправились в Швейцарию; 18000 человек под командованием генерала Гартмана погрузились в Ревеле на английскую эскадру (для действий в Голландии); 11000 человек были отправлены в Италию на пополнение Суворову (...). Австрийские генералы были мало удовлетворены тактикой генерала Суворова, замашки которого их раздражали (...). Суворов покинул командование итальянской армией. **14 (3) сентября** он прибыл в Беллинцону с 20000 русских, уцелевших у него из 51000 человек (...). **24—25 (13—14) сентября** (...) Суворов прошел через Сен-Готтардский перевал, громко заявляя о своем намерении (...) двинуться прямо на Люцерн и Берн и отбросить в течение нескольких дней французскую армию к Юре» (*Наполеон, с. 324—326*).

ПОБЕДОНОСНЫЕ ВОЙНЫ СПОСОБСТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ

25 сентября. Середя. Высочайший приказ о том, чтобы офицеры вели себя прилично и не сидели бы за обеденным столом в шляпах (*Клочков, с. 127*).— **28 сентября. Суббота.** Высочайший приказ о том, «чтоб кучера и форейторы, ехавши, не кричали» (*Эйдельман, 1982, с. 68*).— **30 сентября. Понедельник.** Генерал-лейтенант граф Аракчеев удален государем с придворного бала; **1 октября** — отставлен от службы за ложное донесение (в арсенале, во время дежурства караула под командой младшего брата графа Аракчеева, случилась кража; граф свалил вину на генерала Вильде; тот оправдался, и Аракчеев был прогнан).— «Государь воображал, что покража в арсенале была сделала по иностранным научениям. И так как уже воры сысканы, как уже, я думаю, тебе и известно, то он ужасно удивился, что обманулся в своих догадках. Он за мною тотчас прислал и заставил пересказать, как покража сделалась; после чего сказал мне: «Я был все уверен, что это по иностранным проискам». (...) Про тебя же ни слова мне не говорил, и видно, что ему сильные внушения на тебя сделаны (...). Прощай, друг мой Алексей Андреевич, не забывай меня, будь здоров и думай, что у тебя верный во мне друг остается» (*Великий князь Александр Павлович — гр. Аракчееву, 15 октября 1799 г. — Император Александр I. Опыт исторического исследования. Т. 2. СПб., 1912, с. 556*).— Аракчеев уехал в свое новгородское имение Грузино, даренное ему Павлом два года назад.— **6 октября. Воскресенье.** Указ: «Офицеры, кои, не выслуга более года в новом офицерском чине (...), будут просить о увольнении от службы, будут исключены из оной наравне с прапорщиками **ЗА ЛЕНЬ**» (*ПСЗ, № 19140*).— Вот, кстати, сцена, дающая образ того, что обыкновенно предшествовало выключке из службы, аресту или просто отставке: «(...) приготовля доклады мои, понес я их к нему и лишь только вошел в кабинет его, как он вскочил со стула, подбежал ко мне, вырвал у меня из рук бумаги и с великим гневом закричал: «Что ты так лениво и вяло идешь? Подай сюда!» Я ускорил мой шаг. Оба мы сели, и я начал читать. Первый доклад мой был о некотором офицере, просящем о увольнении его в отставку, прослужа в настоящем чине один год.— «А во втором году сколько времени прослужил он?» — спросил у меня его величество. Я не мог отвечать ему на это, потому что никогда сего не прописывалось, и должен был сказать: «Не знаю».— «Ты ничего не знаешь!» — подхватил он с гневом и долго на меня кричал. Наконец, по прочтении других моих докладов, подаю я ему полученное из Ревеля, написанное

на его имя и запечатанное письмо. Он опять вскочил, выхватил его у меня с великим сердцем и, не прочитав еще, сказал: «Это бы надлежало вчера мне отдать. Ты во всем неисправен; куда не годишься! Поди!» Последнее слово сие несколько меня обрадовало; ибо, судя по гневным его движениям и словам, думал я, что он меня не выпустит и тут же прикажет что-нибудь со мною сделать» (*Шишков, с. 75—76*).

ГОСУДАРЯ ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ. РОССИЯ СНОВА ПРЕДАНА. СОЮЗНИКИ ТРЕБУЮТ ВЫВОДА РОССИЙСКИХ ВОЙСК

Пока Суворов на суше, а Ушаков на море брали у французов города и острова, союзные Австрия и Англия были с ними заодно. Когда дело дошло до заключения мирных трактатов, восстановления границ и распределения государственных интересов в пределах, очищенных от французов,— союзники стали высказывать все большее нетерпение насчет скорейшего вывода российских войск из Италии, а судов из Средиземного моря. Эскадра Ушакова отняла у французов Ионические острова и собиралась по замыслу своего государя идти на Мальту; англичане тому противились и желали сбыть Ушакова к берегам Египта — сторожить воюющего на египетской суше генерала Бонапарта.— Корпус Суворова, по очищении Италии от французов, ушел по приказу в Швейцарию и, покинутый австрийцами, едва не был разбит.— «Я бил французов, но не добил,— сказал Суворов в ответ на коварство австрийцев,— Париж — мой пункт. Беда Европе» (*Суворов. Письма, с. 750*).— Суворов был сделан генералиссимусом.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: НОВЕЙШЕЕ МЫШЛЕНИЕ

29 октября. Вторник. Поздравляя Суворова с чином, государь велел идти в Россию и добавлял: «Я решился отстать вовсе от связи с дворцом Венским <...>, весьма рад, что от вашего из Швейцарии выступления узнает эрцгерцог Карл на практике, каково быть оставлену не вовремя и на любвиение; но немцы — люди годные, все могут снести, перенести и унести» (*Милютин, т. 3, с. 558*).

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ВО ФРАНЦИИ

29-го же октября (9 ноября по общеевропейскому стилю; 18 брюмера VIII революционного года). **Париж.** Генерал Бонапарт, в августе оставивший свою победоносную армию в Египте и ставший по прибытии на родину командующим парижским гарнизоном, объявляет решительные меры по окончательному искоренению якобинства и, разогнав депутатов, принимает титул консула республики.

ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ КОММЕНТИРУЕТ СОБЫТИЯ ВО ФРАНЦИИ:

«Во Франции перемена, которой оборота, терпеливо и не изнуряя себя, ожидать должно <...>. Я проникнут уважением к первому консулу и его военным талантам <...>. Он делает дела, и с ним можно иметь дело» (*Суворов. Письма, с. 748; Сб. РИО, т. XX, с. 1; Эйдельман, 1982, с. 188*).

7 ноября.

НОВЕЙШИЕ АНЕКДОТЫ

«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.— Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола <...>. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ Его Императорского Величества» — и капнул чернилами. Поспешно схватил он

другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить, начала приказания и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего. «Что же государь?» — спросил Пушкин. «Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел». — «А что же диктовал вам государь?» — спросил вновь Пушкин. «Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу» (*В. Э. Вацуро. Пушкинский анекдот о Павле I (в записи В. А. Соллогуба)*. — *Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974, с. 100*).

«Один гусарский ротмистр привел свой эскадрон на дневку в одно поместье. Пока солдаты размещались, ротмистр успел пообедать у помещика и уселся за карты. Между тем вахмистр пришел к нему с докладом. Хозяин, чтобы не прерывать игры, предложил позвать вахмистра в комнату. Тот пришел. — «Ну, что?» — спросил его ротмистр. «Ваше благородие, все благополучно, люди расставлены по квартирам; сено нашел, но жид меньше стольких-то копеек не берет; как прикажете?» — «А у других жидов разве нет?» — «Никак нет-с, один только с сеном, ваше благородие». — «Ну, делать нечего, не оставаться же без сена, возьми да жид повесь», — шутя приказал офицер, не прерывая игры. Через некоторое время вахмистр приходит снова. «Что?» — «Сено принял, ваше благородие, столько-то пудов». — «Ну, хорошо». — «Жида, как изволили приказать, я повесил». — «Как повесил?» — «Точно так-с, как сами изволили приказать». — «Ах, черт тебя возьми, да я пошутил». — «Не можем знать, ваше благородие, а он уже с час как висит». Нечего было делать. Несчастный ротмистр должен был писать рапорт, ожидая грозы. Скоро он получил такой указ императора Павла: «Ротмистр такой-то за глупые и незаконные приказания разжалывается в рядовые. — А дальше: — Рядовому такого-то полка возвращается чин ротмистра, с производством в майоры, за введение такой отличной субординации во вверенной ему команде, что и глупые его приказания исполняются немедленно» (*Анекдоты, с. 223; РС, 1871, № 3, с. 777; Валишевский, 1914, с. 276 — 277*).

8 ноября.

СОБОР МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

Протекла река, река огненная,
От востока текет до запада,
Как по праву руку-то идут праведны,
Уж как праведны идут — веселятся,
Херувимские стихи да воспевают,
За отцей, за матерей да Бога молят.
Уж как грешны идут — слезно плачут,
Перед собой они пути ведь не видят,
Отцей, матерей проклинаят:
«Уж и лучше бы отец не засеял,
Уж и лучше бы мать меня не родила».
Тут спрговорит Михайло-свет архангел:
«Уж и гой вы еси, грешные души!
Уж вы будьте вы прокляты, грешные!

Ангелы вы мои, архангелы!
Берите прутья железные,
Гоните вы злых-окаянных,
Гоните их в реку огненную,
Засыпьте их песком,
Завалите досками да чугунами,
Не чуть бы от них ни пяску, ни верезгу,
Ни зубного бы скрежета!»

Стихи духовные, с. 241 — 242; 240 — 241

«Время это было самое ужасное. Государь был на многих в подозрении <...>. Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают <...>. Словом, ежедневный ужас» (*Мертваго, с. 118*).— «Михайловский замок достраивался с большой поспешностью» (*Головина, с. 250*).

ЗАГОВОР В ЛИТВЕ

11 ноября. Понедельник. Поручик Егор Кемпен, выключенный из службы, по дороге в Вильно остановился в местечке Румишки и говорил здешним офицерам, что к государю Павлу приходила цыганка, гадала ему на кофейной гуще и объявила <...>, что ему только три года быть на царстве, так как по истечении 3 лет он окончит свою жизнь. А в разговоре с корнетом Матовым, когда они легли спать, поручик Кемпен сообщил: «Находятся таковые люди, что хотят государя императора известить» (*Клочков, с. 579*).— Поручик Кемпен был судим, но каторги избежал — наверное, по протекции брата — генерал-лейтенанта, и был снова включен в службу (*Эйдельман, 1982, с. 174*).

ЗАГОВОР В ВАЛДАЙСКОЙ ОКРУГЕ

Валдайский помещик прапорщик Лев Мельницкий говорил, что-де «сам он, Мельницкий, над богами бог, над царями царь, прежде сидела дура, и ныне насел дурак; у нас в России Павлушечек много, взять и поднять его на штыки» (*Клочков, с. 604*).

1 декабря. Воскресенье.

НАСТАЛА ЗИМА

«Государь объявил, что он проведет всю зиму в Гатчине. Все чувствовали, что невозможно привести в исполнение этого решения во время суровой погоды зимы в таком малоприспособленном месте для размещения многочисленного двора; но он не привык выслушивать возражения. Все молчали, и он думал, что препятствия устранены <...>. Начало зимы было очень холодным» (*Головина, с. 234—235*).— «В декабре месяце как в Гатчине, так и в Петербурге появился грипп, болезнь воспалительного и эпидемического характера, часто опасная. Почти все придворные переболели ею. Наконец государь также схватил ее, и только тогда он увидел, что в его апартаментах <в Гатчине> не было комнаты, где бы он мог укрыться от холода. Он был принужден лежать в постели, и ему пришлось приказать поставить ее в маленькой комнате без окон, единственной, где держалось тепло <...>. Тотчас же им было дано приказание отправиться двору в Петербург, и он сам, как только выздоровел, уехал со всей семьей из Гатчины» (*Головина, с. 236*).

1800

«Нельзя сказать, чтоб он был злонравен или чужд способностей разума. Причиною сей крутой пылкости, часто затмевавшей рассудок его, должно полагать <...> подозрительность, преклонявшую слух его ко всяким доносам <...>. Однажды случилось, что взвели на князя <П. В.> Лопухина некоторую клевету, столь нелепую, что ему не стоило ни малейшего труда изобличить ее как совершенную ложь и небылицу. Павел увидел это ясно, однако ж спустя несколько дней сказал ему: «Я очень уверен в неправде, на тебя взведенной, но со всем этим тут,— указывая на свою голову,— нечто остается». <...> Везде казались ему измены, непослушания, неуважения к царскому сану и тому подобные мечты, предававшие его в руки тех, которые были для него опаснее, но хитрее других» (*Шишков, с. 71—72*).

РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К РАЗРЯДКЕ

Генварь — март: «Что касается сближения с Францией, я не желаю ничего лучшего, как видеть ее идущей мне навстречу, в особенности в противовес Англии» (*мнение императора Павла I.— Валишевский, 1914, с. 451, 453*).

О МЕРАХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ

26 января. Четверг. УКАЗ: «Предписывается всему генералитету, штаб- и обер-офицерам, приняв намерение сочетаться законным браком, предварительно испрашивать на то Высочайшего соизволения <...>, донося именно, на ком кто жениться желает» (*Клочков, с. 131; Анекдоты, с. 218*).— «Не скрою от вас, что <...> тирания и безумие достигли предела» (*вице-канцлер Панин — барону Крюденеру, 2 марта 1800 г.— АкВ, т. XI, с. 107*).

Того же дня. ВЫГОВОР умершему генералу Врангелю — «в пример другим» (*Анекдоты, с. 218*).

«ОДНАЖДЫ ВЕСНОЮ

после обеда, бывшего обыкновенно в час, он гулял по Эрмитажу и остановился на одном из балконов, выходящих на набережную. Он услышал звон колокола, во всяком случае, не церковного, и, справившись, узнал, что это был колокол баронессы Строгановой (супруги барона Григория Александровича), созывавший к обеду. Император разгневался, что баронесса обедает так поздно, в три часа, и сейчас же послал к ней полицейского офицера с приказом впредь обедать в час <...>. Анекдот быстро распространился в городе; толки вокруг этого случая дали повод злонамеренным людям находить у государя расстройство рассудка» (*Головина, с. 244 — 245*).— «Вообще язвительные насмешки над государем сделались как бы ежедневным занятием петербургского общества» (*Коцебу, с. 319*).

РАСКРЫТЫ ТАЙНЫ ЛОНДОНСКОГО ДВОРА. КЛЕВЕТНИК, РАСПУСКАВШИЙ СЛУХ О БЕЗУМИИ ГОСУДАРЯ, ВЫДВОРЕН ИЗ РОССИИ

От 18 марта депеша английского посланника в Петербурге лорда Уитворда (Витворта) — перехвачена, перлюстрирована и расшифрована: «<...> мы должны быть приготовлены ко всему, что бы ни случилось. Но факт <...>, что император буквально не в своем уме. Уже несколько лет это известно ближайшим к нему лицам <...>. С тех пор как он вступил на престол, его умопомешательство постепенно усиливалось <...>. Император не руководится в своих поступках никакими определенными правилами или принципами. Все его действия суть последствия каприза или расстроенной фантазии <...>, но в то же время мы не должны забывать, что император, каков он ни есть, самодержавный владетель могущественной, связанной с Англией империи, из которой исключительно мы можем добывать средства для поддержания первенства нашей морской силы» (*Шумигорский, 1907, с. 194*).— Отношения с Англией день ото дня становятся хуже.— Лорду Уитворду предписано покинуть Россию (в июне).

20 марта. СУВОРОВ СНОВА РАЗЖАЛОВАН ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ «Вопреки высочайше изданного устава генералиссимус князь Италийский имел при корпусе своем по старому обычаю неперменного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии» (*приказ Павла I от 20 марта 1800.— Суворов, с. 269*).

НОВЫЕ МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА

12 апреля. Четверг. Указ о запрещении переходить из военной службы в статскую без личного позволения государя (*ПСЗ, № 19376*).

18 апреля. Середа. Указ о запрещении иностранной литературы в Российской империи: «Так как чрез ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелева-

ем запретить выпуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия в государство наше, равномерно и музыку» (*ПСЗ, № 19387*), а также — «отобрать во всех книжных лавках произведения Вольтера и Руссо» (*Головина, с. 245*).

2 мая. Середа. Приказ дать 1000 (тысячу) палочных ударов штабс-капитану Кирпичникову за словесное оскорбление государственной награды — ордена св. Анны (*Эйдельман, 1982, с. 189*; косвенно же была оскорблена Анна Петровна Гагарина (Лопухина) — таковы рыцари!).

Май. Петербург.

ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК

«Титулярная советница Флиге взяла карету у извозчика Матвея Козырева и, направляясь в Екатерингоф, приказывала ему ехать поспешнее, но он отвечал, что скоро ездить запрещено. Когда приехали по назначению, то извозчик сходил два раза в соседний кабак, а вернувшись, будучи «довольно пьян», разболтался и говорил: «В Екатерингоф поехали благополучно, как-то назад? Седоки приказывают ехать скоро, а лакея нет, попадешься батюшке Курносому, так и своих не узнаешь. Даром он смотрит высоко, да далече видит. Мы с генералами и с графами езжали, да и те из кареты опрометью вылезают, и как не поспеют, то глядишь — и за город». (...) Продолжая разговор с дворником и артельщиком, извозчик Козырев жаловался, что «государь император весьма немилостив, не дает шибко ездить и извозчикам быть пьяным, за что отдаст тотчас в солдаты». После сего говорил: «Как бы моя воля была, то бы я его, плешивого и курносого, застрелил (причем разорвал на себе рубашку), а мне уже-де быть только одному в ссылке, за что знатные господа (...) согласились бы прислать ко мне по 500 руб. жалованья в ссылку, и я бы жил пан паном (...)». Сам Козырев объяснял свои слова «безмерным пьянством» и «простотой», причем заявлял на допросе, что «совещания не только с теми, с коими ездил, но и ни с кем не имел, ни от кого не наущен и никто его не подговаривал» (*Клочков, с. 580*).

6 мая. Воскресенье. Петербург.

Генералиссимус СУВОРОВ

Честь воздавая, помни, прохожий!
Кто здесь лежит, кто богатырь:
Умер в немилости, пал не в сражении,
Многих убил — всё воевал.

Будет ли переворот?

14 мая. Понедельник.

ГОСУДАРЬ ОТБЫЛ В ЛЕТНИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

Павловск — Петергоф — Гатчина. Здесь «двор по обыкновению проводил конец весны, лето и начало осени (...). Характер императора Павла становился все более и более вспыльчивым, а поведение произвольным и странным» (*Головина, с. 320*). — «Подозревал ли сам император то, что замышляли против него?» (*Коцебу, с. 320*).

Июнь. Дерпт. ДЕЛО ПАСТОРА ЗЕЙДЕРА РЕШЕНО СУДОМ

«Этот пастор, сельский проповедник в окрестностях Дерпта, имел небольшую библиотеку для чтения, которую, однако, закрыл, потому что трудно было получать новые книги и опасно их давать для чтения, так как в Риге сидел изверг по имени Туманский — цензор, который, чтобы угодить и придать себе важность, осуждал самые невинные книги (...). Пастору Зейдеру не были еще возвращены некоторые отданные им в чтение книги, в том числе Лафонтенова «Сила любви»; он об этом известил в еженедельной газете, не зная, что и эта книга была из числа запрещенных. Почему она была запрещена, это знал, конечно, один только Туманский (...). Он донес (в Петербург), что пастор Зейдер старается посредством библиотеки для чтения распространять тлетворные начала. Донос возбудил подозрительность и негодование императора. (...) Зейдер был приговорен к наказанию кнутом (...). Когда ему прочли приговор, он упал на землю, потом приподнялся на колени и умолял, чтобы его выслушали. — «Здесь не место», — сказал фискал. «Где же место? — вопил Зейдер. — Ах, только

пред Богом». <...> Когда привязали его к столбу, он <...> заметил, как, по-видимому, значительный человек в военном мундире подошел к палачу и прошептал ему на ухо несколько слов; этот последний почтительно отвечал: «Слушаюсь». Вероятно, то был сам граф Пален или один из его адъютантов, давший палачу приказание пощадить несчастного. От бесчестия нельзя было его избавить; по крайней мере, хотели его предохранить от телесного наказания, которого он, может быть, и не вынес бы. Зейдер уверял, что он не получил ни одного удара, он только слышал, как в воздухе свистел каждый взмах, который потом скользил по его исподнему платью <...>. Его отправили в Сибирь, как самого отвязленного злодея, и даже его жена не получила разрешения следовать за ним» (*Коцебу*, с. 289—291; когда Зейдер был возвращен Александром I из Сибири, «Мария Феодоровна определила его приходским пастором в Гатчине. Он был человек кроткий и тихий, и, кажется, под конец попивал». — *Греч*, с. 152; умер он в 1834 году).

СОРВАНЫ ЗАМЫСЛЫ ПЕРЕВОРОТА

14 августа. Вторник. ГЕНЕРАЛ ПАЛЕН ОТПРАВЛЕН ИЗ ПЕТЕРБУРГА командовать армией на прусской границе. Его место военного губернатора Петербурга заступил генерал от инфантерии Свечин. — «Давно уже яд начал распространяться в обществе. Сперва испытывали друг друга намеками; потом обменивались желаниями; наконец открывались в преступных надеждах» (*Коцебу*, 320). — «Душою заговора и главным действующим был граф Пален» (*М. А. Фонвизин*, с. 136). — «С ним во главе революция была легка; без него почти невозможна» (*Коцебу*, с. 321).

АНГЛИЯ ПОСЯГАЕТ НА ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

25 августа (5 сентября) В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ: английская эскадра занимает Мальту и, изгнав французов, водружает над островом британский флаг.

«РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ВОТ УЖЕ ТРИ ГОДА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ и связана с справедливостью там, где Его Величество полагает ее найти. Долгое время он был того мнения, что справедливость находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам. Теперь же в этой стране в скором времени водворится король <Бонапарт>, если не по имени, то, по крайней мере, по существу, что изменяет положение дела. Он бросил сторонников этой партии, которая и есть австрийская, когда обнаружилось, что справедливость не на ее стороне. То же самое он испытал относительно англичан. Он склоняется единственно в сторону справедливости, а не к тому или другому правительству, к той или другой нации, а те, которые иначе судят о его политике, положительно ошибаются» (*из беседы императора Павла I с датским посланником в Петербурге Розенкранцем в начале сентября 1800 г.* — *Клочков*, с. 309—310).

4 сентября. Четверг. СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ

Уволено от дел 27 сенаторов. Оставлено 50 (*Клочков*, с. 186).

20 сентября. Государю — 46 лет. «ВРЕМЯ БЫЛО ТАКОЕ, что я каждый вечер от всего сердца благодарил Бога, что еще один день кончился благополучно» (*К. Ф. Толь.* — *Цит. по: Эйдельман, 1982, с. 113*).

25 сентября. Вторник. Гатчина: «Его Императорское Величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего театрального представления, что некоторые из бывших зрителей начинали плескаться руками, когда его величеству одобрения своего объявить было неугодно, и, напротив того, воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров <...>, почему принужденным нашелся всему двору своему и гарнизону города Гатчины отказать вход в театр и в церковь, кроме малого числа имеющих вход на вечерние собрания, и <...> приказать соизволил: для предосторожности жителей столицы, дабы <...> здеш-

няя публика во время представлений театральные воздерживалась от всяких неблагопристойностей, как то: стучать тростями, топтать ногами, шикать, аплодировать одному, когда публика не аплодирует, также аплодировать во всем пении или действии и тем отнимать удовольствие у публики безвременным шумом. А потому <...> всех, здесь в городе живущих, обвести с подписками о сем и с строгим при том подтверждением, что, если и за сим кто-либо осмелится вопреки вышеписанному учинить, тот предан будет, яко ослушник, суду» (*Анекдоты, с. 238*).

ПРОЕКТ УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

1 октября. Понедельник. Тотчас по получении известия о взятии Мальты англичанами первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел граф Ростопчин представил императору проект новой политики в Европе: «Россия как положением своим, так равно и неистощимую силою есть и должна быть первая держава в мире <...>. Пруссия ласкает нас для склонения на предполагаемые ею себе удовольствия при общем мире. Австрия ползает перед нами <после битвы при Маренго 14 июня Австрия опять потеряла свои итальянские территории>. <...> Англии тоже необходим мир <...>. Бонапарт старается всячески снискать наше благорасположение» (замечание Павла на полях: «И может успеть»).— Между тем Англия «захочет, может быть, нахальным образом развесить в Балтийском море флаг свой», а Россия, в случае заключения общего мира, «останется ни при чем». Посему следует заключить союз с Францией, Пруссией и Австрией, установив политику вооруженного нейтралитета против Англии, разделить Турцию, забрать у нее Константинополь, Болгарию, Молдавию и Румынию — для России, а Боснию, Сербию и Валахию отдать Австрии, образовать Греческую республику под протекторатом союзных держав, но при расчете перехода греков под российский скипетр (замечание государя на полях: «А можно и подвести»); Пруссия пусть берет себе Гамбург, Мюнстер и Падерборн, Франция — Египет. Резюме Его Величества: «Апробуя план Ваш, желаю, чтобы Вы приступили к исполнению оного. Дай Бог, чтобы по сему было» (*РА, 1878, кн. I, с. 103*).

РОССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ БЛОКАДУ АНГЛИИ

23 октября. Наложена секвестр на все торговые английские суда в российских портах. **25 октября.** Приказ об аресте всех товаров на сих английских судах. **28 октября.** Приказ об аресте всех английских шкиперов и матросов, на тех судах находящихся (числом 1043), и отсылке их в губернские и уездные города (по 10 человек в город).

27 октября. Суббота. ГЕНЕРАЛ ПАЛЕН ВОЗВРАЩЕН В ПЕТЕРБУРГ на должность военного губернатора.

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ГЕНЕРАЛА ПАЛЕНА

«Состоя в высоких чинах и облеченный важными и щекотливыми должностями, я принадлежал к числу тех, кому более всего угрожала опасность, и мне настолько же желательно было избавиться от нее для себя, сколько избавить Россию, а быть может, и всю Европу от кровавой и неизбежной смуты.— Уже более шести месяцев были окончательно решены мои планы о необходимости свергнуть Павла с престола, но мне казалось невозможным (оно так и было в действительности) достигнуть этого, не имея на то согласия и даже содействия великого князя Александра или, по крайней мере, не предупредив его о том. Я зондировал его на этот счет сперва слегка, намеками, кинув лишь несколько слов об опасном характере его отца. Александр слушал, вздыхал и не отвечал ни слова. Но мне не этого было нужно; я решился наконец пробить лед и высказать ему открыто, прямодушно то, что мне казалось необходимым сделать. Сперва

Александр был, видимо, возмущен моим замыслом; он сказал мне, что вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца. Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, представляя ему на выбор — или престол, или же темницу и даже смерть, что мне наконец удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства для достижения развязки («граф Панин, человек умный, даровитый» — племянник покойного Никиты Ивановича Панина, — был в то время министром иностранных дел; он один из первых вступил в заговор и комбинировал вместе с Паленом все его градации и выполнение» — *Ланжерон, с. 133*). — Когда великого князя убедили действовать сообща со мною, — это был уже большой выигрыш, но еще далеко не все: он ручался мне за свой Семеновский полк; я видался со многими офицерами этого полка, настроенными очень решительно; но это были все люди молодые, легкомысленные, неопытные, без испытанного мужества, необходимого для такого решения, и которые в момент действия могли бы вследствие слабости, ветрености или нескромности испортить все наши планы; мне хотелось заручиться помощью людей более солидных, чем вся эта ватага вертопрахов, я желал опереться на друзей, известных мне своим мужеством и энергией: я хотел иметь при себе Зубовых и Беннигсена. («Насчет Беннигсена и Валериана Зубова Пален был прав; Николай же был бык, который мог быть отважным в пьяном виде, но не иначе, а Платон Зубов был самым трусливым и низким из людей». — *Ланжерон, с. 137*.) Но как вернуть их в Петербург? Они были в опале, в ссылке; у меня не было никакого предложения, чтобы вызвать их оттуда, и вот что я придумал. Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, когда ему можно было говорить что угодно, разжалобить его насчет участи разжалованных офицеров; я описал ему жестокое положение этих несчастных, выгнанных из их полков и высланных из столицы, которые, видя карьеру свою погубленную и жизнь испорченную, умирают с горя и нужды за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах, я надеялся заставить его сделать тотчас же то, что представил ему под видом великодушия; я бросился к его ногам. Он был романического характера, он имел претензию на великодушие. Во всем он любил крайности: два часа спустя после нашего разговора двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных со службы. Приказ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором» (*Пален, с. 134 — 138*).

1 ноября. Четверг.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ

«Всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключенным, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, паки вступить в оную, с тем, чтобы таковые явились в Санкт-Петербург для личного представления Нам». — ПАВЕЛ (*ПСЗ, № 19625*).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНЫХ ПРИЗНАНИЙ ГЕНЕРАЛА ПАЛЕНА

«⟨...⟩ я обеспечил себе два важных пункта: 1) заполучил Беннигсена и Зубовых, необходимых мне, и 2) еще усилил общее ожесточение против императора: я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерения к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также и следующие за ними. Случилось то, что я предвидел: ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных, каждое утро подавали императору донесения с застав. Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих: он перестал принимать их, затем стал просто гнать» (*Пален, с. 138*). — «Злодей Пален торжествовал ⟨...⟩» (*Головина, с. 356*).

7 ноября. «Павел был суверен. Он охотно верил в предзнаменования. Ему, между прочим, предсказали, что если он первые четыре года своего царствования проведет счастливо, то ему больше нечего будет опасаться и остальная жизнь его будет увенчана славой и счастьем» (*Беннигсен, с. 114*).

7 ноября. НОВЫЕ И НОВЕЙШИЕ АНЕКДОТЫ

«Император жил летом в Гатчине, в весьма тесном дворце, стоящем полукругом на площади. Государь обедал рано и обычно садился после этого в большие кресла, прямо против растворенных на балкон дверей, и отдыхал. Об эту пору вся Гатчина замирала в молчании; махальные от дворцового караула выставлялись по улицам, ведущим на площадь, езды по городу не было. В такую-то пору шел по направлению ко дворцу паж Яхонтов и, пройдя тихонько по стенке до того места, где внизу во дворце жили фрейлины, вздумал пошалить: вскочив на подстенок, он приплющил лицо к оконнице, оградившись с боков от солнца ладонями и раскланиваясь с коротко знакомыми ему девицами, начал корчить рожи, чтобы их рассмешить. Те, зная общую слабость свою, с трудом удерживаясь от хохота, стали отгонять его знаками, указывая наверх и объясняя приложением руки к наклоненной голове, что государь отдыхает. Паж, видво, не расположен был кончить этим шалость свою и внезапно, во все безумное горло свое, пустил сигнал: «Слу-ша-ай!» Соскочив с подстенка, он тихо и быстро побегал далее, выбрался с площади на улицу и был таков. Можно себе представить, какая тревога поднялась во дворце, когда это сумасбродное *слушай!* среди белого дня раздалось под растворенным балконом отдохавшего государя! Император вскочил и позвонил. «Кто кричал *слушай?*» — спросил он вне себя, но с видимым наружным покоем. Вошедший поспешил выскочить и бросился опретью вниз, к караульне. Второй звонок: «Кто кричал *слушай?*» — и этот адъютант или ординарец, не знаю, едва успел добежать до лестницы, как сильный звон заставил спешно войти всех бывших налицо в передней. «Кто кричал *слушай?*» — голос, коим сделан был этот вопрос, был знаком всем близким; очевидно, терпение императора истощилось. У караульни шла переборка — комендант, плац-майор, дежурный по караулам, караульный капитан, весь караул у сошек — а виноватого нет, никто ничего не знает. Воротившиеся из посылки в страхе стоят в передней, глядят друг на друга, никто не знает, что делать. Еще звонок, и тот же вопрос: «Кто кричал *слушай?*» — встречает опретью кинувшихся в покои чуть не на пороге. Коменданта и весь причт его давно уже дрожь пробрала до костей; он кидается на колени перед караулом и умоляет солдат: «Братцы, спасите; возьми кто-нибудь на себя, мы умиловитим после государя, не бойтесь, отстоим, он добр, сердце отляжет». Гвардеец выходит из фронту и говорит смело: «Я кричал, виноват». Чуть не на руках внесли его в государеву приемную и наперед уже, бегом, успели объявить императору, что нашли виноватого, нашли! — Услыхав слово это, государь спокойно сел опять в свои кресла и велел позвать его. Солдат вошел под весьма почетным конвоем и стал перед государем, который, поглядев на него молча, долго и пристально, спросил: «Ты кричал *слушай?*» — «Я кричал, ваше императорское величество!» — «Какой у него славный голос! В унтер-офицеры его, и сто рублей за потеху» (*Даль, с. 294—295*).

«Какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больницу. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым (...). Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как о г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать» (*А. И. Герцен.— Русский литературный анекдот, с. 83*).

8 ноября.

СОБОР МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

Михайловский замок торжественно освящен в присутствии государя императора и почти готов к обитанию.

Как вострубит Михайло архангел,
 Грозных сил небесных воевода,
 Во трубу златую и взойдет на круту гору,
 Тут пробудятся все мертвые,
 Из гробов-то восстанут,
 И зачнется суд праведный
 Да над душами многогрешными, многобольными,
 Возгласит Михайло-свет архангел:
 «Уж вы гой еси, что рыдаете?
 Что вы локти себе обкусываете?
 Аль вы хуже других? — признавайтесь!»
 Отвещают ему души многобольные:
 «Уж ты гой еси, Михайло-свет архангел!
 Виноваты мы, души многогрешные,
 Что особым шли путем-дороженькой,
 Что поперву забыли своих идолов,
 Свои капища забыли языческие,
 Что по после Христа-Бога попрезрели,
 А теперича дедов да родителей
 Проклинаем за жизнь свою тесную.
 А какие мы были богоизбранные,
 А какие мы были соборные,
 Ты спроси воевод наших храбрых
 Да князей и царей милостивых,
 Мало ль нас перевели они, не считаячи,
 Будто вороги по земле шастаячи.
 Все мешали мы им, многогрешные,—
 По три слоя лежим во земле сырой.
 А мы смиренные были да кроткие,
 Разве кой-когда где топориком.
 А что Христа-Бога мы прокляли,
 Так не со зла то, а с беспамятства,
 От дурного куражу да с удалы.
 Ты пошли-ко нас, Михайло, в муку огненну,
 Ты посадь нас на сковороды каленые
 Да смолой утопи злокипящую,
 Чтоб забыться нам да не вспомниться,
 Приустали мы — нету мочушки».
 Отвещает им Михайло архангел:
 «Ах вы души грешные, многобольные,
 Не орла бы вам в гербы надо двуглавого —
 Птицу-оборотня, а ворона черного.
 Ворон черный — птица хитромудрая,
 Ворон черный — птица вещая,
 Ворон черный — птица семейная.
 А орел двуглавый — урод больной:
 Ни приплода не дает, ни гнезда не вьет —
 Головы-то две, да не ворочаются,
 До какой вон довел вас до крайности...» —
 Тут вся сила небесная восколеблется.
 Страшный суд идет, суд поднебесный,
 Трубно трубы трубят, да земля горит.

Стихи духовные, с. 666

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

23 ноября. Пятница. Князь Платон Zubов определен директором 1-го кадетского корпуса. **1 декабря. Суббота.** Граф Николай Zubов определен шефом Сумского гусарского полка. **6 декабря. Четверг.** Граф Валериан Zubов определен директором 2-го кадетского корпуса.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ БЕРЕТ КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ С РОССИЕЙ

10 (21) декабря. Первый консул Франции Бонапарт пишет и посылает письмо императору Павлу I с предложением заключить союз.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА: КАРТЕЛЬ ЕВРОПЕ¹

16 декабря, в воскресенье, в восемь часов утра граф Пален прислал ко мне полицейского офицера с приказанием немедленно явиться к нему <...>, сердце мое затрепетало; жена же моя была должна прибегнуть к помощи лекарств <автор недавно вернулся из сибирской ссылки>. Когда я приехал, граф Пален сказал мне с улыбкою, что император решился разослать вызов или приглашение на турнир ко всем государям Европы и их министрам и что он избрал меня для того, чтобы изложить этот вызов и поместить во всех газетах <...>. Мы поехали к императору. Граф вошел сперва один в его кабинет, потом, вернувшись <...>, повел меня с собою к императору <...>. Государь стоял посреди комнаты. По обычаю того времени, я в дверях преклонил одно колено, но Павел приказал мне приблизиться, дал мне поцеловать свою руку, сам поцеловал меня в лоб и сказал мне с очаровательною любезностью: «Прежде всего, нам нужно совершенно помириться». <...> После того зашла речь о вызове на поединок <...>. — «Я желаю, чтобы это (указывая на бумагу, которую он держал в руках) было помещено в «Гамбургской газете» и в других газетах». Затем он дружески взял меня под руку, подвел к окну и прочел эту бумагу, написанную им собственноручно на французском языке. Вот ее содержание: «Из Петербурга сообщают, что Российский Император, видя, что европейские державы не в состоянии примириться между собою, и желая прекратить войну, разоряющую Европу уже 11 лет, собирается выбрать место, куда он пригласит всех других государей, чтобы им встретиться друг с другом в честном поединке, имея в качестве оруженосцев, герольдов и судей своих просвещеннейших министров и искуснейших генералов, таких, как Тугут <австрийский министр иностранных дел>, Питт <английский премьер-министр>, Бернсторф <датский министр>; сам же он предполагает взять с собою генералов Палена и Кутузова. Можно ли доверять этому известию — неясно; но, судя по всему, сообщение сие не лишено оснований, имея отпечаток тех качеств, в коих Российского Императора часто обвиняли» <...>. При последних словах он от души засмеялся. Я учтиво улыбнулся <...>. «Вот, возьмите,— продолжал он, передавая мне бумагу,— переведите это на немецкий язык <...>». На другой день он пожаловал мне прекрасную табакерку в две тысячи рублей» (*Жоцбу*, с. 293—294; *Анекдоты*, с. 179—182; вызов был напечатан в газете «Гамбургский корреспондент» 16 января 1801 г., в «Санкт-Петербургских ведомостях» 19 февраля 1801 г. и в «Московских ведомостях» 27 февраля 1801 г.).— Турнир, однако, не состоялся.

«РАЗДЕЛ МИРА МЕЖДУ ДОН КИХОТОМ И ЦЕЗАРЕМ»,—

именно так, по осведомленным источникам (*А. Тьер. История Консульства и Империи*), прокомментировали первое прямое послание императора Павла I к первому консулу Наполеону Бонапарту от 18 декабря: «Долг тех, кому Бог дал

¹ *Картель* — приятный, благородный и короткий вызов на дуэль; здесь: на рыцарский турнир.

власть управлять народами, состоит в том, чтобы думать и заботиться об их благосостоянии <...>. Я не говорю и не хочу спорить ни о правах, ни о принципах различных образцов правления, принятых каждой страной. Постараемся возратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается и которые, по-видимому, так согласуются с непреложными законами Вечного. Я готов вас выслушать и переговорить с вами» (*Эйдельман, 1982, с. 209; Валиевский, 1914, с. 483*).

1801

2 января. Середа. ИМПЕРАТОР РОССИИ СОГЛАСЕН НА СОЮЗ С ФРАНЦИЕЙ и, во-первых, пишет Наполеону Бонапарту ответ на его письмо от 21 (10) декабря; во-вторых, приказывает всех французских эмигрантов — бежавших в свое время от республики — выслать из России, в их числе короля Людовика XVIII из Митавы.

РОССИЯ И ФРАНЦИЯ СОБИРАЮТСЯ:

А) ОТНЯТЬ У АНГЛИИ ИНДИЮ

12 января. Суббота. Приказ императора Павла атаману войска Донского: «Имеется вы идти и завоевать Индию <...>, атаковать англичан там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают» (*Царевубийство, с. XXXIX*).— 27 февраля казаки отправились в поход, 18 марта их вернули с пути (*Шумигорский, 1907, с. 198*).

В) ЛИШИТЬ АНГЛИЮ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ

Из Лондона сообщают: «Тревога почти всеобщая, особенно после того, как узнали о приказе императора Павла трем русским фрегатам выйти с Камчатки и перекрывать нашу торговлю с Китаем» (*сообщение секретного прусского агента из Лондона в Берлин.— Эйдельман, 1982, с. 227*).

С) НАПАСТЬ НА САМУ АНГЛИЮ

«Подготавливая союз с Францией, Павел <...> заключил союз с Швецией <против Англии же>. К этому союзу примкнули Дания и Пруссия, так что против английского флота в Балтийском море создалась внушительная эскадра 4-х северо-восточных держав, задача которой была по преимуществу оборонительная. Наступательную же войну Павел предполагал вести в союзе и при деятельной поддержке Франции. Наполеон должен был сделать диверсию нападением на берега Англии» (*Клочков, с. 311*). Русскому посольству в Англии приказано вернуться в Россию.

28 января — 3 февраля. «МАСЛЕНИЦА

в эту зиму была оживленной. Император приказал великому князю Александру давать у себя балы, а в Эрмитаже были маскарады.

1 февраля. Пятница. <...> Император и императрица и лица, наиболее приближенные к ним, переехали в Михайловский дворец <...>. Княгиня Гагарина <Лопухина> оставила дом своего мужа и была помещена в новом дворце, под самым кабинетом императора, который сообщался посредством особой лестницы с ее комнатами, а также с помещением Кутайсова» (*Головина, с. 249—251; Саблуков, с. 68*).— «Стены были еще пропитаны такой сыростью, что с них всюду лила вода; тем не менее они были уже покрыты великолепными обоями. Врачи попытались было убедить императора не поселяться в новом замке; но он обращался с ними, как с слабоумными,— и они пришли к заключению, что там можно жить. Здание это прежде всего должно было послужить монарху убежищем в случае попытки осуществить государственный переворот. Канавы, подъемные мосты и целый лабиринт коридоров, в котором было трудно ориентироваться, по-видимому, делали всякое подобное предприятие невозможным. Впрочем, Павел верил, что он находится под

непосредственным покровительством архангела Михаила, во имя которого были построены как церковь, так и самый замок» (*Гейкинг, с. 245—246*).

8 февраля. Пятница. ВОЗОБНОВЛЕНА ТОРГОВЛЯ С ФРАНЦИЕЙ

Указ: «Вследствие мер, принятых со стороны Франции к безопасности и охранению российских кораблей, повелеваем сношение с сею державою по торговле разрешить и прежде положенные на сие запрещения отменить» (*ПСЗ, № 19746*).

21 февраля. Четверг. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА. ЛЮБОВНАЯ ХРОНИКА

«Патентованною его фавориткою была княгиня Анна Петровна Гагарина, урожденная княжна Лопухина <...>. Некоторые тогдашние лица говорили, что это была любовь чисто платоническая. Что-то не верится <...>. Этого было ему мало <...>. Решили промышлять ему любовниц <...>. Вскоре они забрюхатели. И вот князь Куракин¹ <вновь назначенный вице-канцлером в феврале> препроводил к Оболянинову <генерал-прокурору> бумагу, в которой говорилось: «Нижеподписавшийся вице-канцлер кн. Александр Куракин, быв призван 21 февраля 1801 года Его Императорским Величеством, имел честь стоять пред лицом Его в Михайловском замке и в почивальне Его и удостоился получить изустное объявление, что в скором времени ожидает рождения двух детей своих, которые, если родятся мужского пола, получат имена старший Никита, а младший Филарет и фамилии Мусиных-Юрьевых <одной из будущих родительниц была камер-фрейлина Марии Феодоровны — Юрьева>, а если родятся женска пола, то <...> старшая Евдокия, младшая Марфа — с той же фамилией. А восприемником их у Св. купели будет государь и наследник цесаревич Александр Павлович и штатс-дама и ордена Св. Иоанна Иерусалимского кавалер княгиня Анна Петровна Гагарина» (*Греч, с. 88; Шумигорский, 1907, с. 203—204; Эйдельман, 1982, с. 240—241; родились дочери, и обе, кажется, прожили недолго*).— Тем временем

«ЗАГОВОР БЫСТРО РАЗВИВАЛСЯ <...>

<...> Недоумение и страх преисполняли все умы <...>. Пален коварно подготавливал гибель несчастного императора. <Шепотом повторяли> опасения насчет того, что император, по-видимому <раз объявляет о рождении новых детей>, собирается заключить императрицу, свою супругу, в монастырь, а обоих старших сыновей — в крепость. <...> Дело дошло до того, что императору приписали даже намерение жениться на актрисе французского театра, г-же Шевалье, в то время любовнице Кутайсова.— Распространяли ли заговорщики такие клеветы нарочно, с целью вербования единомышленников, или действительно такие нелепости пробегали в голове императора? Как бы то ни было, рассказы эти распространялись, повторялись, и им верили» (*Головина, с. 254, 252; М-те Ливен, с. 181—182*).

ВОЙНА С АНГЛИЕЙ НЕИЗБЕЖНА

28 февраля (12 марта). Английская эскадра под командованием вице-адмиралов Паркера и Нельсона вышла в море, чтобы, разбив датский флот и атаковав Копенгаген, перейти затем в Балтийское море и, идя к Ревелю, сразиться с флотом России.

Первая русская революция XIX века

МАРТОВСКИЕ ВИДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти общою» (*М. А. Фонвизин, с. 137*).— «Многие из его приближенных сознавали, что их

¹ Тот самый Александр Куракин — племянник Никиты Ивановича Панина, друг детских забав государя.

положение при дворе чрезвычайно опасно и что в любую минуту, раскаиваясь в только что совершенном поступке, государь может перенести свое расположение на новое лицо и уничтожить их всех. Великие князья также находились в постоянном страхе: оба они были командирами полков и в качестве таковых ежедневно, во время парадов и учений, получали выговоры за малейшие ошибки» (*Саблуков, с. 67*).

«Достигнуть успеха можно было, только подкупив или подняв гвардию целиком или только частью, а это было дело не легкое: солдаты гвардии любили Павла, первый батальон Преображенского полка в особенности был очень к нему привязан. Вспышки ярости этого несчастного государя обыкновенно обрушивались только на офицеров и генералов, солдаты же, хорошо одетые, пользующиеся хорошей пищей, кроме того, осыпались денежными подарками» (*Ланжерон, с. 133*).

Чистосердечные признания генерала Палена (продолжение) «Мы назначили исполнение наших планов на конец марта, но непредвиденные обстоятельства ускорили срок: многие офицеры гвардии были предупреждены о наших замыслах, многие их угадали. Я мог всего опасаться от их нескромности и жил в тревоге <...>.

7-го марта <в четверг> я вошел в кабинет Павла в семь часов утра, чтобы подать ему, по обыкновению, рапорт о состоянии столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным; он запирает дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две, и говорит наконец: «Г. фон Пален! Вы были здесь в 1762 году». — «Да, ваше величество». — «Были вы здесь?» — «Да, ваше величество, но что вам угодно этим сказать?» — «Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?» — «Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит, но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?» — «Почему? Вот почему: потому что хотят повторить 1762 год». Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился и отвечал: «Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре». — «Как! Вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите!» — «Сущую правду, ваше величество, я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую в виде моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь — вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно» (*Пален, с. 138—139*).

Слух о приближении графа Аракчеева к Петербургу

«Император, никому ничего не говоря, вызвал в Петербург <графа> Аракчеева с тем, чтобы немедленно по его прибытии назначить его военным губернатором. При содействии его, как заклятого врага графа Палена, этот последний должен был быть уничтожен» (*Коцебу, с. 326*).

Около 7 марта. «Во время одной из прогулок, около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель), Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к шталмейстеру Муханову, ехавшему рядом с императрицей, сказал сильно взволнованным голосом: «Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю... Разве они хотят задушить меня?» Муханов отвечал: «Государь, это, вероятно, действие оттепели». Император ничего не ответил, покачал головой, и лицо его сделалось очень задумчивым. Он не проронил ни единого слова до самого возвращения в замок» (*Саблуков, с. 72—73*). — «За несколько дней пред тем с ним случился судорожный припадок, который несколько скривил ему рот. Он сам шутил над этим» (*Коцебу, с. 328—329*).

Слухи о графе Аракчеве оказались преувеличенными

«Всего более заговорщики опасались преданности графа Кутайсова <...>. Я встретился с графом Кутайсовым в Кенигсберге. Он уже не был прежним надменным, неприступным любимцем <...>. Здесь он принял меня чуть не с сердечною радостью <...>. Граф совершенно опровергнул вообще довольно распространенное предположение, будто император Павел подозревал существование заговора и вследствие сего вызвал <графа> Аракчеева. — «Если бы мы имели хотя малейшее подозрение, — сказал он, — стоило бы нам только дунуть, чтобы разрушить

всякие замыслы», — и при этих словах он дунул на раскрытую свою ладонь» (*Коцебу*, с. 343—345).

«В вечер перед этой ужасной ночью великий князь Александр ужинал у своего отца (...). Мне передавали, что во время этого зловещего ужина великий князь чихнул. Император (...) сказал: «Я желаю, Monseigneur, чтобы желания ваши исполнились» (*Головина*, с. 256). — «Александр был поставлен между необходимостью свергнуть с престола своего отца и уверенностью, что отец его вскоре довел бы до гибели свою империю сумасбродством своих поступков» (*Ланжерон*, с. 132).

Чистосердечные признания генерала Палена (продолжение)

«Но я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово (...), надо было успокоить шепетильность моего будущего государя (...). Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обогрит и столицу, и губернии» (*Пален*, с. 135—136).

11 марта. Понедельник. Утро. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ С АНГЛИЕЙ. Высочайший указ: «Чтобы из российских портов и пограничных сухопутных таможен и застав никаких российских товаров выпускаемо никуда не было без особого Высочайшего повеления» (ПСЗ, № 19775). — **АНГЛИЙСКАЯ ЭСКАДРА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КОПЕНГАГЕНУ.** Вице-адмирал Нельсон предлагает вице-адмиралу Паркеру не устраивать сражения с датским флотом, а идти прямо в Балтийское море к Ревелю для истребления русской эскадры.

«В последний день своей жизни император был весел и здоров.

Около полудня 11 марта я сам еще встретил его в сопровождении графа Строганова на парадной лестнице Михайловского замка у статуи Клеопатры. Он несколько минут ласково разговаривал со мною» (*Коцебу*, с. 328).

После полудня время шло как обычно; на улице мартовская слякоть; стемнело, как и положено, к семи часам.

«**В 8 часов вечера** (...) я отправился в Михайловский замок, чтобы сдать мой рапорт великому князю Константину как шефу полка. Выходя из саней у большого подъезда, я встретил камер-лакея собственных его величества апартаментов, который спросил меня, куда я иду. Я отвечал, что иду к великому князю Константину. — «Пожалуйста, не ходите, — отвечал он, — ибо я тотчас должен донести об этом государю». — «Не могу не пойти, — сказал я, — потому что я дежурный полковник (...)». Лакей побежал по лестнице на одну сторону замка, я поднялся на другую. — Когда я вошел в переднюю Константина Павловича, Рутковский, его доверенный камердинер, спросил меня с удивленным видом: «Зачем вы пришли сюда?» Я ответил, бросая шубу на диван: «Вы, кажется, все здесь с ума сошли! Я дежурный полковник». Тогда он отпер дверь и сказал: «Хорошо, войдите». Я застал Константина в трех-четыре шагах от двери (...), он имел вид очень взволнованный. Я тотчас отрапортовал ему о состоянии полка. Между тем великий князь Александр вышел из двери (...), прокрадываясь, как испуганный заяц. В эту минуту открылась задняя дверь (...) и вошел император *in propria persona*¹, в сапогах и шпорах, с шляпой в одной руке и тростью в другой, и направился к нашей группе церемониальным шагом, словно на параде. — Александр поспешно убежал в собственный апартамент; Константин стоял пораженный, с руками, бьющимися по карманам, словно безоружный человек, очутившийся перед медведем. Я же, повернувшись по уставу на каблуках, отрапортовал императору о состоянии полка. Император сказал: «А, ты дежурный!» — очень учтиво кивнул мне головой, повернулся и пошел к двери (...). Когда он вышел, Александр немного приоткрыл свою

¹ Собственной персоной (*латин.*).

дверь и заглянул в комнату. Константин стоял неподвижно. Когда вторая дверь в ближайшей комнате громко стукнула, как будто ее с силою захлопнули, доказывая, что император действительно ушел, Александр, крадучись, снова подошел к нам.— Константин сказал <...>, указывая на меня: «Я говорил вам, что он не испугается!» Александр спросил: «Как? Вы не боитесь императора?» — «Нет, ваше высочество, чего же мне бояться? Я дежурный, да еще вне очереди; я исполняю мою обязанность <...>». — «Так вы ничего не знаете?» — возразил Александр. «Ничего, ваше высочество» <...>. — «Мы оба под арестом <...>. Нас обоих водил в церковь Оболянинов присягать в верности!» — В передней, пока камердинер Рутковский подавал мне шубу, Константин Павлович крикнул: «Рутковский, стакан воды!» Рутковский налил, а я заметил ему, что на поверхности плавают перышко. Рутковский вынул его пальцем и, бросив на пол, сказал: «Сегодня оно плавает, но завтра потонет» (*Саблуков, с. 75—78*).

Ужин. «<...> я слышал от генерала Кутузова, бывшего тогда в Петербурге <...>: «Мы ужинали вместе с императором; нас было 20 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мною, и пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало; я вижу себя в нем с шей, <свернутой> на сторону». Это было за полтора часа до его кончины» (Кутузов не был посвящен в заговор; *Ланжерон, с. 151*). — «За ужином употреблен был в первый раз новый фарфоровый прибор, украшенный разными видами Михайловского замка. Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это был один из счастливейших дней в его жизни» (*Полетика, с. 322*).

«В шестнадцать минут одиннадцатого часовой крикнул: «Вон!» — и караул вышел и выстроился. Император показался из двери в башмаках и чулках, ибо он шел с ужина. Ему предшествовала любимая его собака Шпиц, а следовал за ним Уваров, дежурный генерал-адъютант <...>. Император подошел ко мне <...> и сказал по-французски: «Vous êtes des Jacobins». Несколько озадаченный этими словами, я ответил: «Oui, Sire». Он возразил: «Pas Vous, mais le régiment». На это я возразил: «Passe encore pour moi, mais Vous vous trompez, Sire, pour le régiment»¹. Он ответил по-русски: «А я лучше знаю <...>», — и прибавил, что он велел выслать полк из города и расквартировать его по деревням» (*Саблуков, с. 78—79*).

«11 часов вечера. <...> Император <...> в покоях княгини Гагариной, его метрессы, где он всегда заканчивал вечера после ужина с императрицею. Княгиня Гагарина жила в Михайловском замке, занимая помещение под личными апартаментами государя. Спустя час Павел ушел к себе, чтобы лечь спать» (*М-те Ливен, с. 183*).

Полночь. Государь спит.

12 марта. Вторник.

Чистосердечные признания генерала Беннигсена с дополнениями неочевидцев

«Немного позже полуночи я сел в сани с князем Zubовым <Платоном>, чтобы ехать к графу Палену. <...> Мы застали комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, причем большинство находилось в подпитии, — все были посвящены в тайну. Говорили о мерах, которые следует принять <...>. Условились, что генерал Талызин соберет свой гвардейский батальон во дворе одного дома, неподалеку от Летнего сада; а генерал Депрерадович — свой, также гвардейский батальон, на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор <Пален> и генерал Уваров <два часа назад он был дежурным и сопровождал Павла с ужина>, а во главе первой — князь Zubов, его два брата, Николай и Валериан, и я <...>. Граф Пален с своей колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с остальными должны

¹ «Вы якобинцы». — «Так точно, государь». — «Не вы лично, а ваш полк». — «Государь, вы можете обвинять в якобинстве меня, но не весь полк» (*франц.*).

были пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне.— Проводником нашей колонны был полковой адъютант императора, Аргаматов, знавший все потайные ходы и комнаты <...>. Этот офицер повел нас сперва в Летний сад, потом по мостику и в дверь, сообщавшуюся с этим садом, далее по лесенке, которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла. Там мы застали камер-гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, сначала окружавших нас, оставалось теперь всего человека четыре; да и те вместо того, чтобы вести себя тихо, напали на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик. Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам <...>. <ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЕ: «Два камер-гусара, стоявшие у двери, храбро защищали свой пост, но один из них был заколот, а другой ранен. Найдя первую дверь, ведущую в спальню, незапертую, заговорщики сначала подумали, что император скрылся по внутренней лестнице <...>. Но когда они подошли ко второй двери, то нашли ее запертой изнутри, что доказывало, что император, несомненно, находился в спальне. Взломав дверь, заговорщики бросились в комнату, но императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то, что дверь, ведущая в опочивальню императрицы, также была заперта изнутри» (Саблуков, с. 87).— «У императора была привычка каждый вечер заставлять дверь, выходящую в апартаменты императрицы, из боязни, что она к нему неожиданно войдет» (Головина, с. 259).— «Поиски продолжались несколько минут, когда вошел генерал Беннигсен, высокого роста, флегматичный человек; он подошел к камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Беннигсен сказал по-французски: «Le voilà»,— после чего Павла тотчас вытащили из его прикрития» (Саблуков, с. 87).— <...> Мы действительно застали императора уже разбуженным <...> и стоящим возле кровати, перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему: «Вы арестованы, ваше величество!» <...> — «Арестован, что это значит — арестован?» Один из офицеров отвечал ему: «Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!» На это он возразил: «Что я сделал?» <...> → <ДОПОЛНЕНИЕ ВТОРОЕ: «Те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император, в свою очередь, говорил все громче и начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер, граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!» При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаха нанес правой рукою удар в левый висок императора» (Саблуков, с. 88). <...> Офицеры схватили его и повалили на ширмы <...> <...> <...> <...> <...> <...> <...>

**ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ:
МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ,
ЦАРЬ КАЗАНСКИЙ, ЦАРЬ АСТРАХАНСКИЙ
И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ**

<...> <...> <...> Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончили» (Беннигсен, с. 117—120).— ДОПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬЕ: «О обстоятельствах этого случая толки были разные <...>. Он отравлен, говорил один.— Его задушили, возражал другой. «Я знаю подробности,— отвечал <третий>,— было и то, и другое: он скушал чего-то за ужином и ночью почувствовал резь в животе, встал с постели и послал за лейб-медиком. Bums war Pahlen da, Bums war Zuboff da; eins, zwei, drei, todt war todt»¹ (Греч, с. 189).— «Как только император испустил дух, все убийцы разбежались <...>, Беннигсен остался почти один. Он приказал уложить тело императора на кровать <...>, расставил везде часовых» (Ланжерон, с. 147).— «Весть о кончине Павла была тотчас же доведена до сведения графа

¹ «Бац — тут Пален, бац — тут Зубов; раз, два, три — и мертвый был мертв» (нем.).

Палена <...>. Пален не пошел вместе с заговорщиками <...>. Пален очень хладнокровно все предусмотрел <...>. Если бы Павел спасся (как это и могло случиться), граф Пален, вероятно, арестовал бы Александра и изменил бы весь ход дела <...>. Войска были собраны по его приказу, чтобы, глядя по обстоятельствам, или явиться на подмогу к императору, или послужить для провозглашения его преемника» (*т-те Ливен*, с. 188; *Саблуков*, с. 92). — «Как только Пален узнал о смерти императора, он отправился к г-же Ливен, близкому другу императрицы Марии; он разбудил ее и поручил ей сообщить эту страшную весть императрице. <...> Г-жа Ливен разбудила императрицу и сообщила ей, что с императором апоплексический удар и что ему очень дурно. — «Нет, — воскликнула она, — он умер, его убили!» <...> Императрица бросилась в спальню своего мужа, куда ее не пропустили» (*Ланжерон*, с. 148). — «Она с криком требовала, чтобы ее допустили к усопшему. Ее убеждали, что это невозможно. Она на это восклицала: «Так пусть же и меня убьют, но видеть его я хочу!»» (*т-те Ливен*, с. 192.) — «Из этого можно судить о чувствительности и о супружеской любви императрицы Марии» (*Ланжерон*, с. 148). — «Что касается Александра и Константина, то большинство лиц, близко стоявших к ним в это время, утверждали, что оба великих князя, получив известие о смерти отца, были страшно потрясены, несмотря на то, что сначала им сказали, что император скончался от удара, причиненного ему волнением, вызванным предложениями, которые ему сделали заговорщики» (*Саблуков*, с. 96). — «Между тем войска гвардии выстроились во дворе и вокруг дворца. <...> Генерал Талызин командовал Преображенским полком, в котором всегда служил; он <...> сказал солдатам: «Братцы, вы знаете меня 20 лет, вы доверяете мне, следуйте за мною и делайте все, что я вам прикажу». Солдаты пошли за ним, не зная, в чем дело, убежденные, что они призваны для защиты своего государя; но когда они узнали, что от них скрыли, между ними поднялся тревожный ропот <...>. Талызин кричит: «Да здравствует император Александр!» — гробовое молчание среди солдат» (*Ланжерон*, с. 148—149). — И «в конной гвардии солдаты не хотели присягать новому императору, не убедившись сперва в смерти Павла. Посланы были в Михайловский замок за знаменами унтер-офицер Григорий Иванов и несколько солдат <...>. Их допустили к телу покойного императора, и когда, по возвращении в казармы, Саблуков спросил Григория Иванова, убедился ли он в смерти государя: «Да, ваше благородие, — отвечал Григорий Иванов, — он крепко умер». — «Будешь ли теперь присягать императору Александру?» — «Буду, хоть он и не лучше, но, так или иначе, кто ни поп, тот и батька» (*Саблуков*, с. 369—370). — «Между тем <...> император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Пален, встревоженный образом действия гвардии, приходит за ним, грубо хватает его за руку и говорит: «Будет ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвардии» (*Ланжерон*, с. 148—149).

«В 7 часов утра императрица была наконец допущена к телу супруга. Сцена произошла раздирательная» (*т-те Ливен*, с. 193). — «Наскоро созван был сенат и все присутственные места; они также приведены были к присяге. Императрица Мария волей-неволей присоединилась к остальным подданным своего сына <...>. **В девять часов утра** водворилось полное спокойствие» (*Ланжерон*, с. 149). — «Сама природа, как бы участвуя, изменилась в погоде, которая, быв до 12 марта сырая и пасмурная, совершенно прояснилась» (*Полетика*, с. 322). — Но все, «что в подражание пруссакам введено <...>, осталось ненарушимым: те же по военной службе приказы, ежедневные производства, отставки, мелочные наблюдения, вахт-парады, экзерцир-гаузы, шлагбаумы» (*Шишков*, с. 85).

«В 10 часов мы все были на <вахт> параде, во время которого прежняя рутинная была соблюдена <...>. В конце парада мы узнали, что заключен мир с Англией и что курьер с трактатом уже отправлен в Лондон <...>. Крайне любопытно то, что г-жа Жеребцова <сестра Зубовых> предсказала печальное событие 11 марта в Берлине, и как только она узнала о совершившемся факте, то отправилась в Англию и навестила своего старого друга лорда Уитворда, бывшего в течение многих лет английским послом в Петербурге. Обстоятельство это впоследствии послужило поводом к распространению слуха, будто бы катастрофа, закончившаяся смертью Павла, была делом рук Англии и английского золота <...>. Как

только известие о кончине императора распространилось в городе, немедленно же появились прически à la Titus, исчезли косы, обрезались букли и панталоны; круглые шляпы и сапоги с отворотами наполнили улицы» (*Саблуков, с. 94—95*).— «Не были более обязаны снимать шляпу перед Зимним дворцом <...>. Не обязаны были выходить из экипажей при встрече с императором <...>. Александр ежедневно гулял пешком по набережной в сопровождении одного только лакея <...>. Провоз книг был дозволен <...>. Через заставы можно было выезжать без билета от плац-майора <...>. Ненавистная Тайная экспедиция <указом от 2 апреля> была уничтожена» (*Коцебу, с. 359, 358*).— «Крепость опустела от заключенных в ней, и на вратах ее неизвестною рукою написано было (как пишется на обывательских домах, уволенных от постановления солдат): *свободен от постоя*» (*Шишков, с. 81*).— «В столицу съезжались <...>. Энтузиазм достиг апогея... Я сама видела гусарского офицера, скакавшего верхом по набережной <...> с криком: «Теперь можно делать все, что угодно» (*Головина, с. 267—268*)

«После смерти Павла Пален был сперва утвержден во всех его должностях и получил громадное влияние на ум императора Александра <...>. Императрица Мария терпеть его не могла, как и всех участников убийства своего мужа <...>. Императрица достигла того, что неосторожный министр впал в немилость. Сразу лишенный всех своих должностей и принужденный удалиться в Курляндию, в свои поместья, он стал проводить время попеременно то в прекрасном замке Екаве, возле Митавы, то в Риге.— Генерал Беннигсен был также предметом яростной ненависти со стороны императрицы-матери; она потребовала от сына, чтобы он никогда не жаловал ему маршальского жезла <...>. Князь Платон Зубов принужден был по прошествии некоторого времени переселиться в Курляндию, в свой великолепный замок Руэнталь. Затем он жил и в Митаве, и в Вильне.— Панин был также удален и больше не появлялся в Петербурге.— Талызин умер 3 месяца спустя после императора.— Все офицеры гвардии, участвовавшие в заговоре, постепенно, один за другим, подверглись опале или были сосланы» (*Ланжерон, с. 151—153*).— «Вступление на престол Александра было самое благодатное: он прекратил царство ужаса <...>. Но образ вступления на престол оставил в душе Александра невыносимую тяжесть <...>. Он был кроток и нежен душою, чтил и уважал все права, все связи семейные и гражданские, а на него пало подозрение в ужаснейшем преступлении — отцеубийстве <...>. Он был добр <...>, не казнил людей, а преследовал их медленно, со всеми наружными признаками благоволения и милости» (*Греч, с. 191—193*).

23 марта. Великая Суббота. ПОГРЕБЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

«<...>отнюдь не походило на погребение Суворова; там видел я множество печальных и плачущих лиц; а здесь, идучи за гробом от Михайловского замка, через Тучков мост, до крепости, из многих тысяч зрителей, во всю дорогу, не видел я никого, кто бы проливал слезы» (*Шишков, с. 79*).— «Я видел покойного императора, лежавшего в гробу. На лице его, несмотря на старательную гримировку, видны были черные и синие пятна. Его треугольная шляпа была так надвинута на голову, чтобы, по возможности, скрыть левый глаз и висок, который был зашиблен <...>. Называли имена некоторых лиц, которые выказали <...> много жестокости, даже зверства, желая выместить полученные от императора оскорбления на безжизненном его теле, так что докторам и гримерам было нелегко привести тело в такой вид, чтобы можно было выставить его для поклонения, согласно существующим обычаям» (*Саблуков, с. 89*).

Эпитафия

Bon citoyen! ne pleure point ma vie,
Car si je vivais, tu serais en Sibirie!¹

Неизвестный автор, с: 85

«Сохранилась одна легенда, которая распространена среди простого народа и до настоящего времени. После трагической кончины Павла распространилась

¹ Прохажий! не рыдай — разинь глаза пошире:

Кабы я жил сейчас — загнулся б ты в Сибири! (*франц.*)

молва, что императора Павла удавили генералы да господа за его справедливость и за сочувствие простому народу, что он — мученик, «святой»; молитва на его могиле (в Петропавловском соборе) — спасительна: она помогает при неудачах по службе, когда обходят назначениями, повышениями и наградами, в судебных делах, помогая каждому добиться правды в судах, в неудачной любви и несчастливой семейной жизни» (*Клочков, с. 583*).

Эпилог

«Дмитриев (Иван Иванович) гулял по Московскому Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение по площади и спрашивает старого солдата, что это значит. — «Да съезжаются, — говорит он, — присягать государю». — «Как присягать и какому государю?» — «Новому». — «Что ты, рехнулся, что ли?» — «Да, императору Александру». — «Какому Александру?» — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли!» — отвечает солдат» (*Вяземский, с. 417—418*).

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГОСУДАРЬ ПЕТР ФЕОДОРОВИЧ ТРЕТИЙ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Петербург. Община скопцов: «В начале был Господь Саваоф, потом Иисус Христос, а ныне Государь Батюшка Петр Феодорович». — Петром Феодоровичем здешние скопцы именуют своего Бога, Царя и Пророка — Кондратия Селиванова; Елизаветой Петровной — свою Богородицу — Акулину Ивановну. Кондратий Селиванов говаривал: «Я — Бог над Богами, и Царь над Царями, и Пророк над Пророками».

ЗАГОВОР В ПЕТЕРБУРГЕ

«Один молодой офицер Семеновского полка, Шубин, вздумал выслужиться (...). Однажды летом в вечернюю пору раздался пистолетный выстрел в одной из куртин Летнего сада. Бросились на выстрел и нашли лежащего на траве молодого офицера, обгаренного кровию; у него прострелена была левая рука выше локтя; подле него лежал пистолет. Его подняли, привезли домой, перевязали. На допросе о том, кем и за что он ранен, Шубин отвечал, что давно уже приглашают его безыменным письмом вступить в тайное общество, имеющее целию убить государя Александра, но что он пренебрегал этими приглашениями. Вчера подошел к нему в Летнем саду неизвестный человек в шинели, повторил эти приглашения и, когда Шубин решительно отказался от вступления в заговор, выстрелил в него из пистолета, который держал под шинелью, и скрылся. Стали искать этого человека, объявили, что за раскрытие его дадут большую сумму; никто не являлся, и все розыски были напрасны. Наконец открылось, что Шубин выдумал всю эту историю и сыграл комедию, чтоб получить награду за верность к государю. Его лишили чинов и сослали на жительство в Сибирь» (*Греч, с. 207*).

1802

8 сентября. Воскресенье. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕФОРМА

Правительственные преобразования: коллегии реорганизованы и переименованы в министерства (вместо военной коллегии — военное министерство, вместо коллегии иностранных дел — министерство иностранных дел и т. д.).

1803

26 апреля. Воскресенье. Личным письмом императора Александра I вновь призван в службу генерал-лейтенант граф Аракчеев.

История есть призрак жизни: факты вставлены в рамы анекдотов, анекдоты записаны в учебники, пересказаны в романах и превращены в национально-государственные символы. Все, что происходит в жизни, — в истории совершается по другим законам.

Жизнь состоит из частных случаев частного быта. Никто не знает, зачем она дана. Ее сюжеты — тихие, неяркие, утопающие в мелких подробностях. Здесь, в жизни, всякое нарушение рутины — катастрофа. Главное здесь — свобода, покой и благополучие частного человека.

Не так в истории. Ее сюжеты выстроены и упорядочены. Завязки и развязки судьбоносны, кульминации — целесообразны. Истории ведомы только генеральные цели: золотой век, Царствие Божие, благо всего человечества. Ее движущие силы — воля Промысла и законы высшей справедливости. Катастрофы жизни — ее питательный материал. Там, в истории, нет уюта, нет покоя, нет частного человека. Там все на юру: на площади, вокруг трона.

Человек в истории — не лицо, а историческая личность, и частные случаи его быта приобретают иной, чем в жизни, смысл. Потемкин, например, светлейший князь, был первый вор в России 80-х годов. Только доказанная сумма его заимствований из казны составила 800 тысяч рублей (по ревизии, учиненной после его кончины статс-секретарем Державиным). Значит, реальное обогащение светлейшего князя из бюджета державы исчислялось миллионами. И что же сказала государыня Екатерина, узнав о 800 тысячах? «Извинив, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала на счет свой государственному казначейству принять» (Державин, с. 150). Хороший образец исторического взгляда на вещи. Потемкин присоединил Крым, прорубил окно в Черное море, обещал отнять у турок и вернуть в православное лоно Константинополь.

*Такие люди и есть главные персоны истории. Они имеют власть, и власть для них — это не только способ доставить себе больше средств к жизни и удовлетворить свое житейское честолюбие, но нечто более возвышенное, поэтическое, священное — некое средоточие высшей духовности. Это ответ на вопросы **что делать? и кто виноват?** Это возможность справедливо упорядочить, установить, учредить, воссоединить, возродить. Человек, оказавшийся на вершине власти, облачается в призрачные одеяния исторических свершений, и чем выше он возносится в своих замыслах, тем деятельнее начинает наводить порядок по правилам истории и вопреки жизни.*

Таков был государь Павел Петрович Первый.

Современникам казалась маниакальной его потребность в поминутном высокопочитании. Вероятно, как объясняли некоторые корреспонденты «Анекдотов и фактов», сия потребность выросла из врожденной мнительности и чувства униженности перед фаворитами матери. Но главное не это. Главное то, что он с детства привык считать себя исторической персоной — русским царем, и посему частные наклонности его частного нрава представлялись ему историческими символами его государственного сана. Если смотреть с этой точки зрения, то вспыльчивость — уже не свойство холерического темперамента, а царский гнев, упрямство — царская воля, сердечные порывы — царская милость, прямолинейность понятий о добре и зле — царская правда. А поскольку он считал своей обязанностью наводить порядок не только вокруг трона, но и в самых отдаленных уголках жизни подданных, то и жизнь подданных постепенно обволакивалась исторической пеленой.

В ежеутренних и ежевечерних докладах о текущем состоянии империи ему доносили о делах, какими полагается ведать лишь кварталным комиссарам полиции: о пожарах, ограблениях, об уличных и трактирных драках. И он отдавал тысячи указов и изустных повелений, коими полагал справедливо отрегулировать жизнь подданных: о том, какие шляпы носить, а какие не носить; о том, какие книги читать, а какие не читать; о том, кому на ком жениться, а кому на ком не жениться.

Не будь государя Павла Петровича Первого, так и остались бы жить своей незаметной жизнью тысячи обитателей необъятного государства Российского. Но благодаря его энергичным реформам каждый день новые и новые лица занимали свое призрачное место в истории.

«Исключенному из службы поручику Параню, просившему о призрении его, объявляется <...>

Девушке Подлятской, просившей о избавлении ее от явки к суду и о присылке к ней в дом солдат для расчета с ними, по Высочайшему повелению <...>

Коллежскому регистратору Гыро, просившему о пожаловании незаконно рожденным детям умершего дяди его отцовского наследия <...>»

Жизнь на глазах превращалась в анекдот: «Некий бригадир Игнатъев убежал от своей жены в Киев. Там, сказавшись холостым, он женился на дочери генерал-лейтенанта Нилуса. Через год первая его жена, узнав о его вторичном браке, подала прошение на высочайшее имя. На него последовала такая резолюция: «Бригадира Игнатъева привесть из Киева в Москву и велеть ему жить по-прежнему с первой женою, а второй его жене велеть быть по-прежнему девушкой Нилус» (Анекдоты, с. 241 254, 251, 250).

Монарх в России больше чем монарх. Он есть образ Божий на земле, культурный герой и апостол. Его исторический долг перед Провидением — скорейшее преустройство вверенного ему государства в цветущий плац.— Так, или примерно так можно выразить логику государя Павла Петровича Первого. Но то была не его личная, житейская логика — то была логика его державного сана.

Поэтому нелепо возлагать на него одного вину за «притеснения», «страх», «террор». У Павла были многие исторические ориентиры, и в первую очередь его прадед — Петр. Не ему ли, не Петру ли Великому мы обязаны тем, что любая реформа тотчас превращается у нас в национальную катастрофу, а перемена власти — в стихийное бедствие? Что цветущее состояние государства предполагает ограбление его обитателей и войну за установление справедливых границ? Что единственным нерушимым законом у нас считается слово и дело государя? — Правнук шел по проторенному пути.

Он не мог начинать свое царствие иначе, кроме как с актов пробуждения страны от застоя и разврата. Он обрушил строгими карами на леность, нерадение и казнокрадство. Он установил строгую дисциплину в военной и статской службе. Он потребовал от государственных чиновников безукоснительного решения всех поступающих дел.— К началу девятнадцатого столетия возрожденная Россия должна была принять строгий, стройный вид империи Петра и Павла — стать Петропавловской державой.

И что же? — Красть стали остроумнее и осторожнее. Стоя во фрунте, чертили в уме карикатуры на императора. Дела стали решать с немислимой быстротой и еще менее мыслимым идиотизмом.— Люди есть люди. Екатерина знала это и, распределяя управление между фаворитами и избранными вельможами, закрывала глаза на их шалости. Она понимала: иметь власть и не пользоваться ею для себя — невозможно. И она поставила за правило: если кто лично предан ей и если порученная ему часть государственной машины не крошится в мелкие брызги,— пусть разбойничает потихоньку: страна большая, всю не растащат. А между тем такому человеку можно и что-нибудь историческое поручить.— Павел же требовал от подданных жить только для истории.

*Он желал справедливости, а зла не желал. Он знал, что делать: однажды расписать доходы и приходы государства и учредить на веки веков единый бюджет; указать раз и навсегда правила поведения в публичных местах; дать служащим устав с пунктуальным определением их действий. «Законы у нас есть, новых не надобно»,— писал он в завещании 1788 года. И едва пришел к власти — велел: «Собрать в Уложенной комиссии и во всех архивах изданные дотеле узаконения и составить из них три книги законов Российской империи: уголовных, гражданских и казенных дел» (ПСЗ, № 17652). Ему в голову не могло прийти, что в законах — этих высших актах исторической справедливости — путаница и противоречия, что законы приняты в разное время по разным частным поводам и превращены в общее правило случайно — по ходу жизни. Он не понимал этого и потому так метался в поисках ответа на вопрос **кто виноват?** — что считал жизнь частным случаем истории.*

Предполагаю, что бы он велел сделать со мной, узнай он о моих рассуждениях.— Он приказал бы уничтожить мой анекдот. Так он обходился

с событиями куда более знаменитыми. Однажды, к примеру, велел вырвать из указных книг страницы, где был напечатан манифест государыни Екатерины о ее вступлении на престол.— Но причины и следствия сложились в его эпоху иначе, чем во времена Петра Великого.

У него были не те современники. Они быстро угадали его призрачную сущность, и его царствование скоро превратилось в цикл скверных анекдотов. В сюжетах этого длинного цикла, как в кривом зеркале, напечатлелись все черты его исторического сана. Царский гнев предстал истерикой душевнобольного, царская воля — манией идиота, царская милость — капризами шута, царский суд — расправой тирана. Сам же государь Павел Петрович Первый превратился в карикатуру на Петра Великого.

Люди есть люди. Лучшие не будут. Пройдет время. Придут новые распорядители жизнью. Но в стране, где вельможи веками пользовались государственными должностями прежде всего для того, чтобы добыть себе как можно больше житейского благополучия, где цари заботились лишь о проложении кратчайших путей к светлому будущему державы, где народное мнение о законной власти — это вера в чудесное пришествие богоподобного справедливца, — в такой стране можно хоть на каждом заборе, хоть на дверях всех домов расклеить конституцию, закон о престолонаследии или манифест о гражданских свободах. Лучшие не будут. В такой стране самая что ни на есть народная власть — это власть от Бога, от Михаила-архангела, от всех сил бесплотных, то есть ничем не ограниченная, непредсказуемая, карающая мечом и милующая огнем.

Время, конечно, идет. Когда Иван IV пролагал нам дорогу в Царствие Небесное — его трептали и всепреданнейшие возглашали Грозным. Когда Петр I апостольским посохом вбивал в нас сознание исторического долга перед отечеством — его ужасались и всеподданнейшие нарекали Великим. Когда за то же самое дело принялся Павел I — его убили и принялись составлять конституционные проекты.

Но уж слишком медленно длится время. Ограничение свобод власти мнением народным переносится со столетия на столетие. Отдельной человеческой жизни все время не хватает, чтоб дождаться.

И вот, господа, уже змей Аракчеев прибыл в столицу по личному зову государя Александра Павловича Первого.— Пока ему поручено только инспектировать артиллерию.— Но скоро он будет велик и непревзойден по части воплощения исторических замыслов царя.— А еще скоро будет война.— Сначала русская армия будет всех слабей.— А потом русская армия снова станет всех сильней.— Государь Александр сделается освободителем Европы от императора Наполеона.— Затем, вместе с другими европейскими государями, он займется возрождением Европы.— А Аракчееву поручит возродить Россию.— Аракчеев обустроит нам военные поселения, порядок и дисциплину.— А потом будет мятеж 14 декабря.— За справедливую власть.— А после мятежа будет государь Николай Павлович Первый.— А удайся мятеж, был бы Павел II — Павел Иванович Пестель.— Лучшие не стало бы.

Лучше и не будет. Будет иначе.

ЛИЛЛИ ПРОМЕТ

Право, не знаю...

С ЭСТОНСКОГО. ПЕРЕВОД ЕЛЕНА ПЕЧЕРСКОЙ

Молитва

Как долго еще
как долго
нам жить суждено
не ведая своего пророка

Как долго еще
мы непосвященные
станем охранять
свое невежество

Но пускай мы малы и сиры
ждем свободы
словно сторож утра

Я изнурена
болят мои кости
словно засуха
палит наше горе
враг стучит
в ворота крепости

Отмерь нам истины

Не покинь нас
на волю угнетателей
Ведь они
пожирают жадно мой народ
словно хлеб

Покарай их Господи

Отсыпь им полной мерой
по их делам и поступкам
Стяни уздою рот
полный бесстыдной лжи

Закрой перед ними колодец
Пусть они пожинают
плоды своих свершений Господи

Не закинь мою молитву
за спину
На нашем тернистом пути
к истине

пошли нам хлеб ангелов
манну небесную
О приди
словно живительный дождь
на отаву

В день когда душа моя
охвачена страхом
уповаю на тебя
Господи

* * *

Я стояла в бескрайней степи
в далекой Татарии.
Снег был глубок
и высока полынь,
полон звезд далекий млечный путь.

В этой вселенской степи,
под необозримым небом,
где свет луны заморозил мне душу,
я пыталась отыскать глазами
символ своей надежды:
Волосы Береники,
звезду в северном небе
близ созвездья Льва.

Я взывала к бескрайнему небу,
но вселенная и степь молчали.
Лишь полынь шелестела тихо
далеко от дома,
в Татарии.

Всемирный март

Я измеряю
прибавленья светового дня.

Пусть очень медленно,
но все же
пора до сумерек
становится длиннее.
Уже в Японии
на празднике девственниц
вспыхнули персиковые бутоны,
на севере же только
первый сок
с болью бродит
в древесных стволах.

Сто монахов молились
на террасе буддистского храма,
и без слезоточивого газа
они выплакали бы глаза
в скорби о свободе Тибета.

Право, не знаю

Жить напоказ
или быть самой собою?
Растрепанной,
причудливой,
живою?
Самой себя смирать и умерщвлять,
а может, почитать или поплакать?
Вновь притворяться беззаботной
на банкете
и в такт поддакиваньям хора
воскликать
коротенькое «да!»,
а может, усомнившись, прошептать:
право, не знаю.

Что правильной: желать или творить
(и то, и это, в общем, иллюзорно),
или сиять от счастья,
если среди ночи черной
тебя встречает золотистый каравай?
Но слыша «да!»
от хора восхищенных,
не лучше ль усомниться и шепнуть:
право, не знаю...

ДАНИЭЛЬ САЛЛЕНАВ

Конец коммунизма: холод в сердце

25 декабря 1991 года, день, когда Советский Союз перестал существовать, не стал для меня праздником.

Отдаю себе отчет в том, что, говоря это, соблазняюсь парадоксом и рискую оскорбить память жертв системы.

Но уж очень много обстоятельств стоит за этим событием, которое, может быть, потому и не вызвало во мне того энтузиазма, какого оно заслуживает.

Если бы распад Советского Союза означал только крах ненавистной тирании и отказ от пагубной экономической модели, тогда он воспринимался бы просто как справедливый конец, наступивший, правда, чересчур поздно, и мы бы с облегчением вздохнули, увидев, что всему на свете приходит конец, даже самому плохому. Я радовалась в ноябре 1989 года, когда рухнула Берлинская стена; радовалась, когда в Праге были восстановлены гражданские свободы и в зале аэропорта меня встретила наспех приклеенная к стене большая фотография Гавела; радовалась, узнав, что свергнут карпатский тиран.

Но исчезновение Советского Союза — это нечто большее, чем просто конец тоталитарного режима. Оно заставляет нас глобально пересмотреть события этого века и века предшествовавшего, нашей юности и те обещания, которые мы себе давали, побуждает к тревожным раздумьям о судьбе наших обществ, к воспоминаниям горьким — о тех, кого коммунизм раздавил; и грустным — о тех, кто верил, что коммунизм — это радостное будущее человечества. Много всего. Не можем мы просто и откровенно радоваться распаду Советского Союза. Во-первых, хотя бы потому, что должны хранить верность тем, кто погиб, и погиб ни за что, тем, кого эта система растоптала, у кого она украла жизнь, судьбу, надежду; а во-вторых, потому, что, рушась, коммунизм не имеет права

второй раз убивать тех, кто поверил в него и кого он обманул.

Как быстро произошло это событие, как мало следов оставило оно в нашей жизни, как мало места заняло в нашем сознании! А ведь этот миг истории, до которого наверняка никто из нас не рассчитывал дожить, это магическое превращение заслуживает, чтобы мы уделили ему побольше времени, чувств, внимания, размышлений! Исчезновение Советского Союза должно было бы расположить нас не столько к радости, сколько к думам о прошлом, к состраданию, побудить нас со щемящим сердцем, словно слушая одно из великих творений Шостаковича — Сонату для альты и фортепиано или Восьмую квартет, воскресить в памяти чудовищную вереницу заблуждений, ошибок и преступлений, которые сопровождали эти семьдесят пять лет. Изгнания и террор, лагеря и нищета, приглушенные крики, бедствия.

Попробуем добраться до сути! Что значит избавиться от коммунизма? Здесь, думаю, не надо путать две вещи. Ибо если реальный коммунизм предал мечту, то можно в одинаковой степени и ненавидеть саму мечту, и оплакивать то, что она не состоялась. Когда молодые западные немцы устремились в пробоину в Стене, над которой реяла надпись «Добро пожаловать на Запад», и когда красное знамя, бывшее когда-то и знаменем Коммуны, убрали из Кремля, я видела, как объединились в союз против потерпевшей поражение неестественной, позорной системы и те, кто осуждал ее отклонение от верного курса, и те, кто не считал верным сам курс. Но как несправедливо путать тех, кого крах коммунизма радует, потому что этот конкретный коммунизм оказался чудовищным обманом, и тех, кого он радует потому, что коммунизм вообще мог бы победить! Тех, кого он пугает тогда, когда попирает

129

справедливость, и тех, кого он пугает, когда пытается ее установить. Есть люди, для кого само собой разумеется, что коммунизм плох, потому что проповедовал идеалы равенства, справедливости, братства; а есть такие, для кого он плох, потому что предал эти идеалы. Одни осуждают его за то, что он хотел уничтожить привилегии; другие — за то, что установил еще большие. Я отшошусь ко вторым и говорю от их имени.

Представим себе, что нацизм победил. Никогда мы не смогли бы иметь ничего общего с обществом, которое бы возникло. Наша ненависть к нацизму была откровенной, безоговорочной. Чешский философ Паточка назвал нацизм и сталинизм «двумя бедами Европы». Но страдания, которые причиняют два этих зла, равноценны по степени, а не по природе: спутать их невозможно. Одна из бед есть воплощение в жизнь программы, которую я ненавижу; другая — извращение идеала, который я разделяла и разделяю до сих пор.

Природа террора, сталинского и нацистского, абсолютно различна и не может быть обозначена в обоих случаях словом «тоталитаризм». Скажут: разве один концентрационный лагерь не стоит другого? И разве классовая ненависть не стоит расовой? Не прошла ли Россия, как позже Камбоджа, через ужас бесчисленных убийств? Без всякого сомнения. Но речь не о страшном соревновании в количестве жертв. Советский ГУЛАГ и нацистский лагерь различны по сути: ГУЛАГ не был системой запрограммированного истребления. Да, там умирали миллионы, но их смерть не была запланированным уничтожением. А в нацистских лагерях была. Аушвиц, Трешлинка — это не каторга, евреев или цыган отправляли туда не для того, чтобы наказать за какое-то преступление. Их туда отправляли, чтобы уничтожить. Шаламов был приговорен по знаменитой пятьдесят восьмой статье, той самой, которая населила Колыму. Другие высланы в «административном порядке». Но ни один еврей не был официально осужден за то, что он еврей, ни один не был за это объявлен недостойным жизни. Советская каторга убивала условиями, там царившими, нацистский лагерь был оборудован для массового истребления. Советский элек подвергался нечеловеческому обращению, но газовых камер в сталинских лагерях не было. Этого уже достаточно, чтобы установить онтологическую разницу. Ис-

требление евреев — настолько уникальное историческое, политическое, философское явление, настолько отвратительная и невообразимая загадка человеческого бытия, что оно категорически отделяет нацизм от чего бы то ни было.

Нацистский бред, нацистское безумие — явление нашего времени, но не нашей истории: наша история — это история жертв нацизма. А вот коммунизм и извращение надежд, которые он нес с собой — на социальную справедливость, культурное равенство, братство, — это уже наша жизнь, мы в этом участвовали, это было частью нас самих. Коммунизм — наша история, нацизм — нет. Страны так называемого «реального социализма» — это наша земля. И не только потому, что беда случилась в этой несчастной части нашей общей Европы. И эта Европа, включая Москву, наша не только потому, что материк у нас общий. Мы ведь в чем-то соглашались с торжествовавшей там системой, чему-то даже способствовали по своему неведению, а иногда вопреки собственным намерениям. И даже когда мы с ней боролись, мы боролись не так, как с нацизмом. Нравится нам это или нет, но такова правда нашего поколения, поколения предшествовавшего и частично того, которое следует за нами.

Перед моими глазами случайно оказались сделанные лет за десять несколько уличных фотографий: на одной Москва, на других — Прага, Бухарест... Повсюду одни и те же разбитые тротуары, обветшалые подъезды домов, пыль, бесцветные товары за грязными желтыми стеклами витрин... А сердце снова заливает любовь, сегодня еще более необъяснимая. Я должна, конечно, отделить эту особую любовь от той привязанности, которую испытываю к России за ее литературу, к Праге за ее красоту, к Ленинграду за холодное небо над крышами его дворцов, к дельте Дуная за ее птиц и опять к России за ее цветы, к Молдавии за ее монастыри, к большим и малым городам Чехии и Польши за их живописность, старинные здания, деревья...

Я любила бы их так же, как люблю Италию или Грецию, как люблю каждую великую цивилизацию, с которой довелось познакомиться, — от Индии до Соединенных Штатов Америки. Но в Москве, Праге, Ленинграде, Варшаве, Бухаресте, в этом несчастном мире — словно бы изнанке нашего, несмотря на очереди, убожество, тщетную беготню по жалким магазинам,

усталый вид женщин, несмотря на то, что вообще люди там выглядят старше своих лет, я чувствовала себя как дома. В этом было, безусловно, что-то парадоксальное, но там уцелели ценности, которые наш новый мир презирает, нищета там оборачивалась скромностью. А как было не оценить горький юмор, обращенный на самую суть вещей, подвижничество интеллигенции, лишенной всего, неистребимое сопротивление культуры? Причины особой привязанности, которую я вот уже более пятнадцати лет питаю к России и восточным странам — бывшим «народным демократиям» (я намеренно их здесь не отделяю от страны-прародительницы), кроются и в восхищении тем, как они переносили коммунизм. Я ощущаю какое-то влечение, сопереживание, внутреннее понимание по отношению к тем формам культуры, которые советизация несла Европе, — при неприятии политической системы этих стран. Мое сопереживание не имеет ничего общего с жалостью, с фарисейским чувством превосходства, с любованием нашей собственной демократической действительностью. Нет, это скорее скорбное уважение, чувство, осложненное осознанием перенесенных оскорблений и угрызениями совести за наши собственные подлости.

Естественно, коммунизм менялся. Я стала ездить в эти страны после сталинской эпохи, когда режим обрел уже не столь драматичную форму, когда завершился «великий террор» и позади остались самые страшные преступления. Если разобраться, то были прежде всего времена глупости. Социалистический идеал мало-помалу померк. Без сомнения, система здравоохранения, торговли, да и сама власть служили только одной касте; без сомнения, жизнь там была тяжелее, чем в любой капиталистической стране. Но тень развенчанного идеала все же витала еще над этими странами, и хотя худшее осталось позади, она напоминала о том, что могло стать хорошим. Некоторые особенности этой в сущности глубоко порочной социальной и политической системы, этого состояния общественной глупости и удушения культуры — да простят меня те, кто пострадал от всего этого, говорю не в обиду им — почти трогали: например, наивность профсоюзных собраний и искренней социальной активности. В Берлине в кафе около метро, в Москве у пивных ларьков, в Праге на остановках пригородных автобусов по обрывкам разговоров можно было еще по-

чувствовать ту рабочую мощь, которая приглушена в наших предместьях, остатки той искореженной народной силы, того достоинства, которые сто лет назад стали источником социальных перемен. Нельзя, сказал бы Сартр, судить о коммунизме по его внешнему виду. Я судила о коммунизме не со стороны, а изнутри, мои суждения вытекают из несбыточных грез неимущей семьи, из мечты о французском социализме, из воспоминаний о тех временах, когда наша антиколониалистская юность смыкалась с марксизмом. Благодаря всему этому я, как мне кажется, постигла секрет померкших утопий: к тусклым цветам идеологии, которыми эти утопии окрашивает повседневная жизнь, надо добавлять яркие краски пролетарской красоты.

До самого поражения «казарменного социализма» во мне сосуществовали двусмысленные, порой взаимоисключающие представления и непримиримое отношение ко многим явлениям жизни коммунистических стран сочеталось с безграничным сочувствием их бедным народам, преданным, покинутым, поруганным, со смутной привязанностью — безо всякой снисходительности — к советскому юмору, к чему-то для нас совершенно необычному — заснеженным рельсам, печальным пригородам, красным плакатам, стихам, к этому скорбному городскому фольклору, фальшивому и грандиозному, в котором были перемешаны творчество Маяковского, музейный атеизм и копии спутников, вращавшиеся в витринах «Интуриста». И если конец Советского Союза так мрачно отозвался в наших душах, причину надо, наверное, искать именно в этой странной тяге к России, к мифу о коммунизме, заставлявшему дрожать буржуа. Это было нечто большее, чем видение поднимающегося с колен пролетариата, это была идея государства рабочих, трудящихся, исповедующих идею международного братства. Я помню времена, когда «Юманите Диманш» писала о «нашем Великом Советском Союзе», — времена лжи, замалчивания преступлений. Но в шестидесятые годы, после периода полного разрыва с Советским Союзом, заново обнаружилась глубокая народная приверженность уже забытой идее истинной солидарности, включающей понятия порядочности и честного отношения к работе. Таким наследством не пристало бросаться. Нельзя радоваться, зная, что где-нибудь в Иври или в пригороде Санкт-Петербурга живет запутавшийся в конце своей жизни

рабочий активист, или философ, или актер, или женщина, состарившаяся в «великих битвах», которые наверняка чувствуют, как земля уплывает у них из-под ног, которые умрут, так и не поняв, как же стало возможно, что коммунистическая утопия, воплотившись в жизнь, предала, извратила великую мечту о лучшем мире, и как стало возможно, что, рухнув, она позволила восторжествовать тем, кто ненавидел в коммунизме именно мечту о справедливости и равенстве. Не будем поэтому слешить укорять таких людей наравне с истинными виновниками зла, не нужно забывать, что среди них было немало праведников.

В октябре 1991 года по телевидению показывали фильм об одной рабочей семье с московского ЗИЛА. Три женщины между сорока и пятидесятью пятью годами и их отец, типичный рабочий, честный, с прекрасным, не совсем еще изнуренным лицом простого человека. Он отстаивал право иметь свой идеал и по-прежнему утверждал, что коммунист должен быть именно таким, каким он всегда его себе представлял и каким старался быть сам — верным, прямым, добрым. Дочери выросли еще до Брежнева, к моменту наступления его эпохи они были полностью сформировавшимися людьми. Они безоговорочно враждебны режиму, но опираются в своей враждебности скорее на традиционные, старинные добродетели, нежели на неясные западные миражи. Старшая из сестер считает, что «при Сталине люди были лучше». Начинает ли это, что она тоскует о сталинизме? Отнюдь нет, но процесс разрушения идеалов при Брежневе достиг самых глубин душ людских.

Что касается экономики, то хотя они прекрасно понимают, что экономические перемены необходимы, и отвергают возврат к коммунизму, тем не менее, глядя на окружающую жизнь, полагают, что дела пошли слишком быстро, что реформы пока принесли только вред — разрушение, хаос, поставили перед необходимостью борьбы за выживание. И тут нечего рассуждать о том, что это «неизбежно», что «такова цена» за переход к демократии, — если жизнь искалечена, ничто не может вернуть ей смысл. «У нас украли жизнь», — подтвердила другая сестра, Лена. Добавить нечего.

25 декабря 1989 года Румыния «подарила» миру распухшие трупы своих диктаторов. Эти трупы и по сей день не перестают распространять зловоние. Освобожденные толпы ждали манны небесной, ждали мес-

сию. Но манна не упала, мессия не явился, а свобода повсюду начала порождать монстров; банды беспризорных детей бегают по улицам Бухареста; старухи умирают от голода в подземных переходах Москвы; юные нацисты устраивают в Берлине осаду отеля, где живут иностранцы; Сербия изобрела свой национал-коммунизм... Повсюду продают оружие, готовятся к войне.

Еще до падения коммунистических режимов, конец которых тогда казался неизбежно отдаленным, мы понимали, что хорошего ждать не приходится: почва мертва, деревни уничтожены, города в развалинах, нравственность в упадке. Однако сохранялась еще какая-то видимость порядка, может быть, и несправедливого, какой-то организации. Но многое, что несет Запад, сметет последние бастионы. Ибо не все, что идет отсюда, обязательно хорошо. Самый большой вред, который продолжала наносить система, это сдача без боя позиций дикому капитализму, отступление без всякого сопротивления перед его бесконтрольным вторжением. А вторжение это действительно бесконтрольно: надо видеть этих новых туристов, наводняющих Восток, — журналистов и просто любопытных, второразрядных дельцов, продавцов информатики. Если послушать их, то достаточно нескольких «тошиб», чтобы эти страны, пока еще бедные, стали процветающими.

Крушение системы выставляет голышом на свет божий главную истину. Имя ей — бедствие. На этих землях, где наступил отлив коммунизма, обнажились, как на мелководье большой реки, всякие отбросы. Оскверненная, расхищенная, погубленная природа, экономическая катастрофа, политическая катастрофа и, наконец, смятение в душах. Отовсюду полезло социальное отребье: спекулянты, барышники, сутенеры, циники, расисты, шовинисты, озлобленные неудачники. Вокруг этой все разрастающейся массы развращенных людей в Москве, Бухаресте, Праге расходятся круги — массы бедствующих, забытых и заблудших. После стольких лет бедности, лжи, отвращения к жизни торжествуют безудержность желаний, цинизм, алчность, несправедливость. Это катастрофа культуры и духовности. Какие модели мы предложим изможденной посткоммунистической части Европы? Экономический и торговый обмен? Демократия, забота об общественных интересах меркнут перед заботой о себе самом, о своем личном счастье.

В конце 1989 года ушел Сахаров, не стало последнего, а может быть, и вообще одного из немногих великих духовных лидеров, которых дал миру СССР.

А теперь? Каков урок, преподанный этой страной человечеству? Что произойдет в ней, освободившейся, конечно, но опять отданной на заклятие, обескровленной, обманутой, стоящей на краю голода, может быть, на краю гражданской войны?

И наконец, главное, что омрачает мою радость: конец коммунизма стал также концом тех, кто ценой жизни или свободы или просто своим достойным, нормальным существованием боролся с цинизмом, глупостью, жестокостью реального коммунизма. Боролся не ради торжества нового, торгашеского цинизма, потребительской глупости, жестокости денег, грубости неравенства, а за нравственность и политическую справедливость общественной жизни.

Среди этих людей были диссиденты. Время диссидентства, эта заря, которая теперь никогда не станет утром, кончилось. Нас было немного, приезжавших навестить их в маленькие московские, варшавские, пражские квартиры: яблоки в вазочке, на стене репродукция Поля Клее, за оконным стеклом длинная череда зданий, уходящая в туман. Или это было летом в горящем Будапеште, или весной на Петрашинском холме, или осенью в Бухаресте с виноградными лозами, вьющимися по фасадам домов? Там, несмотря на тесноту и изоляцию, постоянное недоверие, всеобщую подозрительность, поруганные мечты, бурлила жизнь. Они не были ни героями, ни святыми, они были способны и на великие жертвы, и на мелочные поступки.

Но эти «чартисты», доморощенные философы, домашние поэты, политические диссиденты — эта небольшая кучка людей была солью этой земли и этого времени. Новый мир, родившийся на развалинах общества, которому они сопротивлялись, смел и их самих, предал забвению уроки их жизни. То, о чем они мечтали, не сбылось, и никто этого больше не хочет. Они исчезнут не с сознанием того, что их задача выполнена, а с ощущением горечи оттого, что мы не восприняли их опыта. Зарождающееся новое общество слишком извращено, чтобы их услышать. Они были очень скромными, но их мечтания оказались недоступно высоки.

Повторю, они не были ни героями, ни святыми, но в самих себе, в своих малень-

ких кружках, в своих произведениях, в своих детях они поддерживали высокий уровень этических требований: беспокойство за другого человека, за все общество, убежденность, что людям для совместной жизни нужны определенные социальные связи и ограничения. Были требования более индивидуальные, но и более важные — к образу жизни, обычной жизни, преодолевающей несправедливости эпохи. Они жили в атмосфере юмора, разговоров, безумно выплескивавшихся в ночи и сопровождавшихся огромным количеством сигарет и алкоголя, они приносили в жертву собственный успех, карьеру, путешествия, творчество. Сначала эти люди, быть может, инстинктивно (ибо им тоже, безусловно, хотелось жить немного лучше, современной) сопротивлялись всеобщей глупости, бессмысленности лозунгов, горькой нищете, но в конце концов своим сопротивлением они, вероятно, сами того порой не сознавая и даже не желая, способствовали выживанию идеи иного образа существования — более скромного и открытого, выживанию прежде всего духовности, а не идеи социального успеха.

Таковы были московские, варшавские, пражские политические диссиденты. Но не только они — все те, кто, несмотря на социальную отсталость, экономическую нищету, политическое принуждение, цензуру, царившие в обществе, не претендуя ни на какие роли, звания или вознаграждения, ухитрялись там и тогда жить той жизнью, которая дорога нам всем: очень скромной достатком и очень богатой мыслями, разговорами, дружбой, творчеством. Теперь этих «поэтов» диссидентства не желают принимать ни жуткий новый мир, рождающийся из старого коммунистического, ни наш, которому не нужны ни бедолаги-поэты, ни философы, у которых нет трудов и никогда не было больших аудиторий, ни какие-то там писатели.

Эпоха диссидентства не стала началом новой эпохи, она навсегда останется вещью в себе, памятником духовной стойкости, сопротивления серости, угнетению, культурному удушению, экономической нищете. В конечном счете именно их умение жить вопреки обстоятельствам было для нас самым драгоценным на Востоке. А еще мы любили особый тип интеллектуалов, художников, писателей, живших в прекрасных, пришедших в упадок, но чудом сохранившихся городах. У нас таких людей, приносящих в жертву высшей цели свои амбиции и снобизм, скромно живущих сре-

ди книг, картин, совершенно безразличных к благам окружающей жизни, очень много. Искусство могло «спасать мир», если не поворачивалось к нему спиной, не воздвигало вдали от него башни из слоновой кости, если его ежедневно питала жизнь.

Похоже, я сама себе противоречу: то защищаю одно, то прямо противоположное; то коммунистическую утопию (именно утопию, не разочаровавшее нас ее воплощение), то тех, кто с ней боролся. Какая связь между коммунистом из предместья, искренним и достойным человеком, и пражским философом, обреченным на квартирные лекции? Между рабочим активистом с первомайским флажком — и диссидентами? Нужно иметь смелость признать, что общего между ними больше, чем кажется. Именно диссиденты способствовали утрате уважения, а в конечном итоге и краху режима своей непреклонной оппозицией его так называемым идеалам. Что, по словам Вацлава Гавела, осталось от коммунизма? Каста авантюристов, номенклатура рвачей, глухих и продажных политиканов. А от самих идеалов — ничего!

Политические диссиденты и изгои режима хотели, чтобы не просто пришел конец системе, они хотели увидеть мир более справедливым в социальном, экономическом, духовном смысле. И при всем недоверии к утопиям они были по-своему истинными наследниками утопистов, опасаясь, однако, того зла, которое могут причинить идеалы справедливости. Они знали цену «реальному» коммунистическому миру, но знали они цену и миру нашему. Они хотели перенять у нас более человечную, демократическую организацию общества, но они всегда видели, какую опасность являют собой непомерные потребительские аппетиты и неистовая страсть производить и обогащаться.

Они это говорили, об этом писали, они и нам открыли глаза, стараясь предостеречь от цинизма, холодности, вежливого безразличия нашего мира. Современное общество в обеих частях Европы было больным, пораженным до самого основания — там коррупцией и угнетением, здесь потреблением, погоней за удачей и развлечением. И эти люди очень хотели, чтобы общество, вышедшее из коммунизма, учло уроки и тех, и других.

Да, утопии разрушительны и коммунизм ужасен, но никакое общество не может существовать без некоего принципа, без проекта, объединяющего его, придающего

ему смысл, без справедливости. Диссиденты разумно полагали, что надо искать социальное равновесие, одинаково чуждое тоталитарной жестокости, помноженной на нищету, и цинизму общества торгашей, помноженному на несправедливость. Но и это оказалось мечтой, пригрезившейся им и тем из нас, кто в те черные годы приезжал к ним в гости.

Я мысленно возвращаюсь к вазочке с тремя глянцевыми яблоками, к блестящему чайнику под репродукцией Поля Клее, к портретам Бодлера и Норвида на стенах маленькой квартирки одного московского поэта. Он тоже обречен. Все это больше никому не нужно. Не нужен больше поэт, каким он был — выпивоха и бедняк, поэт без компьютера и факса, поэт, облепленный детьми, в маленькой мастерской, где рыжий кот доедает объедки на газете около печки.

Этот мир кончился и там, и здесь. И от этого сжимается сердце.

25 декабря 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Из этого беспорядка, из этого законченного свою жизнь мифа мы выходим с гудящей головой. Повсюду звучит один и тот же мотив горделивого превосходства наших дней над веком девятнадцатым: мы свели счеты с историческими утопиями, которые всегда кончают тем, что обнаруживают свою кровавую изнанку. Тот, кто хочет счастья для людей, приносит им горе, тот, кто хочет установить справедливость, открывает двери в царство еще большей несправедливости; и самым большим врагом людей оказывается тот, кто мечтает о лучшей судьбе для них. Что же остается? Если политическая модель потерпела неудачу, если у этической доктрины нет будущего, а в настоящем от нее остался лишь поблекший семейный портрет Сахарова и Елены Бойнэр — если все это не более чем эфемерные воспоминания, которые выдувают из памяти новые ветры, то по каким законам теперь пойдет жизнь? По законам природы?

Но что такое «закон природы» в применении к людям? Это бедствие для них. Законы природы царствуют только в самых обездоленных обществах, где люди находятся во власти порядка, безжалостно третирующего их, превращающего их жизнь в долгий ад между начальным и конечным небытием. Вспомним, как в первом томе «Капитала» Маркс описывал каторгу на английских заводах: десятилетние дети не

знали ни своего имени, ни названия города, где работали. Того, что Англия остров, они тоже не знали. Впрочем, они не знали даже, что такое остров.

В Индии, в Пакистане люди и по сей день целыми семьями работают всю жизнь на кирпичных заводах, они там рабы. Мужчина женится на женщине, случайно оказавшейся рядом, на одной лавке; дети рождаются в красной пыли, все они вечно покрыты этой пылью от ступней до волос и всю жизнь возятся в клейкой земле. Самые маленькие делают деревянные формы; кто побольше — катают тележки; отец в тряпке, обернутой вокруг бедер, с сожженными ресницами, относит от печи горячие кирпичи. И никакой надежды на спасение. Закон природы более жесток по отношению к людям, нежели к животным и деревьям, ибо те не могут его постичь и не решаются нарушить.

Демократия — нечто совсем другое. Это равновесие, для достижения которого нужны годы; и в нем нет ничего, что давало бы повод сравнивать его с работой природы, превращающей камни в гальку. Его нельзя предвидеть, направить или построить; это равновесие между Природой и Историей, непрерывно взаимно «подправляющими» друг друга, хрупкая равнодействующая между ними сила, сплав обычаев, нравов и законов, которые, как сказано у Пазоли-

ни в «Оргии», отточены и отполированы у народов, работающих на земле, вплоть до поведения их собак и быков. Можно было бы назвать это культурой, но это не материальная культура и не творчество. Это особая этика, цивилизованность, искусство жить в обществе, взаимное уважение, понимание и уступчивость — словом, все то, что позволяет людям жить вместе.

Странам, о которых я говорю, очень до этого далеко. Движение в этом направлении, начатое на заре века, было прервано гигантским экспериментом, повальной перестройкой душ и норм поведения, что привело к постепенной деградации и превращению общества в некое подобие джунглей, где ради выживания допускались удары ниже пояса. Сегодня это уже джунгли без прикрас. Жестокая уверенность в том, что выживать надо в одиночку, то есть за счет других, поселилась в душах молодых. Но посмотрите на стариков на улицах, посмотрите, как они сжимают в руке несколько рублей на пропитание, как бредут они туда, где одна только смерть ждет их. И никакой надежды. Они уже мертвы. Обречены во всяком случае, а значит, ничто не сможет искупить эти бессмысленные жертвы.

Вот почему это новое великое начало, этот великий новый отсчет времени не дает мне никакого основания радоваться.

Из книги «Поездки на Восток».
Перевод с французского АЛЕКСАНДРА
КАРЛОВА

ЕВГЕНИЙ БЕНЬЯШ

У разбитых скрижалей

Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.

Иов. 30: 15—16

История не страдает избытком фантазии, из века в век крутит она свой бесконечный сериал из одних и тех же сюжетов. Вот и сейчас великая смута объяла мир и беспокойство поселилось в сердцах и душах людей, живущих в различных пределах Ойкумены, так же, как за пять столетий до Рождества Христова, когда народ Палестины, вернувшись из вавилонского плена к родному пепелищу, должен был приступить к постройке Второго Храма, и люди недоумевали, отчего за прегрешения предков кара обрушивается не только на виноватых, но и на не причастных к вине: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах — оскомины» (Иер. 31:29).

Даниэль Салленав, известная французская эссеистка, одержимая, по-видимому, мечтой о социализме с человеческим лицом, объездившая в погоне за этим призраком

едва ли не весь коммунистический мир, теперь, объятая скорбью, созерцает его руины. И счастье ее улетучилось, как облако.

Но кто посмеет бросить в нее камень? Тем более что Даниэль Салленав скорбит не только — и даже, быть может, не столько — по поводу наших скорбей. Ее заставляет роптать крушение грандиозной социалистической мечты, которую подарила миру Великая Французская революция, мечты о коммунистическом рае, которую мы у себя — в соответствии со своими полужызыческими представлениями о справедливости — воплотили в пошлой уравниловке.

25 декабря 1991 года рухнула не только наша страна, в руинах предстал весь мир. Это хорошо понимает Даниэль Салленав. Да и не только она. Вацлав Гавел говорит: «...Сразу взорвалось все, что накопила история... Падение коммунизма как историческое событие еще недостаточно оценено — ни в самих посттоталитарных странах, ни на Западе. Для Запада исчезла главная угроза, которая его объединяла. Кончилась привычка к биполярному делению мира. Запад с надеждой ждал, когда царствование компартий рухнет, но оказался не готов к этому крушению». Не готовым оказался и Восток. И потому смута воцарилась во всех земных пределах. И хотя — как может показаться с первого взгляда — отчаявшиеся здесь и отчаявшиеся там посыпают головы пеплом по прямо противоположным поводам, стенаем мы все-таки об одной и той же утрате. Знаменитый американский прозаик Норман Мейлер выразил это точно: «Уже нет коммунистов, которых нам надо ненавидеть. Но ненависть-то осталась».

Сатана, выступающий, как ему и положено, в различных обличьях, отвернулся и от них, и от нас. И мы (они, впрочем, тоже), как некогда добродетельный Иов, искушаемся возроптать на Бога. Но и Бог удалился от нас, потому что Он, как известно, ходит всегда об руку с сатаной. Да и Храм Его разрушен, и разбиты скрижали.

(Здесь, собственно, можно и расстаться с доброй сердцем Даниэль Салленав, принеся ей искреннюю благодарность за сочувствие нашим печалям и посочувствовав ей самой, поскольку ее отчаяние еще более безысходно, чем наше: ведь к ней сатана явился одновременно в двух обличьях — несправедливого коммунизма и потребительского капитализма. Заодно простим ей и некоторые передержки в оценках происходившего и происходящего у нас — они, видимо, неизбежны для стороннего наблюдателя.)

Итак, и Бог и сатана отвернулись от нас. С недоумением стоим мы перед руинами сокрушенного Храма и не знаем, как приступить к его восстановлению. Чертежи разорваны, а клочки их развеял ветер смуты. Мы ловим случайные обрывки, по которым невозможно восстановить величественную гармонию. Вот попался в руки фрагмент алтаря, где поклонялись свободному предпринимательству. Но... (Я вынужден вновь и, боюсь, не в последний раз обратиться к цитате. Да простится мне подобное злоупотребление: ведь история так бедна сюжетами. Вспомним, к примеру, как поразились мы, читая архивы с поднятого из бездны времени «философского корабля», и потом — читая сочинения западных философов: оказывается, мы сами все это — ну, почти все — уже продумали еще тогда, за «железным занавесом»)... но, как писал В. О. Ключевский, «закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро». Так было при Борисе Годунове, так было при Петре I Великом, и при Александре II Освободителе, и даже при Николае II Кровавом. И сейчас так. А потом неизбежно наступают контрреформы, приходит реакция. Нет, так не годится. И это мы, хочется надеяться, уже усвоили.

Тогда, быть может, еще раз попробовать установить в алтаре икону с человеческим ликом социалистического бога? Хорошо известная у нас писательница, к тому же глубокий философ, Айрис Мердок писала: «Государство благоденствия появляется на свет в значительной мере как следствие социалистического образа мышления и социалистических устремлений. Оно, кажется, способно привести многие человеческие усилия к реальному результату». Вот видите: другой дороги нет. Но дочитаем начатый пассаж до конца. «Однако, — продолжает ирландская социалистка, — тотчас же подкрадывается апатия, сомнение в незыблемых основах жизни. Если сравнить язык первоначального и нынешнего вариантов устава лейбористов (это написано в 1961 году. — Е. Б.), то обнаружится показательное оскудение мышления и словарного запаса». Ах, как нам это знакомо!

Резюме сделал еще в 1919 году Маркс Вебер: «Смелый русский эксперимент лиши

социализм уважения и авторитета на последние сто лет». У нас, во всяком случае, оскомина свела челюсти, уж точно, надолго.

Что же остается? Неужели лишь заламывать в отчаянии руки или искать новых врагов, на которых можно было бы обратить неизбытую ненависть, благо выбор достаточно богатый — коммуно-фашисты и империалисты, жидо-масоны и партократы, сексменьшинства и демократы, исламские фундаменталисты и... да хотя бы и велосипедисты.

Но еще не пройден третий путь, начатый два с половиной тысячелетия назад, когда писалась Книга Иова. Именно тогда началось радение о единобожии, и прежде всего о главной его составляющей — этическом монотеизме. Члены общества должны исповедовать единый кодекс нравственности, и каждый обязан нести ответственность за свои личные прегрешения: «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остаётся, и беззаконие беззаконного при нем и остаётся» (Иез: 18:20). Но каждый должен сам заботиться о своем благе, тогда и «посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой» (Зак: 8:12). Да не забудем при этом оделить сирых и убогих от щедрот своих.

В конце августа — начале сентября нынешнего года в мире произошло два события, имеющих отношение к теме. В Чикаго — Всемирный религиозный парламент, в Москве — XIX Всемирный философский конгресс.

Участники религиозного парламента попытались выработать единый для всех сущих исповеданий моральный кодекс, осуждающий всяческие формы насилия как смертный грех. В работе чикагского парламента, уже второго в этом году, участвовало более шести тысяч священнослужителей, представляющих практически все имеющиеся в наличии верования. Исключение составили, кажется, только православные иерархи. Им помешала внести свою лепту в богоугодное дело забота о сохранении в чистоте конфессиональной доктрины: не могут они заседать рядом с исламистами и прочими непотребными язычниками.

Русская православная церковь, подобно Лотовой жене, застыла соляным столбом, вперив свой взор в провинциальные развалины Второго Рима и лелея мечту соорудить эдакий вселенский собор под названием «Третий Рим» с административным центром в Москве. Своего рода византийская перманентная революция в духе Победоносцева — Троицкого.

Об известном в 30—40-х годах православном епископе и одновременно ученом-хирурге В. Ф. Войно-Ясенецком рассказывают, что в его комнате рядом с иконой Божьей Матери висел портрет Ленина, который, видимо, после получения Сталинской премии епископ заменил портретом лучшего друга всех хирургов. Войно-Ясенецкий будто говорил сыну, что если бы он не был епископом, то стал бы коммунистом.

Стоит ли удивляться тому, что именно православная церковь — наравне с теневым миром — так оперативно вписалась в перестройку и наиболее эффективно сумела воспользоваться ее плодами!

А что же философы? Нужно сказать, что наши отечественные обществоведы сразу же, как только рухнула разделявшая мир идеологическая стена, активно включились в поиск этической основы единения людей. Как своеобразный приз за такую творческую увлеченность можно рассматривать то обстоятельство, что впервые за девяносто три года истории всемирных философских конгрессов один из них наконец состоялся в России.

Как сказал перуанский философ Миро Кесада, на московском философском конгрессе сделан значительный шаг к утверждению мира (в философском смысле) — и в мире, и в душах людей. Сейчас наступает время, когда враждовавшие раньше верования приходят к пониманию необходимости жить рядом без вражды. С перуанцем солидарен и наш академик Иван Фролов: «Цивилизованный мир все в большей степени находит точку опоры в двух постулатах. Человек — мера всех вещей, высшая общественная ценность. И — терпимость друг к другу разных личностей, мировоззрений, вероисповеданий».

Что ж, в добрый путь! Не будем только забывать, что путь этот начался, как было уже сказано, две с половиной тысячи лет назад, когда писалась Книга Иова, и запасемся терпением.

ДМИТРИЙ ФУРМАН

Эстонская революция

В этой статье¹ я попытаюсь проследить эволюцию политической жизни Эстонии в период, предшествующий августовскому путчу и обретению республикой независимости. Это период национальной революции. Сходные процессы шли во всех государствах бывшего СССР и привели к его распаду. Они имели общие закономерности и общую логику, но в каждом случае своеобразие национальных культур и местные факторы вносили в схему немалые изменения. Эстонские события того периода широко освещались в нашей, тогда еще центральной, прессе — и демократической, и правой. Но картина, которая представлялась мне в результате изучения эстонского материала, значительно отличается от образов, которые возникали у читателей московских газет и журналов. И левые, и правые видели в эстонской революции

главным образом то, что хотели увидеть в подтверждение своих идеологических мифов: либо борьбу героических эстонцев с заговором центра и с действующими по его указке русскими люмпенами-реакционерами, либо — все тот же заговор, но уже не центра, а ЦРУ и осуществление дьявольского плана расчленения Союза. Реальность была, на мой взгляд, менее романтической, что, однако, не делает ее менее значительной, и я в этой статье не стремился снизить весомость революции в Эстонии. Все великое, в том числе и распад советской империи, всегда осуществлялось обычными людьми, погруженными в повседневный быт, мелкие склоки, заботы о карьере и популярности. Но как признался поэт: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» То же можно сказать и об исторических событиях.

ПРОЛОГ СОБЫТИЙ

Одна из важнейших проблем, с которой мы сталкиваемся при рассмотрении событий 1988—91 годов в Эстонии, — мощный антисоветский, антикоммунистический и антирусский потенциал, который в это время стремительно вырвался наружу. Что это было? Остатки старого антисоветизма? Постоянные и неизменные настроения, которые лишь нашли удобный момент для выхода на свет? Или же это новое, возникшее в недавнее время силовое поле?

Для ответа вспомним, что, как и вся Прибалтика, Эстония (а она с особой силой и яркостью воплощает некоторые прибалтийские особенности) вошла в СССР наиболее насильственным по сравнению с любой другой частью империи образом. Строго говоря, только в России коммунистическая идеология победила в результате спонтанного, внутренне обусловленного процесса. Во всех прочих республиках ее победа связана с приходом русских революционных армий и ликвидацией эфемерных «независимостей». Но в Прибалтику советская армия вошла лишь в 1940 году после пакта Молотова — Риббентропа. Прибалтийские государства уже более двадцати лет существовали независимыми, и внутренние силы, на которые могла бы опираться здесь новая власть, были предельно слабыми.

Не удивительно, что психологическая и идейная интеграция Прибалтики в СССР

¹ В основу статьи положен сокращенный и переработанный отчет, сделанный автором для Аналитического центра РАН.

оказалась особенно сложной, что связано, кроме всего прочего, еще и с некоторыми местными особенностями.

Прежде всего это относительно высокий уровень образования коренных наций. Причем в протестантской Эстонии в 1940 году он был значительно выше, чем в католической Литве и даже протестантски-католической Латвии. Однако дело не только в уровне культуры, который, естественно, мешал некритическому усвоению официальных идеологических догм, но и в его характере — из всех советских республик только в Прибалтике преобладали «западные» вероисповедания — католицизм и лютеранство.

Вместе с тем хотя в событиях последних лет и играл какую-то роль старый антисоветизм эмигрантов и людей, пронесших старую идеологию через годы советской власти, и хотя всегда, безусловно, существовал определенный минимальный уровень «антисоветскости», но в эстонской революции действовал прежде всего новый, накопившийся и возросший в последние годы потенциал. Он проявился не столько в «старых», сколько в «новых» людях, сформированных уже советской эпохой, прошедших через всю систему нашего идеологического воспитания. Это бывшие комсомольские работники (которых так много среди эстонских антикоммунистических лидеров), коммунисты, дети эстонских революционеров — как Марью Лауристин... Они оказались более антисоветски и антикоммунистически настроенными, чем многие эстонские эмигранты на Западе. К примеру, американский профессор Рейн Таагепера, бывший еще в 1988 году как бы «гуру» нового поколения эстонских политиков, в 1990-м предстает как фигура чуть ли не просоветская.

Каким же образом возникли эти настроения? Почему укоренение в Эстонии советской системы и коммунистической идеологии стало одновременно накоплением вышеописанного «отрицательного потенциала», прорвавшегося затем на волю? Вопрос сложный, и я намечу лишь контуры ответа на него.

Укоренению советской системы способствовало прежде всего «исчезновение» — то есть гибель или эмиграция в сороковых — пятидесятых годах практически всей старой, периода независимости, эстонской элиты и вообще едва ли не всех, кто представлял реальную угрозу для новой власти. Незадолго до войны перед вступлением в Эстонию советской армии из нее в «рейх» выехала большая часть эстонских немцев. После присоединения Эстонии к СССР начались аресты и расстрелы, а затем и первая массовая депортация. Высланы были в основном представители социальной элиты. Затем — война, принесшая гибель массе эстонцев, воевавших и на немецкой, и на советской стороне. Истребление немцами не успевших бежать на Восток евреев. Отъезд в Швецию большинства живших в Эстонии шведов. Массовое бегство в Германию и Швецию при приближении Советской Армии около ста тысяч эстонцев. Постепенная гибель «лесных братьев», продолжавших сражаться в лесах до конца пятидесятых. И наконец, сталинские репрессии, обрушившиеся летом 1950 года на эстонских коммунистов и немногих примкнувших к советской власти старых эстонских интеллигентов, обвиненных в национализме. Масштабы людских потерь, вызванных этими событиями, были для маленькой Эстонии грандиозными...

Практически полное исчезновение старой элиты открыло во всех сферах жизни множество верхушечных позиций, которые начали заполнять новые люди. Это были в основном эстонцы, родившиеся и выросшие в России и сделавшие в ранний послевоенный период в Эстонии множество стремительных партийно-административных карьер.

Однако постепенно ситуация меняется. Выросло новое поколение людей, воспитывающихся и живущих в новых социальных условиях. Их убеждения сложились как под влиянием пропаганды, так и под воздействием внутренних психологических механизмов конформизма, приспособления к новой ситуации. Они приняли правила игры. И хотя на самом вершине долго сохранялось преобладание «русских эстонцев», партийный и советский аппарат становился все более и более «настоящим эстонским».

Возник колоссальный слой интеллигенции, удельный вес которой в Эстонии выше, чем в любой другой советской республике. В массе своей — это новые люди, не имеющие родственных связей со старой эстонской социальной элитой, интеллигенты первого поколения, выходцы из низов или их дети, воспитанные уже при советской власти.

Приспособился к советским условиям и народ в целом. Сельское хозяйство, особенно во второй половине шестидесятых — начале семидесятых годов, переживает колоссальный подъем, который Рейн Таагепера называл «тихой революцией».

Жизненный уровень эстонцев — самый высокий в стране. Более того, центр

в какой-то мере создает для Эстонии особые условия (во всяком случае, в семидесятые — начале восьмидесятых годов), как бы признавая ее специфическое положение в СССР как самой развитой «западной» республики. Здесь внедряются «прогрессивные» формы хозяйствования, здесь значительно более свободный интеллектуальный климат и здесь даже (в единственной советской республике) может приниматься иностранное — финляндское — телевидение.

Укоренению советской власти в Эстонии способствует и постоянный рост русского и «русскоязычного» населения. Русские составляют большинство населения крупных городов северо-востока Эстонии — Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ — и половину населения Таллинна. Прежде всего это — представители рабочего класса.

Русская миграция не была, разумеется, результатом целенаправленной колонизаторской политики, как утверждают сейчас эстонские деятели. Процесс этот в основе своей шел «естественным» путем. Но результатом его стало усиление в Эстонии слоя людей, неизмеримо более, чем эстонцы, проникнутых «общесоюзной идеологией» и не видящих в массе своей ни себя, ни республики вне СССР.

Основные процессы формирования эстонского советского общества и эстонской социальной иерархии произошли в эпоху, когда сталинский террор уже кончился. Общество стабилизировалось. Сталинский партаппарат все более уставал от постоянного страха, и эта усталость все менее компенсировалась фанатичной и догматической верой. Поэтому он и поддержал новый хрущевский курс, а затем, стремясь избавиться уже не только от страха за жизнь, но и от нестабильности, рожденной вихрем хрущевского реформаторства, поддержал Брежнева.

При Хрущеве и особенно при Брежневе правящий бюрократический слой добивается гарантий своего положения. При Сталине опальных представителей верхушки и их семьи ждала трагическая судьба. При Брежневе им грозила лишь «ссылка» на дипломатическую работу. И эта гарантированность положения возникает не только от новых «правил игры» в бюрократической иерархии. Бюрократия укрепляет свои позиции и путем приобретения иных, уже небюрократических статусов. Накапливается богатство, имущество, которое может быть передано детям и которое делает отставку, крах в карьере не такими болезненными. Бюрократия интенсивно приобретает ученые степени — то есть гарантирует себе положение в интеллигентской иерархии. Это своего рода «защитная сетка», которая подстрахует в случае падения с лестницы бюрократической иерархии. Все эстонские партийные руководители предперестроечной и ранней перестроечной эпохи — доктора и кандидаты наук (не беда, если тема диссертации, как у В. Вяляса — «Деятельность Коммунистической партии Эстонии по воспитанию трудящихся в духе социалистического интернационализма в свете решений XXIV съезда КПСС»). И даже позже, в 1991 году, когда Эстония провозгласила свою независимость, это не помешало ее президенту, представителю еще старой, «доперестроечной» элиты А. Рюйтелю защитить в Академии сельскохозяйственных наук в Подольске докторскую диссертацию.

Но гарантированность положения вызывает психологическую независимость. Руководители нового поколения В. Вяляс, И. Тооме, А. Рюйтель — это люди, отличающиеся от старых партийных деятелей значительно большей уверенностью в себе, большим чувством собственного достоинства. Их объективное социальное положение ближе к положению досоветской эстонской элиты, нежели революционеров-коммунистов или сталинских выдвигенцев сороковых годов. И они, естественно, начинают ощущать психологическую близость скорее со старой элитой, чем со своими «формальными» идеологическими предшественниками. Коммунистическая идеология начинает ощущаться как ненужная помеха в окончательной «нормализации» их положения. Таким образом, чем более укореняется коммунистическая партийная иерархия — и не только она, но и весь колоссальный слой управляющих и бюрократов, — тем больше у нее стремление «привести форму в соответствие с содержанием», отбросить мешающую старую форму, которая воспринимается уже как нечто унижающее.

Особенно сильные настроения такого рода возникают у эстонской интеллигенции. Ослабление и прекращение террора в послесталинский период означало постепенное уменьшение роли идеологических факторов в карьере и рост значения факторов чисто профессиональных. Кроме того, положение интеллигенции стабилизировалось. Кандидат и доктор наук, народный художник, академик — все это звания пожизненные, служащие статусными гарантиями и для следующего поколения. Так в Эстонии возникает такое

поколение «новой интеллигенции». В сороковые — пятидесятые годы выходцы из низов делали в науке карьеры не менее стремительные, чем в сфере управления обществом. В шестидесятые — семидесятые годы среди интеллигенции начинают доминировать их дети. Дети интеллигентов заполнили художественные вузы, в которые выходцы из низов практически уже не попадали. И именно люди творческих профессий окажутся в скором будущем в «передовом отряде перестройки».

Интеллигенты второго поколения имеют совсем иную психологию и иные социальные интересы, чем «выскочки» сороковых годов. Они в громадной мере ощущают свою независимость от партийной иерархии. Более того, тяготение аппарата к ученым степеням для себя и своих детей, его стремление быть респектабельнее порождает даже определенную зависимость аппарата от элитарной интеллигенции. На статус эстонского интеллигента уже неизмеримо больше влияет мнение зарубежных коллег, чем мнение какого-нибудь секретаря райкома. В среде интеллектуалов накапливаются ненависть и отвращение к официальной идеологии, и в семидесятые годы в этом насыщенном растворе все чаще происходит «выпадение кристаллов»: отдельные интеллигенты, как правило, молодые или не занимающие по тем или иным причинам прочного общественного положения, отказываются от «правил игры» и становятся диссидентами с перспективой тюрьмы или эмиграции и почетного положения на Западе в роли борца за свободу Эстонии.

Как ни парадоксально, стабилизация общества и укоренение советской системы порождали потенции ее новой дестабилизации. Чем более стабилизируется элита — партийно-административная, хозяйственная, интеллигентская — тем острее она воспринимает официальную идеологическую систему как препятствие к окончательной «нормализации» своего положения: превращения партработника — в политического деятеля, председателя колхоза — в председателя акционерного общества, преподавателя научного коммунизма — в политолога или социолога. Чем сильнее укореняется советская система, тем сильнее тяготение к Западу и к эстонскому досоветскому прошлому.

Социальные изменения в советской Эстонии порождают интересное психологическое явление. Превращение интеллигенции и бюрократии в грандиозных размеров социальный слой, абсолютно несопоставимый с размерами его в досоветское время, повлекло за собой падение социального статуса низов интеллигентской и бюрократической элит. Рядовой инженер в ЭССР — по своему положению неизмеримо ниже инженера времен Пятса, но отождествляет он себя именно с ним. Оказалось, что громадное количество людей отождествляет себя с узкой элитой старого эстонского общества, и лишь очень немногие — с рабочими и батраками старой Эстонии.

Так в эстонском «котле» накапливался пар, и его давление становилось все сильнее по мере того, как более стабильным, обеспеченным и свободным становилось эстонское общество. В страшные сороковые годы не было того потенциала недовольства, какой накопился в сытые и спокойные семидесятые и в начале восьмидесятых.

Идеологическая ситуация, сложившаяся в Эстонии, была крайне противоречивой. Формально коммунистической идеологии придерживалось все общество, за исключением горстки диссидентов. Все цитируют Ленина, говорят о дружбе народов и т. п. Но под тонкой пленкой официальной риторики складывается и рвется на поверхность прямо противоположный ей идеологический комплекс. Его ядро — идеализация периода независимости, резко отрицательная оценка последствий ее утраты и неопределенные мечты о ее восстановлении. Образ доброго старого времени, о котором эстонец семидесятых — начала восьмидесятых годов знал не так уж много, строился на отрицании сегодняшних реалий: не было господства русских, не было официальной коммунистической идеологии, не было экологических проблем, не было нехватки товаров... Это образ интеллигентски сельскохозяйственной идиллии — чистая, аккуратная, богатая, тесно связанная с Западом демократическая страна с товарным изобилием и природой, не испорченной заводами и рудниками...

Официальная пропаганда изображала присоединение Эстонии к СССР «народной революцией». В «неофициальной идеологии» — это результат сговора Молотова — Риббентропа, национальная трагедия, надругательство над беззащитной маленькой страной. При этом все то, чем недовольны эстонцы — в том числе и в самих себе, — объясняется последствиями «завоевания». Они смутно надеются, что, может быть, при каком-то новом раскладе исторических обстоятельств вернутся самостоятельность и связываемый с ней



«золотой век». И при этом отлично понимают, что своими силами ее не вернуть. Надо ждать, а пока в ожидании благоприятных обстоятельств стараться сохраниться как народ. Выжить.

Идея «выживания» играет в Эстонии большую роль в силу особой демографической ситуации. Здесь практически нулевой естественный прирост населения. С этим эстонцы ничего поделать не могут, ибо переход к большей рождаемости означал бы коренную ломку всех устоявшихся привычек и, естественно, снижение жизненного уровня. Но при этом их крайне беспокоит постоянное увеличение доли русскоязычного населения. Возникает вполне реальная перспектива утраты эстонцами большинства в своей собственной стране. А в некоторых районах Эстонии это уже произошло. В Нарве не услышишь эстонской речи, и в самом Таллине эстонцы уже не составляют большинства.

Рост русскоязычного населения вызывает постоянный рост антирусских настроений. Подобная направленность складывающегося антиофициального идеологического комплекса — неизбежна. Эстонец ощущает свой народ — «европейским», культурным, интеллигентным, умеющим хорошо трудиться, но, к сожалению, маленьким и попавшим во власть глупой, грубой, полуазиатской русской силы. Тийт Маде, один из создателей народнофронтовского движения, писал в статье, опубликованной в «Свенска Дагбладет» и вызвавшей громадных масштабов скандал: «Редко можно найти приятного, дружелюбного и добродушного русского. Их почти нет... Агрессивность, необходимость показывать силу и выдавание чужих успехов за свои... Русские сами должны понять, что империя распадается. Надо, чтобы они испытали потрясение и поняли, что не являются центром земли». Ясно, что эта выплескивающаяся наружу ненависть накапливалась годами, отнюдь не в период перестройки, а в те годы, когда, как писал поэт и народнофронтовский публицист Яан Каплинский, эстонцы «были вынуждены молчать и симулировать большую любовь и благодарность к могучему партнеру».

Но если русские вообще, русские в России еще могут вызвать какие-то положительные чувства, то русские в Эстонии, «мигранты», — это непосредственное воплощение угрозы для национального будущего, для самого существования нации. Они вызывают лишь ненависть, брезгливость и страх. В этих чувствах национальный аспект (русский — «работитель», эстонец — «порабощенный»; русский — «полуазиат», эстонец — «европеец») сочетается с классовым (русский — рабочий или техник; эстонец — интеллигент, бюрократ или земледелец). Эстонский эмигрант, американский исследователь Тену Пармит пишет: «...все более заметна тенденция использовать русских как козлов отпущения. Во многих аспектах эти иммигранты стали символизировать московское правление в Эстонии. Поэтому их — справедливо или нет — обвиняют, например, в нехватке жилья. Русские стали мишенью бесчисленных этнических шуток. Практически все плохое в советской Эстонии определяется местными уроженцами как *vene värk*, или русское дело».

Этот антиофициальный, относительно единый и в немалой мере общэстонский идеологический комплекс создал основу для самого главного политического размежевания последующей эпохи — размежевания по национальному признаку: эстонцы — «русскоязычные». Естественно, в границах этого комплекса существовало немало различных нюансов и оттенков. Но он неизменно возникал в самой своей обнаженной и бескомпромиссной форме, когда речь заходила о незаконности включения Эстонии в СССР и об аморальности соглашения с результатами этого беззаконного сговора двух разбойников — Сталина и Гитлера. Именно такой была позиция диссидентских группировок, обращавшихся с различными воззваниями к Западу и ООН, распространявших «самиздат» и периодически устраивавших митинги в День независимости Эстонии и в годовщину подписания пакта Молотова — Риббентропа. Это позиция людей, отказавшихся от карьеры в советском эстонском обществе, — революционеров по своей психологии и своей «функции». Однако в силу того, что действовали они в обществе, возникшем революционным путем, в обществе, официальная идеология которого была формально революционной, их собственная идеология находилась в резком противоречии с их ролью и психологией. Это — революционеры-«консерваторы», отвергавшие одновременно и строй, и революционные методы борьбы. Людей этих было не слишком много, но их бескомпромиссные моралистические убеждения оказывали большое влияние на общество.

Этот же комплекс в более мягкой форме присутствовал и у людей с более устойчивым социальным положением. Разумеется, что у правящей верхушки, прямо связанной с официальной идеологией, он теплился в самом умеренном и скрытом

состоянии. И все же в том или ином виде он был распространен повсюду. Как писал уже упоминавшийся Я. Каплинский, все были «коллорационисты» и все находились в «сопротивлении». Вся думающая Эстония — от диссидентов до правителей — представляла собой как бы некий «континуум», ибо позиция диссидентов — это лишь крайнее и чистое выражение общеэстонского идеологического комплекса. Стремление освободиться от Москвы и избавиться от «мигрантской угрозы» — общее и «вверху», и «внизу». Это основа последующего политического единства эстонцев и одновременно — почва для зарождения будущих партийно-политических размежеваний, ибо как ни сходятся «верхи» и «низы» в своей нелюбви к Москве и русским «мигрантам», но трудно объединиться в одних рядах тем, кто сидел в тюрьмах, с теми, кто сидел в креслах и лишь смягчал их приговоры.

Все это говорилось об эстонцах. Но последующая демократизация раскрыла и политический потенциал русской части населения Эстонии, изолированной от эстонцев психологически и культурно, и прежде всего — языковым барьером.

Националистические настроения в общине очень слабы — в силу ее «негуманитарного» социального состава и в силу того, что составляют ее мигранты, противостоящие «коренным», которые не делают особенных различий между теми, кто не говорит по-эстонски: собственно русскими, украинцами или евреями. Община не спаяна общностью крови и почвы, и в ней очень силен специфически советский «русскоязычный» интернационализм, связанный с коммунистической идеологией. Эстонский язык мигранты действительно знают значительно хуже, чем эстонцы — русский. Есть на этот счет эстонская шутка: «Тот, кто знает два языка, — националист. Тот, кто знает один, — интернационалист». Но связано это незнание языка не с пренебрежением к местной культуре, а, скорее, с жизненными и социальными причинами.

Более того, как показали последующие события и опросы, в русской общине нашлось меньшинство — и довольно значительное, — вообще готовое встать на «эстонские позиции» (вплоть до отделения от СССР с перспективой оказаться «за границей»). В какой-то мере это проявилось уже в доперестроечные времена. Характерно, например, что при смешанных браках большинство детей выбирают эстонскую национальность и среди участников диссидентского движения очень часто встречаются русские фамилии — это дети от эстонских матерей. Опросы показывают, что русские уроженцы Эстонии в своих оценках событий ближе к эстонцам, чем к мигрантам. По всей видимости, это связано, главным образом, с тем, что в русской общине также накапливался «отрицательный потенциал» (хотя и медленнее, чем у эстонцев), который зачастую выражался в форме сочувствия эстонцам, в переходе на их позиции.

Все это проявится позднее. Русская часть населения окажется политизированной значительно позже, чем эстонская, и ее действия будут иметь вторичный, реактивный характер. Это, скорее, неумелая оборона от «антимигрантского» наступления, во многом неожиданного для русских. Они прибегнут к выходящим из употребления и старомодно звучащим интернационалистским и социалистическим лозунгам, что отнюдь не создаст политического единства эстонских русских, противостоящих «Тоомпеа», сравнимого с единством эстонцев, противостоящих «Москве».

ЭПОХА «ГЛАСНОСТИ»

Перестройка — процесс реформ, который постепенно перерос в «революцию», ибо принял в конце концов стихийный неуправляемый характер. Шел он не по какому-то заданному плану и, став необратимым, привел к изменению самих механизмов распределения власти. Как и любая революция, перестройка представляла собой процесс выхода на поверхность накопившегося отрицательного потенциала, но в отличие от революций типа 1917 года этот выход был в определенной мере «спровоцирован» — клапан в котле начал открываться до того, как возникла угроза, что пар разнесет его стены. Во многом интенсивность процесса была связана с приходом к политической жизни и участию в распределении власти новых социальных слоев, раньше не участвовавших в политике и спокойно «дремавших» на дне общества.

Выход наружу скопившегося отрицательного потенциала создает заданность процесса, его как бы планомерность, которая может показаться настоящей планомерностью,

«заговором». Именно так стали впоследствии интерпретировать события, в Эстонии многие представители русского меньшинства, «интеры», сопротивляющиеся эстонскому национальному движению. Видя логику, последовательность процесса, ведущего от первых робких требований большей самостоятельности к провозглашению независимости, они приходят к довольно логичному выводу, что независимость и «реставрация капитализма» были изначально сознательными целями, которых добивались эстонские лидеры. Интересно, что в какой-то мере им подыгрывали их противники, которые задним числом начали изображать свою деятельность как целенаправленную, «романтизировать» ее. Но хотя одни говорят: «Они вынашивали планы», а другие подтверждают это: «Да, вынашивали», историческая реальность более прозаична, а действия людей — менее сознательны. На каждом этапе люди думают о конкретных ближайших целях, но, пока отрицательный потенциал не израсходован, он заставляет при достижении этой конкретной цели, еще недавно представлявшейся пределом мечтаний, ставить следующую, более радикальную цель.

Кроме горстки диссидентов, никто в Эстонии в конце восьмидесятых годов не строил планов достижения независимости и «реставрации капитализма». Да и диссиденты думали об этом скорее мечтательно, без конкретного и реалистического плана. Самые знающие и прозорливые люди не предвидели, что коммунисты утратят власть, почти до того самого момента, когда это произошло. Но образ независимой «буржуазной» Эстонии лежал на дне души едва ли не каждого эстонца и рвался наружу, создавая не сознательную, «заговорщическую», а стихийную, бессознательную целенаправленность.

Эстонской революции предшествовал период значительной и всерасширяющейся свободы слова. Разумеется, никакой демократической, выборной борьбы за власть на том начальном этапе даже и не предвиделось. Это создало особые формы политической организации и особые формы политической мобильности.

Так как у политических организаций еще не было своего, независимого от партийной элиты пути прихода к власти, то они действовали или как организации «экспрессивные» (те из них, что являлись преемниками диссидентских групп), или как «группы давления» на верхушку. В это время «национально-либеральная» часть эстонской партийной элиты, опираясь, очевидно, на поддержку Москвы и используя давление новых организаций и движений, начала избавляться от «консервативной» части руководства и, расступившись, приняла в свои ряды лидеров новых движений.

Первыми, кто воспользовался возможностями, открытыми новой либеральной эпохой, были, естественно, диссиденты, которые еще в доперестроечное время объединились в «Эстонскую группу предания гласности пакта Молотова — Риббентропа». По мере того как уменьшался риск, связанный с подобного рода деятельностью, к ним тянулась молодежь.

Последняя серия арестов и приговоров диссидентам приходится на начало восьмидесятых. С 1985 года никого более не арестовывают, а еще через два года после прощения о помиловании была освобождена целая группа политзаключенных, давших обязательство отказаться от враждебной деятельности, и в их числе — Л. Парек и Т. Мадиссон. Оба они в том же 87-м году провели свою первую крупную акцию перестроечного периода — митинг в таллинском парке Хирве, посвященный годовщине пакта Молотова — Риббентропа. Впоследствии эта демонстрация будет рассматриваться в радикальной версии истории Эстонии той поры как акт, «пробудивший народ».

И действительно, акция вызвала немалый шум. Ее организаторы, выехавшие за границу, были приняты в Вашингтоне на «высоком уровне». Верховный Совет Эстонии специально разбирает этот вопрос и принимает даже обращение к Конгрессу США. Но деятельность диссидентов продолжается и становится по мере продвижения процесса либерализации в стране все активнее. Большой митинг по случаю годовщины независимости в начале 1988 года даже побуждает эстонское руководство организовать свой митинг протеста против «американского вмешательства» и деятельности диссидентов, на котором, между прочим, выступал и будущий лидер Либерально-демократической партии, а тогда либеральный руководитель Союза художников Э. Пылдроос.

В августе 1988 года диссидентские группы создают Партию национальной независимости. Во главе ее встают Л. Парек и художник А. Кокин (Сандер Сисс), дважды сидевший, в том числе — и за попытку перехода границы:

Создаются и другие группировки, например, Эстонское демократическое движе-

ние — 1988, главным пунктом программы которого является требование возвращения Эстонии небольших территорий, заселенных в основном русскими и отошедших к РСФСР после войны.

Эти группировки не участвуют в реальной борьбе за власть и даже, очевидно, не предполагают, что вскоре будут участвовать. Но это отнюдь не значит, что они не влияют на ход политического процесса. Кажется поразительным несоответствие количества бунтарей и того шума, который вокруг них создается, того страха, который они внушают. Что же это за страх перед группками в несколько десятков человек, которых можно в любой момент арестовать, совершенно не опасаясь «народного восстания»? Отчасти, конечно, это страх перед Москвой, перед гневом высшего руководства, которое может сказать: «Вот до чего вы довели республику», — и наказать виновных.

Но дело не только в Москве. У диссидентов на языке то, что у всех на уме. Так же, как они, думает подавляющее большинство эстонцев, вплоть до того же самого А. Рюйтеля. Страх перед радикалами-диссидентами — это страх перед людьми, думающими то же, что думаешь ты сам, но сидевшими в лагерях в то время, когда ты занимался комсомольской работой и поступал в аспирантуру. По существу либеральные круги не могут противопоставить радикалам-диссидентам ничего, кроме соображений «эффективности», всегда оставляющих место для моральных сомнений. И не только моральных, ибо можно усомниться, вправду ли не эффективно «выйти на площадь и громко сказать всю правду».

Без понимания этого отношения либералов к бунтарям мы никогда не поймем реальной роли диссидентов и Партии национальной независимости в политической истории «перестроечной» Эстонии. Формально в 1988 году с приходом к власти В. Вяляса и созданием Народного фронта четко и прочно утверждается официальная политическая раскладка: Народный фронт и «национально-либеральная» группировка — это центр, противостоящий двум противоположным крайностям — Партии национальной независимости и русским «интерам». Но такая раскладка не столько отражает действительное положение вещей, сколько политически выгодна. Отношение центра к Партии национальной независимости и «интерам» отнюдь не равнозначно. Если судить по фразеологии, то различия между либералами и «интерами» ничтожны, а между либералами и диссидентами — громадны. Но в начале перестройки слова еще почти не выражают подлинных чувств и стремлений. Что бы там ни говорилось, но в действительности «интеры» — враги и к тому же не конкуренты в той среде, мнение которой важно для эстонских политических деятелей, то есть в эстонской среде. Противостояние «интерам» даже помогает политике упрочить свое влияние. Иное дело — люди из Партии национальной независимости, перед которыми центр испытывает чувство вины и комплекс неполноценности. Они-то конкуренты, и либералы должны доказать эстонскому обществу, что стремятся к тем же целям, что и диссиденты, но используют иные — может быть, менее чистые, но более эффективные средства.

В тот ранний период перестройки большинство общественных движений провозглашали цели, абсолютно не совпадавшие со стоящими за ними идейными и политическими реальностями. Партия национальной независимости Эстонии — единственная группировка, в которой изначально совпадали слова, мысли и чувства. Однако она была слишком смелой и радикальной организацией, чтобы привлечь большое количество членов. Первыми действительно массовыми становятся движения, выдвигающие относительно безопасные и идеологически нейтральные лозунги. Это — движение «охраны памятников старины», оформившееся в Общество охраны памятников старины, и движение «зеленых». Эти формально провозглашенные цели лишь прикрывают истинные задачи обоих обществ. Как писал о «зеленых» М. Титма: «Можно сказать, это был первый случай, когда борьба шла под одним лозунгом, но подразумевала другие цели».

Общество охраны памятников старины, оформившееся в декабре 1987 года и возглавляемое Т. Веллисте, по своей политической ориентации наиболее близко Партии национальной независимости. И это понятно, потому что сама идея охраны памятников прошлого, тем более что речь идет о памятниках, разрушенных русскими и коммунистами, — прекрасный легальный выход для антирусских и антикоммунистических настроений. Именно Общество охраны памятников было основным популяризатором синечерно-белого флага, постоянно присутствовавшего на его мероприятиях. Постепенно деятельность Общества перерастает в деятельность уже не столько по охране, сколько



по установлению новых памятников — павшим в освободительной войне отрядам «лесных братьев», эстонцам, сражавшимся в дивизии СС, и так далее.

Второе столь же массовое движение — «зеленое», вспыхнувшее в 1986 году с громадной силой. Основной его лозунг — борьба с планами разработки открытым способом фосфоритных месторождений на севере и северо-востоке Эстонии. Экологическое положение Эстонии было и вправду тяжелым, но масштабы «зеленого» движения в 1987—88 годах нельзя объяснить только заботой о родной природе¹. Прежде всего это — легальный путь критики Москвы («произвола ведомств») и «антинационального» эстонского руководства и первый акт борьбы с русской миграцией, без которой строительство новых крупных предприятий, в том числе и разработка фосфоритов, невозможно. При этом антимосковский настроенная часть эстонской партийной бюрократии в своей борьбе за власть с «московскими ставленниками» К. Вайно и Б. Саулом начинает активно использовать экологические лозунги. Очевидно, не случайно, что еще до падения К. Вайно лидер экологов журналист Ю. Ааре становится делегатом XIX партконференции.

В этой обстановке экологическое движение становится все активнее, и его требования приобретают все более четкий политический характер. Летом 1988 года движение публикует воззвание, где говорится: «Требуем предоставить народу Эстонии реальный экономический, культурный и политический суверенитет! Требуем прекратить необоснованную миграцию и расширение производства! Требуем избрания нового руководства, которое будет считаться с волей народа и действовать в интересах Эстонии!» Правление движения экологов (против воли относительно умеренного и уже «кооптированного» элитой Ю. Ааре) приняло резолюцию о необходимости созыва внеочередного съезда, отставки правительства...

Но это пик, предельная точка политического влияния движения «зеленых». К 1989 году появляются признаки его упадка. Дело в том, что и охрана памятников, и экология — задачи, все же слишком косвенно относящиеся к сути дела. Для подлинно общенародного движения нужны были идеи и лозунги, пусть и не полностью адекватные реальным настроениям, выдвинутые с оглядкой, но все же имеющие прямое отношение к самому стержню эстонской антиофициальной идеологии — стремлению к независимости. И во главе такого движения должны были встать не энтузиасты частных проблем, а люди с прочным и независимым общественным положением, с достаточным весом и в правящей верхушке, и в широких массах народа. Люди из элиты эстонской интеллигенции. Этим движением стал Народный фронт Эстонии.

Первый толчок к созданию Народного фронта исходит от группы относительно молодых, энергичных, еще отнюдь не находящихся на первых ролях и готовых к определенному риску эстонских интеллигентов. Они взяли на себя организационные и «моторные» функции, на которые более старые и обремененные разного рода обязательствами представители интеллигентской элиты, очевидно, были неспособны. Это — философ Э. Сависаар, экономист Т. Маде, социолог М. Титма и журналист С. Каллас, опубликовавшие в сентябре 87-го года в тартуской «Эдази» письмо с идеей «хозяйственной самостоятельности Эстонии» и сделавшие в ближайшие годы блистательные политические карьеры. Как говорил впоследствии М. Титма: «Эту идею тогда поддерживали многие, но рисковать не были готовы. Поэтому под текстом и стояло всего четыре подписи, — идеи носились в воздухе, и вопрос был лишь в том, кто сможет поступиться своим политическим благополучием, выразив идею... публично».

Идее этой было суждено сыграть колоссальную роль в истории Эстонии 1987—1990 годов. Она вполне в духе времени и выглядит относительно невинно. В самом деле, если провозглашена экономическая самостоятельность предприятий, почему не возможна экономическая самостоятельность Эстонии? Между тем эти идеи имеют совершенно разное значение. Самостоятельность предприятий — это перераспределение экономической власти, при котором не имеет значения, является ли министерство эстонским, а директор предприятия — русским или наоборот. Экономическая же самостоятельность Эстонии — идея прежде всего национальная. Основная цель перераспределения власти,

¹ Это очевидно явствует из того, что после победы эстонского национального движения экологическая проблематика оказалась отодвинутой на задний план. Вернулись даже к идее разработки фосфоритов, бессмысленность и губительность которой прежде убедительнейшим образом доказывалась во множестве речей и публикаций.

которую она предполагает,— это освобождение от власти Москвы. Как и в лозунгах «зеленых» и общества охраны памятников, здесь говорится об одном, а подразумевается другое.

Популярности этой идеи, безусловно, способствовало и то, что аббревиатура «экономически самостоятельная Эстония» по-эстонски звучит как «име», что означает «чудо». Однако «московский ставленник» и «стагнат» К. Вайно, скорее всего, был прав, когда говорил, что это «сырая идея, выдвинутая к тому же не учеными-экономистами, а социологами и журналистами». Впоследствии, когда «ИМЕ» начало воплощаться в жизнь, Эстония пришла к грандиозных размеров экономическому спаду (во многом поэтому создатели идеи «ИМЕ» стали позже так упорно подчеркивать, что это был только камуфляж национальной идеи). Но в то время эстонское национальное сознание никаких возражений против «ИМЕ» воспринимать не могло. Вскоре все эстонские ученые начали восхвалять «ИМЕ», что создало иллюзию предельной научной разработанности этой концепции всеми светлыми головами Эстонии при помощи светлых голов Москвы, Швеции и Финляндии. На Первом съезде народных депутатов СССР Горбачев в беседе с эстонской делегацией скажет: «У вас скоро появятся стихи о хозрасчете». На что академик В. Пальм ответит: «Хозрасчет — это религия сейчас».

Рейн Вейдемманн, один из лидеров Народного фронта, позже писал: «Теперь, наверное, всем ясно, что Народный фронт — этот тот спасательный круг, который народ сам для себя сделал и сам за него ухватился». И хотя в этой фразе много политической риторики, она правильно отражает элементы стихийности, «инстинктивности» в создании этого фронта. Недаром идея «фронтов» практически одновременно оформилась во всех Прибалтийских республиках и быстро распространилась из них в другие регионы. Что же сделало эту идею столь популярной, столь отвечающей духу времени?

На мой взгляд, это прежде всего соответствующая раннему периоду перестроечных процессов идейная и организационная неопределенность. Народный фронт в самом начале — воплощенная «двусмысленность». Он не противостоит партийной идеологии и даже сравнивается с разного рода народными и отечественными фронтами восточноевропейских стран (хотя очевидно, что при внешнем сходстве реальные функции и направленность эволюции здесь совершенно разные, даже противоположные). Но в то же время он создан не просто для поддержки партии, но именно для поддержки «курса партии на перестройку».

Народный фронт — не организация с четким членством, противостоящая другим партиям, и прежде всего коммунистической. В нем вообще не существовало членства. Во главе его вначале стоял «инициативный комитет», а его первичными организациями являлись спонтанно возникавшие «группы поддержки». Вместе с тем сразу же было провозглашено: в руководство фронта не могут входить руководящие партийные, профсоюзные и советские работники. Таким образом, под прикрытием поддержки «курса партии» создавалась организация с независимой иерархией.

Но основная двусмысленность позиции НФ Эстонии состояла в том, что, будучи создан как общедемократический союз, он был фактически не народным, а национальным фронтом. Впоследствии об этом много писали, усматривая в таком направлении «ошибки» лидеров фронта. Но очевидно, что никаких ошибок они не совершали. Как я уже не раз упоминал, стержнем «подпольной» эстонской идеологии были именно национальные проблемы, и эстонцы могли сплотиться лишь вокруг них. Национальное чувство было неизмеримо сильнее всех идеологических разногласий. Главной всегда была мысль о том, что эстонцы составляют в Эстонии большинство, а сплоченное большинство всегда может демократическим путем диктовать свою волю меньшинству. Национальные ценности и ценности демократии отнюдь не совпадают, но первые для большей части эстонцев стоят все-таки выше. Поэтому стать действительно массовой, более того — общенародной, общеэстонской организацией Народный фронт мог, лишь будучи по своей сути именно национальным.

В конце апреля бюро ЦК Компартии Эстонии, в котором, очевидно, начали в это время побеждать «национально-либеральные» силы, принимает решение «положительно отнестись к движениям, возникшим в поддержку политики партии по перестройке». Идеям Народного фронта дается зеленый свет, и в считанные недели он завоевывает Эстонию.

«ЭРА ДОБРЫХ ЧУВСТВ»

На старое высшее эстонское партийное руководство открыто давят новые общественные движения, а скрытно — «национально-либеральная» группировка партийного руководства и партийное руководство в Москве. Оно пытается «перестроиться», пожертвовав отдельными, наиболее одиозными фигурами, и создать себе новый, «прогрессивный» имидж. В январе 88-го года на VII пленуме ЦК уходит в отставку секретарь по идеологии Р. Ристлаан, которого К. Вайно объявил «лично ответственным» за все идеологические неурядицы. На его место пришел И. Тооме, относительно молодой (год рождения — 1943), но прошедший всю традиционную партийную карьеру: комсомол, Таллиннский горком партии, Совмин... Начался и процесс включения в партийную верхушку активных либеральных интеллигентов. В числе делегатов от Компартии Эстонии на XIX партконференцию — лидер экологов Ю. Ааре, академик М. Бронштейн и глава Союза художников Э. Пылдроос. Фактически уже при К. Вайно были приняты все основные требования правлений творческих союзов и Народного фронта.

Но отступление и несколько судорожные попытки «перестроиться» не спасли К. Вайно — «русского эстонца», очевидно, изолированного в партийной верхушке. В течение двух недель после IX пленума ЦК КПЭ в эстонских и московских «коридорах власти» развернулись события, конкретный ход которых мне совершенно не известен, но смысл которых достаточно очевиден. И. Тооме, А. Рюйтель и ряд других руководителей второго эшелона, «настоящие эстонцы», совершили «государственный переворот». На X июньском пленуме ЦК Компартии Эстонии, на котором присутствует Н. Н. Слюньков, К. Вайно снимается с должности и в соответствии с установленной традицией направляется на дипломатическую работу. Первым секретарем ЦК становится «настоящий эстонец» В. Вяляс, бывший до того послом в Никарагуа.

Уже самые первые официальные заявления Вяляса показывают, что ЦК КПЭ полностью поворачивается к Народному фронту и национально-либеральной интеллигенции. На пресс-конференции эстонских делегатов XIX партконференции В. Вяляс говорит: «Народный фронт... это не какая-то оппозиционная партия или движение, что-то такое, что не входит в рамки нашей политической системы. Возглавляют это движение коммунисты».

Новый курс окончательно закрепляется на XI сентябрьском пленуме ЦК. В докладе В. Вяляса — полная и безоговорочная поддержка всех идей Народного фронта, о котором говорится, что «предпринимаемые им до сих пор шаги подтверждают внутреннюю культуру и дисциплину, его готовность к подлинной демократии». Вся народнофронтовская программа фактически становится официальной партийной программой. Выдвигается общий принцип — нельзя предпринимать никаких действий, «если при этом игнорируются... национально-этнические последствия для эстонцев». При этом возникающее среди русскоязычного населения «интернациональное движение» объявляется враждебной партией силой. Несмотря на четко национальный характер и программы Народного фронта, и той программы, которую сам В. Вяляс выдвигает на пленуме, в его докладе говорится: «Ни одно чисто национально ориентированное движение не должно получать поддержку коммунистов, какое бы звучное название оно ни носило, вплоть до интернационалистического». Четко говорится в докладе и о мерах по «перераспределению власти» в партаппарате в пользу интеллигентской верхушки, намеченных в платформе к XIX партконференции.

И это перераспределение власти происходит тут же, на глазах. Среди выступающих на пленуме — Ю. Ааре, Э. Сависаар, Э. Пылдроос. Академик Б. Таам становится членом бюро ЦК, а Э. Пылдроос вообще совершает немислимую партийную карьеру. За один день он из кандидатов в члены ЦК становится членом ЦК и тут же членом бюро ЦК.

Процесс смены руководства идет и дальше. Происходит ряд замен в ЦК. Однако если в Центральный комитет партии можно кооптировать, то с Верховным Советом дело обстоит сложнее. Тем не менее и здесь находят возможности допуска к власти национально-либеральной интеллигентской элиты. При председателе Президиума Верховного Совета А. Рюйтеле создаются рабочие группы по подготовке нового законодательства, куда включаются и народнофронтовские лидеры. Но делается еще более интересный ход.

В Верховном Совете ЭССР отказываются от своих полномочий доярка Маарика Кристманн и телятница Ээви Кийк, а затем еще два рабочих-депутата — случай в истории

СССР беспрецедентный,— и на эти места на дополнительных выборах избираются Э. Пылдроос, Ю. Ааре, Э. Сависаар, В. Вяляс.

Смена руководства происходит и на низшем уровне.

Приход к власти В. Вяляса знаменует начало относительно недолгой «эры добрых чувств». «Сложилось невиданное в нашей истории единодушие»,— говорит Э. Сависаар. Народнофронтовцы не жалеют слов для выражения симпатий новому руководству. «Впервые за многие десятилетия КПЭ стала пользоваться доверием большинства эстонцев»,— пишет Х. Вайну. Программа В. Вяляса и программа Народного фронта совпадают, и, очевидно, возникла даже наивная идея, что последнему следовало бы формально признать руководящую роль партии.

Но в Народном фронте после июньского пленума отнюдь не возникает тенденция к упадку. Прежде всего — потому, что, какое бы хорошее руководство ни пришло в КП, все-таки это коммунистическая партия, в которой половина членов — русские, которая подчинена Москве и которую слишком сковывает марксистско-ленинская идеология, чтобы можно было ожидать, что она превратится в эстонскую национальную партию. Кроме того, уже сложилась группа людей, чей статус непосредственно связан с Народным фронтом, для которых влияние и мощь самого фронта — это их личное влияние, статус, власть. И если для Титма и Пылдрооса известность, приобретенная ими в движении, вылившемся в создание Народного фронта, стала трамплином для перехода в партийную иерархию, то Сависаар и Лауристин прочно связывают себя с Народным фронтом. Вокруг них складывается то, что Э. Корнэл — один из народнофронтовцев — в статье в «Рахва Хяэль» назвал народнофронтовской «перестроечной элитой». Отчасти она совпадает с интеллигентской элитой, и лидеры Народного фронта стремятся максимально привлечь в свою организацию всех видных эстонских интеллигентов. Но в Народном фронте существует и своя, довольно прочная элита руководства, группа тесно связанных друг с другом лиц, образующих своего рода «правлящую олигархию».

В руках лидеров Народного фронта сосредотачивается колоссальная власть. Они контролируют прессу и телевидение, все творческие союзы. Под их влиянием культурные общества эстонских «нацменьшинств». Возникают эстонские организации, в дальнейшем достаточно самостоятельные и дистанцирующиеся от Народного фронта, но в тот период теснейшим образом с ним связанные и выступающие как бы его «приводными ремнями»: Совет трудовых коллективов Эстонии, объединяющий руководство «эстоноязычных» предприятий, и Аграрный союз.

Фактически сплачиваются две руководящие группы — в ЦК КПЭ и в Народном фронте, переплетенные между собой личными связями и имеющие общую программу действий, которую они и начали претворять в жизнь. Ее можно определить как программу борьбы за Эстонию, в которой эстонцы доминировали бы во всех сферах жизни настолько, насколько это возможно (что означает — прекращение миграции, создание условий для реэмиграции и эстонизацию русского населения), и настолько независимую, насколько это возможно (о полной независимости речь в этот период еще не идет).

Важнейшей мерой по «эстонизации» Эстонии и «обузданию» русскоязычных явилась разработка Закона о языке, основную задачу которого Э. Пылдроос, ответственный за эту разработку в Верховном Совете ЭССР, сформулировал так: «Эстония должна стать охранной зоной для эстонского языка и эстонской культуры». Закон среди прочих мер по охране языка определял должности, для занятия которых обязательным требованием является двуязычие (знание и эстонского, и русского), и сроки, в течение которых занимающие эти должности должны выучить язык. Закон создавал перспективу относительно быстрой и основательной «эстонизации» или же — не менее приятную для эстонцев — перспективу реэмиграции тех, кто язык не выучит. Начали обсуждаться законы о гражданстве, о миграции и другие. Все они обсуждаются в группах при Президиуме Верховного Совета без какого-либо участия русских. Официально возрождается старая «досоветская» символика — флаг и герб, вначале как «национальные», существующие наряду с государственными.

Рано или поздно все это должно было привести к конфликту — и с русскими в Эстонии, и с Москвой. Первая «законодательная стычка» с Москвой возникла из-за проекта поправок и дополнений к Конституции СССР. Ее повод очень характерен для ситуации поднимающейся «революционной волны», когда то, что еще год назад было громадным достижением, начинает казаться шагом назад. Проект создавал реальное разграничение власти центра и республик и был несомненным шагом вперед

в расширении реальных прав республик. Но по отношению к тем формальным правам, которые были зафиксированы в сталинской и брежневской конституциях и которыми, естественно, республики никогда не пользовались и пользоваться не могли, он был шагом назад.

Организуется грандиозная кампания по сбору подписей под протестом против проекта, который подписало практически все взрослое эстонское население. А вскоре внеочередная сессия Верховного Совета Эстонии принимает «Декларацию о суверенитете» и «Закон о внесении изменений в Конституцию СССР», согласно которым общесоюзные законы вступают в действие лишь при их одобрении Верховным Советом Эстонии.

Русское население взбудоражено эстонским «наступлением», и атмосфера в Эстонии все более накаляется. Вмешательство Москвы становится неизбежным. Президиум Верховного Совета СССР объявляет Декларацию противоречащей Конституции СССР и недействительной. Это первое законодательное столкновение Эстонии и Москвы и одновременно — конец недолгой «эры добрых чувств»: начинаются конфликты Народного фронта и нового «либерального» партийно-государственного руководства.

Глава эстонских коммунистов В. Вяляс на пленуме ЦК пытается поставить на место народнофронтцев. Но попытка эта ни к чему не привела. Партийные лидеры все еще в какой-то мере живут в старом мире, действуют по старым правилам игры, по которым в конечном счете все решает ЦК. Но на самом деле возник уже новый мир. Разворачивается первая в истории Советского Союза кампания демократических выборов на съезд народных депутатов, и впереди маячат новые кампании, в том числе и самая важная — выборы в Верховный Совет самой Эстонии. А это означает, что меняются механизмы прихода к власти. Давление на «верх», установление с ним связей и кооптация в органы власти — все это методы уходящей эпохи. Судьбу политика начинают решать настроенные антикоммунистически и антирусски избиратели, для которых ЦК — не указ. В эстонской политической жизни кончается «эпоха гласности» и начинается новая эра борьбы политических сил за голоса избирателей.

Все эти идейные метаморфозы, имеющие к эстонским русским самое прямое отношение, до них самих доходят с опозданием. Прежде всего — из-за незнания языка. Эстонцы рады возможности свободно обсудить свои проблемы, но отнюдь не стремятся к тому, чтобы их слышали и понимали ненавистные «мигранты». Примечательно, что, когда эстонские деятели, выступающие по телевидению в дискуссиях, слишком уж расхотелись, ведущие нередко останавливали их: «Не забывайте, что некоторые русские знают эстонский язык!» Наиболее острые антирусские статьи не переводились. Однако даже относительно сдержанные публикации деятелей эстонского национального движения на русском языке полны ненависти к «мигрантам», накапливавшейся годами и теперь прорвавшейся. Эстонцы как бы постоянно одергивали и друг друга, и самих себя, но бурлящие в них чувства вырывались наружу даже тогда, когда сознательно говорилось нечто «хорошее и доброе» по поводу «русскоязычных». Зачастую это звучало оскорбительно, а в непрестанном сдерживании эмоций ясно звучал призыв: «Не надо быть такими откровенными, не надо зря раздражать».

Но и того, что доходило до русских, было вполне достаточно, чтобы возбудить страх. Хватало уже того, что новый секретарь ЦК по идеологии М. Титма провозгласил приоритет коренной нации высшим политическим принципом, а официальной политической целью стало достижение реэмиграции.

Русское население Эстонии не было, на мой взгляд, изначально специфически «реакционным». И утверждение Э. Сависаара в докладе на первом съезде Народного фронта, что «ностальгия по Сталину... близка сердцу определенных чиновничьих кругов и, к сожалению, значительной части русского населения», — это, очевидно, пропагандистский ход. Никаких доказательств в пользу этого тезиса нет (разве что можно счесть «сталинизм» приверженность к единству Союза). По социальному составу, интересам и «потенциальной» идеологии русские Эстонии не слишком отличаются от населения промышленных областей России. Но ситуация, в которой оказались эти люди, весьма отличалась от российской. Они вдруг, неожиданно для себя увидели перед собой сплоченное большинство эстонцев, глубоко им враждебное и практически не скрывающее своего стремления от них избавиться. «Русскоязычные» не могли ни примкнуть к ходу политического процесса в Эстонии, ни идти в русле российского, развивавшегося в совершенно других условиях. Они должны были в очень сложной политической и психологичес-

кой ситуации искать свои пути, выработать свою позицию. И это было тем более трудно, что в русской общине, как мы уже говорили, крайне слаба прослойка гуманитарной интеллигенции. Поэтому ее реакция на эстонские процессы все время запаздывала, была неадекватной, противоречивой и зачастую истерической.

Приблизительно до середины 1988 года в русской общине господствует общая для того времени перестроечная эйфория. Идеи «ИМЕ», необходимости развития эстонского языка и культуры и даже ограничение миграции принимаются большинством «русскоязычных». Они присутствуют даже в программных документах организаций, являвшихся уже порождением русскоязычной реакции. Но по мере того, как антимосковская и антимигрантская направленность деятельности Народного фронта, а затем и вялясовского ЦК становилась все более очевидной, русскоязычная община начала «пробуждаться». При этом часть ее совершила выбор в пользу эстонцев и примкнула к Народному фронту. Это наиболее видные представители «статусной» интеллигенции, которые культурно и психологически ближе стоят к эстонской интеллигентской элите, чем к русским рабочим и инженерам. К ним относится, к примеру, известный тартуский филолог Ю. Лотман, ставший затем эстонским академиком. В этих же рядах и та часть диссидентски настроенной молодежи, которая питала настолько глубокую ненависть к советской тоталитарной системе и всему строю жизни в СССР, что приветствовала перспективу отделения Эстонии как некий эквивалент эмиграции — возможность, не предпринимая никаких сложных действий, оказаться за границей, на Западе.

Но эта часть общины — невелика. В основной же ее массе, и прежде всего в Таллинне, где национальный конфликт разворачивается наиболее остро (на Северо-Востоке, где большинство населения — русские, ситуация более спокойная), летом 1988 года идет брожение. На крупных таллиннских предприятиях проходят митинги и собрания, на которых раздается критика Народного фронта. Из этого брожения возникают две мощные организации, ставшие центром «русской оппозиции».

Первая из них — самая ненавистная для эстонцев — это Интернациональное движение трудящихся Эстонии, инициативный комитет которого был создан группой таллиннских инженеров, среди которых выделяется хороший оратор и полемист Е. Коган. Причем вначале Интердвижение было задумано как организация, даже не противостоящая Народному фронту, а как бы дополняющая его.

Но для Народного фронта Интердвижение — это конкретное воплощение угрозы существованию нации. Это поднявший голову «мигрант», грозящий поглотить Эстонию. Поэтому на Интердвижение начинает обрушиваться поток обвинений, никаких оснований не имеющих. Их называют сталинистами, черносотенцами, вариантом «Памяти». По отношению к «интернацистам», как их стали называть, не действуют никакие правила приличия и научной добросовестности, и даже крупный ученый Ю. Лотман может кинуть такую фразу: «Пресловутое общество «Память» и его сторонники в Прибалтике («Интердвижение») играют чрезвычайно негативную роль». (Это говорится про организацию, во главе которой стоит еврей.)

И поскольку от заговоромании не свободны и либеральные интеллигенты, возникает идея, что Интердвижение — лишь орудие в руках каких-то тайных страшных сил. Естественно, что никакого диалога с ним и быть не может. О степени отчужденности, в какой оказалось Интердвижение, говорит следующий поразительный факт — когда в Эстонию прибыл видный эстонский эмигрант калифорнийский профессор Рейн Таагепера, «интеры» обратились к нему с просьбой быть посредником между ними и Народным фронтом.

Вначале лидеры Интердвижения, очевидно, предполагали занять в обществе Эстонии положение, «симметричное» Народному фронту. Но этого не получилось. Новое партийное руководство так же, как и национал-радикалы, видело в них воплощение зла. Интердвижению вначале не дали даже опубликовать их программу. Новый, либеральный секретарь ЦК М. Титма выразился по этому поводу так: «Образно говоря, это — попытка объединить так называемых лимитчиков и на основе их групповых интересов проводить великодержавную политику... Поэтому я считаю, что ЦК партии поступил правильно, не дав в руки экстремистски настроенным эстонцам повода, каковым обязательно послужила бы публикация такого рода».

Перспектива стать такой же «респектабельной» организацией, как Народный фронт Эстонии, оказывается абсолютно нереальной. Интердвижение превращается в организацию-изгой. И не только для Эстонии, но и для России, где все усиливается либерально-

западническое направление, воспринимающее Эстонию как «передовой рубеж перестройки» (что естественно для самой «западной» республики). Российские либералы видят в русских противниках Народного фронта Эстонии реакционеров и оружие в руках «темных антиперестроечных сил». В этой ситуации естественна эволюция идеологии и фразеологии Интердвижения. Его лидеры от абстрактно-либеральной «перестроечной» риторики, практически идентичной народнофронтонской, переходят к своеобразному сочетанию популистской антибюрократической и антиинтеллигентской риторики с «фундаменталистской» советской фразеологией.

Соответственно в том же направлении меняется и тактика политической борьбы. «Интеры» вынуждены избрать путь апелляции к центру, к Москве и внепарламентских методов борьбы — митингов, а затем и забастовок, цель которых — накалить обстановку и заставить Москву вмешаться. Интердвижение все более на самом деле начинает напоминать тот злобный образ, который был изначально создан народнофронтонским мифотворчеством.

ПРЕДПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭПОХА

Выборы народных депутатов СССР принесли значительную победу Народному фронту. В народные депутаты, кроме представителей «русскоязычных» районов, прошла группа беспорных лидеров (В. Вяляс, А. Рюитель и И. Тооме получили чуть менее ста процентов голосов каждый) и большинство народнофронтонских кандидатов, которым проиграл ряд крупных чиновников. Начинается новая эпоха политической жизни со своей внутренней логикой. До выборов популярность в народе была лишь поддержкой на пути вверх, а само продвижение зависело прежде всего от «верхов» — от партийного руководства. Теперь нужно лишь одно — победа на выборах. А это означает радикальное изменение всего характера политической борьбы.

Только с этого времени кончается балансирование между настроениями народа, правящей верхушки и Москвы, система эзопова языка... Начинается апелляция к эмоциям массы, к ее глубинным идейным и психологическим комплексам. Выигрывает тот, кто смелее, кто скажет резче и громче то, что раньше говорилось шепотом, кто найдет что-то новое, еще не сказанное. Фактически в это время происходит действительная революция, радикально и необратимо изменившая за полтора года характер эстонского общества.

Весь политический спектр стремительно сдвигается по все более радикальным направлениям. К 1990 году фактически весь набор идей Партии национальной независимости Эстонии (незаконность «оккупации» и ее последствия) входит в официальную риторику и в какой-то мере реализуется в официальной политике. Общество целиком сдвигается в направлении радикализма.

Одновременно происходит «развал консенсуса», установившегося с приходом к власти В. Вяляса. Теперь поддержка ЦК компартии, прежде так необходимая Народному фронту, становится ненужной и даже вредной, ибо при всей популярности В. Вяляса, А. Рюителя и других лидеров коммунистическая партия стала более чем непопулярной. Более того, непопулярна она и среди самих коммунистов, подавляющее большинство которых, как показали события, состояли в ней исключительно из карьерных соображений. Поэтому, когда дело дошло до ситуации, при которой судьбу политика начинает решать избиратель, выгодным становится максимально дистанцироваться от всего коммунистического. С этого времени начинается ускоренное разложение Компартии Эстонии.

Но развал «консенсуса» 1988 года связан не только с этими обстоятельствами. Как я уже говорил, Народный фронт — порождение весьма специфических условий начала перестройки. Его мощь связана как раз с двусмысленной ситуацией «консенсуса», с его положением «полуоппозиции». Отстранение от компартии, переход к демократической борьбе за власть ослабляют фронт. В нем усиливаются центробежные тенденции. Ему все больше угрожает возглавляемый Партией национальной независимости радикальный блок, который не принимает участия в «недемократических псевдо выборах в парламент чужого государства», но активно включается в борьбу за власть в Эстонии.

Возвращение национального знамени — флага Эстонской Республики, который по решению Президиума Верховного Совета был торжественно поднят в конце февраля

89-го года на «длинном Германе», имело колоссальное символическое значение и вызвало острую реакцию «русскоязычных» коммунистов. Вместе с тем весьма враждебно отнеслись к этому событию и те, кто стоял на позициях Партии национальной независимости. Для «интергов» это — надругательство над красным флагом, для национал-радикалов — осквернение черно-сине-белого. Последние, несомненно, никогда и вообразить себе не могли, что национальный флаг будет поднят руками партийной элиты — тех самых людей, которые еще полтора года назад голосовали за резолюции протеста против того, что диссидентов принимают в Вашингтоне. И нет ничего удивительного в том, что они не могут поверить в реальность происходящих изменений.

Позиция радикалов остается инерционно-революционной. И хотя обстановка вокруг меняется на глазах, для них все выглядит по-прежнему: выборы народных депутатов — комедия, в которой они не участвуют, коммунисты остаются коммунистами, а Эстония — оккупированной страной. При этом создается впечатление, что в их позиции наряду с моральным ригоризмом и идейным догматизмом есть и нечто от стремления сохранить привычное и ставшее психологически удобным положение «гонимых, преследуемых».

Но время работает на радикалов, выводя их из «вечной оппозиции» и подталкивая к борьбе за власть. По мере того как возможность независимости становится все реальнее и переходит из области мечты в область осознанных и громко провозглашенных целей, одновременно растет и популярность тех, кто всегда требовал независимости. Сейчас, когда всякий политик изобретает все мыслимые и немыслимые способы представить себя в прошлом «гонимым старым режимом», у них в этой сфере нет соперников. Но вместе с тем общественность все менее склонна считать их утопистами. Опросы показывают, что с конца 88-го года по конец 89-го популярность среди эстонцев Партии национальной независимости неуклонно растет.

Кроме того, в среде радикалов складывается идея, позволяющая им перейти к борьбе за власть на своих условиях, сохранив положение принципиальной, «революционной» оппозиции. Идея — проста и ясна. Поскольку оккупация Эстонии и все ее последствия — незаконны, правопреемником Эстонской Республики может быть лишь Конгресс Эстонии — орган, выражающий волю ее бывших граждан и их потомков. Таким образом, необходимы регистрация граждан и проведение выборов в Конгресс. Мигрантам оставляется лишь право просить об эстонском гражданстве, и до восстановления независимости они регистрируются как «просители», имеющие на Конгрессе право совещательного голоса.

Идея комитетов граждан вызвала ужас у правящей национально-либеральной верхушки. Однако они были созданы, быстро распространились во всей Эстонии, постепенно зарегистрировали большинство тех, кто «имел на это право», и начали подготовку к выборам в Конгресс. В конце концов в предвыборную кампанию включились все политические силы эстонцев, фактически признав стоящую за идеей Конгресса Эстонии логику, признав правоту радикалов и пойдя за ними.

1989 год — время бурного процесса создания в Эстонии политических партий. Возникло их множество — точное число мне выяснить не удалось; некоторые известны мне только по названию (да и сами эстонцы о них совершенно ничего не знают). Количество членов в каждой из них исчислялось порой даже не сотнями, а десятками человек. Партии слабые, зачастую эфемерные, без какой-либо массовой опоры. С чем же связан их бурный рост?

Прежде всего, разумеется, с тем, что создание партий стало возможным и безопасным. Компартия распадается и отказывается (и в масштабах Эстонии, и СССР в целом) от монополии на власть. Теоретически это могло бы привести к усилению Народного фронта и перекачке в него сил из Компартии Эстонии. Однако этого не произошло. Думаю, тому есть две причины. Во-первых, это стремление различных политических деятелей полностью перечеркнуть свое коммунистическое прошлое, создать себе в глазах избирателей совершенно новый образ. Во-вторых, это усиление конкурентной борьбы, расшатывающей и весь эстонский «консенсус», и народнофронтовское единство, хрупкое и не спаянное прочной партийной дисциплиной. И если бы кто-то решил выступить на выборах как бывший коммунист и нынешний член Народного фронта, то это и не зачеркнуло бы его прошлого, и вместе с тем ничем не выделило его из толпы соперников, состоящей из бывших членов КП и народнофронтовцев.

Иное дело — заявить о своей принадлежности к какой-то новой, с ярким и respectable названием партии. Это сразу выделяет тебя из массы, делает заметным

и прибавляет к твоему личному авторитету еще и авторитет этого названия. Особенно если это название партии, которая имеется в каждом «приличном европейском государстве», скажем, в независимой демократической Германии или Швеции, и, стало быть, должна существовать и в независимой демократической Эстонии. Объявив о создании такой партии, ты прочно «застолбляешь» для себя место в эстонской политике и, что немаловажно, можешь претендовать на место в международном сообществе подобных партий (со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями). На рынок выбрасывается товар с самыми разными «европейскими» этикетками, что далеко не всегда означает, что содержимое отличается одно от другого.

К сожалению, нет возможности познакомить читателя со всем пестрым спектром этих новых партий, в какой-то мере отодвинувших Народный фронт на задний план. Во всем этом процессе очень много личного. Эстония — маленькая страна, где все знают друг друга и где поэтому много значат личные привязанности, обиды, антипатии, которые сразу же принимают политическую и идеологическую форму. В этом было нечто маскарадное, «карнавальное». И наиболее остроумные люди осознавали эту карнавальность и даже пародировали ее. Так в конце 1990 года, когда пик бурного создания партий уже прошел, возникла Эстонская роялистская партия, привлекавшая около двухсот членов, что по тамошним масштабам совсем не мало. Ее лидер, тартуский математик К. Кулбоху, утверждал, что, несмотря на то, что вероятность установления монархии в Эстонии — 0,0001 процента, она все же выше, чем вероятность коммунизма. «Мы не хотим,— заявил он,— чтобы нашу партию воспринимали очень серьезно. И без того достаточно сверхсерьезных группировок... Хорошо, если нам удастся иногда разрядить обстановку».

Все процессы создания новых партий и организаций идут на фоне стремительного распада Компартии Эстонии. начавшегося именно тогда, когда к власти приходит «национальное» и «прогрессивное» руководство, «повернувшееся лицом к народу». Именно в этот период, когда в воздухе еще звучит лозунг о единстве партии и народа, начинается выход из партии, прежде всего эстонцев, который в 1989 году принимает обвалный характер. Звучат одно за другим гротескные «прозрения», давно уже переставшие вызывать сенсацию. Партия разваливается на глазах, хотя возможность ее ухода с политической арены все еще кажется невысказанной.

В этой ситуации, чтобы как-то сохраниться в качестве политической силы, во всяком случае среди эстонцев, компартии необходимо было обрести то, чего у нее никогда не было и быть не могло,— свое специфическое лицо, свою идеологию, которые могли бы привлечь какую-то группу избирателей. Но найти их было крайне сложно.

Естественной для КПЭ (я говорю об эстонской ее части) являлась идеология умеренно «консервативная» и умеренно же «прогрессивная», непосредственно вытекающая из настроений руководства партии и положения, в котором оно оказалось. Но чтобы занять место консервативных в эстонском политическом спектре, коммунистам надо было отринуть все свое прошлое, всю свою символику. Это было нереально. Кроме того, чтобы стать «нормальной» консервативной партией, КПЭ нужно было размежеваться с Москвой и русской своей частью, имевшей совсем иные стремления и идеологию. Но это означало утратить свое особое назначение «моста» между Эстонией и Москвой, эстонцами и русскими. А ведь постоянное напоминание об этой миссии стало едва ли не основным средством борьбы эстонской компартии за выживание.

Роль «моста» и «связующего звена» сохраняли до последнего и ценой каких-то невысказанных компромиссов все-таки сохранили. Но с каждым месяцем, по мере того как в самом центре власть КПСС становится все более призрачной, мост этот становится все более шатким и все менее нужным кому-либо. Да и для самой партийной верхушки партия стала не так уж и нужна. Те, кто не убежал сломя голову создавать какую-то новую партию, нашли элегантно способ отстраниться от компартии, не порывая с ней: они создали союз «Ваба Ээсти» («Свободная Эстония») — не партию, требующую от своих членов выхода из других политических организаций, а именно «объединение», «Демократический избирательный союз» с платформой, название которой прекрасно отражает ее идеологию: «Терпимость, компетентность, сотрудничество». «Ваба Ээсти» как бы перехватывает у компартии ее реальную идеологию, и у КПЭ остается функция «в чистом виде».

НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЭПОХИ

Выборы в Верховный Совет Эстонии знаменуют собой начало новой стадии в эволюции эстонской политической жизни. К началу 1990 года все уже сказано. Смелостью высказываний и символических действий больше никого не удивить. Более того, если раньше смелость заключалась в отказе вступить в Компартию Эстонии, затем в выходе из нее, то нынче нужна была определенная смелость, чтобы остаться коммунистом. И одновременно свободные выборы приводят к власти новых людей.

Возникает принципиально новая ситуация. Если раньше движение политического деятеля к власти зависело исключительно от соответствия его слов глубинным убеждениям и чаяниям масс, то теперь впервые начинает приобретать значение эффективность его действий.

Но это происходит лишь очень медленно и постепенно. Переход от революции к «спокойной» политической жизни, от праздника к будням — процесс психологически тяжелый и болезненный. Первое время после смены власти еще продолжается инерция радикализации, фактически ставящая Эстонию на грань гражданской войны.

В начале 1990 года в Эстонии сложилась очень неустойчивая ситуация «троевластия» выборных органов с неясными взаимоотношениями, каждый из которых в какой-то мере претендует на полноту власти в стране.

Прежде всего это — впервые демократически выбранный Верховный Совет из 105 депутатов (100 — выбранных гражданским населением и 5 военных). По социальному составу он весьма интеллигентен. Но в нем доминируют люди, выдвинувшиеся речами на митингах и статьями в газетах и сохранившие тенденцию превращать и сам парламент в подобие митинга, в место для произнесения ярких речей, рассчитанных скорее на телезрителей, чем на коллег. Проблема кворума в Верховном Совете стоит очень остро. Как истинно советские люди (эстонцы здесь очень мало отличаются от русских), депутаты могут пропустить любое, самое важное заседание, если открывается перспектива совершить поездку в Швецию. Депутатский корпус политически очень поляризован, и многие депутаты (и эстонцы радикалы, и некоторые русские) вообще сомневаются в правомочности Верховного Совета, который они рассматривают как какое-то временное, переходное образование (или к нормальному парламенту свободной Эстонии, или к «нормальной» советской власти). Но мало того, что Верховный Совет слаб изнутри, низок и его общественный авторитет. Он попал в клещи, его сжимают с двух сторон.

«Справа» от него — Конгресс Эстонии и избранный им Комитет Эстонии во главе с Т. Келамом. Едва собравшись, конгресс сразу же объявил себя правопреемником Эстонской Республики, без согласия которого любые акты, касающиеся судьбы Эстонии, неправомерны.

«Слева» — созданный «русскоязычными» депутатами Комитет по защите советской власти и гражданских прав.

Таким образом, возникли три центра силы (а если прибавить сюда московское правительство и местные Советы, которые в этой ситуации далеко не всегда подчинялись кому бы то ни было, то этих центров окажется еще больше) — ситуация, чреватая анархией и гражданской войной. Какие сложились отношения между этими силами?

Лидеры конгрессистов занимают по отношению к Верховному Совету жесткую позицию собственного «правового превосходства». Они считают его переходным органом на переходный период — до конца оккупации. Он может заниматься мелкими хозяйственными вопросами, но все, что касается судеб Эстонии, должно согласовываться с конгрессом, имеющим безусловное право вето. Господствующие в конгрессе национал-радикалы продолжают вести ожесточенную антикоммунистическую пропаганду, приобретающую истерический характер.

Летом 1990 года одна за другой следуют «символически провокационные» акции. В июле Общество охраны памятников старины созвало в поселке Тори съезд эстонцев — участников войны на стороне Гитлера. Можно представить, какую это вызвало бурю негодования, и прежде всего у ветеранов войны, которых как раз к этому времени таллинский горисполком лишил всех льгот. Начались какие-то неопределенные передвижения советских войск на территории Эстонии. Эти маневры привели в панику правительство, которое официально заявило, что на Тори идет колонна советских танков, и добилось отмены съезда, после чего последовало заявление командования

Прибалтийского военного округа о том, что велись обычные учения, а танков вообще не было.

В начале августа члены возрожденной военизированной организации «Кайтселийт», объявившей о своем подчинении конгрессу, убрали в Тарту памятник Ленину, вымазали его краской и повесили на шею изваянию табличку с надписью «Коммунизм равен фашизму». В начале сентября кайтселийтчики установили пограничные столбы вдоль старой эстонской границы на территории РСФСР.

Таким образом, на правительство и Верховный Совет оказывалось мощнейшее давление. Они были поставлены перед выбором: или продемонстрировать свою патриотичность и готовность бороться за свободу Эстонии, пусть и мягкими методами, или же «показать народу свою сущность» оккупационных органов, прислужников Москвы.

И парламент, и правительство уступили, тем более что большинство эстонских депутатов в той или иной мере разделяли основные принципы конгрессистской идеологии и сами были не очень-то уверены в своей правомочности.

В марте 1990 года Верховный Совет принял постановление «О государственном статусе Эстонии», гласящее, что советская власть незаконна с самого момента ее установления, что восстанавливается Эстонская Республика и государство вступает в переходный период, ведущий к полной независимости. Отныне законы СССР действуют в Эстонии лишь в случае регистрации их Верховным Советом. (М. Горбачев издал указ о незаконности этого постановления, что еще года полтора назад было бы воспринято как серьезный конституционный кризис, но на этот раз его, можно сказать, и не заметили.) Одновременно принимается декларация, в которой «Верховный Совет признает конгресс Эстонии в качестве представительного органа граждан Эстонской Республики и восстановителя государственной власти Эстонской Республики на основе правовой преемственности». Вслед за этим приняты: закон, окончательно уничтожающий советскую и восстанавливающий старую символику; закон об основах временного управления Эстонией, согласно которому отношения с СССР должны строиться на основе Тартуского договора 1920 года; и наконец, документ уникальный, должно быть, в мировой парламентской практике — «Постановление о программе деятельности на переходный период», в котором Верховный Совет обязуется все свои действия в вопросах, связанных с государственностью Эстонии, согласовывать с конгрессом и образованным им Комитетом Эстонии.

Итак, правительство и эстонское большинство Верховного Совета склонились под давлением конгресса, с самого начала сдав ему важнейшие позиции. Если прибавить к этому постоянное, хотя и бесплодное обсуждение закона о гражданстве (то есть фактически вопроса о том, какую часть русских лишить гражданства), резкое падение жизненного уровня, неясность судьбы союзных предприятий и общую неопределенность, связанную с предполагаемым возвращением имущества старым владельцам, то нетрудно представить, в какой психологической обстановке оказались местные русские. Ясно, что «красная Вандея» должна была ожесточенно сопротивляться.

Сопrotивление шло по двум разным, хотя и взаимодействующим друг с другом направлениям, обусловленным различным положением русских в Таллинне и в городах Северо-Востока.

В Таллинне ситуация была самой напряженной. Здесь ощущалось особо сильное давление эстонской антимигрантской волны. Именно поэтому столица стала основной базой Интердвижения — наиболее решительной и агрессивной фракции русского сопротивления. При этом возник своего рода порочный круг. Радикализм таллиннских «интеров» побудил их к бойкоту выборов в горсовет, и в итоге в городе, где больше половины населения — русские, городская власть оказалась в руках эстонской крайне националистической группировки. Горсовет сразу же провел целую серию дискриминационных антимигрантских мер, что, естественно, еще более обострило русскую реакцию.

Наступательные действия эстонских властей вызвали события, которые подвели Эстонию вплотную к гражданской войне. 15 мая 1990 года Комитет защиты советской власти и гражданских прав созвал митинг, на котором прозвучали требования отмены новых «сепаратистских» законов, отставки Сависаара и Рюителя. Никто из эстонских руководителей к митинговавшим не вышел. Страсти разгорались. Несколько участников митинга проникли на крышу здания Верховного Совета, сняли эстонский флаг и вывесили

красный. Через некоторое время его сняли. Тогда рабочие во главе с руководителем Республиканского забастовочного комитета М. Лысенко взломали ворота и ворвались во двор Верховного Совета (впоследствии правительство изображало эти действия как попытку государственного переворота). Рабочие столпились во дворе и затем, поддавшись уговорам русских депутатов, стали расходиться. Между тем Сависаар то ли от испуга, то ли решив использовать ситуацию для «сплочения эстонского народа», не дожидаясь результатов переговоров депутатов с митингующими, по радио обратился к эстонцам с призывом идти к Тоомпеа на помощь правительству. И когда русские рабочие возвращались с митинга, им навстречу устремились толпы стекающихся к Тоомпеа эстонцев. Столкновение было, казалось, неизбежным, но все обошлось. Стороны лишь обменялись взаимными оскорблениями.

Этот инцидент стал кульминацией таллинских страстей, после чего настал некоторый спад. Штурм Тоомпеа осудили все русские лидеры. Против М. Лысенко было возбуждено уголовное дело, и ему пришлось уйти в «подполье». В конфликт вмешалась Москва: в Комитет защиты советской власти и гражданских прав была послана телефонограмма, забастовка прекратилась.

Однако движение «русскоязычных» отнюдь не угасло. Напротив, оно пошло по пути создания альтернативных Верховному Совету органов власти. В конце мая в Кохтла-Ярве под охраной военных прошел Первый съезд народных депутатов всех уровней и делегатов от трудовых коллективов ЭССР. Съезд избрал Межрегиональный совет, состоящий из Совета Старейшин и двух палат — палаты представителей трудовых коллективов и палаты депутатов местных Советов (некая аналогия парламента), и Совет народного хозяйства (как бы правительство).

Несмотря на то, что политическая структура, объединяющая всех русских, все же относительно хрупка, в трех русскоязычных городах Северо-Востока набирали силу процессы, развитие которых могло привести к созданию прочного объединения и установлению независимой или фактически независимой от Таллина власти. (С этой опасностью Эстония вновь столкнулась в 1993 году.)

События мая 1990 года стали пиком межнациональных страстей в Эстонии. Они ускорили создание альтернативных структур власти, которые в свою очередь стали вводить борьбу в более организованное и спокойное русло. Повторения ситуации 15 мая никто не хотел. И тем не менее в январе 1991 года — новый взрыв.

Связан он с вильнюсскими событиями, породившими приступ страха — одновременно и невротического, и вызванного реальными фактами. В Эстонии многие были уверены, что это — начало переворота и что за Литвой неминуемо последует Эстония. Глубинные страхи перед заговором КГБ, всегда таившиеся в эстонском — и вообще в советском — сознании, ожили с новой силой.

Драматизм ситуации усугубился приездом в Эстонию Б. Ельцина, который полностью солидаризовался с прибалтийцами. Он призвал армию не дать использовать себя «реакционными силами», а ООН — отложить войну с Ираком и заняться Прибалтикой. С представителями русского населения Ельцин встретиться отказался. (Сависаар тут же заявил, что отныне, после визита Ельцина и российско-эстонского договора, «каждый русский, который борется с устремлениями Эстонии, борется с Россией».) 15 января в Таллине проходит митинг русского населения, где звучат антиельцинские лозунги, а плакаты обвиняют: «Ты предал нас, Лже-Борис». Объявляется новая забастовка. Митинг прошел без «эксцессов». Тем не менее на Тоомпеа привозятся громадные гранитные блоки, из которых сооружается некое подобие баррикад — символ готовности эстонцев сопротивляться. Сависааровское правительство проводит регистрацию эстонских десантников, а в ночь с 20 на 21 января в Таллине раздаются взрывы у зданий ОСТК и республиканского забастовочного комитета.

В непосредственной связи с этими событиями находится политическая голодовка русских депутатов Верховного Совета — С. Петинова и В. Лебедева — с требованием проведения международной экспертизы законов, принятых ВС, на предмет их соответствия правам человека, а также выработки механизма защиты прав меньшинства. Голодовка эта, насколько можно судить, — акт отчаяния, вызванного полной невозможностью быть хоть как-то услышанными в Эстонии или России, что с особенной яркостью выявил приезд Ельцина. Верховный Совет, естественно, взбурдюрился. Начались даже «контрголодовки» эстонских депутатов в знак протеста против нее.

Тем не менее все кончилось благополучно. Верховный Совет решил передать свои

законы международным экспертам (хотя о самой экспертизе мне ничего не известно) и всерьез заняться правами меньшинства. Голодовка кончилась. А вскоре после того, как правительство заявило, что оно «склоняется» к предоставлению гражданства всем живущим в республике, и пообещало, что в случае приватизации не менее 51 процента акций пойдет трудовым коллективам, кончилась и забастовка.

По ощущению опасности, по силе возникших страхов, по общественному резонансу за пределами Эстонии январский кризис значительно превосходит майский. Но в действительности он был менее глубоким. Его масштабы в значительной мере связаны с событиями в Литве и ожесточенной борьбой за власть в России. Несмотря на страхи перед разного рода заговорами, и эстонцы, и русские вели себя в январе спокойнее, чем в мае.

В эстонском обществе происходят глубокие психологические изменения, постепенно создающие совершенно иной политический климат. Революционная волна начинает спадать.

Прошло время радости и энтузиазма, время праздника. Мощные тюремные двери, за которыми — свобода и счастье, начали чудесным образом открываться при звуках труб и всеобщем ликовании. Но то, что открывалось за ними, оказалось не миром богатства и радости, а суровыми буднями. Мифология начала сталкиваться с реальностью.

Прежде всего достижение независимости оказалось делом не то чтобы более трудным, но вообще чем-то совсем иным, чем думалось прежде. С одной стороны, сопротивление Москвы было предельно слабым. Никто не мешал провести свободные выборы в Верховный Совет, созвать Конгресс Эстонии. Практически никто не мешал (указания на неконституционность не сопровождались никакими репрессивными действиями) принять все многочисленные документы, каждый раз в более яркой и торжественной форме провозглашавшие свободу Эстонии. Никто не мешал Верховному Совету принимать любые законы, которые он сочтет нужными.

Кажется, что в этой слабости сопротивления таилось что-то обидное. У эстонских лидеров и активистов появилась даже потребность изобразить борьбу более жесткой, чем она была на самом деле. Гранитные глыбы на Тоомпеа, которые якобы преграждают дорогу танкам, — памятник этой потребности, символическое выражение титанической борьбы, которой не было...

С другой стороны, достижение независимости со всеми ее «предельными» атрибутами — очень сложно. Советская Армия осталась в Эстонии. Во внутренние дела она не вмешивается, и вообще-то ее пребывание можно игнорировать. Но выгнать ее очень трудно. Каждое независимое государство вроде бы должно иметь свою армию. Но создавать ее — дорого и совершенно бессмысленно. Даже ввести свои деньги оказывается невыгодно...

Кроме того, для эстонцев оказалось очень сложным определиться в вопросе, без решения которого невозможно юридически бесспорное достижение независимости. Это вопрос о гражданстве. Эстония оказалась между Сциллой и Харибдой. Можно, конечно, объявить восстановление Эстонской Республики, в которой гражданами признаются те, кто имеет на это юридическое право, то есть потомки эстонских граждан 1940 года. Таково самое простое и очевидное решение. Но практически осуществить его невозможно, ибо оно ведет к лишению гражданства шестисот тысяч человек, которые непременно будут сопротивляться и в этой ситуации уже реально могут рассчитывать на помощь «соседнего государства». К тому же пограничные районы Эстонии, и прежде всего столь важная в экономическом отношении Нарва, окажутся заселенными «негражданами» Эстонии. Так что, как ни близка эта идея сердцу эстонцев, она очень опасна.

Нелегким оказалось и экономическое положение Эстонии при всех надеждах, связанных с «ИМЕ». Кроме общих для всех причин, связанных с трудностями перехода «от социализма к капитализму», здесь действуют и некоторые специфически эстонские причины.

Во-первых, это — последствия «идеологического» разрыва связей с Москвой. Многие эстонцы, например, были очень недовольны развитием своего свиноводства. В нем виделось нечто унижительное, и Э. Сависаар даже сказал «историческую фразу»: «Эстония не должна быть свинарником для Союза». Поставки свинины сократили. Но в ответ получили сокращение поставок комбикормов, пришлось забивать скот, и резко упали заготовки мяса и молока...

Во-вторых, к общему хаосу, порожденному переходом к рынку, прибавился специфический хаос, рожденный все тем же эстонским «юридизмом». Если уж восстанавливать старую Эстонию, значит, надо восстанавливать в правах собственника и старых владельцев. Но как это делать — неясно, и к чему это приведет — еще менее ясно. Однако сразу же возникла неразбериха, вызванная появлением бывших хуторян или их детей, требующих у колхозов назад землю. Не легче было и с бывшими квартирными владельцами. В декабре 1990 года Верховный Совет был даже вынужден принять постановление, которое приостанавливало возвращение бывшим владельцам и их наследникам жилищ, которые были «добросовестно» приобретены за плату их новыми обитателями. Возникла всеобщая неуверенность в своих правах и завтрашнем дне, весьма благотворная для спекуляций и жульничества, достигших колоссальных размеров и очень мало способствующих честному производительному труду.

Наконец, экономические трудности усугубляются и дорогостоящими действиями по обретению разных атрибутов независимости. При всем идеологическом «антибюрократизме» народнофронтовцев сависааровское правительство лишь увеличило государственный аппарат и расходы на него. При этом правительство в своих расходах, очевидно, отражает интересы своей специфически интеллигентской и интеллигентско-бюрократической социальной базы. Так очень резко (непропорционально на общем фоне) выросла зарплата преподавателей вузов, очень большие деньги тратятся на творческие командировки деятелей искусства за границу. Вообще бесконечные поездки правящей элиты за рубеж за казенный, разумеется, счет приобрели скандальный размах.

К экономическим трудностям, ухудшению жизненного уровня и неуверенности в завтрашнем дне добавляются и моральные разочарования. Новая, пришедшая к власти группировка виделась цветом Эстонии, ее интеллектуальной и нравственной элитой. Но люди эти оказались не то чтобы какой-то «кучкой негодяев», но обычными средними людьми с обычными человеческими недостатками и грехами. Депутаты озабочены своим благосостоянием, организуют распределение в своей среде «дефицита», пользуются любым способом попасть за границу. Отношения в правящей верхушке начинают напоминать войну пауков в банке... Одним словом, «новые люди» при всей их большей образованности немногим лучше «старых».

Естественно, что в обществе наступают усталость и разочарование. «Два года назад мы все пели, кричали «ура» оратору, а сейчас что? В основном, молчание. Нет уже таких песен, лозунгов, митингов. Люди перестали даже улыбаться», — говорит И. Каллас.

На смену энтузиазму приходит апатия, и ясно, что в этой новой ситуации должна возникнуть и новая расстановка политических сил...

Я обрываю свое изложение на моменте, когда в логику эстонского политического процесса врывается мощный внешний фактор. В России произошел августовский путч, неожиданно подаривший Эстонии долгожданную независимость. На мой взгляд, этот свалившийся с неба подарок судьбы осложнил ситуацию, вновь радикализовав национальное движение и затруднив уже намечавшиеся процессы интеграции русских в эстонское общество. Наверное, не только для русских, но и для Эстонии было бы лучше, если независимость наступила не так внезапно и несколько позже, когда общество в какой-то мере устоялось и решило наиболее болезненные проблемы, в том числе и русскую. Тем не менее очевидно, что эта проблема будет решена. Насколько я себе представляю, сейчас в Эстонии на новом витке спирали идут интеграционные процессы.

Эстонцы не самый легкий в общении народ. Но они смогли провести всю свою революцию, не пролив ни капли крови — ни своей, ни русской.

ГЕННАДИЙ ЛИСИЧКИН

Непонятый Маркс

Самый страшный черт тот, который молится богу.

Польская пословица

Во всех бедах, свалившихся сейчас на нашу голову, мы обвиняем многих, кроме, естественно, самих себя. В развале экономики СССР огромную долю вины одни возлагают на КПСС и всех ее первых руководителей, начиная с Ленина и кончая Горбачевым; другие винят жидо-масонов, которым покровительствовала КПСС и ее руководители; третьи — копают в глубь истории и убеждают, что это Маркс и Энгельс наших вождей и всех нас попутали. Это, мол, они завели нас, как Иван Сусанин, в непроходимые топи, где мы теперь и пропадаем. В этой ситуации надо бы наконец разобраться. И вот почему.

Если наш многомиллионный народ семьдесят с лишним лет слепо верил и тупо следовал за своими вождями к пропасти, путь к которой указали два научных мошенника сто и более лет тому назад, то, видимо, туда нам и дорога. Даже малый ребенок, цапнув раз горячий утюг вопреки предупреждениям родителей, второй раз не будет настаивать на своих капризах и сделает далеко идущие выводы на всю жизнь, то есть не только утюг, но и все другие раскаленные предметы он перестанет хватать голыми руками. Так что надо разобраться во взаимоотношениях Маркса и его последователей с нашим несчастным народом.

И еще один важный аспект. Наши крупнейшие ученые еще вчера до небес перевозносили мудрость Маркса и Энгельса, убеждая нас и себя, что, следуя только их учению, можно преобразовать мир так, чтобы всем людям на земле жилось легче, а справедливости добиваться было бы проще. Сейчас эти ученые сразу и дружно замолчали, а некоторые из них, как и положено попам-расстригам, оплевывают своих вчерашних кумиров, не замечая, что плевки эти густым слоем покрывают прежде всего их костюмы и даже их степенные ученые лица. Наша интеллигенция, которая и вчера претендовала, и сегодня претендует на роль народного поводыря, в каком положении она оказалась? Куда же она завела и заведет нас дальше, если, судя по ее сегодняшнему отношению к Марксу, или лицемерие, или элементарная безграмотность составляет ее сущность?

Итак, если мы бараны, которых пасут жуликоватые пастухи, то дела наши настолько плохи, что и говорить об этом не следует. А может, все это не так? Может быть. Но чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться, насколько в наших бедах виноваты К. Маркс и Ф. Энгельс, а насколько мы сами, со своим российским менталитетом.

На мой взгляд, не официальные бывшие марксисты, живо переметнувшиеся в стан противников марксизма, а диссидент и «антисоветчик» А. Авторханов абсолютно прав, когда в своей статье «Духовные предтечи Ленина» (ж-л «Слово», IV, 1991) доказывает, что большевизм в России ничего общего не имеет с марксизмом, что он прямо противоположен ему и философия его своими глубинными корнями восходит в первую очередь к российской почве, таким революционным деятелям, как Бакунин, Нечаев, Ткачев, Лавров, Чернышевский, с заимствованием многих раскритикованных Марксом положений у Бабефа и Бланки. Маркс и российские большевики, доказывает

Фрагмент из книги «К. Маркс — злейший враг большевиков», выходящей в издательстве «Полифакт».

А. Авторханов, враги и антиподы по своим основным взглядам на организацию общественной жизни страны.

Русский философ Лев Шестов, наблюдавший победное шествие большевистской власти по России после Октября 1917-го, уже тогда рассмотрел сущность большевиков: «Они сами формулируют свою задачу так, что сперва нужно все разрушить, а потом лишь начать создавать... Само собой разумеется, что Маркс не признал бы в людях, возвестивших такую программу, своих учеников и последователей. Маркс полагал, что социализм есть высшая форма хозяйственной организации общества, с такой же железной необходимостью вытекающая из предыдущей буржуазной организации, с какой буржуазное хозяйство следовало за феодальным... Задача социализма соответственно этому представлялась Марксу как задача созидательная. Превратить буржуазное хозяйство в хозяйство социалистическое значило путем перехода к высшей, улучшенной организации производства не разрушить, а увеличить производительность страны, это была задача положительная. От нее большевики сразу отказались, ибо, очевидно, чувствовали, что не их дело создавать. Гораздо проще, легче, доступнее существовать на счет того, что раньше было сделано. И большевики ведь, в сущности, ничего не разрушают. Они просто живут тем, что нашли готовым в прежнем хозяйственном организме» («Что такое русский большевизм?» Ж-л «Странник» № 1, 1991, с. 51).

Почему я считаю выводы А. Авторханова и Л. Шестова о диаметральной противоположности марксизма идеологии большевиков правильными? Постараюсь обосновать свое мнение сравнением позиций большевиков и марксистов по нескольким кардинальным проблемам.

Если перечитать знаменитую речь Энгельса на могиле Маркса, то можно легко убедиться, что главной заслугой Маркса марксисты считали не то, что он придумал социализм и ради него призвал людей срочно силой уничтожить существующие порядки, а частную собственность превратить в общественную. Об этих идеях, приписываемых сейчас Марксу, не было сказано на его могиле ни одного доброго или худого слова, так как современникам Маркса даже в голову не могло прийти, что потомки могут приписать ему идеи, с которыми он всю жизнь страстно боролся. Энгельс сказал тогда, что у Маркса перед наукой две главные заслуги. Первая — в том, что он доказал первичность в жизни общества экономики, житейских потребностей людей, а не идеологических выдумок, на которые так горазды фантазеры и фанатики. И вторая заслуга — открытие прибавочной стоимости и связанной с ней отчужденности работника от результатов труда, что тормозит общественный прогресс...

А как же с социализмом, обобществлением собственности, диктатурой пролетариата? — спросит читатель. Все это вторично, третично или вообще гроша ломаного не стоит, с точки зрения Маркса, если игнорируются два вышеприведенных вывода. Марксизм не допускает никаких предположений, если жизнь не подтверждает их правильность показателями эффективности. Энгельс в одном из писем Лафаргу прямо говорит об этом: «Коль скоро речь идет о «человеке науки»... то у него не должно быть идеала, он вырабатывает научные результаты, а когда он к тому же и партийный человек, то он борется за то, чтобы эти результаты были применены на практике. Человек, имеющий идеал, не может быть человеком науки, ибо он исходит из предвзятого мнения».

Марксов социализм — это отнюдь не тот идеал, за осуществление которого мы смело в бой пойдем и как один умрем в борьбе за «ЭТО». Маркс готов от него отказаться, если социализм окажется менее экономически эффективен, чем капитализм.

Итак, первое принципиальнейшее отличие марксизма от большевизма состоит в том, что марксизм на первое место ставит экономику, ее эффективность, большевики — политику, стремление любой ценой добиться того, что им взбредет в голову. Подлинные марксисты весьма снисходительно относились к тем огромным недостаткам, порокам, которые присущи капитализму, считая глупостью выдумывать и строить такое общество, которое возьмет у прошлого все хорошее и выбросит все плохое. Этот свой взгляд они обосновывали весьма «оппортунистически»: «Пока тот или иной способ производства находится на восходящей линии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается в убытке от соответствующего ему способа распределения. Так было с английскими рабочими в период возникновения крупной промышленности. Более того: пока этот способ производства остается еще общественно-нормальным, до тех пор господствует, в общем, довольство распределением, и если протесты и раздаются в это время, то они исходят из среды самого господствующего класса (Сен-Симон, Фурье,

Оуэн) и как раз в эксплуатируемых массах не встречаются никакого отклика. Лишь когда данный способ производства прошел уже немалую часть своей нисходящей линии, когда он наполовину изжил себя, когда условия его существования в значительной мере исчезли и его преемник уже стучится в дверь — лишь тогда все более возрастающее неравенство распределения начинает представляться несправедливым, лишь тогда люди начинают апеллировать от изживших себя фактов к так называемой вечной справедливости. Эта апелляция к морали и праву в научном отношении нисколько не подвигает нас вперед; в нравственном негодовании, как бы это ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом. Ее задача состоит, напротив, в том, чтобы установить, что начинающие обнаруживаться пороки общественного строя представляют собой необходимое следствие существующего способа производства... Гнев, создающий поэтов, вполне уместен как при изображении этих пороков, так и в борьбе против проповедников гармонии, которые в своем прислужничестве господствующему классу отрицают или прикрашивают эти пороки; но как мало этот гнев может иметь значения в качестве *доказательства* для каждого данного случая, это ясно уже из того, что для гнева было достаточно материала в *каждую* эпоху всей предшествующей истории» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 153).

Итак, пороки капитализма, какими бы страшными они ни были, по Марксу, совсем недостаточное основание, чтобы уничтожить его и на развалинах строить что-то новое. Важно другое — изжил себя этот строй или нет. Вот вопрос вопросов, от ответа на который зависит вся последующая деятельность революционеров. Было время (и долгое), когда Маркс и Энгельс верили, что капитализм уже стал полутрупом, и ожидали вот-вот революции, которая откроет путь человечеству к социализму. Ленин еще в 1907 году замечает по поводу революционных прогнозов Маркса и Энгельса буквально следующее: «Да, много ошибались и часто ошибались Маркс и Энгельс в определении близости революции, в надеждах на победу революции (например, в 1848 году в Германии), в вере в близость германской «республики»... Они ошибались в 1871 году, когда заняты были тем, чтобы поднять Юг Франции, для чего они... жертвовали и рисковали всем, что было в силах человека» (Ленин В. И. ПСС, т. 15, с. 249).

Иными словами, вывод Маркса и Энгельса, сделанный в 1848 году в «Манифесте», о том, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, не подтверждался и, следовательно, хоронить капитализм было преждевременно, если не быть авантюристом. Наблюдая за развитием общественных процессов, Энгельс в конце своей жизни вынужден был признать это откровенно и мужественно: «История показала, что и мы, и все мыслившие подобно нам, были неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства», что капиталистическая основа, на которой происходило это развитие, «**обладала еще очень большой способностью к расширению**» (выделено мной.— Г. Л.) (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 535).

С принципиальностью ученого, которая абсолютно непонятна некоторым нашим обществоведам, Ф. Энгельс отмечал: «История пошла еще дальше: она не только рассеяла наше тогдашнее заблуждение, но совершенно изменила и те условия, при которых приходится вести борьбу пролетариату. Способ борьбы, применявшийся в 1848 году, теперь во всех отношениях устарел».

Такой Маркс, такой марксизм, конечно, никак не устраивали большевиков, рвавшихся в немедленный революционный бой за свержение капитализма. Для них он оставался гнилым и трухлявым, обреченным немедленно рассыпаться в прах при первом решительном ударе. Об этом Ленин категорично заявил в своей известной работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.), где обошел молчанием вышеприведенный вывод Энгельса о способности капитализма к самоусовершенствованию, не удостоив его даже голословным опровержением. Характерно, кстати, что когда на VIII съезде РКП(б) в 1919 году принималась программа партии, Ленин категорично настаивал: «Тот капитализм, который был обрисован в 1903 году (старая программа.— Г. Л.), продолжает оставаться и в 1919 году в Советской пролетарской республике, как раз благодаря разложению империализма, в силу его краха».

Верой в скорый крах империализма, сгнившего якобы на корню, большевики морочили нам голову все долгие десятилетия, пока сами не «крахнули».

Итак, **второе принципиальнейшее отличие марксизма от большевизма — оценка способностей капитализма к обновлению и расширению.**

Несомненным достижением нашего общества и его нынешнего руководства является признание того давно для всех разумных людей очевидного факта, о котором еще задолго до Октябрьской революции говорил, как уломиналось, Энгельс, что капитализм не только не сгнил, а обрел «второе дыхание» и рванул далеко вперед в своем развитии, оставив своих растерявшихся могильщиков у ямы, в которую им, тудягам-землекопам, впору ложиться теперь самим. Не будем обольщаться тем, что это признание явилось результатом упорного, напряженного аналитического большевистского ума: оно вырвано под давлением той силы, которую обнаружил капитализм в своем противостоянии большевистским претензиям на мировое господство. Не будем и раздумывать о том, как сейчас проходит процесс осознания реальности и вживания в нее. Это особая тема для исследования. Но отметить крутой поворот в развитии нашей страны в связи с переоценкой состояния здоровья капитализма крайне важно.

Хотя и обольщаться всем этим тоже особо не стоит, поскольку главный постулат Маркса о примате экономики над политикой остается по-прежнему неприемлемым для властей, официально порвавших с большевизмом. В этом мы убеждаемся каждый день и по нескольку раз на дню. Развал СССР в той форме, в которой он был осуществлен, определение границ суверенитета новых государств и регионов, споры вокруг проекта новой Конституции и многое другое доказывают, что новые власти являются духовными наследниками классических большевиков.

Но продолжим сравнивать наше большевистское мышление с идеологией марксизма. Исходя из разных оценок степени зрелости капитализма, его «способностей к расширению», Маркс и большевики по-разному смотрели и на необходимость обобществления собственности. Марксисты четко различали обобществление как юридический акт и его экономическую сущность и предостерегали от опасности смешения этих двух понятий. Энгельс в «Анти-Дюринге» в разделе о социализме разъясняет, при каких условиях частная собственность превращается в общественную. «Это возможно лишь в том случае, когда средства производства или сообщения *действительно* перерастут управление акционерных обществ, когда их огосударствление станет *экономически неизбежным*, только тогда — даже если его совершит современное государство — оно будет экономическим прогрессом, новым шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в свое владение все производительные силы. Но в последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода фальшивый социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, объявляющий без околичностей социалистическим всякое огосударствление, даже бисмарковское. Если государственная табачная монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число основателей социализма. Когда бельгийское государство из самых обыденных политических и финансовых соображений само взялось за постройку главных железных дорог; когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главнейшие прусские железнодорожные линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае войны, для того чтобы вышkolить железнодорожных чиновников и сделать из них послушно вотирующее за правительство стадо, а главным образом для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, — то все это ни в коем случае не было шагом к социализму, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. Иначе — должны быть признаны социалистическими учреждениями королевская Seehandlung, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 289).

Как видим, марксисты настроены очень оппортунистически в отношении перспектив обобществления собственности. Они готовы тотчас капитулировать и отступить от своих намерений обобществлять что-либо, если обнаружится, что данный субъект не готов, не созрел для этого. Их лозунг прост и гуманен: ни одна форма собственности не устраняется из жизни до тех пор, пока не исчерпает всех своих резервов развития роста.

Большевики, естественно (для них), никак не могли согласиться с тем, чтобы, как советовали Маркс и Энгельс, подождать, когда шашлык дожарится, а яблоко созреет. Им хотелось слопать все сразу и немедленно. Медицине известно, какой результат бывает от такого торопливого потребления неготового продукта. Большевики вопреки предупреждениям Маркса и Энгельса обобществили не только то, что не созрело до раннего капитализма, но и производство, которое находилось на уровне феодального общества (ремесла), и даже попытались вогнать в социализм такие виды производства, которые

оставались на уровне еще более примитивном. Обобществлять у крестьян коров, свиней, кур могли только сумасшедшие или книжники, которые обалдели от чтения уже первых страниц «Капитала» Маркса. Следовательно, **марксизм и большевизм подходят с диаметрально противоположных позиций к вопросу обобществления. И это их третье важнейшее различие.**

Обращаясь к событиям сегодняшнего дня, мы опять должны отметить громадный прогресс в сознании нашего общества, его новых руководителей, решивших наконец привести в соответствие уровень экономического и юридического обобществления, то есть осуществить приватизацию так называемой общенародной собственности. Но сделать это оказалось делом безумно трудным. И в первую очередь потому, что приватизаторы, бывшие коммунисты, понимают разгосударствление собственности по-большевистски, как простую смену юридического собственника. Вся система производственных отношений остается при этом либо прежней, либо такой несовершенной и запутанной, что новый собственник должен неизбежно погибнуть. И мы вместе с ним.

Особенно ярко это вскрылось в кампании по разрушению колхозов, совхозов, в попытках заменить их фермерами. Банки, кредиты, налоги, правовая система, ценообразование, материально-техническое снабжение, сфера услуг функционируют в сельском хозяйстве настолько старорежимно (стараясь к тому же взять с крестьян даже побольше, чем прежде), что фермер-собственник никогда не сможет встать на ноги, тем более, внедрить индустриальную технологию производства. Государство, расписываясь в своей полной неспособности организовать производство для удовлетворения нужд человека, хочет провести приватизацию так, чтобы всю ответственность за результаты хозяйствования свалить на нового собственника, оставляя за собой, то есть за своими чиновниками, по-прежнему все основные командные позиции. Что коллективизация, что приватизация в большевистском исполнении едва ли не ведет к голоду и разрухе.

Непонимание разницы между юридическим и экономическим уровнем обобществления привело к тому, что большевики разошлись с Марксом, Энгельсом и в оценке роли насилия в деле развития общественных процессов. Подлинные марксисты признавали необходимость созидательного насилия, которое сравнивали с ролью повивальной бабки, то есть акушерки, а не насилия головореза, вспарывающего живот своей жертве. Поэтому, критикуя Дюринга, духовного предтечу большевиков, утверждающего, что «...первичное все-таки следует искать в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической силе» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 162), Энгельс, как бы обращаясь через голову своих современников к русским большевикам, наставлял их: «...Насилие есть только средство, целью же является напротив — экономическая выгода...» «Насилие не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги, да и от этого не бывает много толку...» «Если бы,— продолжает объяснять Энгельс — «хозяйственное положение», а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны попросту зависели... от политического насилия, то было бы невозможно понять, почему Фридриху-Вильгельму IV не удалось после 1848 года, несмотря на всю «доблестную армию», привить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности его страны, или почему русский царь, который действует еще гораздо более насильственными средствами, не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может даже удержать свое «насилие» иначе, как беспрерывно делая займы у «хозяйственного положения» Западной Европы» (там же, с. 188 — 189).

Как современно звучат эти слова Энгельса сегодня, подтверждая несостоятельность большевистского и небольшевистского насилия над экономикой. **Как видим, оценка роли насилия в жизни общества даже противопоставляет большевизм марксизму. И это уже четвертое серьезнейшее отличие, которое не может быть упущено при сравнении двух учений.**

Встав на путь полной ревизии марксизма как комплексного учения о динамике развития общества и не утруждая себя тем, чтобы теоретически опровергнуть основные выводы Маркса и Энгельса на этот счет, большевики не приняли и положение их о том, что социализм может утвердиться только при условии его победы одновременно в нескольких наиболее экономически развитых странах. Большевики отвергли этот тезис как «капитулянтский» и заверили мир в том, что социализм прекрасно можно строить и построить в отдельно взятой стране, причем наиболее отсталой в Европе. Они не только

заявили о такой возможности, но вскоре после своего прихода к власти уже рапортовали о построении социализма в СССР.

На XVII съезде партии в 1934 году было заявлено, что «уже за годы первой пятилетки построен фундамент социалистической экономики», а еще через два года Сталин писал: «Наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило в основном социализм, создало социалистический строй, т. е. осуществило то, что у марксистов называется первой или низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном первая фаза коммунизма» (Сталин И. В. Вопросы ленинизма. Изд. II, с. 553).

Пройдет немного времени, и партия в своей новой программе запишет обещание к 1980 году закончить в полуголодной стране строительство фундамента коммунизма. Спрашивается, какое отношение все это имеет к Марксу, Энгельсу, к их учению о социализме? Заметим, **это уже пятое отличие, резко отделяющее большевиков от Маркса.**

Наконец, **шестое, может быть, самое важное отличие марксизма от большевизма.** Я имею в виду высокий уровень аморальности большевиков, возведенной ими в принцип, которым они гордились особо, считая это качество в человеке главным для участия в революционном преобразовании мира. Ленин на этот счет афористично сказал: в политике нет морали, а есть целесообразность. И еще в том же духе на III съезде комсомола: нравственно лишь то, что служит интересам коммунизма. Это убеждение легло в основу морального разложения общества, которое большевики упорно осуществляли все прошедшие долгие десятилетия. И, как известно, с большим успехом.

Здесь нет нужды в напоминаниях о том, какого размаха и какой глубины морально-го падения достигли большевики, используя этот ленинский тезис о вседозволенности в практике управления государством. Не только ГУЛАГ, не только Катюнь, но и человеческие отношения даже в высших эшелонах власти были отмечены глубокой печатью аморальности, беззакония, поскольку властям всех уровней разрешалось трактовать законы как им вздумается, а огромное пространство человеческой жизни, не охваченное правом, вообще превращалось в джунгли с их специфическим порядком, основанным на силе, т. е. на насилии. Только перед своей политической смертью большевики заговорили о правовом государстве. Раньше они отрицали саму эту идею.

Известно, какое огромное значение Маркс и Энгельс придавали морали и праву. Жалко, что здесь нельзя переписать начало работы Энгельса «Анти-Дюринг» для тех высоких критиков марксизма, которые его, видимо, не читали или эта работа им была не по возрасту сложна. Но каждый, кто прочитает хотя бы эти страницы, посвященные разъяснению Марксова понимания проблем морали и права, естественно, поймет, что в рамки марксизма никак не укладывается ни Павлик Морозов, ни подвиги жен и мужей, писавших доносы друг на друга и на ближних, ни поведение обвинителей и обвиняемых на позорных процессах 1937/38 годов, ни героизм М. И. Калинина, стойко работавшего президентом страны («всесоюзный староста»), даже когда его жена работала в ГУЛАГе на «легкой» работе — давила вшей в белье арестантов, ни стойкость В. М. Молотова, не покинувшего капитанского (премьер-министр) мостика и тогда, когда его жена — Жемчужина — была посажена в тюрьму.

А чего стоят слова трагически-героического теоретика большевиков Н. И. Бухарина, который без тени сомнения в правоте начавшегося правового беспредела писал своему партийному другу К. Е. Ворошилову в 1936 году: «Обнимаю... циник-убийца Каменев — омерзительнейший из людей, падаль человеческая... Что расстреляли собак, страшно рад». И еще слов не вампира Сталина, а мягкого Н. И. Бухарина в том же 1936 году: «Мы проводили массовые уничтожения беззащитных людей вместе с их женами и детьми... Но поток движется вперед, в том направлении, в котором должен течь. В нем люди... растут и строят новое общество» (ЛГ, 22 марта 1989 г.). Какие люди растут и какое общество строят? Может быть, возвращаясь к К. Чуковскому, следует признать правоту его слов: «Сколько ни говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, темным».

Чтобы осознать всю глубину той пропасти, которая отделяет Маркса и Энгельса от большевиков, от их философии, надо сопоставить также их позиции по национальному вопросу, по вопросу о принципах внешней политики пролетарского государства. Марксисты на этот счет высказывались весьма категорично: «Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 298). Известны и такие

афористичные слова Энгельса: не может быть свободен народ, угнетающий другие. В справедливости этих слов мы могли убедиться на собственном опыте.

Чем больше побед одерживали большевики в навязывании своих порядков (сначала на территории бывшей царской империи, потом, накануне второй мировой войны, в Прибалтике, Финляндии, Польше, после войны — в странах Восточной Европы, на Дальнем Востоке; наконец, позорная агрессия в Афганистане), тем глубже погружалась Россия в нищету, бесправие, автаркизм. Зная все это, зная теперь те детали авантюристической внешней политики большевиков, которые тщательно скрывались от общественности, можно ли, не кощунствуя, говорить о марксистском происхождении большевистской философии в тонком деле строительства отношений с разными народами и странами? Конечно, нет. **И это (седьмое) расхождение по национальному вопросу тоже позволяет говорить о том, что марксизм враг большевизма.**

Наконец, необходимо обратить внимание еще на одно важное отличие марксизма от большевизма. Как известно, Маркс, Энгельс усиленно подчеркивали гуманистическую природу нового, идущего на смену капитализму общества, где свобода личности, всестороннее развитие индивидуума станет условием свободы и развития всех членов общества. В том «социализме», который строили и построили большевики, личность, индивидуум рассматривается как необходимая жертва, которая приносится на алтарь интересов государства, идентифицируемого со всем обществом.

О противоположном марксизму взгляде большевиков на место, роль человека в новом обществе можно говорить много, но лучше Сталина сказать невозможно. Он, как помним, отвел человеку роль «винтика», болтика в громадном общественном механизме. Не больше.

По основным проблемам преобразования общества на социалистических началах Маркс и большевики расходились в диаметрально противоположных направлениях. Таких расхождений мы насчитали восемь. **Маркс, как видим, был терпеливым эволюционистом, большевики — нетерпеливые революционеры, фанатики, авантюристы.**

Маркс и Энгельс не только предостерегали, но и предсказывали все главные последствия хозяйничанья большевиков-революционеров, если они когда-нибудь, где-нибудь придут к власти. Напомним только некоторые их предостережения, которые были нами полностью проигнорированы. Ну, прежде всего это попытка «конституировать» в плановом порядке стоимость товаров на базе издержек производства, то есть на затратах труда, и обеспечить тем самым справедливый обмен товаров. Маркс саркастически комментировал последствия такого порядка на бытовом примере.

«Предположим,— писал он,— что Петр проработал двенадцать часов, а Павел только шесть часов, в таком случае Петр может обмениваться с Павлом только шестью часами на шесть часов; остальные же шесть часов останутся у него в запасе. Что сделает он с этими шестью рабочими часами?

Или ровно ничего не сделает, и таким образом шесть рабочих часов пропали для него даром, или он просидит без работы другие шесть часов, чтобы восстановить равновесие, или, наконец,— и это для него последний исход — он отдаст эти ненужные ему шесть часов Павлу в придачу к остальным.

Итак, что же в конце концов выигрывает Петр по сравнению с Павлом? Рабочие часы? Нет. Он выигрывает только часы досуга, он будет вынужден бездельничать в продолжение шести часов. Чтобы это новое право на безделье не только признавалось, но и ценилось в новом обществе, это последнее должно находить в лениности величайшее счастье и считать труд тяжелым бременем, от которого следует избавиться во что бы то ни стало. И если бы еще, возвращаясь к нашему примеру, эти часы досуга, которые Петр выиграл у Павла, были для Петра действительно выигрышем! Но нет. Павел, который вначале работал только шесть часов, достигает посредством регулярного и умеренного труда того же результата, что и Петр, начавший работу чрезмерным трудом. Каждый захочет быть Павлом, и возникнет конкуренция, конкуренция лениности, с целью достичь положения Павла.

Итак, что же принес нам обмен равных количеств труда? Перепроизводство, обесценение, чрезмерный труд, сменяемый бездействием, словом, все существующие в современном обществе экономические отношения за вычетом конкуренции труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 106—107).

Как удивительно точно эту картину, нарисованную Марксом в те давние времена, воплотили большевики. Подставьте в Марковом рассуждении к имени более искусного

работника Петра слово «ударник», «стахановец» — и все встанет на свои места, все наши недостатки осветятся ярким светом.

Маркс и Энгельс предупреждали и об опасности уничтожения денег в их классическом качестве товара всех товаров, а не в роли бумажек, подтверждающих те или иные трудовые затраты. Это грозит губительными диспропорциями в структуре производства — предостерегали нас Маркс и Энгельс. И опять же саркастически, просто издевательски они изображали те порядки, которые установят большевики, дорвавшись до власти.

«Если же мы теперь спросим, какие у нас гарантии, что каждый продукт будет производиться в необходимом количестве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке, или что мы не будем испытывать недостатка в брюках, чтобы прикрыть свою наготу, среди миллионов пуговиц для брюк, то Родбертус с торжеством укажет нам на свой знаменитый расчет, согласно которому, за каждый излишний фунт сахара, за каждую непроданную бочку водки, за каждую не пришитую к брюкам пуговицу выдана правильная расписка, расчет, в котором все в точности «совпадает» и по которому все претензии будут удовлетворены, и ликвидация этих претензий совершится правильно. А кто этому не верит, тот пусть обратится к счетоводу Икс главной кассы государственного казначейства в Померании, который проверял счет, нашел его правильным и как человек, еще ни разу в недочете по кассе не уличенный, заслуживает полного доверия» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 190).

И это, как видим, сказано не в бровь, а в глаз про нашу сегодняшнюю жизнь. На полках магазинов до вчерашнего дня, пока инфляция не достигла катастрофических размеров, годами лежала куча неходовых товаров, а за теми, что нужны покупателю, очереди, давка, черный рынок, спекуляция и всякие другие отвратительные явления, достойные того «социализма», который строится на примитивных представлениях о жизни общества, но несовместим с научным социализмом — альтернативой развития человечества. Как показал долгий опыт, нашей беде не поможет никакая смена вождей. Нужна смена принципов функционирования общества.

К. Маркс и Ф. Энгельс «предостерегали» большевиков и от попытки реализовать сумасбродную идею превращения денег в средство, обеспечивающее лишь более или менее равное потребление, но не выполняющее сквозной функции всеобщего эквивалента. Деньги, выступающие в качестве удостоверения часов, проведенных человеком на общественной работе, и дающие ему лишь право на такое количество продуктов, в которых овеществлено равное количество труда, такие деньги долго не просуществуют. Они постепенно, но уже в деформированном виде будут превращаться в настоящие деньги, восстанавливая в разных уголках «нового» общества прежние, по существу, производственные отношения. Энгельс, можно сказать, втолковывал большевикам простые истины, доказывая несостоятельность попыток добиться социальной справедливости, кастрируя институт денег. «Холостяк,— писал Энгельс,— великолепно и весело живет на свой ежедневный заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовец с восемью несовершеннолетними детьми может лишь скудно прожить на такой заработок... Налицо оказывается возможность и мотив, с одной стороны, для образования сокровищ, с другой — для возникновения задолженности... А так как собиратель сокровищ имеет возможность заставить нуждающегося платить проценты, то... восстанавливается также и ростовщичество» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 315—316). Это что касается судьбы денег, так сказать, на внутреннем рынке. Но помимо социализма в отдельно взятой стране существует остальной грешный мир, где жизнь идет по старинке, то есть где золото и серебро остаются мировыми деньгами, всеобщим покупательным и платежным средством, абсолютным воплощением богатства. У тех «социалистических» граждан, у которых накапливаются деньги, объясняет вторую простую истину Энгельс, будет обязательно рождаться желание превратить их в конвертируемую валюту. И тогда: «Ростовщики превращаются в торговцев средствами обращения, в банкиров, в господ, владеющих средствами обращения и мировыми деньгами, а следовательно, в господ, захвативших в свои руки производство и самые средства производства, **хотя бы эти последние еще много лет продолжали фигурировать номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны** (выделено мной.— Г. Л.). Но тем самым эти превратившиеся в банкиров собиратели сокровищ и ростовщики становятся также господами самой хозяйственной и торговой коммуны. «Социалитет» г-на Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от «туманных представлений» других социалистов. Он не

преследует никакой другой цели, кроме возрождения крупных финансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна будет самоотверженно изнурять себя работой,— если она вообще когда-нибудь возникнет и будет существовать. Единственным для нее спасением могло бы явиться лишь то, что собиратели сокровищ предпочтут, быть может, при помощи своих мировых денег не медля ни минуты... сбежать из коммуны» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 316). Что, как известно, миллионы наших людей и делают.

Нельзя отрицать, что большевики смогли построить новое общество. Построили. Построили не благодаря, а вопреки идеям Маркса. Поэтому, как и предупреждали марксисты, это получился казарменный, *«специфически прусский социализм»* (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 309). В этом отношении, как видим, Маркс оказался полностью прав, выступая футурологом, предсказывая трагедию, которую переживает наша страна, наши народы, решившие строить свою жизнь без учета опыта мировой истории.

Так в чем же Маркс все-таки оказался не прав? На мой взгляд, в главном. В том, что, отказываясь говорить о конкретных путях и способах строительства социализма, он утверждал, будто следующие поколения будут не глупее его современников и они найдут правильные решения сложных проблем. В этом, как мы убедились, он сильно просчитался. Но жизнь продолжается, и надо иметь мужество признавать ошибки и пытаться исправлять их. Нужен ли нам в этом случае Маркс, его учение? Безусловно. Но не для того, чтобы, как прежде, прикрывать цитатами из его работ свою дурь, а с тем, чтобы, учитывая философию Аристотеля, Канта, Гегеля, Фейербаха, быть способными выработать практические решения, соответствующие времени, месту, ситуации. Прислушаемся к тем, кто умеет так поступать. Когда Гельмута Шмидта, бывшего в то время лидером влиятельной парламентской фракции, спросили однажды, как он относится к Марксу, в какой мере на практике руководствуется его идеями, тот ответил: «Вы знаете, мы Марксом не руководствуемся, мы его уважаем как большого ученого. А руководствуемся мы волей народа и интересами наших избирателей» («Правда», 19 марта 1993 г.).

Конечно, если в работах Маркса, Энгельса искать ответ на вопрос, как выращивать картошку и кукурузу, какие машины и сколько выпускать, где и сколько мелиорировать земель, в результате можно только дискредитировать великое учение и подорвать экономику страны. Гегель, Кант, Фихте, Фейербах, Смит, Рикардо, Маркс, Энгельс... пишут не о том, пишут не для тех, кто занимается такими важными конкретными практическими делами. Но тот, кто руководит народами, должен проникнуть с помощью их работ в логику исторического развития. Пока нам это не дано.

Воздавая должное Марксу, его учению, надо быть в то же время снисходительным к нему и не требовать того, на что он не претендовал: быть учителем всех времен и народов. На эту должность история, мы с вами, читатель, выдвинули, как известно, другого человека. А про Маркса очень хорошо сказал Альбер Камю: «Наши сопоставления призваны лишь доказать, что учение Маркса, не будучи началом и концом человеческой мысли, как того хотелось бы современным разнузданным марксистам, представляется, напротив, выражением его человеческой природы: Маркс был сначала чьим-то продолжателем, а потом чьим-то предшественником. Его учение, которое он считал реалистическим, и было таковым в эпоху обожествленной науки, дарвиновской теории эволюции, паровых двигателей и текстильной промышленности. Но ведь через сотню лет наука столкнулась с относительностью, неопределенностью и случайностью, а экономике пришлось считаться с электричеством, черной металлургией и атомной энергией. И неспособность «чистого» марксизма усвоить всю эту энергию достижений оказалась также свидетельством краха современного ему буржуазного оптимизма. Этот крах делает смехотворными попытки марксистов цепляться за устаревшие на сто лет, а потому переставшие быть научными истины» («Бунтующий человек». М. 1990, с. 271).

МИХАСЬ ТЫЧИНА

Там, где тишина и покой

СОТВОРЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

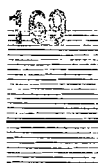
Человеческая история состоит из повторений. К сожалению или к счастью — это как посмотреть. С одной стороны, создается ощущение, что у нас единая историческая судьба, и это прекрасно. А с другой... Как-то странно читать в прессе конца нашего века то, что уже было в его начале. Что оспорено самой историей. В начале века, в период второго белорусского Возрождения (первое было отголоском общеевропейского и дало белорусам Франциска Скорину и Миколу Гуссовского), правая печать, созданная для противодействия движению белорусской нации к собственной государственности и культуре, не уставала повторять: белорусы — ополяченные русские, а белорусская культура — выдумка десятка литераторов, собравшихся вокруг газеты «Наша Ніва». Мол, дирижируемые «иностранцами» (поляками, евреями, прибалтийскими немцами), писатели и публицисты, не знающие своего же, белорусского, языка, гимназисты, органисты, сельские акушерки и сельские учителя принялись писать книги и издавать газеты на «варварском жаргоне», совершенно не понятном местным «западнорусским» людям. А в конце этого же века, в период третьего по счету белорусского духовно-культурного Возрождения, печать, именующая себя уже левой, с той же самой настойчивостью повторяет те же самые «аргументы». Странно, что до сих пор не возобновлено издание дореволюционных газет-побратимов под названием: «Голос провинции», «Минская русская жизнь», «Окраина», «Северо-Западный край», «Северо-Западная жизнь» или же «Северо-Западная копейка» (историкам известно разрешение некоему Тасьману издавать газету под таким названием).

Цитаты даны в переводе с белорусского языка автора статьи.

Увы, претендующая на центризм пресса тоже время от времени откатывается в некоторых своих публикациях на несколько десятилетий назад, упорно не признавая «беларусчину».

Так, некто Энн Эпплбаум из Лондона (!), проездом побывав в Мирском замке («реликвии средневековой Литовской империи») и проведя ненастный день в Минске («сидя в крошечной комнатке под крышей удручающе серого здания и внимая группке белорусских интеллектуалов»), категорически заключает, что имеет дело с еще одной попыткой «изобретения» новой нации («как в Африке»). Интеллектуалы эти «страшно далеки от народа», прозябающего в том же Мире и совершенно индифферентного к национальной идее, называющего себя, как и сто лет назад, «тутэйшым» (tutejshy). Их историческая аргументация крайне ограничена: ни королей, ни героев, ни военных побед, ничего из того, что составляет признаки национальной культуры; язык древний, не моложе английского, но он не имел литературной нормы до начала нынешнего века. А что же есть? Австро-венгерские карты, на которых показаны этнические границы белорусов, интеллектуал эпохи Возрождения Ф. Скорина, переведший Библию на белорусский, записи нескольких дюжин народных песен, фотографии крестьянских костюмов и рушников, украшенных красно-белым орнаментом, да еще неистребимый оптимизм: «Если в нашем языке нет какого-то слова, мы его придумаем. Мы будем как боги, мы можем создать новый мир».

Дело не в очевидных передержках, превращающих «аналитическую статью» в рядовой фельетон. Во всей Европе не найти народа, который бы на все сто процентов осознавал себя нацией. Важнее, насколько широко распространено это самосознание в народе. Усилиями той самой группки



интеллектуалов, начиная с Янки Купалы, автора трагикомедии «Тутэйшыя» («Здесь»), и кончая молодыми литераторами-бунтарями, сознательно разыгравшими фарс, создав несколько лет назад объединение под тем же названием, слово «тутэйшыя» наконец утратило свою серьезность, чего, к сожалению, не заметила Энн Эпплбаум.

Появившаяся в ежемесячнике «Европейское время», выходящем в Минске с недавних пор, статья эта под откровенным заглавием «Симуляция рождения нации» отражает весьма определенные настроения в обществе. Если одна его часть искренне озабочена медлительностью строительства белорусской государственности, то другая, состоящая, как не раз замечено, в основном из обрусевших белорусов, очень надеется, что путь национально-культурного возрождения окажется бесконечно длинным. «Быть белорусом сейчас не много значит», — уверена автор статьи. Почему же? «Польский язык приобщает вас к Европе, а русский — это язык власти. Польские священники могут привезти подарки с Запада, а русские начальники — дать работу в Минске». Ну и дела! Но как же тогда быть с известным фактом, что национальное движение — это прежде всего феномен духовной жизни народа? Таковым оно и было у белорусов изначально. Разве только о хлебе насущном думали студенты Санкт-Петербургского университета, члены белорусского землячества, когда осенью 1881 года заявили о своем намерении бороться за национальное освобождение белорусов? Или герой Янки Купалы, гордо заявивший: «Человек я, хоть мужик»? И не «вообще» человек, а в его неповторимом белорусском варианте: «Я — мужик-белорус».

«Изобретение», «эксперимент», «симуляция» — приговор окончательный, а потому перспектива незавидная: еще одно искусственное национальное образование в геополитическом центре Европы. И вот уже маячит перед глазами пример Югославии... А ведь все еще можно легко поправить! Стоит только «впрыснуть небольшую дозу технологии и процветания» — и враз исчезнет нужда в исторических экзерсисах, а заодно и в самих националистах, тем более что национализм их заимствованный — у предшествующей, такой же малочисленной группы интеллектуалов. Правда, интеллектуалы эти — Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Горецкий, Кузьма Чорный, Иван Мележ, Максим

Танк, Василь Быков. (Но они не были представлены Энн Эпплбаум, и она лично не знакома с ними.) Именно они и те, кто безоглядно поверил им и последовал за ними, хорошо понимая аморфность нации и удивительную неразвитость национального самосознания, приложили и прилагают все усилия, чтобы «создать национальный миф, используя те факты, которыми они располагают». Сколько всего тех фактов, а в результате, как вынуждена с сожалением заключить автор статьи, «последний кусочек донационалистической Европы исчезнет навсегда...».

Создание национального мифа? Творение легенды? Так ведь в этом процессе заложен отнюдь не только негативный смысл. Над созданием белорусской легенды действительно немало потрудились наши классики, национальная интеллигенция. «Белорусский путь», «белорусская идея» — это уже целый, к сожалению, слабо разработанный идеологами современного национального движения сюжет. Куда он нас зовет, этот особый, отличный от иных, соседских, путь? Из «египетского плена» да в «землю обетованную»? Вряд ли! Как свидетельствует вся тысячелетняя история края — от Полоцкой Руси до Руси Белой, — райским уголком он никогда не был: хороша природа со всеми преимуществами средней полосы, так плохо начальство... Начальство сменилось — природа после Чернобыля не выдерживает чрезмерной нагрузки современной технологической цивилизации... Но, может, это путь на Голгофу? После всего, что пережито: Куропат, Хатыни, Чернобыль?.. А ведь была возможность выйти наконец из «зазеркалья» на свет исторического дня! Но и вторая попытка возрождения сошла на нет в результате «поголовщины» тридцатых годов: стоило лишь ГПУ-НКВД арестовать и выслать за пределы республики около 180 литераторов, ученых, общественных деятелей, которые и составляли тоненький слой национальной интеллигенции, и оставалось уже надеяться только на волю Божию. «И поплывет твоя золотая ладья на остров Патмос», — запишет однажды вечером в своем дневнике вернувшийся после тяжелых земляных работ сосланный в далекую Вятку Максим Горецкий. На острове Патмос, как известно, Иоанну Богослову явился Иисус Христос и открыл ему будущее. Свое будущее Максим Горецкий, как и другие его «подельники», знал. Предвидел он и Апокалипсис, который в близком будущем предстояло

пережить его народу, недаром в последнем романе «Комаровская хроника» писатель предпринял почти библейскую перепись жителей родной гибнущей, уходящей под воду деревни, «крестьянской Атлантиды» (формула А. Адамовича). Увы, его духовные наследники, современные писатели, потеряв почву и утратив ориентиры, попали вместо Патмоса на Лысую гору.

Большой миф о «белорусском пути» закрепили, казалось, необратимые изменения, которые подобались за несколько «коммунистических» десятилетий к генетическому коду нации. Родства непомнящие Иваны-Янки, янычары, манкурты, национальные мутанты — эти, за неимением собственных, чужие обозначения интернационального явления, ставшие популярными в белорусской патриотической прессе, выявили тем не менее действительное состояние нации. За ними мчится на коне грозный рыцарь из «Погони» Максима Богдановича: «Бейте, бейте их в сердце мечами! Не давайте им быть чужаками!..» И это из области национальной мифологии? Да, отсюда! Но не вымышлено само явление. Прототипов купаловского Зноска-Зносилового-Зносилово, меняющего свою фамилию в зависимости от того, какая нынче власть, в реальной жизни оказалось столько, что рыцари-меченосцы растерялись... Под горячую руку попали и те, кто только показался манкуртом-изменником.

Впрочем, в пространстве мифа, как и положено, все меняется местами: верх и низ, небо и почва, правда и кривда. Недавние романтики превратились в прагматиков, а вчерашние ортодоксы стали яростными патриотами. И чем больше потрудились в прошлом на ниве гонений и преследований, тем старательнее нынче... Странно читать, скажем, публичное признание в горячей любви к Беларуси небезызвестного у нас, да и в Москве И. И. Антоновича — бывшего завотделом ЦК КПБ, затем проректора Академии общественных наук при ЦК КПСС, позднее секретаря ЦК РКП, а ныне проректора Института стратегических исследований при Совмине Республики Беларусь: «...не все коммунисты — национальные нигилисты, противники самостоятельности и независимости Беларуси. В частности, автор этих строк считает суверенитет родной Беларуси наивысшей исторической ценностью, которую следует беречь изо всех сил». Выкупив таким простым способом индульгенцию, этот профессор считает естественным по-отечески поучить неопытного политика Зено-

на Позняка, лидера Белорусского народного фронта и парламентской оппозиции, уму-разуму: «Очень часто ему свойственно то, что в полемике называется «передержкой темы». Он так долго ругал коммунизм, что теперь повторяет почти одни и те же послышки, независимо от того, что коммунизма уже нет на нашей земле... Он все еще сражается против номенклатуры КПСС, хотя она исчезла». Весьма примечательны смягчающие, раньше бы сказали — редактором вставленные, слова: «ситуация оппозиции немного вредит БНФ», «активность З. С. Позняка немного подводит его», «стремление БНФ «сделать все по-своему» немного вредит этому движению». Зачем, мол, запугивать народ бедами, когда нужны «совместные действия», «общественное согласие», «солидарность как главный принцип наших (!) реформ»... «Давайте объединимся в этой великой цели (процветание родной Беларуси.— М. Т.) и поработаем тихо, терпеливо и прилежно во благо нашей Родины». Миф о возможности братания национал-большевиков с национал-патриотами являет собой вовсе не мифическую опасность.

Тот же БНФ упрекают за отсутствие ясной экономической программы. Мол, созданное гуманитариями, это движение озачинено лишь духовным обновлением края и утверждением своей национальной идеи. Однако в нынешних условиях, когда телега с горшками несется с горы, уже обычный здравый взгляд на вещи значит очень много. Кто мы? как нация? Только хлебоеды-бульбяники? И лозунги у нас простые и понятные: сначала хлеб, а затем песня? Или все же вначале было Слово? Белорусское слово — которое, как сказал поэт, обесилевшим лебедем кружит над могилами Купалы, Коласа, Богдановича, Стрельцова?.. Какой высокой поэзией оваян образ хлеба насущного в устах мужика-белоруса! Для него это понятие прежде всего духовное: «Не ты хлеб несешь, а хлеб тебя несет». Такое же духовное, как и все, что окружает белоруса. Может, именно в кровной привязанности к родине и заключается та самая неразгаданная «тайна национальности», вокруг которой столько ученых шаманов отплясывают кадрили?

Миф? Национальная легенда? Сны о Беларуси?..

После Купалы, автора стихотворения «Наследство», после Коласа с его «Новой землей», после К. Чорного с его просто «Землей», после «Комаровской хроники» М. Горещкого, «Людей на болоте» И. Мележа,

«Птиц и гнезд» Я. Брыля столько книг написано белорусскими писателями о родном крае, что сомневаться в действительной исторической основе национального мифа о Беларуси по меньшей мере странно. Это ж надо — кто-то один, то ли Рогволод, то ли Всеслав Чародей, то ли Ефросинья Полоцкая, то ли Франциск Скорина, своевольно свернул на боковую тропку, и все гурьбой повалили вслед за ним! И вот вам результат — легенда о народе, блуждающем во мраке истории, запамятавшем свое историческое имя...

ЛЕКАРСТВО ОТ АМНЕЗИИ

Как мы живем? Большинство — одним днем. В прошлое углубляемся неохотно. Помним деда, и хорошо. А будущее? Будет то, что будет. Что завещано. А что завещано? Когда-то никто знать не знал о существовании таких населенных пунктов, как Куропаты, Хатынь, Чернобыль, — сейчас это не просто названия, но зловещие знаки на белорусском пути. Могли бы избежать этой Божьей кары? Наверно, могли. Ведь всегда были люди, не забывающие о прошлом и угадывающие будущее. «Живу, и ощущение у меня такое, как будто мне не пятьдесят лет, а пять столетий — самое малое», — писал А. Кулешов.

Пять столетий — самое малое. А самое большее? Отметили тысячелетие христианства на Беларуси. Однако же и до принятия новой религии у белорусов была своя история. По крайней мере, письменная наша история насчитывает более тысячи ста лет, а город Полоцк впервые упоминается в летописи под 862 годом от рождества Христова. С этим знанием, казалось бы, мы и должны жить и, как шофер в боковое зеркало, время от времени озирать пройденный путь. Особенно на такой скорости, с которой мчимся в наше завтра. Тем более при въезде на общечеловеческую магистраль. Увы, до недавних пор мы видели свое прошлое в кривом и сильно замутильном зеркале многочисленных мифов. Хорошо, если ошибались невольно. По наивности, из-за незнания. Потому что так учили в школе, где курс белорусской истории или отсутствовал вовсе, или преподавался в адаптированном Лаврентием (еще один Лаврентий на нашу голову!) Абецедарским и его «последователями» виде. Имя абецедарским, убежденным, что до семнадцатого года была лишь предьстория, — легион. Под знаком этих глубоких познаний и тво-

рилась семидесятилетняя «эпоха большого скачка». Наши деды еще что-то помнили из прошлого, но они полегли в Куропатах: с лета тридцатого по июнь сорок первого был уничтожен цвет белорусской интеллигенции — писатели, историки, философы, языковеды, этнографы, археологи и краеведы. Какие-то фрагменты истинного знания еще несли в своей памяти наши отцы, но они сгорели в бесчисленных Хатынях. Историческая цепь вот-вот должна была оборваться окончательно.

Лекарство от амнезии (болезни беспамятства) — знание о прошлом. Историческая правда. В этом единодушно убеждены лучшие наши ученые и писатели. Впрочем, ученых как раз очень мало: М. Ермалович, братья В. и А. Грицкевичи, К. Тарасов, М. Ткачев, А. Кавко, А. Сидоревич, В. Круталевич, З. Позняк, М. Чернявский... «Рыцари прекрасной словесности», за редким исключением, длительное время упражнялись в том, кто полочнее совет о давних и недавних событиях. За несколько лет гласности в белорусской литературе было сделано немало, чтобы продолжить в новых условиях дело, начатое В. Короткевичем, и вернуть белорусское историческое мышление в естественное русло общечеловеческой истории. В результате реставраторского труда ученых и писателей (среди последних читатель обычно выделяет В. Орлова, К. Тарасова, Л. Дайнеку, О. Ипатову, Т. Бондарь, Р. Боровикову, В. Ковтун) из-под слоев позднейшей бездарной мазни понемногу проступает красочная фреска тысячелетнего движения белорусов во времени. Опусевшее после «татарских» набегов фальсификаторов историческое пространство постепенно заселяется... Княжна Рогнеда, отстоявшая достоинство белорусской женщины и не подчинившаяся насилию, с ее горделивым: «Не хочу разути рабынича!» Князь Константин Острожский — победитель крымских татар. Великий князь Витовт, победивший крестоносцев под Грюнвальдом. Ефросинья Полоцкая, патронесса и заступница Беларуси, создавшая вокруг Полоцка атмосферу духовности и любви к книге и тем самым подготовившая почву под посев общечеловеческих идей, сконцентрированных в христианстве. Канцлер Лев Сапега — приверженец суверенитета Великого княжества Литовского, ведения делопроизводства на белорусском языке, редактор европейски знаменитого свода законов — Устава 1588 года... Да, королей действительно не было, и Энн Эпплбаум здесь

совершенно права! Были князья, канцлеры, полководцы, ученые, писатели... Имена многих оболганы. Еще совсем недавно о Ф. Скорине писали, что он «распространением религиозных книг на родном языке содействовал развитию общенационального рынка» и делал это «в интересах купечества», а не «люда посполитого!» Ну, а вождя восстания 1863 года К. Калиновского зачисляли в «польские шовинисты» и «идеологи польской шляхты», хотя при этом не удосуживались объяснить, зачем ему понадобился белорусский язык, чтобы издавать свою газету-прокламацию «Мужицкая правда»...

После всего открывшегося в нашем прошлом можно уверенно утверждать: перед современниками предстал во многом неизвестный народ. Художественное освоение этого феномена дается трудно. Современная белорусская историческая проза не только восполняет и уточняет, но и существенно корректирует национальную легенду о белорусах, активно создаваемую в свое время Владимиром Короткевичем. Читатели его романа «Колосья под серпом твоим» так и остались в недоумении, почему же этот, рожденный для реставрации исторической панорамы, великолепный прозаик и поэт, наделенный не только редкой эрудицией, но и даром художественного воображения (как прекрасно сказал А. Тарковский: «Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем»), почему он так и остановился в преддверии события, о котором задумал написать. Представьте себе, что Л. Толстой, написав об Аустерлицком сражении, застыл бы в нерешительности перед картиной Бородинского поля. Конечно же, о восстании 1863 года и его руководителе К. Калиновском после августа 1968 года говорить правду открыто было невозможно и опасно. Как бы читались в те глухие времена, например, эти слова героя романа — из неосуществленной части его: «Человек свободен — когда он имеет кусок своей земли... когда делает все, что ему по душе и что не обижает ближнего и славы божьей, и когда исповедует ту веру, которую исповедовали его отцы, деды и прадеды. Вот что свобода значит. Пока мы не будем свободными, не будет у нас и правды, богатства и науки, одно только будет понукать нами, как скотом, не для добра, а на погибель нашу. Воюй, народ, за свое человеческое право, за веру, за свою родную землю».

Отлично ориентировавшийся в мировой

истории и искусстве, В. Короткевич трезво создал свое положение «свободного человека» в несвободной стране. В его поэзии и в монологах героев слышатся то гнев, то боль, то гордость, когда речь касается таких жизненно важных для нации вещей, как человеческое достоинство, родина, язык, история. Ирония — давнее оружие белорусского мужика — помогает ему вскрыть лживую условность общественных отношений, показать, что над правдой в этом призрачном мире бюрократической государственности смеются и издеваются, ложь лежит в основе человеческих отношений, а общественная мораль криводушна и античеловечна. Герой его таит свою истинную сущность под маской простодушия и наивности, непонимания «неразумного» мира. Притворяясь наивным простаком, он смеется, строит рожи, говорит одно, делает другое, а думает третье (в соответствии с духом времени), превращает трагедию в комедию, а комедию в трагедию, охотно использует иносказания, гиперболы, аллегии, сменяет одну за другой маски чудака, дурака, шута, паяца. В. Короткевич, кажется, понимал, что время героев ушло и, возможно, не скоро придет. Сам он не дожид до поры, когда у белорусов вновь появилась надежда на возрождение, а также потребность в сильных личностях.

Владимир Орлов пришел в историческую прозу, когда его великий предшественник уже создал все свои лучшие произведения. Он не замедлил воспользоваться преимуществами, которые давало время: его народфронтовские агитки и листовки блуждали из неофициальных изданий в официальные под его собственным именем и под псевдонимом. Прямая речь требовалась прозаику и для открытой полемики с идеологическими противниками, «врагами белорусчины», и для очерка о Ефросинье Полоцкой и исторического эссе «В поисках украденного сокровища». Нужны ли эфемизмы и усложненные метафоры, если речь идет о загадочном исчезновении уже в наше недавнее время таких национальных святынь, как престольный крест, сработанный замечательным мастером Лазарем Богшей по заказу самой святой Ефросиньи еще в 1161 году?! Тем не менее специфические обстоятельства времени, когда В. Орлов входил в литературу (а это было начало 80-х), повлияли на его творческую манеру. Видимо, не только индивидуальными особенностями его таланта, но и самой эпохой (а частично и влиянием

В. Короткевича) объясняется его склонность к остранению и сознательному рассматриванию предмета с иронической дистанции. Он тоже охотно сменяет маски, предоставляя право рассказать о прошлом самим очевидцам и участникам далеких по времени событий, которым после стольких лет лжи и мистификаций читатель еще склонен в какой-то мере доверять. Но согласимся с В. Орловым: «Люди, которые своих преданий не знают, на всю жизнь остаются детьми, и обмануть их так же легко, как дитя неразумное».

Переосмысление коснулось и самого национального характера белоруса. Это обнаруживается уже в названиях произведений — не так их много, чтобы считать выборку случайной: «Меч князя Вячки» и «Железные желуди» Л. Дайнеки, «День, когда упала стрела» В. Орлова, «Огонь в жилах кремня» О. Ипатовой. Что ж, железа в крови и металла в голосе современного белоруса, возможно, и маловато. Но кто знает, к чему ведет в нынешних условиях, в сверхнапряженном поле разнонаправленных социальных и национальных интересов такая воинственность? Однако на государственном гербе республики кроме всадника с мечом есть еще и изображение креста на щите... И вот даже А. Карпюк, автор известной антирелигиозной повести «Вершалинский рай», столкнувшись в своем последнем романе «Белая дама» с авантюрной натурой и невероятной судьбой героини, графини Екатерины Валкович, похоже, ощутил: уж слишком много в истории белорусов ситуаций, когда им оставалось надеяться разве что на милость Господа Бога. Ибо надеяться на земных богов вроде Наполеона Бонапарта, обещавшего полякам, литовцам и белорусам вернуть государственность, если они пойдут с ним, стоит меньше всего: при первом же случае они забывают о своих обещаниях, хотя впоследствии, возможно, и раскаиваются, как это случилось, по версии автора повести «Сны императора» В. Орлова, с императором-изгнанником.

Под каким флагом мы идем в будущее? В романе В. Чаропко «Храм без Бога» это вопрос вопросов. И поставлен он тоже на историческом материале. Показателен эпизод, в котором известный полководец Михаил Глинский, победитель татар в битве под Клецком в 1504 году, и канцлер Иван Сапега обсуждают стратегию и тактику государственного строительства. Люди своего времени, когда христианские заповеди переосмысливались с точки зрения

возрожденческого гуманизма, а в политических трактатах Макиавелли вычитывали прежде всего мысль о том, что все средства хороши ради великой цели, они и на будущее своего народа смотрят сквозь призму ближайших политических устремлений.

«...Если надо быть грешником — будь им. Если надо быть святым — будь. Если надо хитрить — хитри, обманывай. Ради Родины все позволено.

— Ты предлагаешь строить храм без Бога?»

Так пока еще только спрашивает Михаил Глинский, а история тем временем уже ответила на этот вопрос. Храм без Бога, а государство без Человека неизбежно выраждаются и погибают. Ибо еще апостолом Павлом сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3:16—17). Князь Глинский, судя по его замечанию, знал это. Но его знание — чисто головное. Очень уж быстро он забыл, что безнравственные поступки с железной необходимостью ведут человека к краху всех его надежд. Мятаж Глинского, целью которого было возвращение государственной самостоятельности Литвы и ее былой славы, завершился тем, что шаткое внутреннее положение державы ухудшилось и это подогрело чрезмерные аппетиты соседей. Началась бесконечная череда войн Литвы с Московией. В результате Глинский вынужден покинуть родину и бежать на службу к русскому царю. Тот, кто «разбил татар, мог залезть самой смерти в пасть, мог, не оглянувшись, переступить грань дозволенного королям, встречался с императорами, королями, ханами, имя кого знала вся Европа», кто окончил знаменитую Платоновскую академию, участвовал в философских диспутах, в своей стране стал изгоем, восстав против законной, ныне сказали бы — легитимной, власти короля Жигимонта Старого. Тем самым он навредил делу укрепления белорусской государственности, ради которого совсем недавно не жалел собственной жизни.

Интриги, оговоры, подкуп, измена, мстительность, амбициозность, подлость, жестокость, ненависть, укрепляясь со временем в поведении высших слоев общества, стремительно вытесняли дух просвещения, христианского милосердия, европейскости. Храм без Бога не устоял. В войнах гибли «вольные сыновья» и «сильные вояки» (Я. Купала). Постепенно исчезал генофонд

нации. И уже в начале XX века достиг низшей отметки, зафиксированной нашей классической литературой: «Пал народ. Зачах народ, позабыл, как Отечество, как его зовут...» (Я. Купала). Тем не менее именно христианство, не только привившееся в Беларуси, но и повлиявшее на белорусский характер, помогло народу дотерпеть, дожить до времени, когда, по словам поэта, откроются «разгадки наших кривд и бед».

ВОЙНА НАРОДА И ВОЙНА С НАРОДОМ

Какое-то время в нашей печати муссировалась мысль о том, что мы, белорусы, находимся в центре Европы, на перекрестке всех дорог с Запада на Восток и с Севера на Юг («из варяг в греки»), и какие такие выгоды из этого можно извлечь. Академик Р. Горецкий, всю жизнь имевший дело с конкретными вещами, просто взял линейку и подтвердил досужие догадки: да, это действительно так! И географический центр материка попадает как раз на треугольник Кличев — Червень — Осиповичи. Что ж, слаб человек, и мы верим в свою особую миссию и богоизбранность! Хорошо, если не терям при этом чувства юмора. Ответ на схоластический вопрос, где именно находится «пуп земли», как остроумно заметил критик Н. Пашкевич, знал еще легендарный Нестерка: «Здесь, где я стою!» И мы примем эту информацию как поэтическую метафору. Ведь этот географический эгоцентризм не придаст нам национального гонора! В глазах той самой Европы, на встречу с которой так лихо устремились, мы по-прежнему остаемся жителями если не «задворков Европы», то, в лучшем случае, берега бывшего «моря Геродота», превратившегося со временем в «главное болото» материка — Полесье. Ну, и еще изгоями, загнанными в Чернобыльскую зону-резервацию.

Состояние, в котором белорусы оказались к концу века и тысячелетия, целой космической эры, уникальное. И малоизвестное. Но белорусы потому и выжили, что и в наихудшей ситуации искали, пусть вообразимые, преимущества. Как сказочный герой в аду находил себе приятные развлечения. Парадокс, но, оказавшись отброшенными едва ли не по всем показателям в обзор цивилизации, мы получили уникальную возможность заглянуть первыми за край. Чего? Горизонта? Распада? Исчезновения? Вот счастье-то привалило

писателям — представителям литературы, которая со времен Я. Купалы всегда наполнилась мрачными пророчествами, многие из которых, увы, оправдались! И писатели, следует признать, чутко отреагировали на этот зов времени. На глазах изумленного современника совершается стремительное расширение информационного пространства за счет где восстановленных, а где и обновленных знаний о прошлом. Иногда создается впечатление, будто вдруг ожило и двинулось на нас целое тысячелетие белорусской истории. Не успели по-настоящему пережить восхищение вновь открытыми классиками — Янка Купала, Максим Горецкий, Кузьма Чорный, Вацлав Ластовский, братья Иван и Антон Луцкевичи, Андрей Мрий, Иван Кончевский, Масей Седнёв, Наталья Арсеньева, Аляксей Соловей, Владимир Короткевич! — как вслед поплыли и поплыли крестьянские возы произведений с трагическими сокровищами недавних времен. Да, мы стали более зрячими, познакомившись с незнакомыми Андреем Платоновым, Михаилом Булгаковым, Владимиром Набоковым, Василием Гроссманом, Борисом Пастернаком, Александром Солженицыным. Слишком много общего связывало нас, недавних советских людей. Однако даже и такое глобальное явление, как «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, не смогло вобрать в себя все пережитое белорусами. Увы, ГУЛАГ начался у нас с того, что была в прямом смысле поголовно («пагалоўшчына») уничтожена национальная интеллигенция и вырван с корнем крепкий белорусский крестьянин — гордость нации. Все это произошло одновременно — зимой 1929—30-го и летом 1930-го: людей брали только за то, что они говорили по-белорусски. Никто, кроме самих белорусов, не откроет миру эти неведомые страницы. Очень мало осталось в живых тех, кто хранил в себе, как в запаянной капсуле, взрывоопасный заряд воспоминаний. Еще меньше среди них тех, кто способен найти адекватные предмету слова. Возможно, поэтому с таким интересом встречены были даже такие неприятные по художественному уровню произведения, как повести поэта и бывшего заключенного С. Граховского «Зона молчания» и «С волчьим билетом» или повесть П. Прудникова «Ад».

У вышедших из ада имеются свои преимущества перед живущими в более благополучное время. А если они к тому же наделены даром художественного слова, как Я. Скрыган или В. Хомченко, то цены

нет рассказанному. У Я. Скрыгана (рассказы «Рубец», «Кожаное пальто», «Награда») это воспоминания, просветленные самим временем и жизнелюбивым талантом прозаика, который не забыл свойственного зачинателям белорусской прозы умения быть интересным всегда, а не только тогда, когда сам материал вопиет к читателю. Он не форсирует переживания, исходя из того, что мера человечности осталась неизменной и после гибели миллионов: она оценивается в таких единицах, как отдельная жизнь и судьба, как боль конкретной личности.

Начиная с Каина, убийцы всех мастей очень надеялись на то, что нет свидетелей. А когда свидетели все же остаются, живут ожиданием, что перевернут всех. Как вóроны. Не в этом ли разгадка долголетия многих из них? Одного из таких, 82-летнего Семена Серафимовича, бывшего в войну шефом полиции в белорусском городке Мир, недавно обнаружили в тихом английском городе Бэнстед: этот надеялся, что для свидетелей его преступлений мертв он сам («Не надо меня трогать, я ведь никому не мешаю. Живу тихо, мирно»). Белорусский прозаик В. Хомченко, прошедший до войны систему ГУЛАГа от заключенного до студента Военно-юридической академии (невероятно, но ему удалось не только вырваться из лагеря и повоевать с фашистами, но и стать в послевоенное время военюристом), внимательно запоминал все увиденное, сознавая бесценность своих наблюдений и жалея лишь о том, что «в свое время не записывал интересных историй, фамилий людей, не снимал копии с интересных документов, не хранил литературу, которой нынче цены не было бы». С одной стороны, не было надежды, что «ночная эпоха» когда-нибудь закончится, а с другой — казалось, что молодая память сохранил все увиденное и услышанное до конца дней. О многих из тех, кого повезло увидеть этому человеку, читатель знает: командарм Уборевич, нарком Цвикевич, академик Янка Неманский, писатели Массей Седнёв, Сергей Дорожный, Янка Тумлович. И с небезызвестным армююристом Ульрихом он встречался. Более того, отваживался на откровенные беседы с этим нелюдем, подпись которого красовалась под тысячами приговоров на расстрел и в лагерь. Профессиональный интерес начинающего прозаика и склонность юной души к приключениям брали верх над страхом и чувством опасности. На вопрос студента, верили ли судьи в виновность

подсудимых, Ульрих цинично отвечал: «А какая разница, верили ли они... Им был дан приказ осудить... За нас все было решено до суда...» Себя Ульрих скромно относил к исполнителям, хотя и признавал, что без таких, как он, воля «главного машиниста террора» повисла бы в пустоте. По наблюдениям В. Хомченко, «было ему и не тяжело, и не стыдно, и спалось хорошо, и не рвал на части его душу страх. Жил он спокойно, свободное время весело проводил в театре или на концерте...». В повести «Царь-зэк Семен Ивашкин» и во многих «гулаговских» рассказах этого прозаика из тьмы забытых высвечиваются лики тех, кто и составил пугающие, со многими нулями цифры невинно убиенных. Описывая переполненные арестованными камеры так называемой «Американки», находящейся во дворе здания МВД в Минске, В. Хомченко завершает свои наблюдения словами: «Казалось, что была поставлена задача государственным карателям пропустить весь народ сквозь эти камеры».

А раскопки «карьер» исторической памяти продолжаются. Художественная проза здесь на очень многое способна: она может вобрать в себя многоголосицу мира, оживить уходящую реальность, дать вторую и уже вечную жизнь ускользающей натуре. Она способна проделать самую черную работу по подготовке общественного сознания к посеву новых идей и новых представлений. Пока что проза акцентирует свое внимание на описании эпохи. Во многих произведениях самое интересное и самое ценное — фактура. С философскими моделями гораздо хуже: их не так много и вырабатываются они с трудом, с большими издержками и «отходами производства». Как это происходит, заметно на примере новых частей известных тетралогий В. Адамчика и И. Чигринова.

Во времена социальных катаклизмов, когда события громоздятся друг на друга, а привычные объяснения не срабатывают, душа невольно настраивается на возвышенно-библейский лад. И тогда нас надежно успокаивают вечные и неопровержимые истины, забытые в беге дней. Именно в эту пору и был написан роман В. Адамчика «Голос крови брата твоего». Писатель, всегда чуткий к переменам в духовной атмосфере, не мог не выразить вот это непривычное мироощущение всех нас нынешних. Хотя роман и посвящен событиям Великой Отечественной. Мир, в котором нарушены едва ли не все десять заповедей, не может долго находиться в состоя-



нии шаткого равновесия. Библейское «и восстал род на род» не утратило своей злободневности и сегодня, когда столько наговорено о ценности уникальной человеческой личности. Пришло время расчетов с прошлым, и автор тетралогии понял, что эпический замысел исчерпал себя. В романе «Голос крови брата твоего» он, похоже, выговорился до конца о своем понимании такого важного куска белорусской истории, как война с фашизмом. Здесь очень много смертей — гибнут друг за другом полюбившиеся читателю герои. Горят в огне деревни. Картина апокалиптическая. Недаром герои здесь так часто поминают имя Божье. Да и название настраивает на соответствующий лад: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю: разве я сторож брату моему? И сказал \langle Господь \rangle : что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Бытие. 4:9—12). Так начался на земле, а затем и продолжился процесс расчеловечивания. На белорусской земле, где последняя война разделила народ на две части, партизан и полицаяв, «народных мстителей» и «отряды самообороны», и где, по существу, слились отечественная и гражданская братоубийственная, библейский сюжет осуществился до последних подробностей: очень похоже на то, что земля действительно прокляла своих сыновей и отказывается давать силу белорусам, ставшим изгнанниками и скитальцами-«чернобыльцами» на собственной же родине. Чужая вотчина так и не стала своей, родной.

Ощущение жизни как главной ценности разлито в романе В. Адамчика (поражает множество выразительных, пластичных описаний вечно юного земного мира). Оно свойственно всем без исключения персонажам, независимо от их политической ориентации. Ощущение это обострилось в годы войны и особенно в ее конце. Корсак Митя принимает жизнь как Божий дар, а природу рассматривает как Божье создание, которым не устаешь любоваться и восхищаться. Может быть, в этом — в красоте мира — и заключен самый неопровержимый аргумент в пользу Бога. Значит, у человека есть свой смысл и назначение: возможно, он должен быть сотворцом Создателя и строить мир по законам красоты.

И когда гибнет красота, живые завидуют мертвым, как завидует своей покойной жене отец Мити, на глазах которого рушится его родной мир. Горят белорусские деревни. Исчезают с лица земли целые крестьянские роды. И в том, что это происходит, виноваты не только «чужие» — переняв логику поведения оккупантов, «свои» по-самоедски уничтожают друг друга. И это тоже правда белорусской истории.

Эпические замыслы В. Адамчика и И. Чигринова возникли почти одновременно и осуществлялись на протяжении более двадцати лет параллельно. Было не только взаимоотталкивание, но и взаимоприятие. Возможно, невольное. Многие аналогии в решении художественных проблем лучше объяснить воздействием самой действительности, потому что эстетическое отношение к объекту изображения, каковым является белорусская история, у этих прозаиков заметно рознится. В. Адамчик отдает явное предпочтение исторической живописи. И. Чигринов — отличный рассказчик, знаток местных легенд, обычаев, быта. В его художественной интерпретации минувшая война предстает во многом неизвестной. В ранее опубликованных романах «Плач перепелки», «Оправдание крови», «Свои и чужие» это война народа, который целиком очутился под оккупацией, над которым нависла реальная угроза полного, до последнего человека, исчезновения. Если Денис Зазыба, воевавший за советскую власть в годы гражданской войны и пострадавший от нее в годы последующих репрессий, живет ощущением общности своей судьбы со всей великой страной, то его сын Масей после увиденного им в ежовско-бериевских застенках, в тюрьме и в ссылке не способен лелеять надежды на победу какой-либо из воюющих сторон — фашизм обещает немедленное уничтожение нации, а сталинизм — длительное прозябание и постепенное исчезновение с лица земли. События подтверждают мрачные предсказания героя. Таким образом, концептуальное обновление повествования, актуальность звучания очередной его части, романа «Возвращение к вине», очевидно.

Правда, автор все еще находится в поле притяжения замысла, возникшего в ту пору, когда о многом невозможно было говорить открыто, а иное и вовсе было неизвестно. Он с заметным трудом прорывается к новым художественным смыслам. Уж очень бросается в глаза то, как уходит

в сторону, скажем, Денис Зазыба, лишь только заходит речь о советской власти, коллективном хозяйствовании, «ошибках» сталинского руководства. Это, скорее, уходит в тень сам автор романа, сознающий, что прежний пафос его любимого героя неуместен в нынешней общественной ситуации. По крайней мере, необходимо время для переосмысления многих вещей. Мирозренческое распутье, на котором находится сам И. Чигринов, некоторая его неуверенность в вопросах, требующих четкого ответа, таких, как вопрос о собственности, социальном строе, классовых интересах, коммунистических убеждениях, выразились в сюжетной рыхлости произведения, в непроясненности отдельных фрагментов воссозданной картины времени. Иные же, не менее важные части общей картины прописаны особенно тщательно. И. Чигринов, например, активно использует архивные документы и пространно цитирует дневник боевых действий войск охраны группы армий «Центр», где речь идет о событиях на территории Восточной Беларуси. Увы, такого же пунктуального ведения отчетности с нашей стороны писатель не обнаружил в архивах и вынужден пользоваться данными, сохранившимися в народной памяти. Читатель, несомненно, выделит рассказ о спецотряде, заброшенном в тыл врага по приказу Берии с целью контролировать действия местных партизан, якобы позволивших себе слишком многое: критикуют самого вождя, его окружение, мечтают о послевоенном переустройстве жизни, где нет места секретным службам, репрессиям, беззаконию. Отряд этот старательно избегает столкновения с гитлеровскими карателями, зато наводит ужас на местных жителей своей непонятной жестокостью. Любопытна переключка романа И. Чигринова в этом с повестью А. Адамовича «Венера, или Как я был крепостником», где такой же спецотряд действует точно так же — расстреливает по подозрению целую семью в деревне Вьюнищи и провоцирует немецких карателей на уничтожение всех остальных жителей. И цели у этих отрядов общие — идущие с предвоенных арестов и расстрелов: сделать все, чтобы народ не позабыл о страхе и не вышел, очутившись вне пределов досягаемости жесткой сталинской руки, из повиновения, что в глазах московского руководства было бы напастью, сравнимой разве что с угрозой фашизма. Законы преступного мира, в котором бал правят уркаганы «с Лениным в башке и с наганом

в руке», продолжали действовать по инерции и в новых условиях. Но действовали и другие законы человеческого общежития, растоптанные большевизмом, преданные глумлению, но пробивающиеся то здесь, то там слабыми росточками. Угроза реальной гибели пробудила в народе память об этих общечеловеческих законах бытия.

Даже такой решительный и действующий бездумно, без оглядки на всякие сантименты человек, как Родион Чубарь, под воздействием событий начинает переоценивать свои поступки, обнаруживая в них некий тайный смысл. Он то и дело вспоминает убитого им в самом начале войны фельдшера-паникера и задумывается: не с этого ли момента, не с таких ли случаев и началась та кровавая вакханалия, очевидцем которой он становится? Он понимает, что это только начало, — в романе есть мрачное пророчество о «кровавом замороченье, которое через год, полтора сведет со света большую часть народа». В Чубаре, хотя и запоздало, пробуждается чувство вины, ранее неизвестное ему и сознательно отвергаемое как нечто чуждое классовой борьбе. Тем более открыто и сильно это чувство проявляется в душе веремейковцев, которые вдруг, к ужасу своему, обнаруживают, что большинство их детей некрещеные, и видят в этом зловещий знак. Люди начинают подчиняться могучему зову инстинкта самосохранения, а не знакомым призывам к разуму бывшего председателя местного колхоза или нынешнего хозяина округа, командира партизанского отряда, увидевших за этим «большую политику» оккупационных властей. «Совершалось нечто похожее на праздник, может, потому, что ехали в церковь всей деревней... Как говорится, что Богу желанно, то людям полезно... Ну, а что касается Масея, то брался он крестить детей с ощущением чего-то совершенно нового в своей жизни, будто тем самым брал на себя обязанность — действительно, жил один и заботы были только о себе, не считая мать с отцом, а это вдруг чужая забота, и воспринималась она не так, как обычная поддержка человека, работа или сочувствие; нет, в этом было нечто более глубокое, можно сказать, более живое, что уже само по себе выводило человека на новую ступень существования». Душевное состояние, явно совпадающее с переживаемым сегодня, с тем, что мы, за неимением более точного слова, называем Возрождением. Национальным, культурным, духовным...

Однако если есть нужда в Возрождении, обновлении, восстановлении, реставрации, значит, было и падение, распад, деградация. Литература, подобно манометру, лихорадочно фиксирует мечущейся вокруг красной отметки стрелкой этот гибельный процесс. О том, что наш взор захватывает в свою орбиту все новые и новые глубины нравственного падения человека, ярко свидетельствует творческий опыт Василя Быкова. Его мысль в последнее десятилетие настойчиво ищет слова, которые напомнили бы о неотвратимо, как сам писатель считает, приближающейся опасности. «Знак беды», «Карьер», «В тумане», «Облава», наконец «Стужа» — не только названия-сигналы надвигающейся катастрофы. Это синонимы той «ночной эпохи», тех длительных «заморожков», из которых мы только-только начинаем выходить. Вдруг оказалось, что люди, самоуверенно разрушавшие мир, жившие «по законам Адама и Евы», на самом деле работали против самих себя и сами лишали себя будущего. Не всем им, а лишь единицам, таким, как герой новой повести прозаика Азевич, великий борец за «нового человека», повезло столкнуться с результатами собственной деятельности. Еще меньше было тех, кто оказался способным также и размышлять о причинах происходящего, о собственной вине. Такие, как Азевич, кто по своей воле, а кто по принуждению, столь яростно раздували «на горе всем буржуйам» мировой пожар, что опомнились лишь тогда, когда вдруг оказалось, что горит со всех сторон и огонь грозит самим поджигателям. Им все время казалось, что ветер века дует только в одну сторону, когда же направление его и, соответственно, огня изменилось, они от неожиданности растерялись. Как это случилось в начале войны.

В. Быков уверен, что если что-то и удержало человечество в годы войны на краю бездны, так это не объяснимое никакими законами привычной логики и психологии богоданное долготерпение той безымянной тетки, у которой Азевич в годы коллективизации разбил жернова, а теперь нашел спасение и участие. Писатель убеждает нас в этом всем ходом событий в повести «Стужа». Но уверенности в том, что и в грядущих испытаниях этот уникальный стоицизм народа проявит себя снова, у него уже нет — слишком далеко и давно переступили запретную грань: «Хотелось верить, что после пережитого, после кровавой потасовки-войны если только люд уцелеет, то наберется нового разума.

Ведь не может того быть, чтобы такая война ничему не научила. Хотя бы какой-то доброте, сочувствию к себе самим. Нельзя же весь век жить без сочувствия. Повиснув на крестах, даже не плакать». Пожалуй, это уже прямое обращение писателя к самому народу. Не к кому сегодня больше обращаться. Не на кого больше надеяться...

То же чувство изумления, смешанное с недоумением, перед феноменом удивительной терпеливости и покладистости белорусов, отмеченным слишком многими, чтобы остаться незамеченным, находим и в повести А. Адамовича «Венера, или Как я был крепостником». Что это, еще один миф из разряда многих подобных, утверждающих ничтоже сумняшеся: белорусы — самый безобидный из всех славянских народов? Значит, на нем можно смолу в пекло возить. И возили. Венера Станкевич по красоте, характеру, уму рождена быть земной богиней. Такой ее и видит мальчишка-партизан, недавний школьник и книжник-мечтатель, от имени которого идет повествование о трагической судьбе семьи Станкевичей, где все сплелось в тугой узел: и сталинские акции против народа, и карательные экспедиции фашистов, и послевоенное издевательство над народом-победителем. Что стало с богиней всего за несколько лет жизни? Беззаботный горожанин-аспирант, тот самый мальчишка «из хоззвода», с трудом узнает девочку-мотылька, которую обожал, обожествлял. А автор, повидавший мир, невольно сравнивает ее с жизнерадостными ровесницами за границей, взрослыми детьми, ничего подобного и близко не видавшими, не испытывавшими. Он не смеет судить, памятуя евангельское «не судите да не судимы будете». К тому же сама история вынесла свой вердикт обществу насилия. Он судит самого себя. Судит за то, что в послевоенные, самые трудные годы перешел, не зная того, в стан пользующихся всеми благами жизни, стал, по существу, как и многие, слишком многие, крепостником, в то время как народ, «сеятель и хранитель», с которым автор разделит тяготы войны, остался в прежнем положении раба, невольника, крепостного колхозника.

А. Адамович, как и В. Быков, В. Адамчик, И. Чигринов, снова и снова обращает свой взор к стихии народной жизни, текущей по своим законам из прошлого в будущее. Многое было увидено, описано, осмыслено, но многое же осталось незамеченным — даже из того, что на заре

национального возрождения попало в поле зрения национальной классики. «Что оно?» — вопрошал о «потайном» в белорусском характере некогда М. Горецкий, пытаюсь понять загадку народных обычаев, идущих из дохристианской поры, всего того, что большевизм отменил как «поповщину» и «мракобесие». Но рационализм как мера подхода к жизни не только исчерпал себя, он во многом дискредитирован. Увы, «вечные» вопросы оказались неподвластны прямолинейной логике классово-борьбы и общественного прогресса, приведшего к невиданной ранее в истории гибели миллионов и миллионов людей. Иррационализм как способ поведения в мире, полном углов, неожиданных поворотов, крутых подъемов и обрывов, тоже не вызывает у нас энтузиазма. Так где та мера и та грань, за которой некое желанное равновесие разума и инстинктов, желаний и возможностей, движения и покоя? С какой высоты следует смотреть на прошлое и нынешнее, чтобы не упустить из вида тайные извивы хитроумной человеческой психологии, необъяснимой и парадоксальной логики поведения людской массы? В последних произведениях белорусских прозаиков явный крен в сторону не только христианской религии (дом, в котором обитают герои «Венеры» А. Адамовича, недаром носит громкое, хотя и с ироничным оттенком наименование: «Ковчег»), но и народной философии, в которой все человеческие учения всех времен как бы перемешаны в запутанном клубке идей, представлений, целей, идеалов. Желанной ясности нет как нет. Путеводная звезда нашей судьбы мерцает где-то далеко впереди...

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Белорусская национальная классика создавалась писателями-народниками. И по идеям, и по способам их воплощения. Все надежды на духовное Возрождение нации они возлагали только на народ. Но XX век продемонстрировал, что кроме имманентной логики национального развития есть еще обстоятельства, не зависящие от воли «малых (то бишь малочисленных) наций». У Большой Истории своя логика, которую, казалось, наконец ухватили за хвост марксисты-ленинцы. Но позабыли замечание своего мессии о ее «иронии». Мы живем в эпоху, когда История не только смеется над нами, но и откровенно издевается над

нашими потугами что-то объяснить и понять, как-то направить ход событий в благоприятном для нас направлении. Писатели-шестидесятники продолжали классическую народническую линию и боготворили народную мудрость и здравый смысл. Но они, в большинстве своем уже интеллигенты-горожане, оторвавшиеся от корней, повисшие между небом идеалов и землей житейских забот, среди которых главной, пожалуй, было стремление выжить, искали в деревне, где и обитал в большинстве своем белорусский люд, прежде всего «тишину и покой».

Искал, начитавшись Э. Хемингуэя (помните его рассказ «Там, где чисто, светло»), и Михась Стрельцов. Правда, в отличие от героя хемингуэевского произведения он не верил в то, что «все — ничто, да и сам человек — ничто». Слишком был привязан он к людям, которые пустили его в мир. Ужасный, безумный, но и прекрасный. Да, человека действительно хотели превратить в «ничто», в «лагерную пыль», в «крепостного», в одного из многих миллионов жителей современных мегаполисов, затерянного и растерянного в однообразной толпе таких же, как сам. Но что-то в нем было такое, что не позволяло терять достоинство. По Хемингуэю — это стремление, извечное и неистребимое, к свету, поиски «чистоты и порядка». У героя рассказа М. Стрельцова «Там, где тишина и покой», есть, казалось бы, все основания для разочарования в людской природе. Вот он сидит на вокзале в ожидании автобуса, слушает странные для стороннего слушателя разговоры пассажиров, преимущественно сельских теток и дядек с кучей деток и множеством мешков и сумок, и невольно раздражается: «О чем они говорят? Сено какое-то, дождь... Глупость какая-то...» В родных местах тоже слишком мало причин для радости: «Он смотрел на церковь, запущенную, древнюю, — увидел чахлую березку на ее карнизе, кривоватую, с мелкими листочками, черные разводы, пятна на стенах и куполе церкви и удивился, почему не замечал всего этого раньше». И погода — дождь и дождь, и дорога — где-то прорвало плотину, и нужно было идти в родную деревню в обход, соответствовали мыслям, среди которых почему-то неотвязно звучала сказанная одной из случайных попутчиц фраза: «Зацепили что-то в небе...» Лишь в лесу — а где еще белорус мог почувствовать себя спокойным! — «было тихо» и «небо вверху казалось светлее». А вот и родная хата,

и знакомый голос отца из-за двери! И прозвучала, как пароль белорусов, коласовская строка: «Мой родны кут, як ты мне мілы...» И сразу же распахнулись двери... В застолье за полночь шли разговоры близких и родных герою людей, и радость постепенно сменялась грустью: отец в который раз повествовал о военных злоключениях («А мороз... Хлеб пилой разрезали...»), мать горевала, что у соседей беда — сын-подросток случайно выстрелил себе в живот из обрезка и умер, а его отец «теперь темноты боится, спит при лампе». Ночью герой никак не мог уснуть: «Тишина, покой... Каким я был наивным... Тишина, покой!..»

Наивной весьма длительное время (рассказ М. Стрельцова датируется 1963 годом) была и белорусская проза, во множестве вариантов и повторений воспевавшая родную деревню и тем самым утверждавшая в нашем сознании еще один современный миф о спасительности крестьянских ценностей в бурную эпоху НТР. Нежелание трезво взглянуть в лицо надвигавшейся реальности конца XX века, который нес с собой прямую угрозу самому существованию белорусов, что обнаружилось прежде всего в стремительном сужении сферы употребления белорусского языка (о говоривших в общественных местах по-белорусски можно было с уверенностью судить, что это либо колхозник, если одет попроще, либо писатель), привело к тому, что наша проза, за исключением единичных имен, превращалась в глубоко провинциальное явление, привлекавшее внимание разве только небольшого кружка коллег да записных критиков-обозревателей. И когда произошла смена литературного цикла, в среде современных писателей весьма ощутима стала некая, необъяснимая с точки зрения привычных понятий творческая заминка. В эпоху, когда открылась уникальная возможность говорить обо всем открыто, не оглядываясь по сторонам, вдруг оказалось, что многим просто нечего сказать. У иных эта заминка продолжается до сих пор — едва ли не большая часть членов Союза писателей Белоруссии числятся среди творцов лишь номинально. Читатель к ним абсолютно безразличен, и они, в свою очередь, безразличны к судьбам своего народа, его культуры и его языка. Эпоха литературоцентризма навсегда закончилась. Читатель больше не ждет от своих оракулов неких откровений, без которых «умолкла б нива жизни». Правда, в последнее время, когда эйфория свобо-

ды и гласности начала проходить, обнаруживается едва заметный поворот общественного внимания к делам писательским. Из первобытного хаоса постепенно выплывает несколько сохранившихся, кажется, чудом островков литературного творчества, несколько имен, уже знакомых читателю и новых.

Походка прозы в отличие от поэзии, а тем более публицистики нетороплива. Она по-крестьянски сто раз примерит, прежде чем возьмется выполнять свои обязанности. Она по природе своей отторгает околелитературную суету и политическую трескотню, справедливо полагая, что имеет собственную сферу применения. Отшумят «Эммануэли», отвоевав свою пядь территории в сознании миллионов, но останется нетронутой заповедная часть земли, где властвует серьезная проза и куда рано или поздно придет свой читатель. А большие и глубокие, жизненно важные эстетические идеи рождаются только в определенных самим Творцом местах и распространяются не массово, как иные шлягеры, триллеры и прочий кич, а поштучно, когда читатель остается один перед неведомой ему бездной человеческих вопросов и проблем. Затем начинается тиражирование этих идей, популяризация и постепенное измельчение. Пока снова не возникнет произведение, возвращающее читателя к прекрасной и трагической реальности земного бытия, преодолевающее жуткое сопротивление инерции массового сознания, в том числе и собственного консервативного мышления писателя-творца.

Как показывает нынешняя писательская практика, многие белорусские прозаики и в новых общественных условиях пытаются продолжать делать то, что они всегда делали: чисто умозрительно, с поправкой на время, выстраивать прежних своих героев в новую шеренгу и заставлять их разыгрывать некую несложную шахматную партию с заранее известными ходами и давно определенным исходом. Однако, как известно, новое вино либо рвет старые мехи, либо закидает в них. Эта неодолимая инерция образного мышления, освоившего все немногочисленные и не такие уж сложные требования соцреализма, еще долго будет заметной в произведениях даже лучших наших прозаиков.

Вряд ли легко удастся преодолеть давнюю привязанность к образам «низовых» и якобы близких народу партаппаратчиков И. Шамякину. Он и в новом своем, уже «перестроечном» романе «Злая звезда»

продолжает творить легенду о честных рядовых партийцах и зарвавшихся партократах из «высшего партзвена». И как бы автор ни очеловечивал партийных и советских руководителей, показывая их в кругу семьи и друзей в первые часы, дни, недели после чернобыльских событий и возлагая всю вину на трусость и нерасторопность «Директора», как именовала столичная челядь первую особу в высшем руководстве республики, он не способен выйти за грань знакомой иллюстративно-беллетристической манеры. «Сто томов партийных книжек» не стоят в литературном процессе нового времени безучастно в стороне — они цепко держат в поле своего притяжения всех, кто хотя бы и честно, и искренне стремится освоить срочно (как студенты за ночь китайский язык) «новое мышление». Привычка немедленно откликаться на «зов времени», под которым слишком часто разумелась обычная смена партийных лозунгов и вывесок, подвела не одного И. Шамякина. Так и остался в плену прежних взглядов автор объемистого авантюрно-приключенчески-партийного романа под показательным названием «Хлопцы, чьи вы будете?» П. Мисько. Не спасает его замысел и не подлежащая сомнению любовь прозаика к родному слову: похоже, оно протестует против насильственного стремления воспеть с его помощью такие противоестественные вещи, как классовая борьба в послевоенное время на территории Западной Беларуси или партийно-кагэбистские интриги и разногласия, и стремительно, как насекомые, размножается, заполняя несколько номеров журнала многоглаголением.

Однако и самое искреннее стремление «писать по-новому» и мыслить «в духе времени» неспособно вылиться в нечто целостное и естественное, если за этим не стоит действительный труд души. Наивный и легко узнаваемый прием — подача уже знакомых из публицистических статей концепций общественного развития как собственных открытий или даже откровений в монологической или диалогической форме — слишком активно используется А. Осипенко в романе «Лабиринты страха» и Г. Далидовичем в романе «Западники». Самое интересное в этих произведениях не попытки воссоздать интеллектуальную атмосферу идейных споров и движений (трудно воссоздать то, чего на самом деле не было в действительности), а, как и прежде, как и во всей нашей сверхбытовой прозе, богатая фактура. А. Осипенко, на-

пример, описавший, кажется, самым подробнейшим образом, все периоды собственной жизни, вдруг поразил всех в новом романе великолепным знанием и удивительной памятью на детали жизни в годы нэпа. Г. Далидович, в свою очередь, добротнo описал «труды и дни» западнобелорусского крестьянства в послевоенное время. Именно эти страницы и обнаруживают — естественно и глубоко — новизну писательского взгляда на прошлое. Впрочем, и старина, и новизна во многих объемистых произведениях о прошлом находятс я в известных рамках так называемого историко-революционного романа с его откровенной иллюстративностью и неизбывной поучительностью.

Иное — в произведениях о бегущем дне: во многих из них очевидны стремление «не отстать от времени» и огромный дефицит конкретного материала. Запасов прошлых, «деревенских» впечатлений явно недостаточно, чтобы убедить читателя в подлинности своих перестроечных чувств и в серьезности намерений. Увы, и деревня нынче не та, и сама мать Беларусь неузнаваема.

Какая она теперь? В повестях В. Карамазова «Краем Белого Пути» и В. Козько «Спаси и помилуй нас, черный аист» читатель найдет множество наблюдений и живых подробностей, которых не выдумает никакая самая богатая фантазия и в изобилии предоставляет реальная действительность, текущая по своим собственным законам и не ставящая целью проиллюстрировать собою чью-либо сногшибательную идею. Наблюдая в охотку, если не лень, черпай полной горстью! Многие из подробностей жизни послечернобыльской Беларуси таковы, что не требуется даже особых усилий, дабы обнаружить в них некий скрытый смысл или особый символизм. Иногда создается впечатление, что нынешняя действительность, видимо, не только белорусская, переполнена деталями-символами, подробностями-знаками и может прочитываться как один из вариантов, не включенных в канонический текст Вечной Книги. Скажем, Апокалипсис по-белорусски. Опередивший по времени глобальный, предсказанный Иоанном Богословом. Мы его уже пережили. Переживаем. Не потому ли так часто поминаются в нынешней белорусской прессе слова о трубном гласе третьего Ангела: «И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде по-

лынь; и третья часть вод сделалась по-лынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откр., 8, 10—11).

Виктор Карамазов родом из тех районов Могилевской области, на долю которых выпали особые испытания: они были объявлены зоной радиоактивного заражения лишь спустя два-три года после того, как это заражение опустилось на благословенную белорусскую землю в виде теплого летнего дождя из расстрелянных ракетами облаков, пливших по направлению к Москве. «А утром пригрело солнышко, и по деревне заблестели синие, с зелеными да розовыми бережками лужи. Дети высыпали на улицы голенькими, лезли в цветные лужи и хохотали, счастливые. И только позднее деревня услышала, что за счастье разлилось у нее под окнами. Тогда заговорили о радиации, йоде и цезии. И уже когда здешние люди приезжали в райцентр, их называли то Цезиями, то Цезариями. А как узнали, что Цезарем был император Древнего Рима, могущественный царь, все заделались Цезарями». Автор повести «Край Белого Пути» вместе со своим героем, районным хирургом Василем Валетовым, совершает очередной «обход» по знакомому с детства маршруту: Лопатицы — Родимцы — Холменцы — Чудики — Малина... Весь район превратился в больничную палату, и районный хирург вдруг стал самым желанным гостем в каждой хате и семье, благодетелем и спасителем. Хотя большинство жителей трезво оценивают его возможность, что сведется чаще всего к терапии словом. Именно этого человека писатель избирает своим героем, его глазами смотрит на выходящие за рамки разумного, осмысленного существования картины земного ада, устроенного самими же людьми: «Что знал Валетов? Он видел, что люди болеют и умирают. От лейкозов, инсультов, опухолей. Умирает с каждым годом все больше. А подарки ли это зоны? Он не сомневался, что это и ее подарочки».

Кое-кому его «обходы», объезды на горбунке «Запорожце» напоминают известные объезды Чичикова, скупающего мертвые души. «И у каждого свои круги. У Чичикова, у Шнейдера, у Титка и Мормышки... У Крестного, у Валетова. И круги эти вечные. Человеку лишь кажется; что он ведет прямую линию жизни. Каждый петляет, кружит. И все круги повторяются». Важно, куда ведет это кружение по жизни. Иногда кажется, что в тупик. Недаром Валетову то и дело попадает на глаза свешивающаяся

сверху веревка с петлей на конце: то это веревка, с помощью которой когда-то, в более благополучную пору, подымали из подвала ящики с провизией, то это шнурок-отвес, с помощью которого Валетов и его друг, бывший каторжанин Будовой, ставят огромный дубовый крест на раздорожье, чтобы ровно стоял. Светлый мир его детства, его надежд исчезает на глазах: нету уже многого и многих, а то, а те, что еще есть, тоже несут на себе очевидные для профессионального взгляда врача знаки умирания и гибели...

Валетов все больше лжет во спасение тех, кого любит и жалеет, своих земляков, но самому себе и своим единомышленникам врать он не может: «От вранья, Карлович, людей умирает больше, чем от рака. Лгут вам. Лгут мне. Сами себе. Все избрехались. И наука, и власть. Все!» Но кому нужна его правда? Людям, которые, зная ее, все равно остаются жить на своей зараженной нуклидами земле, она не нужна, потому что твердит всякий раз о близкой гибели, а они гибнуть не желают. Такого вот правдолюбца-доктора из самой Москвы, что резал им правду-матку и про Горбачева, и про Ельцина, и про бэры, и про кюри, и про то, что людей превратили в заложников-смертников, они завели в лес и избили.

Так где же правда, а где ложь? Правда, что «есть беда из всех бед — смерть всего живого: воды, травинки, птицы, человека, земли. Всего — сразу. Когда все живое в одной ямнице». Ложь... Ее герои повести В. Карамазова чуют на расстоянии. «Там, где областной хирург видел страну, народ, все такое звучное и общее, он, Валетов, видел жену, а где ее — там и деток, Витю и Зину. Гость мог говорить о стране долго, мог срываться на крик, на мат-перемат, а у него, Валетова, не было уже ни возмущения, ни слов, все это из него давно выбежало, как выбегает кровь из дырявого человечка». Эта любовь к пышнословию переросла уже границы одной страны и вышла на международное информационное пространство. Важным гостям из-за границы, из того самого таинственного МАГАТЭ, «панам», местные жители умело, будто всю жизнь только этим и занимались, демонстрируют знаки «зон»: переносят с места на место щиты с надписями о радиационной опасности, а на встрече в сельском клубе задают каверзные вопросы о том, почему «у нас, на комплексе, рождаются поросята без копытцев, босые, без рыльца, с котячьими мордочками,

длинными, как у крыс, хвостами» и правда ли, что «родимцы (родимичи, кривичи, дреговичи.— М. Т.) проживут в сто раз больше, чем японцы», которые якобы после взрыва всего лишь одной бомбы в Хиросиме живут дольше всех в мире. Они хорошо знают, что гости побыли, нагородили турусы на колесах и уехали, а им здесь жить, пахать землю, садить бульбу, растить детей и кабанов, радоваться свежине и рюмке вина, мечтать о том, чтобы получить свой приварок за радиацию и свои грововые.

«Держава без головы, в судорогах? У него, Валетова, у самого с державой мало согласия. Ибо не было жизни. Ни у отца, ни у матери, ни у него. Одна нищета, забот полон рот, нигде радости. Сам виноват? И отец? И мать? Но только ли они добыли не жизнь, а жестянку? Как жили вокруг? Много тех, кто лучше? Где они? Разве, может, там, где нет его, Валетова? И все же у него не было иной державы. Эта — его. Теперь все на державу помои льют. Она и без памяти, она и без сердца, она и без головы. А как жить, если у человека ее нет? Нет такой, которая за тебя?» В нем, как и в других жителях «зоны», сильно ощущение своей кровной связи с родной землей, которое стало еще сильнее, когда возникла реальная возможность ее неожиданного обрыва. Именно это ощущение дает им желание жить и, как ни странно, еще на что-то надеяться. «Земля плыла и покачивалась. Кто сказал, что она неподвижна? Сам когда-то не верил, что плавает, кружит вокруг светила. Не верил, потому что не ощущал и не видел, что это так. А теперь слышит: плывет и покачивается... Раньше не ощущал, потому что водки не пил. А надо пить — тогда все почувствуешь и поймешь. Митька не сбредал: если бы не пил, давно бы сдох. Каждый Цезарь так скажет».

Читатель повести Виктора Козько «Спаси и помилуй нас, черный аист» легко заметит, как много общего у этого прозаика с В. Карамазовым. И материал близкий, хотя автор — уроженец Мозырского Полесья: несмотря на некую разницу между регионами, она не столь резка, чтобы утратить ощущение Беларуси как некоей интегрированной целостности. И экологические проблемы их увлекают с одинаковой силой: природа родного края для обоих не только красивые пейзажи, но и человек, который с детства вбирал в себя и красоту, и убогость и стал таким, какой он есть. Может вдруг показаться, что герои Кара-

мазова дружно перешли в произведение другого писателя и обжили новое пространство, жизненное и художественное: пропойцы, лодыри, лицедеи. (Впрочем, именно этот весьма странный типаж в последнее время стал привлекать внимание многих наших прозаиков. А уж в рассказах и повестях молодых — А. Асташонок, А. Глобус, А. Федоренко, П. Васюченко — «соль и сор земли» вообще поменялись местами. Точнее сказать, разница между ними исчезла — и те и другие в своей совокупности и есть народ, тот самый, к которому в конечном счете апеллируют левые и правые, демократы и партократы. Различие лишь в том, что в реалистической атмосфере произведений В. Карамазова они ведут себя естественно, как и в самой жизни, раскрывая свое внутреннее содержание постепенно, в соответствии с витками авторской мысли, углубляющейся, внедряющейся в реалии постсоветского и послечернобыльского мира.)

Метафорическое мышление Виктора Козько ищет за всем происходящим символику и скрытые смыслы, и в результате возникает современный вариант народной сказки о добре и зле, об умных и дураках, об их невероятных похождениях, иные из которых вполне сойдут за самые настоящие, из сказочной фантастики.

В повести «Спаси и помилуй нас, черный аист» действует и процветает уже после перестроечных баталий свой ЦК (цыганский кооператив, обеспечивающий всем необходимым для полноценной жизни героев произведения, и в первую очередь спиртным и куревом), «малое Политбюро» в составе Сталина (Гоги), Берии (Лаврика) и Кагановича (Лазаря). Так местный люд воспринимает все, что происходило и происходит на вершине власти: парадоксальная действительность, чтобы быть понятой и освоенной, требует пародийного снижения и высмеивания. И уже трудно понять, чей ЦК и чье Политбюро важнее — те, что где-то незримо за всем присутствуют, или те, что рядышком, на виду у всех. «Счастливым народом, когда у него в голове мыслей разгон широкий, — опасный. И далеко, а главное, очень уж высоко замахивается он тогда той освобожденной мыслью. На самый свет замахнуться тогда способен».

Народ этот сохранил многие из бывших «социалистических ценностей». Например, чувство интернационализма. Здесь есть русские и белорусы, немцы и украинцы, даже один еврей и один грузин. А все они вместе назывались полешуками, воспри-

нимаемая национальные различия как украшающую их скудную жизнь особенностью. Объединяет всех их и общая опасность: «Есть знак, был знак: все их колено должно исчезнуть с земли. Так уж приказано, предписано, видимо, сверху. И Чернобыль только первый им звонок. Пока еще цветочки. Но будут, будут впереди и ягоды». Герои повести В. Козько, кажется, уже свыклись со своей обреченностью и живут днем нынешним. В основном тем, что привезут в магазин или какой еще дефицит — папиросы, носки или водку — доставит на сей раз местная власть. Жизнь их потеряла всякий смысл, и они уже видят себя в могиле, под дубками, «как из их тела растет дуб». Им кажется, что и сам Бог забыл об их существовании: есть ли где-то такие люди, белорусами зовутся, живы ли еще или умерли. Зато не забыла о них держава, столько лет пытавшаяся превратить их одновременно и в арестантов, и в надзирателей. Она вспоминала этих людей всякий раз, как только возникала необходимость: в войну, когда нужно было искать убежище, лес был партизанским домом, а полесское болото — стратегическим объектом, вставшим на пути у врага, в мирное время, когда понадобилось очередное повышение урожайности ради спасения сельского хозяйства, в болоте увидели бездонный кладезь природных удобрений и начали бездумно осушать все подряд, изводить последние уникальные дубравы. Все пережили, все перенесли полешуки, но пробил час и их терпения, когда государство замахнулось на последнее, что еще давало жизнь краю и поддерживало живой дух в людях: лес, в котором живет черный аист, занесенный в «Красную книгу», о котором бабушка Авронья рассказывает внучке сказку-быль. И вдруг оказалось, что народ, с которым держава никогда не считалась и не считается в самое-разсамое перестроечное время, не способен спасти свой лес, без которого они перестанут быть полешуками. Осталась одна надежда на черного аиста: если он есть в этом лесу, то место его обитания должно быть сохранено. Немые обрели голос, слепые прозрели, глухие услышали: только ссылка на так называемые мнения мировой общественности и на общепринятые законы человеческой цивилизации способна остановить варварское уничтожение среды обитания полешуков-белорусов. «Земля онемела. У немой матери немые и детки, что-то

пробовали мыкать белорусы и украинцы, но ведь и мыкать надо на материнском языке. А у них отобрали его, как и у всех иных. У всех сочилась изо рта кровь. Но когда крови слишком, то это уже не кровь, а вода».

Когда опомнились, взглянули друг на друга, ужаснулись собственного лика, тогда возмутились, вскричали благим матом, возопили. Правда, уточняет В. Козько, «ужаснулись тихо, как всегда». Они и в этом были последними. Единственное, пожалуй, их преимущество в том, что могут быть первыми в общей очереди к гибели: «Господь Бог, говорят, после Чернобыля полюбил Беларусь и белорусов. И они должны первыми покинуть эту землю». Богоизбранная нация! Отмеченный Божьей благодатью народ! О нем и с ним сегодня можно говорить только языком святого откровения, тем более что своего языка они уже не понимают: «Земля, что с тобой сотворил твои добродетели и кормители! Белая святая земля под белыми крыльями твоих божьих птиц-аистов, как ты перевернулась в год тысячелетия после приятия креста. Пришла, упала звезда Польшь, и ты уже больше не белая. Ты сегодня черная на все последующее тысячелетие. Бог бросил в твои воды древо, и стали они сладкими. Человек бросил в те же воды нечто незримое, и стали они горькими ему. Высокочитимые отцы-святители оказались большими лжецами, шли как посланцы рая, а обернулись посланцами ада. Хлеба в их руках превратились в уголь. Оливковая ветвь покраснела и окровавилась, ибо это была не ветвь, а меч. Голубь и голубка клюют людскую печень. Кровью мочатся, кровавыми слезами плачет и кровью умывается сам человек. Дети при зачатии каменеют в лоне матери, а рожденные, почувствовав землю, сразу же покидают ее. Убегают от игры в жизнь на радиоактивной свалке истории, от знамен-игрушек, бронзовых и стальных идолов, что по ненужности выбросили на ту же свалку боги двадцатого столетия».

И все повторяется снова: «Дед у мертвой яблони с неживыми яблоками, оберегающий от мертвых гусей мертвое отравное жито, старуха варила варенье из тех мертвых яблок — полесские атомные Адам и Ева времен перестройки и гласности». Египетский плен. Путь на Голгофу. Надежда на воскресение. Вера в то, что на белорусской земле наконец воцарятся тишина и покой.



Венок Борису Пастернаку

В опубликованном в третьей книжке «ДН» за этот год романе Дмитрия Голубкова «Восторги» (время действия — середина пятидесятых) есть такой диалог двух молодых героев:

«—...Сейчас я тебе о таланте выдам.

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей правде отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

— Это кто?

— Один поэт. Пастернак. Может, слышал?

Олег смутился:

— Слышал, но не знаю ничего.

— Немудрено. Ни черта не достанешь. Даже если всех букинистов перетормозишь. А ты: «Талант, печататься...» Когда такого почти не издают. Понимаешь, он не просто — поэт. Он — жрец. Он — пророк!»

Не просто поэт. Жрец. Пророк. Восторги. Общее настроение литературного поколения — мысль об этом с неизбежностью возникает при чтении заметок двух прекрасных современных российских поэтов Геннадия Айги и Евгения Рейна о Борисе Пастернаке. Точка отсчета: пятьдесят шестой — волею судьбы оба они познакомились с Пастернаком в один и тот же год.

Г. АЙГИ

Обыденность чуда

1

Я пишу о Поэте, который был аполлонически прекрасен в свои семьдесят лет, и о двадцатидвухлетнем восторженном юноше — этим юношей был я, «и провести границы меж нами не могу»: ни между собою бывшим, ни божественностью того Поэта, которого юноша обожал.

Здесь смешиваются мои возрасты, с этим ничего не могу поделать, и пусть наивное выглядит наивным, противоречит некоей поздней отрешенности от прежней моей пылкости.

Тогда я был студентом московского Литературного института. Общежития института находились в Переделкине, я жил в одной комнате с моим другом Римом Ахмедовым, русско-башкирским писателем.

Р. Ахмедов вспоминает (уфимская газета «Ленинец» от 10 февраля 1990 года): «В отношении к поэзии Пастернака с Айги произошла та же метаморфоза, что и со

мною. Сперва — в 1953—1954 годах — он яростно сопротивлялся, когда я пытался вдолбить в его голову кажущиеся мне уже элементарными прописные истины. Яростно нападал на меня, иронизировал. Некоторое время спустя начал задумываться и нехотя признаваться: да, тут что-то есть. Потом, пройдя определенную стадию незримого перелома в сознании, вдруг сделал для себя открытие и воскликнул: «Да ведь это же гениально!» И жить стихами Пастернака сделалось для него такой же ежедневной потребностью, как для верующего совершать обряд молитвы».

И вот майской ночью 1956 года я возвращаюсь в общежитие — после первой встречи с моим божеством. Несколько часов, проведенных с Б. Л. на веранде его дачи, кажутся каким-то огромным, кружащим голову сплавом шекспировских «Бури» и «Сна в летнюю ночь»¹.

¹ Это отвлечение моего в ту пору шекспировскими переводами Б. Л.

В нашей с Римом комнатке я появился за полночь. Мой друг, ждавший меня с нетерпением, был поражен:

— Ты что, плакал по дороге? Ты же весь мокрый!

— Не знаю, насколько я заплакан,— говорю я,— и насколько — от его поцелуев... Он так часто меня целовал.

Так я вхожу в огромный мир Пастернака-поэта — Старшего Друга, Учителя, уникального Собеседника.

2

Он весь был во власти законченного недавно романа. Его как будто окружала стихия некой бесконечно ширящейся Свободы, в которой вздымалась, переключалась из одного уровня в другой и реяла — всеохватно и неудержимо — непрекращающаяся вдохновенность.

И вообще тема свободы в связи с романом доминировала в наших разговорах. Б. Л. ее часто варьировал. Высказывался и с решительной прямоотой:

— Сейчас начинается небывалая духовная свобода, она охватит не только Россию, но качественно должна видоизмениться и во всей Европе.

Я относился к этому сдержанно. Позднее, уже после смерти Б. Л., мне казалось, что он поддался иллюзорному чувству, перенося на общественную атмосферу будущего подъем и силу собственной свободы. Я определял культуру нашего времени как постосовенцискую, видел в ней вопреки хронологии — Мандельштама и «обэриутов»; Пастернак, в моем ощущении, в эту культуру не вписывался — отнюдь не по причине некоего «анахронизма», а в силу, как я думал, его примитивно-гармоничной природы.

И только в октябре-ноябре 1989 года, когда я находился в Италии и Шотландии и вместе со всеми окружающими изумлялся неслыханным переменам, происходящим в Восточной Европе, я стал вспоминать и иначе оценивать слова Б. Л. о «начинающейся неслыханной свободе», — я убежден, что именно эта свобода, так как я свобода виделась в середине пятидесятых годов Борису Пастернаку.

На «мелко актуальное» понимание романа некоторыми — из его окружения — он при мне не жаловался, возможно, это ощущалось лишь в настойчивом повторении им того, что «очень верно поняли роман в Европе, широко поняли».

Однажды он спросил:

— Вы все читаете, всем интересуетесь, знаете ли вы Камю?

Я ответил, что о нем слышал, но ничего из его произведений не читал.

— Я тоже не читал, — продолжил Б. Л., — но чувствую в нем очень близкого мне человека, духовного брата. Мне кажется, что сущность романа он понял больше, чем кто-либо. Я получаю от него изумительные письма. Он назвал мой роман «страстями человека XX века» — после этих слов мне не нужно уже никаких других определений.

Восторженно рассказывал Б. Л. о письме монаха (кажется, доминиканца), который обратился к нему, завершив многолетний обет молчания.

— Представьте себе — монах-молчальник и я. Он называет меня «братом по духу» — так, как я отношусь к Камю. Оказывается, даже ему может помочь мой роман. И какая современность в его письме — слога, мыслей! — такая здесь и не снилась.

Возникали разговоры и о поэтике прозы.

Однажды Б. Л. заговорил о Достоевском:

— Что такое искусство изображения в прозе? Вот, Бальзак пятнадцать — двадцать страниц описывает улицу, город, дом, потом переходит к своим героям, а улицу и город мы уже забыли и не видим. Какое же изобразительное искусство у Достоевского! Он никогда не описывает специально город, площадь, улицы, его герой передвигается, страдает, действует, а мы видим, в каком осязаемо видимом окружении все это происходит.

— Что такое проза? — заговорил он в другой раз. — Это то, где должно быть одновременно все, как, знаете ли, у Брейгеля.

В разговорах о романе и вообще во всех наших беседах постоянно возникала тема присутствия чуда в ежедневности, обыденности — во всем (на этом я подробнее остановлюсь ниже). Борису Леонидовичу я как-то вскользь сказал, что именно сюжетные и иные «нестыковки» романа создают в нем атмосферу магического, он выслушал это с молчаливым согласием.

При второй нашей встрече он несколько стесненно (медленно, с паузами) задал мне вопрос:

— А скажите... Вы, как человек... ну, народный... простите, что так говорю!.. Скажите, не кажется ли вам мой роман нашим?

Я был ошеломлен — мне как будто

приоткрылась частица внутренних терзаний и сомнений моего невероятного собеседника.

— Что вы, Борис Леонидович! Нет, еще как ой на ш! — в горячем моем ответе я, пожалуй, совсем захлебнулся. Б. Л. кинулся обнимать меня.

Тогда я не знал, что многие досаждают Б. Л. дотошными попытками расшифровать детали романа. Один раз это произошло и со мной.

— Борис Леонидович, а вы ведь любите Антипова.

Б. Л. посмотрел на меня несколько недоуменно.

— Вернее, он вам нравится, — поправился я. — Вы им как будто любуетесь. Как Маяковским. И вообще в нем как будто есть что-то от нравственной красоты и прямоты Маяковского. И еще эта фамилия: Антипов...

— Мне это и в голову не приходило, — ответил Б. Л. — А насчет «красоты и прямоты»... Да — я любовался такой красотой и Маяковского, и Мейерхольда при противоположности наших убеждений. Я любил их, восхищался ими.

Много было счастливых минут, связанных с романом, и с разговорами о нем с самим автором. Тяжелые времена (в моем восприятии) наступили резко — одним мрачным огромным обвалом.

Ранней весной 1958 года Б. Л. ждал меня, по обыкновению, на веранде. Он не поднялся мне навстречу. Сидел, обхватив руками склоненную голову с прекрасной серебряной сединой. Услышав мое приветствие, опустил руки, лицо его было — как обугленное.

— Борис Леонидович, опять что-то случилось? — выдохнул я.

— Снова тучи над головой накопились! Меня обвиняют в том, что я не принял русскую революцию, что клевету на нее.

Все в этом восклицании ударило меня разом, поразило и такое углубленно-сосредоточенное, одновременно чуть ли не по-детски естественное перефразирование Пушкина.

Растерявшись, я сказал весьма наивно «по форме» (а по существу, думаю до сих пор так же):

— Революция — это же как явление природы. Ведь, когда солнце восходит, не может быть вопроса, принимать его или не принимать.

— Вот именно! — Б. Л. стал захлебываться в мучительных восклицаниях. Успо-

коившись, сказал медленно и отчетливо: — Дело не в том, что я не принимал русскую революцию, я ее принял так же, как Маяковский. Я просто считал и считаю, что она не была завершена.

Уже в наше время я с удивлением воспринял высказывание лидера СССР насчет второй революции — ведь это, по существу, и в том же смысле было высказано Борисом Пастернаком ровно тридцать лет назад (а еще раньше — самой исторической сутью «Доктора Живаго»).

3

Я приехал в Москву из Чувашии осенью 1953 года. В моей сельской глуши очень плохо было с книгами. Я настолько все перечитал, что — еще подростком — стал обходить соседние деревни в поисках подобных мне «книгоглотателей». Увы, и у них я уже ничего нового не находил.

В столицу я приехал, зная из русских поэтов XX века только Маяковского. Я любил его, долго писал «под него», исковеркав на многие годы собственную манеру письма.

Б. Л. прекрасно чувствовал это «присутствие Маяковского» во мне. И, пожалуй, не было ни одной встречи, чтобы мы не говорили об авторе «Облака в штанах».

«А вот Маяковский, а вот я», — часто вспыхивало в буре его разговоров. Были и целые «маяковистские» монологи:

— Надо было видеть его, видеть — во плоти! Это было физическое воплощение гениальности во образе человеческого! — далее следовал такой каскад взрывчатых определений, который я уже не в состоянии восстановить.

Однажды я коснулся высказываний Б. Л. о том периоде Маяковского, который он «не понимает» и «не принимает».

— Если бы не было «ангажированного периода» Маяковского, — сказал я, — если бы он прямо двинулся по линии своих ранних трагических поэм, следующей же «поэмой-шагом» был бы — выстрел.

— Я и считаю «Во весь голос» отложенным выстрелом, — ответил Б. Л.

Я считал и продолжаю считать, что в эпохе было два равнодействующих поэтических полюса — Маяковский и Пастернак. Считаю, что постоянно действующий полюс Маяковского Б. Л. испытывал и учитывал всю жизнь, спор с Маяковским, антиподное утверждение Пастернаком его мировоззрения, на мой взгляд, присутствовало

и в окончательном становлении замысла «Доктора Живаго».

Разговоры Б. Л. со мной настолько — с первых же встреч — принимали общетворческий и общеэкзистенциальный характер, разворачиваясь в некую форму своеобразных поэм-монологов, что имена других поэтов упоминались мимоходом, иногда — почти случайно.

— Хлебников был гениальный поэт, но он не писал для людей, — вдруг обронил однажды Б. Л.

Я легко мог возразить ему. Я этого не сделал, мне было понятно, что имелось в виду под выражением «писать для людей» (не «прожектировать» ни в чем, а суметь сказать насущнейшее, как хлеб, слово для людей-братьев). Вообще высказывать «заведомо непозволительные вещи» разрешают себе очень крупные люди. Я люблю старого Толстого с его «непозволительностями», уверен, что он был внутренним тайным примером для Б. Л., — думаю, что известная «ересь неслыханной простоты» с годами все более сближалась с эстетической ересью Толстого.

Рильке в наших встречах с Б. Л. присутствовал, как воздух, как свет. Тем более что ко времени нашего знакомства я знал уже «Заметки Мальте Лауридса Бригге» в русском двухтомном издании 1913 года (поразительно, это издание мало кто знал тогда и в московских просвещенных кругах... оно не встречалось даже в лучших частных библиотеках).

Упоминания других поэтов, как я уже сказал, были незначительными. Он кивнул в знак согласия с моим отзывом о «каркасности» поэзий Асеева и Тихонова («Да-да, конечно, вы правильно это сказали — «каркасность», но если я о них ничего не скажу, они ведь обидятся!» — речь шла об автобиографии «Люди и положения»).

Вскользь упомянул однажды Б. Л. об «эффектности» раннего Заболоцкого («бывшего очень талантливым») при явной неосведомленности о его поздней судьбе: «А ведь мог стать большим поэтом».

К огромной переписке, возникшей после публикации «Живаго», Б. Л. относился как к творчеству, хотя и «отнимающему много времени».

— На днях обратились ко мне из Музея Рабиндраната Тагора. Конечно, вы знаете, как увлекались им в России перед революцией, в этом я чувствовал какую-то духовную муть, Тагор меня никогда не привлекал. Все же я нашел кое-что, что мог бы о нем сказать, и ответил музею.

В 1957 году я переводил на чувашский язык «Василия Теркина» А. Твардовского. Б. Л. спросил, как движается моя работа. Я тяготился этим вынужденным переводом для заработка и ответил, как бы отмахнувшись.

— Зря вы так, — заметил Б. Л. — Это вообще — лучшее произведение о прошлой войне. К тому же там — прекрасный русский язык.

Потом добавил:

— Думаете, я Шекспира и Гете переводил потому, что я их люблю? Я их и так люблю. Я переводил тоже вынужденно, чтобы выжить, продержаться.

Осенью 1956 года я «свел» с Пастернаком Назыма Хикмета, считавшего русского поэта «величайшим поэтом современности».

— Я, конечно, хотел бы его видеть, ведь он и живет-то совсем рядом. Но боюсь — его изводят постоянным паломничеством, — говорил Хикмет.

— Назым, это не так, — возразил я. — Поверьте, он очень одинок. Просто — пойдете к нему, «без всякого».

Назым отнекивался:

— Не знаю, не знаю. Он скажет: вот, мол, пришел «борец за мир».

Прошло несколько дней. Утром в коридоре Литературного института бросилась навстречу мне Ирина Емельянова (дочь О. В. Ивинской):

— Гена, вчера к классику приходил Назым, сидели на веранде и до утра общались!

(Мы с Ириной между собой называли Б. Л. классиком.)

В октябре 1958 года я встретил Назыма случайно в вестибюле гостиницы «Москва».

— Да, позор, позор, какой это позор! — удрученно твердил Назым, когда я заговорил о «нобелевском скандале».

Осенью 1956 года в Литературном институте прошел слух, что Б. Л. согласился встретиться со студентами (такие встречи «со старшими соратниками по перу» проводились там регулярно).

Слух подтвердился.

— Как вы к этому относитесь? — спросил меня Б. Л.

Я выразил сомнение: студенты «в общей своей массе» его, пожалуй, не поймут. Так что стоит ли... Хотя я лично рад был бы там его видеть.

— И все же я решил согласиться на эту встречу. Только по одной причине: я хочу поговорить о Павле Васи-

л ь е в е, какой это был мощный талант, я никогда не переставал удивляться его поэтической силе.

Времена менялись быстро. В Литинституте произошел очередной идеологический крен, встреча Б. Л. со студентами не состоялась.

Недавно я прочел о том, что Пастернак возмущал Анну Ахматову «глубоким равнодушием ко всем поэтам-современникам».

Я совсем не собираюсь опровергать это известное мнение, это — «суд» не моего поколения.

В атмосфере моих встреч с Б. Л., скажу повторно, я как будто чувствовал веяние некоей «свободы духа». Этот дух постоянно был занят чем-то крупнейшим и важнейшим, для него непреходяще образцовым («Кстати, Гете», — слышу я голос Б. Л. «А насчет Пруста...» — слышу, но не могу точно вспомнить сказанного).

Я не расспрашивал Б. Л. о крупных поэтах — его современниках, я просто отдавался во власть его Свободы — это было важнее «литературных проблем».

Б. Л. делится впечатлением от игры Вана Клиберна (к триумфу которого я отнесся скептически):

— Гений приходит и отменяет все бывшие до него законы, устанавливая законы собственные.

Смею сказать, что и я — если выделить этот «личный фактор» — интересовал его не как представитель такого-то поколения, а встретившаяся ему, заинтересовавшая личность (которой он придавал извечно широкое значение, — думаю, в таком контексте любой открывшийся ему человек был целым миром, в котором веяла та же упомянутая пастернаковская Свобода).

Чуть раньше, чем встреча с Борисом Пастернаком, произошло еще одно большое событие, которое донныне продолжает определять мои духовные ориентиры.

В 1955 году вернулся на родину крупнейший чувашский поэт Васyleй Митта. Арестованный в 1937 году в возрасте 29 лет, он провел в сталинских тюрьмах и лагерях 17 лет. Я знал о нем с детства — он дружил с моим отцом, сельским учителем, писавшим стихи, одним из первых переводчиков Пушкина на чувашский язык. Митта в состоянии свободной творческой работы (при полной силе и зрелости) пробыл, в сущности, всего два года — летом 1957 года он скончался в родном селе во время большого народного праздника «Агадуй». Праздник был приостановлен, поэта хоронили тысячи людей.

Несмотря на понятную малопродуктивность, Васyleй Митта оставил десятки стихотворений, ставших самыми драгоценными шедеврами чувашской литературы. В любом самопроявлении Митты — в поэтическом слове, в письме, в беседе, в поступках — всегда было нечто «сократическое» — скромное, малословное (и поэтическое по красоте) напоминание об очень древних и самых драгоценных моментах чувашской этики и чувашской эстетики.

Недавно я прочел посмертно опубликованные записки русского священника Сергия Желудкова об Андрее Сахарове. «Я замечал в Сахарове черты личной святости», — записал священник, с которым я был знаком.

Смею сказать, что такие «черты личной святости» были и у чувашского поэта (да и на родине относятся к нему как к святому своей нации).

Очарованный «братом Васyleем» (как мы его называли в Чувашии), я взхлеб рассказывал о нем Пастернаку. Б. Л. подробно расспрашивал о чувашском поэте, потом, оговариваясь насчет своей «незаслуженности говорить кому-то что-то особенное», просил передать Васyleю Митте слова восхищения «перед мужеством всех мучеников» сталинского лагерного ада, слова поддержки и надежды.

«Брат Васyleй», выслушав это устное «послание» Пастернака, тихо и неторопливо сказал:

— Передай, пожалуйста, Борису Леонидовичу, что мы, имеющие отношение к словесности, встречаясь в тюрьмах и лагерях, всегда говорили между собой, что есть на воле Пастернак, верный Совести и Правде, и, значит, жива правда в Слове. То, что он есть, нам помогало сохранять веру в жизнь.

Тогда я часто ездил из Москвы в Чебоксары. Между двумя великими поэтами при моем посредничестве завязался «разговор на расстоянии».

О смерти Васyleя Митты я узнал в Иркутске по крохотному некрологу в «Литературной газете». Вскоре я вернулся в Москву и почти сразу же поехал в Переделкино. Б. Л., ожидавший меня к точно назначенному часу, шел навстречу. Первыми его словами были:

— Как это могло случиться? Как же так? Я постоянно твержу себе: как это невероятно — не сделали с ним чего-нибудь? Ведь ему не было и пятидесяти!

И вот сейчас, в мае этого года, один из

моих друзей прислал мне копию письма Васyleя Митты, находящегося в архиве Чувашского КГБ. Письмо, отправленное Миттой одному чувашскому литератору из Дома творчества в Малеевке под Москвой, датировано 30 января 1935 года.

В нем с изумлением я встретил следующие строки: «Вчерашний день был для меня очень важным и знаменательным. К нам, сюда, приезжал Пастернак. Поразительный человек. Пастернак, как и его поэзия, — весьма труден для понимания, для разгадки его личности. В то же время от него исходит огромная, неудержимая мощь, присутствие какого-то особого духа, чувствуется особо бурный, трудноопределимый настрой. Какая сила, какая огромная душевная щедрость! — словами этого не передать, можно только почувствовать».

Удивительно, говоря со мной неоднократно о Б. Л., Васyleй Митта так и не упомянул о знаменательном для него дне 29 января 1935 года.

В последнюю нашу встречу, весной 1959 года, Б. Л. спросил, знаю ли я стихи Андрея Вознесенского. Я ответил, что читал только одно его стихотворение, «Гойю», и «очень даже приметил».

— Да, талантлив, очень. Мне бы хотелось, чтобы вы дружили. Я верю, что вы подружитесь, — сказал Б. Л.

Проведя три десятилетия вне официальной признанной «литературной жизни», я познакомился с Андреем Вознесенским только в декабре 1988 года в Гренобле. Слова Б. Л., естественно, мы помним с Вознесенским как общий для нас «завещательный момент» наследия Пастернака.

Я особо хотел бы отметить, что Б. Л. удивительно чувствовал, с каким духовно-интеллектуальным «содержанием» находится перед ним его собеседник.

В течение трехлетних встреч (иногда — раз в неделю, иногда — раза два в месяц) мне всегда хотелось заговорить с Б. Л. о Ницше (в те годы я весь был пропитан эстетикой Ницше, считал его в этом отношении своим «духовным отцом»). Но я инстинктивно чувствовал, что этого не надо делать, — мне казалось, что разговор о немецком философе может вызвать размолвку между нами.

И вот в предпоследнюю нашу встречу Б. Л. сам заговорил о Ницше. Разговор был взаимно восторженным и бурным.

— В моей юности все были ницшеанцами — и Маяковский, и Горький (не буду уж говорить, до чего доводили это увлечение

Леонид Андреев и другие!). Я не входил в их число — они увлекались аморализмом Ницше. Для меня Ницше в первую очередь — эстет, артист. Если бы на земле появились какие-нибудь инопланетяне и спросили бы, назовите одного из вас, кто полностью воплощает в себе художника, артиста, я бы сказал: Ницше, только Ницше!

Темнело, мы сидели на веранде, почти касаясь друг друга коленями. В возбуждении Б. Л. стал ударять ладонями по моим коленям, я... я стал делать то же самое.

От Б. Л. я поехал к Ольге Всеволодовне.

— Каким вы его нашли сегодня? — спросила она, просившая в тот трудный год, чтобы я после встреч с Б. Л. заезжал к ней — «чтобы я знала, как он там...».

— Сегодня мы колотили друг друга, — неуклюже пошутил я. — Из-за Ницше.

Я пересказал наш разговор Ольге Всеволодовне.

— Не может быть! — воскликнула Ольга Всеволодовна. — Ведь он всегда его ругает. И только неделю назад отрицательно отозвался о Ницше, когда писал о Кьеркегоре.

4

Он не очень-то позволял мне говорить о его поэзии. Отмахивался от упоминаний стихов из «Когда разгуляется»:

— Многое там написано наспех, фрагментарно, к тому же у меня выхватывают первоначальные варианты, и они гуляют по рукам, пока я добиваюсь цельности этих вещей.

Однажды мы чуть не поссорились. Отправившись к Б. Л., я долго шел под необычайно лохматыми кронами лип, и во мне загудела пастернаковская «Вторая баллада»: «Лопатами, как в листопад...»

Я пришел к Б. Л. с этим ритмом и сразу же загудел что-то насчет «Баллады».

— Разве вы не знаете, что я слышать не хочу о моих ранних стихах? — просто-таки заорал Б. Л.

И началось, в той же тональности, с гневом: о том, что все это было «избыточно манерно, вычурно, неестественно» и т. п., и т. п.

Тут уже стал кричать я (полагаю, чувствуя инстинктивно, что нет другого выхода из этой ситуации):

— Да, я слышался, Борис Леонидович, насчет того, как вы корежите ваши ранние стихи! Вы зря это делаете. Это давно уже

классика, не принадлежащая и вам самому. Тысячи ваших читателей помнят наизусть ваши те или иные стихи, они не примут ваши современные варианты. Вы же не сможете отобрать у меня ваше творение, которое живет во мне — независимо от вас. И притом, — продолжал я более мирно, — послушайте, почему я заговорил на возмущившую вас тему.

И рассказал коротко, как я шел под «кипящими лохмотьями» лип и как почувствовал себя «на учете» всем существующим, миром, Вселенной — «всем-всем»!

— Как? Вы это почувствовали? Вы это поняли? — «орание» Б. Л. приняло другую тональность. — А ведь действительно, как это было прекрасно! Вы это поняли...

Разговор уже продолжался мирно, как всегда. Более этой темы «ненужной сложности» его ранней поэзии мы не касались.

В 70-х годах, живя все более уединенно в разных русских деревнях, среди русской природы, я пришел к убеждению, что невероятная простота для меня — непостижимо «простое» совершенство Творения (самое таинственное из всего существующего), обязательно и антиномично сопряженное с мучительной проблемой соответствия его со «словесною простотой» — в некотором ином моем понимании... сейчас я на этом не остановлюсь (скажу лишь, что у меня, очевидно, «нелады с вещественным миром»), — здесь я немного расхожусь с Пастернаком, восхищаясь при этом его невероятной дерзостью, мужеством и ответственностью перед насущным для людей Словом, возрожденно религиозным — словно со свежей печатью прямой Благодати.

Все же «ересь простоты» у Пастернака в последние годы — в отношении средств выразительности — стала приобретать и некоторый характер чего-то излишне покаянного (как будто он чего-то не «доделал»).

Так, в одну из последних встреч он спросил мое мнение о поэте Б., чья «простота» доходила до фольклорной стилизации.

— Да, я уже знаю о вашем особом отношении к нему. И поэтому я его почитал. Странная смесь некоторых артистических моментов с графоманией, — сказал я.

— Да, много воды, — как-то удрученно ответил Б. Л.

Я уже упомянул, что вторую тему, пролизовавшую беседы Б. Л. со мной, вообще все наши общения (охватывавшую широко, «пульсирующе», светозарно), можно было бы назвать темой «здешности», обыденности чуда.

Чуда Творца и Творения, хотя «специально» религиозных разговоров между нами не было (моя религиозность тогда была весьма абстрактной в гегельянском духе, я неуверенно продвигался в сторону Паскаля. От решительной заинтересованности русской богословской философией меня удерживало прежде всего мое настороженное отношение к «софииству» Владимира Соловьева).

На упомянутую тему Б. Л. заговорил при второй нашей встрече:

— Чудо — ведь это просто. Это рядом, везде, постоянно. Когда перед вами текст, вы общаетесь не с буквами, а с духом самого автора, вы общаетесь с ним самим! Чудо — вот вы сидите передо мной, это тоже — чудо.

Пожалуй, мне пора здесь оговориться, что передать уникальные особенности пастернаковской речи я считаю просто невозможным. По существу, это была даже не речь, а буря вдохновения, горячее рождение мысли, ассоциаций, взрывов прямого чувства (почти «междометных»), чуть ли не бьющих в душу — как из тела в тело. Записывая его высказывания в виде прямой речи, я даю лишь упрощенную схему услышанного...

Только один раз я попытался «зафиксировать» (и то — через несколько лет) бурю пастернаковской речи.

26 мая 1965 года в городе Жуковском под Москвой состоялся странный вечер, посвященный Девятому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Алжире. Первые два пункта этого мероприятия были посвящены проблемам Алжира и ЮАР, далее в пригласительном билете следовало:

III. Б. Л. Пастернак. Стихи. О Б. Пастернаке рассказывают: Н. В. Банников — редактор «Литературной России», Геннадий Айги — поэт.

«Пастернаковская» часть вечера, в сущности, провалилась. Организаторы вечера были нервированы присутствием в зале группы «искусствоведов в штатском». Н. Банников, днем еще бывший в редакции, «заболел» и не приехал. Чувствовалось, что собравшиеся плохо знают Пастернака-поэта, и я выступил

столь сумбурно, что впору было провалиться сквозь доски сцены.

Перед вечером я набросал несколько страниц моего выступления, приведу здесь сохранившийся отрывок:

«Чтобы обрисовать хотя бы немного личность Бориса Пастернака, я решил рассказать вам об одной встрече с поэтом. Прежде всего потому, что все тогда происшедшее не требует рассуждений, а только простого пересказа: оно само похоже на произведение, организованное до совершенства.

Летним утром 1958 года я шел из Переделкина, опаздывая на занятия, спешил в Литературный институт, где я тогда учился. Моим спутником оказался студент, которого я часто видел среди литинститутских молодчиков-националистов. На развилке чуть дальше переделькинского кладбища я хотел свернуть направо. И увидел Бориса Леонидовича: он, в белом плаще, шел прямо на нас. Не буду стараться его описывать: вряд ли я тогда что-либо заметил, кроме того, что передо мной был — он, неопределимый, как явление природы.

Начался бурный монолог Бориса Леонидовича:

— Как жаль — я вижу, что вы торопитесь — какое утро! — у вас нет времени — как много хотелось бы сказать! — ведь вы меня поймете! — вы должны это понять! — у вас мало времени! — но вы поймете: самое главное — самое важное — вот это утро — деревья — вы — это небо — все сразу: этот мир — все вместе — природа, — небо — эти сосны! — все это — сразу и вместе понятное — пусть будет тем, что я хочу вам сказать! — я хотел бы, чтобы вы это поняли, приняли, — сразу, все вместе! — чтобы все это было с вами! — ведь вы меня поняли, да? — вы должны это понять!»

Добавлю, что я не успел заметить, как Б. Л. скрылся за соснами. Мой ошеломленный спутник стоял с широко раскрытыми глазами:

— И это и есть Пастернак?

В конце того же года мы с женой вышли прогуляться — почти за полночь. На переделькинском перекрестке столкнулись лицом к лицу с Борисом Леонидовичем.

Это, кстати, произошло среди очень пастернаковской выюги. В эту стихию включился поистине «вьюжный монолог» Пастернака:

— Как я рад! Вот, наконец, вы здесь! А ведь вообще думают, что смысл существующего, самое существенное, главное —

где-то там, «в других мирах»! Нет, все — здесь, сейчас, вот — в это самое время! — вечное, непреходящее сущностное — здесь! И прекрасны мы — здесь, и тайна, и чудо, и наша нескончаемость, все — здесь! Ведь вы понимаете, да?

Этот вьюжный монолог, столь приблизительно переданный мною, долго держался во мне как некий весомо живущий мир, стал неким — во мне — соержанием. Позже я написал программное для меня стихотворение «Здесь», которым обязан Пастернаку.

— Я знаю, что ваш муж выздоровел несколько недель назад. Я ждал его появления у меня. Ждал — как благословенной встречи, как всегда! И вообще — почему он стал реже ко мне ходить? — обратился Б. Л. к моей жене.

— А потому, Борис Леонидович, — ответила она, — что он недолюбливает двух студентов, которые постоянно к вам ходят. Он считает их в чем-то расчетливыми.

Я не удержался, мне было неловко:

— Ну, нельзя же так...

— Нет, нет, она права, я понимаю, понимаю! — горячо отозвался Б. Л. и, обратившись к моей жене, сказал уже спокойно и мягко: — Вы правы. Но, знаете, дружбу по градуснику не делают.

6

Много наговорено и написано об «эгоизме» и «эгоцентризме» Пастернака.

Однажды об этом он заговорил со мной сам. Так, будто жаловался:

— Все обвиняют меня в эгоизме. Близким моим со мной трудно, я все понимаю. Но, скажите, разве это эгоизм, когда все — все природное, все страдающее человеческое, всю неслыханную красоту мира — вбираешь, бесконечно впитываешь в себя, чтобы все это — широко, щедро, безоглядно — отдать, раздать — не зная, кому, — без адреса — всем, всем!

Мое поколение выросло без отцов. Оставшиеся лжеотцы от литературы воевали с такими, как я, как с равносильными врагами. Поистине отеческое отношение ко мне я встретил в моей юности только у двух чувашских поэтов (один из них — упомянутый выше Васильей Митта) и еще — у Бориса Пастернака.

Я был неудачно влюблен, неудачно женат (в чем виню только себя — за нелепую безоглядность, за сумбурность моей жизни).

Перед моей скоропалительной свадьбой (я был на последнем курсе Литинститута и все еще жил в Переделкине) пришла к нам Ирина Емельянова и передала мне от Б. Л., что он просил бы меня вместе с будущей женой посетить его: «Я хотел бы благословить его, как отец, ведь он вырос без отца».

Что-то говорило мне о шаткости происходящего, и я не посмел пойти к Б. Л.

Он чувствовал, что что-то не ладится в моей «личной» жизни (тогда же возникли и признаки будущей расправы со мной в Литературном институте).

И однажды сказал:

— Когда вам плохо, старайтесь заниматься чем-то хозяйственным. Конечно, писать в таком состоянии бывает невозможно. Пожалуй, трудно даже переводить. Переписывайте что-нибудь старое, перепечатавайте, занимайтесь мелкими техническими поправками. Как в таких случаях инстинктивно мудро поступают женщины: стирают, гладят, шьют.

(Должен сказать, что уже через десятки лет в предельно тяжелых ситуациях я сознательно старался заниматься хозяйственными заботами, памятуя о совете Б. Л.)

В марте 1958 года меня исключили из Литературного института и из «рядов комсомола» с формулировкой: «За написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма».

Это известие Б. Л. принял как удар и по себе. Мы встретились с ним сразу же после случившегося — с внутренней взаимностью не стали обсуждать это событие. Я только сказал:

— Это — правильное развитие судьбы, я ведь давно уже в этом русле и в этом как-то спокоен.

Б. Л. молча кивнул.

Однако через какое-то время пролетел по Переделкину слух о самоубийстве одного из студентов Литинститута. Б. Л. пошел в сторону общежитий, у первой же попавшейся навстречу ему студенческой группы спросил насчет меня. (Я был несколько удивлен, но потом понял особое беспокойство Б. Л. — он видел, как я тяжело переживал мой разрыв с женой, а это произошло сразу же после литинститутских событий.)

Кстати, самоубийством покончил тот студент, который при вышеописанной встрече с Б. Л. на кладбищенской развилке с изумлением спросил: «Это и есть Пастернак?»

Он оставил записку, в которой говорилось, что нет другого выхода из мучительного для него «окружения»...

«Сбрасывание» отцов «с парохода современности» мне кажется естественным литературным, вообще-то в достаточной мере «игровым» законом.

Оказывается, «сбрасывать» мое божество — Б. Л. — я начал еще при его жизни. Например, в одной очень культурной еврейской семье я вдруг сказал, что теорию «еврейской ассимиляции» в «Докторе Живаго» я не принимаю: «Ему-то легко говорить об этом». Хозяйка дома назвала меня «предателем». Через несколько лет в той же семье меня уже крыли за умеренное отношение к той же «теории» Пастернака (вскоре эта дружественная мне семья эмигрировала из СССР).

Что-то «антипастернаковское» (касающееся его поэтики) я стал говорить, как обнаружилось, и в разговоре с моим другом Римом Ахмедовым. Выслушав меня, Рим взорвался:

— А знаешь ли ты, что он лишь неделю назад приходил сюда ночью, чтобы справиться о твоём здоровье? А подумал ли ты о том, на каком и ешь и мы могли покупать не только лекарства, но и кормить тебя апельсинами?

Привожу выдержки из воспоминаний Р. Ахмедова:

«Однажды мой Айги не на шутку заболел. Всю ночь метался в жару, бредил. Изрядно напуганный, я утром на занятия не поехал. Побежал в переделкинский медпункт, привел врача. Врач установил: двустороннее воспаление легких. Выписал рецепты, сказал, что сестра будет приходить делать уколы. Велел ставить горчичники, порекомендовал усиленное питание: фрукты, молоко, бульоны. В кармане всего несколько рубликов. На столе самый дешевый батон пшеничного хлеба, пара лукович. Сегодняшние обед и ужин. Мне-то пойдет, а его, больного, чем кормить? На что купить лекарства? Опять у кого-то надо занимать до стипендии. Уныло я пошел на станцию к электричке, когда сзади кто-то окликнул, поднял голову. Смотрю — Пастернак. По моему лицу, видимо, понял, что случилось неладное. Спросил, почему не на занятиях. Я сказал, что Гена заболел. Борис Леонидович разволновался, начал выспрашивать, что да как. Я впервые увидел его в таком волнении. За разговорами он машинально прошел со мной несколько шагов, потом вдруг остановился, взял меня за плечо, в некотором смятении протор-

мотал: «Видите ли, я сейчас, к сожалению, не при деньгах. Но идемте ко мне, что-нибудь да найдется».

Я послушно пошел за ним на дачу. Поднялся в столь знакомый кабинет. Борис Леонидович достал из ящика стола несколько двадцатипятирублевых бумажек, помедлил, добавил еще и протянул мне со словами: «Сначала бегите в аптеку, потом купите что-нибудь из съестного, повкуснее». Я с горячей признательностью поблагодарил, тупо твердя, что в стипендию сразу же возвращу долг. Он нахмурился, сказал ворчливо: «Вот получите Сталинскую премию, тогда вернете».

На улице пересчитал деньги: двести пятьдесят рублей. Половина моей именной стипендии. Вполне можно рассчитаться в один прием, тем более что я немножко прирабатывал на одном заводе, ведя занятия в литературном объединении. В тот же вечер я пичкал друга лекарствами, ставил горчичники, кормил купленными в убогом пристанционном буфете бутербродами с семгой, отпаивал чаем. Он повеселел.

Следующий день принес сюрприз, которого никак не ожидал. Раздался негромкий стук в дверь, и вошел Борис Леонидович. Сам пришел навещать больного. Я только что снял с Айги горчичники, и он, измученный, уснул. Гость быстрым взглядом окинул нашу маленькую узкую комнатку, едва вмещавшую две кровати с небольшим письменным столом между ними. На столе дешевенький проигрыватель в пластмассовом корпусе. На стенах в изголовье рисованные углем на ватмане портреты Волошина, Ницше, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, копии с гравюр Мазереля, с рисунков Ван Гога «Скорбь» и «На пороге вечности». Все это было выполнено моей неумелой рукой. Легкая улыбка скользнула к уголкам губ Бориса Леонидовича.

Он сел на стул рядом со спящим больным, приложил ладонь к его горячему лбу. Спросил, какие даю лекарства. Я пожаловался, что Гена капризничает, больше часу не может полежать в горчичниках, мол, дети терпят, а он не хочет терпеть. Борис Леонидович ужаснулся, объяснил, что держать их нужно не дольше пятнадцати минут. Приоткрыл одеяло, посмотрел на красную обожженную грудь, покачал головой. Дал еще кое-какие советы. Уходя, оставил на столе два лимона, яблоки, банку гущенного какао и еще пятьдесят рублей. Несколько позже, когда я предпринял попытку вернуть долг, он отчитал меня с та-

кой обидой и укоризной, что я, краснея и комкая деньги в кармане лыжных штанов, не знал, куда деться со стыда».

Моя радость от дружбы, от общений с Б. Л. была чистой. Ничего иного я от него никогда не хотел (например, не просил автографов, перепечаток его новых стихов — такое мне и в голову не приходило).

Летом 1958⁴ года, оказавшись без московской прописки, без каких-либо средств к существованию, я уезжал в Иркутск к семье профессора М. М. Лаврова (правнука издателя славянофильской «Русской мысли» В. М. Лаврова), уезжал — в неизвестность, на неведомый срок. Перед этим попрощался с Борисом Леонидовичем. Он настойчиво просил меня, чтобы я ему писал, «я непременно буду вам отвечать». Я сочинял в голове огромные письма к Б. Л., но чувствовал, что они могут оказаться ужасно литературными и неестественными, и не писал ему (в этих «устных письмах» я безнадежно задыхался от кружащего роя мыслей и чувств)...

После смерти Б. Л., в течение тяжелейшей (и все же — уже «выносимой») четверти века, я часто задумывался: как смог выдержать Пастернак страшные полвека советской жизни.

Думал о его жизневыдерживании — как о некоей загадке.

Объяснение того, как он все выдержал и победил, кажется мне, в следующем.

Борис Леонидович, на мой взгляд, обладал гениальной способностью очаровываться — быть очарованным чем угодно и в любую минуту: падающим листом, встретившимся во время прогулки ребенком (его до сих пор вспоминают «простые люди» в Переделкине: «Из писателей только Пастернак с нами здоровался»), хмурым дождем, любым собеседником, как он сам говорил: «всем-всем» — жизнью, Вселенною, собственным поэтическим Миротворением.

7

При первой же нашей встрече разговор зашел о моей поэзии. Вернее, о небольшой чувашской поэме «Завязь» в подстрочном переводе (всего 6 машинописных страниц), которую я упорно «выковывал» в течение 1954 — 1956 годов.

О ней Б. Л. отозвался одной фразой:

— Половина мне очень понравилась, половина — очень не понравилась.



Я даже не задал вопроса. Мне было ясно, какая «половина» не понравилась Б. Л.,— все то, где были остаточные следы «маяковизма» — в «анатомизации» и «физиологизации» образов.

Осенью того же года и в начале 57-го я прочел ему полдюжины стихотворений и небольшую поэму, посвященную чешскому поэту Иржи Волькеру («Это действительно такой значительный поэт?» — спросил о нем Б. Л.).

Особенно вспоминаю мое первое чтение. Б. Л. весь ушел в слушание (словно, все более темнея лицом, тонул в некую стихию — такого слушателя чьих бы то ни было стихов я более никогда не встречал). Одно место из поэмы о Волькере он попросил повторить («...и маленькие красные фонари горят так тихо и сосредоточенно, как будто сидят в них маленькие пимены и тихо и сосредоточенно пишут, что сказание все продолжается»).

Отметил, что научные термины, которые я вводил в стихи, «удачно подчеркивают внутренние контуры одного-единственного образа, а стихотворение у вас — как один цельный образ, этими терминами надо пользоваться, но реже, чем вы это делаете».

Как бы подытоживая общее впечатление, Б. Л. сказал:

— Вообще вы сразу же обнаруживаете «зону», где находится ядро образа, и начинаете усиливать его расширенное действие. Но вы еще не пришли к тому, чтобы выбрасывать хорошее ради лучшего.

Впоследствии я писал, что «одна эта фраза была для меня длительной поэтической школой».

Читал я Б. Л. и мой перевод его «Зимней ночи» на чувашский.

— А башмаки у вас падают раньше, чем у меня,— заметил он, выпустив меня из объятия.

Действительно, строфу с «башмачками» я переставил в моем переводе.

Когда я для примера прочел начало одного из моих чувашских верлибров, Б. Л. спросил:

— Это так и звучит?

— Да,— ответил я, подумав с удивлением, что я действительно придал чувашским звонким согласным большую резкость, близкую к русскому звучанию.

Мне неоднократно казалось, что он поддерживается от одного вопроса. Дело в том, что мои подстрочные изложения чувашских текстов стали приобретать характер полупереводов. И однажды я, как бы

оправдываясь в чем-то, стал говорить Б. Л., что, на мой взгляд, «главное в поэзии — это уловить красоту, и неважно, на каком языке это будет сделано».

— Я с вами согласен,— ответил задумчиво Б. Л.— Но у меня такое чувство, что вы уже входите в плоть русского языка, притом довольно смело. К тому же, похоже, что только русская языковая может позволить вам оперировать всем тем, что, как нечто поэтически зарождающееся, происходит с вами в нашем общении. Скорее всего, вы колеблетесь в выборе. Если бы вы спросили, считаю ли я возможным ваш переход на русский, я сказал бы: да, считаю. Да вы уже и находитесь в русскоязычии.

Хикмет, говоривший со мной на эту же тему, был прав:

— Вам нужен большой инструмент. Нужен — оркестр. Значит, вам необходимо перейти на русский, это будет соответствовать тому, что вы в себе несете. Только запомните: вам никогда не простят ваше происхождение: то, что, будучи выходцем из малого народа, вы будете существовать в большой литературе. Говорю это по своему опыту, наши с вами опыты родственны, мне тоже пришлось поплатиться кое-чем, входя в европейский контекст.

На русский я мучительно переходил в 1960 году, в месяцы, когда Борис Леонидович был уже смертельно болен.

Одно из моих первых русскоязычных стихотворений называлось «Отмеченная зима». В этом названии — скрытая «цитата» из Пастернака, я знал, что он среди близких отзывался обо мне словами: «Он — отмеченный».

Мой большой русский однотомник, вышедший в Париже в 1982 году, тоже носит упомянутое название (в этом было сохранение мною некоего «завещания» Б. Л.— тайное, лишь для себя).

Как такое же завещание, я вспоминал всегда и его следующие слова:

— Мне близка ваша слиянность с природой. Но я хотел бы сказать, что придет время, когда вы должны будете сознательно стараться сохранять эту данность как некий ваш долг по отношению к собственной работе.

В предпоследнюю нашу встречу, в начале 1959 года, Б. Л. сказал:

— Россия — счастливое место для художника. Здесь еще не порвана связь человека с природой.

8

Осенью 1959 года я выехал в Чувашию, домой, к умирающей матери.

В деревне я жил «под официальным наблюдением, как враждебный элемент»; как было заявлено на сессии местного райисполкома.

Из Москвы часто шли письма — от Ирины Емельяновой. И вдруг они прекратились. И однажды ночью — тайно — посетили меня два молодых человека из соседней деревни (оба — исключенные из какого-то сибирского института по «идеологическим причинам»): «Мы много о вас слышали. Говорят о вашей связи с Борисом Пастернаком. И мы решили сообщить вам, что зарубежные «голоса» передают сейчас, что он тяжело болен».

Через некоторое время мне передали телеграмму. Словно двинувшиеся с бумаги, ударили слова: «К л а с с и к с к о н ч а л с я».

Моя мать, малограмотная крестьянка, обладала драматически развитым умом и была для меня настоящим духовным другом. Я ей рассказывал о Пастернаке, она понимала его значение в моей жизни.

— Ты обязательно должен быть на его похоронах, — сказала она. — Поезжай. Верь, я не умру до твоего возвращения.

Наступала ночь. Я кинулся бежать по полю в дальний районный центр, чтобы оттуда добираться до железнодорожной станции.

Светила луна. И тут я решил еще раз прочесть телеграмму — там стояло: «П о х о р о н ы в о в т о р н и к».

Бориса Пастернака похоронили три дня назад.

Моя мать умерла ровно через неделю после кончины Бориса Леонидовича.

Так — от страшного двойного удара — кончилась моя юность.

Гений и красавица

Как только ты сходишь с электрички и направляешься от станции к поселку, десятки примет напоминают тебе о нем. Уже и сам подмосковный поезд, и станция словно бы выехали из «Ранних поездов», но это только начало. Ведь путь твой — мимо церкви, которая всегда была перед ним, и через реку, протекающую и в стихах его, мимо поля, где столько лет он крестьянствовал. И ты будешь видеть те же леса и перелески, те же дали, в которые всматривался он. И пройдешь мимо кладбища, где между могучими соснами нашел он последнее успокоение.

И наконец, ты свернешь с проезжей дороги направо и выйдешь к его дому, Зайди в этот дом, в нем все осталось по-старому, как было при нем. Широкая квадратная столовая, завешанная рисунками отца, комната с роялем, где жил «второй сын» Станислав Нейгауз, веранда, выходящая в сад. Поднимись по узенькой лестнице на второй этаж, вот здесь его комната, вряд ли можно сказать «кабинет». Слишком просто, незатейливо для кабинета. Конторка, за которой он писал последние годы, простой стол, несколько полок с книгами. Совсем простая, почти солдатская кровать. На гвозде кепка из «букле», та самая, подлинная, которую мы знаем по фотографиям.

Теперь здесь музей, но, слава Богу, «музейного», хрестоматийного в нем нет, это просто дом Пастернака, из которого он отлучился.

Боже мой, как давно это было! Целая жизнь прошла после этого.... Конец августа 56-го года. Дмитрий Бобышев и я, ленинградские студенты, возвращаемся с Карпат через Москву. Где мы узнали адрес Пастернака, не помню. Может быть, просто в адресном бюро. И вот мы поднимаемся на вершину Лаврушинского дома-громадины и долго не решаемся позвонить. Наконец, я нажимаю кнопку. По какой-то случайности дверь в ту же секунду распахивается. Пастернак перед нами. Помню, как будто это было вчера. Светлые брюки, синий пиджак. Загорелое, еще очень молодое, несмотря на все портреты, такое незнакомое, ошеломляющее лицо. Уголок одного глаза

залит кровью, кажется, это называется «порвался сосуд».

Он долго нас расспрашивал — кто такие? откуда? как поживаете? И видно было, больше всего хотел деталей, подробностей. Встречу эту, наш разговор подробно записал тогда же, но запись эта утеряна, а припоминать через тридцать семь лет можно только приблизительно.

Помню, что больше всего он говорил о своем романе, помню, что он переводил разговор, если мы застревали на стихах, начинали цитировать. Говорил о Гете, о «Фаусте», может быть, он незадолго до этого закончил работу над переводом.

Кончился наш визит так. Борис Леонидович поглядел на часы и сказал, что сейчас придет парикмахер стричь его. Нам очень не хотелось уходить, хотя мы были в гостях около трех часов и хозяин даже угостил нас огромной, чуть ли не на десяток яиц, яичницей. И я предложил такой выход: «Вы стригитесь, Борис Леонидович, а мы будем сидеть рядом и разговаривать с вами».

Пастернак засмеялся и сказал: «Последний человек в литературе, который мог себе это позволить, был Анатолий Франс».

...И каждый угол, каждый новый поворот, всякий горизонт этого переделкинского пути сам собой подсказывает, нашептывает, а иногда и выкрикивает стихи Пастернака.

Зайдешь ли в лес... «И вот, бессмертные на время, / Мы к лику востен причтены / И от болезней, эпидемий, / И смерти освобождены».

Представишь ли себе зимние переделкинские сумерки... «Из чащи к дому нет прохода, / Кругом сугробы, смерть и сон, / И кажется, не время года, / А гибель и конец времен».

И еще, еще... Всегда вот это, переходя через узкую Сетунь: «Где я обрывки этих речей / Слышал уж как-то порой прошлогодней? / Ах, это сызнава, верно, сегодня / Вышел из рощи ночью ручей. / Это, как в прежние времена, / Сдвинула льдины и вздулась запруда. / Это поистине новое чудо, / Это, как прежде, снова весна».

И всякий раз, когда я обходил этот дом, пробирался между клумбами, садился на скамью около веранды, мне чудилась еще

одна тень, тень Хозяйки этого места. Чтобы наполнить жизнью дом, обогреть его обитателей, запустить приводные ремни существования, здесь должна была бессменно царить женщина, человек, на чьих плечах держались бы и быт, и бытие, «и творчество, и чудотворство». Женщину эту звали Зиной, Зинаидой Николаевной. В девичестве она была Еремеева, потом Нейгауз, потом Пастернак. Это о ней: «И я б хотел, чтоб после смерти, / Как мы замкнемся и уйдем, / Тесней, чем сердце и предсердье, / Зарифмовали нас вдвоем».

Так оно и случилось. Я держу в руках благородный, плотный, тяжелый том, книгу, написанную ими в соавторстве, объединяющую их, объединенную ими. На переплете значится: «Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. З. Н. Пастернак. Воспоминания». (Издание — ГРИД. Дом-музей Б. Пастернака, Москва, 1993. Составление и подготовка текста Н. Пастернак, М. Фейнберг. Вступительная статья и комментарии М. Фейнберг. Подбор иллюстраций Н. Пастернак, М. Фейнберг. Художники В. Родченко, Н. Лаврентьев.)

Сама идея этой книги — какая счастливая, плодотворная и творческая идея, ибо перед нами волшебный треугольник, магический кристалл, через который просматривается особое пространство. Пространство это сдвоенное, это жизнь, пронизанная творчеством, это бытие, это Вселенная, опирающаяся на быт.

Книга начинается со стихов, давно классических, уже ушедших в подсознание, твердых наизусть. И затем следует более семидесяти писем, растянутых по трагичнейшему, переломному времени, с 29 ноября 1930 года до 17 февраля 1957-го.

Стихи «Второго рождения» и письма эти — это ветви одного ствола, ручьи из общего источника, они связаны сотнями кровеносных сосудов, они соседствуют, как текст и подстрочник.

Сравним. «И я знаю, что так, как я люблю тебя, я не только никого никогда не любил, но и больше ничего любить не мог и не в состоянии, что работа и природа и музыка настолько оказались тобою и тобой оправданы в своем происхождении, что — непостижимо: чтобы я мог полюбить еще такого, что снова не пришло бы от тебя и не было бы тобою» (письмо 1931 года).

И сразу припоминается: «Красавица моя, вся статья, / Вся суть твоя мне по сердцу, / Вся рвется музыкаю статья, / И вся на рифму просится». Или: «Любимая, — молвы слащавой, / Как угля, вездесуща гарь.

/ А ты — подспудной тайной славы / Засыающий словарь».

И таких переключек десятки, но все их не выпишешь в этих коротких заметках.

Письма писались, конечно же, в моменты разлуки, и они связывают почти тридцатилетний период не сплошь, а пунктиром, и все-таки в них можно узнать почти все события в жизни Пастернака, творческие, деловые, бытовые, ощутить глухие отзвуки на трагедию сталинщины, которые, это очевидно, чуждались письменного изложения.

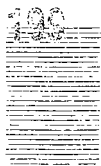
Стоит только вчитаться в письмо из Парижа (от июня 1935 г.) с его жалобами на многомесячную бессонницу, душевные нелады, приближающееся безумие. Пастернак понимает, что исполняет роль в чужом спектакле (он против воли послан на международный конгресс писателей)... «Все-таки было большой жестокостью со стороны всех (но не с твоей), что меня послали в таком состоянии... Я приеду в таком упадке сил, какого и в год у нас не восстановлю».

Всего подробней очерчивают письма военное время. Тут сплетено все — ужасы и неразбериха первых дней войны, мельчайшие бытовые хлопоты, забота о детях, слухи и разговоры, денежные дела, загадывания о будущем. У этих писем новый тон, бодрый, наполненный надеждами, отвергающий уныние. Но и здесь сквозь заслоны прорывается протест против удушья, омертвления творчества, исходивший от каждой официальной инстанции.

«Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза».

В этих военных письмах поражает невероятное количество всяких хлопот, выпавших на долю Пастернака, и та ответственность, старательность, толковость, с которой он к ним относится. Это касается равно и его работы, в основном перевода драм Шекспира, бесконечных денежных и вообще материальных забот о семье (где не упускаются никакие мелочи, вроде плитки шоколада для детей и табака для жены), и размышления о будущем послевоенном устройстве жизни, о переделке дома, о возрождении семейного гнезда.

И в каждом письме, каждой открытке, записке Борис Леонидович не устает писать о своей любви к Зине и детям, и однажды (12 января 1948 г.) он выражает это в абсолютно законченной и точной формуле: «Зине, моей единственной. Когда



я умру, не верь никому: только Ты была моей полною, до конца дожитой, до конца доведенною жизнью» (надпись на экземпляре перевода «Гамлета», выпущенного издательством «Детская литература»).

И на все это можно поглядеть как бы через обратную сторону магического кристалла, через воспоминания самой Зинаиды Николаевны.

Эти воспоминания Зинаида Николаевна начала писать в 1961 году, после перенесенного ею тяжелого инфаркта. Написала она немного, большая часть воспоминаний продиктована. «Сравнивая сейчас текст воспоминаний с ее письмами, видишь, что чужая запись, как это всегда бывает, огрубела текст. Сама Зинаида Николаевна писала по-другому, живее и непосредственнее» (из вступительной статьи М. Фейнберг).

И тем не менее записки эти производят впечатление удивительной подлинности. И главное — читающего ни на минуту не покидает ощущение абсолютной правды. Правдива интонация, правдивы детали, достоверно само изложение, ни одной фальшивой ноты на протяжении всех записок.

Они начинаются издалека, от самого детства, показывая душу подростка в смутную эпоху революции. Первую женскую страсть, безусловно явившуюся одной из пружин в сюжете «Доктора Живаго». Зинаида Николаевна была талантливой пианисткой, ей доводилось играть вместе с Нейгаузом и Горовицем. Она рассуждает о музыке тонко и проникновенно. Эти куски особенно хороши в первой части записок.

Короткие, быстрые фразы описывают жизнь в Киеве, концерты Нейгауза, весь трепет трудной, но высокодуховной артистической жизни. Вот и переезд в Москву, вот день встречи с Борисом Пастернаком.

С этого момента «Второе рождение», пастернаковские письма и записки Зинаиды Николаевны начинают идти параллельно, как зеркала отражая друг друга.

И когда Зинаида Николаевна пишет «я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака с женой Евгенией Владимировной и для брата поэта — Пастернака Александра Леонидовича с женой...», то не вспоминается ли сразу: «Ирпень — это память о людях и лете, / О воле, о бегстве из-под кабалы, / О хвое на зное, о сером левкое / И смене безветрия, ведра и мглы». И, конечно же: «И станут кружком на лужке интермеццо, / Руками, как дерево, песнь охватив, / Как тени, вертеться четыре семейства / Под чистый, как детство, немецкий мотив».

Таких сопоставлений можно бы привести десятки, и работа эта, как мне кажется, очень интересна. Но записки бегут все дальше и дальше, и вот уже наворачивается трагический узел из четырех жизней, Пало Яшвили приглашает Пастернака с его спутницей в Грузию, и начинается новая жизнь, жизнь новой семьи, ведь в этой семье двое маленьких мальчиков, сыновей Генриха Нейгауза — Адриан и Станислав.

Особенно впечатляющи страницы воспоминаний, относящиеся к концу 30-х годов. Ведь Пастернак находился в самом центре той зоны, что подверглась особо жестокому сталинскому разгрому. И вот снова проходят перед нами эпизоды, ставшие уже легендарными. Приезжает из Ленинграда Анна Ахматова хлопотать за арестованного Пунина. Читает свою знаменитую инвективу Осипу Мандельштаму. Из коридора коммунальной квартиры на Волхонке Пастернак говорит со Сталиным. На глазах у дачных гостей увозят на гибель Бориса Пильняка.

Война проявила в Зинаиде Николаевне ее лучшие, сильнейшие качества — огромную трудоспособность, стремление поставить себя на службу людям, бескорыстие.

Нельзя без волнения читать о том, что на попечении Зинаиды Николаевны оказалось 200 ребятишек, и каждого надо было накормить, за каждым присмотреть и все это большое хозяйство организовать практически с нуля. В Чистополе Зинаида Николаевна стала сестрой-хозяйкой детского интерната, и эта работа растянулась на годы. Но ведь одновременно на ее плечах была забота о Борисе Леонидовиче, и, кроме того, ей приходилось навещать больного сына Адриана, лежавшего в больнице на Урале.

Вот уже и послевоенное время, с его новыми заботами и тревожениями. Вот строки о знакомстве с Ольгой Ивинской, о работе над романом, и мы вступаем в эпопею «Доктора Живаго».

Сейчас, когда все это хорошо известно по хронике Е. Б. Пастернака и книге О. Ивинской, нисколько не теряют ценности и страницы из записок Зинаиды Николаевны. В них много конкретного, точных наблюдений, метких деталей. И так понятно, когда на водопад поздравлений по поводу Нобелевской премии Зинаида Николаевна отвечает совсем в другом тоне, гораздо более мудром и глубококом: «Какое-то предчувствие говорило мне, что это будет его концом. Разве они понимают, как я хотела, чтобы Боря подольше жил, побольше работал и как дорога мне его жизнь! Всем своим существом я поняла, что теперь за-



варится каша и вокруг этого дела начнется холодная война, тут будут бить его, а на Западе этим пользоваться в своих интересах».

И когда вчитываешься фраза за фразой в записки, понимаешь, как Зинаида Николаевна была права. Богатырское здоровье Пастернака было подорвано разразившейся враждебной вакханалией. Он мог бы жить еще долгие годы, работать, здравствовать, но месяцы неслыханных поношений и проблем не прошли даром, и именно отсюда начинается путь к его концу.

Последняя часть записок — это повесть о той борьбе, которую вела Зинаида Николаевна за жизнь Пастернака. Здесь упоминаются десятки врачей, описываются многие медицинские обстоятельства. И все это с такими подробностями, что диву даешься, как могло все это удержаться в памяти.

И вот: «В полдесато Боря позвал меня к себе, попросил всех выйти из комнаты и начал со мной прощаться. Последние слова его были такие: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстанусь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости, не только у нас, но и во всем мире. С этим я все равно не примирюсь».

Сильно и картинно описаны похороны. В иных абзацах просто бросается в глаза незаурядный художнический дар Зинаиды Николаевны, ее темперамент, ее наблюдательность.

Последние страницы воспоминаний снова полны бесконечными делами и хлопотами, обрушившимися на Зинаиду Николаевну после смерти мужа. Тут и разборка рукописей, учреждение комиссии по литературному наследству, издание книги стихов. И наконец, это хлопоты о собственной пенсии, ибо вскоре после смерти Пастернака Зинаида Николаевна оказалась без средств к существованию. Невероятно, но факт — она должна была продать оригиналы писем Пастернака, чтобы купить уголь, необходимый для отопления переделкинского дома.

Пенсии она так и не получила. «...Когда я кончаю эти записки, неопределенность моего положения и материальные заботы снова мучают меня». На этой печальной ноте обрывается рукопись Зинаиды Николаевны.

Но на этом не кончается книга. Она обрамлена предисловием и комментариями, превосходно исполненными литературоведом Мазью Фейнбергом. Аппарат книги сделан с исключительной полнотой и достоверностью, более того, иногда он читается не

менее увлекательно, чем основной корпус. Сотни «людей и положений» встают из этих комментариев. Надо ли справиться об Асмусе, Нейгаузе, Ренате Швейцер, надо ли выверить дату события, получить дополнительные сведения, как, например, в истории хлопот А. Ахматовой об освобождении Н. Пунина, — в комментариях все это есть с необходимой достаточностью, как говорят математики.

В начале лета 1986 года я оказался в Переделкине вместе со своим старинным приятелем американцем — профессором русской литературы. Оба мы в былые годы бывали в пастернаковском доме, обоим нам захотелось посмотреть, что же с домом случилось. Как известно, в 1984 году местные власти (уж, конечно, не без указаний свыше) разгромили дом поэта, выбросили оттуда наследников, поломали и разорили обстановку. Потом наступило время слухов. То говорили, что дом отдается тем или иным московским и немосковским писателям, то якобы там срочно организуется музей литературного Переделкина. Потом все слухи сошли на нет. И судьба дома была глуха и неизвестна.

Мы вошли на участок и поразились тому, как густо он зарос травами и кустарником, они окружили дом, и, следуя старинной формуле, можно было бы сказать, что сюда не ступала нога человека. И сам дом был внешне заброшен и молчалив. На всякий случай мы все-таки постучали в дверь. Неожиданно она открылась, и перед нами предстал длинноволосый парень, назвавшийся сторожем. Долго он не пускал нас внутрь, но у запасливого моего спутника оказалась с собой бутылка виски. Тут уж длинноволосый сторож устоять не мог. Мы вошли. Дом был абсолютно пуст, кажется, в кухне стояла единственная табуретка, и только в маленькой комнате первого этажа, где скончался Пастернак, на полу стояла молочная бутылка с веткой сирени.

У сторожа все-таки нашелся стакан, и мы выпили по глотку «Белой лошади» в память о великом обитателе этого дома, его жене, его сыновьях.

Еще в 1931 году в последней части автобиографической «Охранной грамоты» Пастернак написал: «Но одинаковой пошлостью стали давно слова: «гений и красавица». А сколько в них общего».

Тогда, на разбеге тридцатых годов, только начиналась жизнь, которая воплотилась сегодня в легенду, историю, книгу, музей.

Гений и красавица — это и были две стороны одного кристалла, сближаясь с годами, они в конце концов слились воедино.

Теперь все знают, куда деть марксизм. Но куда деть Маркса?

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЛЕВ АННИНСКИЙ

По мере того как Маркс перестает быть невольником марксизма и заложником единственно правильного учения, он возрождается как историческое лицо и воскресает как нормальный человек.

Современные читатели, освобожденные от сакрального ужаса перед «Капиталом» и от обязательной гордости за «Манифест Коммунистической партии», обнаруживают в их авторе черты обыкновенности, совершенно невероятные для «основоположника». Они открывают в нем драму, ранее неведомую, и находят его идеям контексты, по прежним временам невероятные.

Для моего атеистического поколения стала, например, откровением на восемьдесят лет запоздавшая работа Сергея Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип» (четыре года назад она издана, наконец, в «Науке»). Или аналитические версии философии Маркса как учения иудаистского (хилиастический «земной рай»; пролетариат, ощущаемый как Мессия; «диктатура» в контексте Ветхого Завета и т. д.) — эти версии, в свое время долетавшие до нас по волнам эфира, заставляли осмыслять марксизм как бы с нуля.

Теперь переосмысление идет в открытую и полным ходом. Не фельетонное перечеркивание, не вымещение на авторе «Немецкой идеологии» комплексов, вынесенных нами из идеологии советской, — а именно переосмысление драмы великого философа. На фоне фельетонной гласности, делающей из всего марксистского либо хохму, кукиш, вынутый из кармана, либо встречный донос, — настоящие попытки понять, ЧТО происходило, особенно ценны.

Я имею в виду, в частности, книгу «Подсознательный Маркс», которую написал философ и психолог Александр Лобок.

Книгу выпустили в Екатеринбурге. Не знаю, знаменательно ли это обстоятельство (скажем: Москва «испугалась», а Урал — нет), так или иначе, сделано дело замечательное. Книга произвела на меня яркое впечатление, ее хочется откомментировать — тем более что две тысячи экземпляров, отпечатанные в типографии «Уральского рабочего», вряд ли так уж быстро попадут к читателям на «одной двенадцатой» земной тверди (так, кажется, измеряется теперь удел наследников «одной шестой»?).

Конечно, от названия веет Фрейдом. Ждешь борьбы сына с отцом, ждешь «базовых интуиций», впечатанных в человека с детства, ждешь Эдиповых и прочих мифов, воспроизведенных в тихом Трире XIX века. Находишь. Из гимназических сочинений будущего мыслителя, из его юношеской переписки с отцом, из немногих стихов, случайно избежавших авторского уничтожения, извлекается темная драма: чудовищный прессинг отца и титанический бунт сына.

Из-за гигантской загадочной фигуры Карла Маркса показывается аккуратная фигура Генриха Маркса, трирского чиновника, ради карьеры принявшего христианство; в нем ничего гигантского и ничего загадочного: рациональные идеи французского Просвещения, оправленные в прусский сервильизм и прикрывшие иудейскую законопослушность. Однако тут тоже скрыта драма: из-за фигуры Генриха Маркса чуть видна фигура Маркса Левия, трирского раввина, чей сын предал тысячелетнюю веру.

Драма основоположника научного коммунизма, чье светоносное учение вывернулось в конце концов в беспредел казармы, воспринимается как парафразис длящегося предательства; неисправимая человеческая природа мстит слабодушию в третьем колене: сын предает отца с его филистерскими идеалами, как бы мстя

за то, что отец в свой час предал веру предков.

Пожалуй, А. Лобок слишком педалирует педагогическое занудство Генриха Маркса, пытающегося отвадить сына от бессмысленных занятий философией; пожалуй, бунт молодого Карла против верноподданнического отцовского «моралитета» в книге излишне акцентирован; пожалуй, отвращение к Марксу-старшему вызываемое в нас картиной семейного тиранства, к тому же изрядно отдающего святошеством, плохо согласуется с тем, что Маркс-младший хотя и не послушался отца, однако же носил всегда его фотографию и умер, держа ее у сердца.

Но причудливость этой любви, неотделимой от бунта, как раз и говорит о глубинных тайнах человеческой природы. Яд несет в себе противоядие; лекарство может спровоцировать болезнь; и бунтуя, и смиряясь, личность черпает из своего времени. Генрих Маркс был уверен, что, отказавшись от иудейской веры (то есть от тысячелетнего «невежества»), он приобщился к самым прогрессивным (то есть либеральным) идеям своего века. Но, как верно замечает А. Лобок, как раз эти идеи и были тем тогдашним интеллектуальным ширпотребом, тем просветительским пайком полуплебса, на котором взрасли революционеры XIX века и «образованщина» века XX.

Младший Маркс, выпестованный в лоне немецкого Просвещения и искренне пытавшийся соответствовать заветам отца, впитал его идеи и в конце концов против них взбунтовался. Нужно было очень сильно хотеть вписаться в то государство, которое тебя взрастило, чтобы так восстать против него, так его возненавидеть, чтобы смести в своем сознании ВСЯКОЕ государство. Нужно было очень верить отцу (Богу-Отцу), чтобы, не выдержав его длани, вознамериться сбросить ВСЯКОГО Бога...

В этом богоборческом пункте А. Лобок, как мне кажется, произвольно выдает (то есть избыточно интонировано) какую-то потаенную свою мысль или, может быть, боль; во всяком случае, если бы я писал исследование на тему «Подсознательный Лобок», я не прошел бы мимо следующих рассуждений:

«Карл Маркс был искалечен чувством вины перед Генрихом Марксом: он не исполнил отцовских заветов. Но вина не на сыне, вина на отце. Это Генрих Маркс не исполнил отцовских заветов (вслушайтесь в обертоны.— Л. А.); это он, отвернувшись от суровой истины крутого иу-

дейского Бога, соблазнился человеколюбием Христа. Ветхозаветный Бог не обещал человеку никакого спасения и тем более не предлагал к этому спасению путей; он только посылал человеку испытания и ждал, что человек выдержит. Христос все это спутал; во Христе Бог ложно вочеловечился; Христос указал путь «спасения», а путь оказался тупиковым. Да и не мог быть другим: не должно быть у человека никакого «пути», указанного сверху, человек решает этот вопрос сам и только сам. Бессмысленно «освободить» в человеке «чистое» и «светлое» начало; человек — тварь, и освобождается в нем — тварь. Поэтому необходим человеку Бог гневный и недоступный, а не сладостно искушающий, подобный змею. Марксизм — капкан, подставленный человечеству христианством. Великие социальные катастрофы XX века — плата за христианское искушение...»

Это, знаете, уже не Маркс и даже не «подсознательный» Маркс; это — подсознательное богословие XXI века, пытающееся сбросить с себя приставшую кожу века прогресса и кровавые струпья века социальных экспериментов. И, конечно, это можно откомментировать, выйдя за рамки темы... Но удержусь от соблазна, вернусь к Марксу и его титаническому восстанию против отца (и против Бога-Отца) — восстанию, горьким исходом которого человечество оплатило змеиный искус.

Читая все это, неизбежно задумываешься: неужели нельзя было удержаться? Ну зачем Маркс-старший был так назойлив в своих претензиях к сыну! Зачем давил, зачем требовал добродетельности и порядочности! Добился — бунта в душе сына: разбудил призрак коммунизма... А может, если бы не это отцовское давление, не было бы ни «Манифеста...», ни марксизма, ни диктатуры пролетариата... ни выстрела в Кирова... и Ягода оставался бы тихим аптекарем, и ГУЛАГ не стал бы главной реальностью XX века.

Чепуха. Все равно — случилось бы. Чем хитроумнее выводит автор «Подсознательного Маркса» базовые интуиции своего героя из СЛУЧАЙНОСТЕЙ его судьбы, чем провокационнее ставит он вопросы типа «А если бы не...», тем тверже зреет в нас понимание того, что причины произошедшего таятся в неотвратимой тектонике человеческой истории, и не «случись» марксизма, человеческие массы нашли бы себе то, что искали, у другого мыслителя.

Разумеется, на «входах» в наследие

обстоятельства биографии работают с полной детерминистской отдачей. Саркастические рассуждения Маркса о сущности денег прямо «выводятся» из того безденежья, в которое его поставила скаредность родной матери. Знаменитый тезис о тождестве естественного и человеческого в любви — апофеоз любви взаимной и счастливой (мало похожей на любовь жертвенную, страдальческую, столь понятную, скажем, в русском психологическом контексте), этот Марксов гимн любви как разгадке творческого самоосуществления был бы немислим без Женни фон Вестфален: это она внесла в жизнь молодого философа «дух романтического идеализма» в противовес той прагматической преснятине, которую вколачивал в сына Генрих Маркс. Бунт же против отца в силу тех же конкретных причин оказывается прикритием трагического самообмана: свобода, вырвавшаяся из оков «материалистической идеологии», начинает искать себе реального приказчика — иначе, кажется ей, она стоит на голове...

Это все — корни, истоки, «входы». Александр Лобок прослеживает их виртуозно. Но самая глубокая драма разворачивается на «выходе», при соприкосновении учения с жизнью: там, где его подхватывают не воображаемые, а всамделишные приказчики. Начинается поединок Карла Маркса с Фердинандом Лассалем, артистом, бонвиваном, оратором, прагматиком, вождем германских рабочих, создателем первой реальной марксистской партии.

Лассаль — это марксизм, извлеченный из Маркса в реальных условиях. Лассаль — это «равенство», заменившее Марксову «свободу»; это «железные» требования, добытые из глубин туманной Марксовой диалектики; это ясность эзотерических лозунгов: «Государственное обобществление», «социализм в национальных границах» — вот что извлекается из Марксова учения, а уж перехват власти — первым долгом, перехват власти куда более понятен рабочим, чем странная идея отсутствия власти вообще. Программа Лассаля — «Лобок», сделанный из текстов Маркса, это «плагиат», «брэд». И это — окончательная западня для Маркса не только потому, что пролетариат соглашается принять марксизм именно из рук Лассаля, но и потому, что сам Маркс, в свою очередь, соглашается принять из рук Лассаля символическую корону «основоположника» и, соответственно, всеевропейскую славу. Заумный кабинетный ученый, мало кому известный за

пределами интеллигентских кругов, делается пророком гигантских народных движений — именно с того момента, когда Лассаль адаптирует его философию для реального пролетариата.

И это — необратимо. Ибо нельзя «взять обратно» испакощенное учение, как нельзя «отдать обратно» мировую славу. Маркс проиграл поединок — не Лассалю, который был несравним с ним ни по мощи интеллекта, ни по глубине духовной интуиции. Маркс проиграл поединок — реальному пролетариату, душу которого Лассаль чувствовал и понимал куда лучше и тоньше, чем основоположник.

Ведя образ жизни, поневоле близкий пролетарскому (от одной Энгельсовой «получки» до другой), Маркс настоящего, реального пролетариата не знал и не видел. «Пролетариат у Маркса — это, в сущности, гегелевское «ничто», которое должно стать «всем»... Это... своеобразная психологическая аллегория творческого процесса, поскольку творчество — это и есть не что иное, как возникновение чего-то из ничего», — пишет А. Лобок. До некоторой степени эта модель свободы — Марксов «пролетариат» — просто случайность в его философской парадигме; абстрактно говоря, класс, «лишенный собственности», вполне подходил на роль носителя свободы. Но именно и только в вербально-философском, образном смысле. Истина обнажилась, когда на месте «пролетариата» умопостигаемого обнаружился пролетариат реальный. Еще ничего, пока его представляли ронсдорфские женщины-работницы, осыпающие оратора «дождем цветов», а в свой час появились и рабочие дружины, грабящие награбленное в Питере... слава Богу, Маркс до этого не дожил.

Реальные пролетарии искали себе не «философа свободы» — они искали вождя, который указал бы путь к немедленному изменению их жизни. Реальному пролетариату нужна была не утопия, а твердая рука, ясная и ощутимая программа, вождь, диктатор, который способен вооружить его простыми и понятными лозунгами и повести к цели так, как рабочие привыкли: «дружной фабричной колонной».

Я собираю здесь воедино разбросанные в книге «Подсознательный Маркс» черточки, которыми охарактеризован там «реальный пролетариат», и, должен признаться, не без внутреннего сопротивления созерцаю такой образ. Мне кажется, что А. Лобок строит его по той самой методике,

в какой С. Булгаков когда-то обвинял Маркса: «социологические группы... геометрические фигуры»... школьно-биологические КЛАССЫ на месте человеческих черт. То, что в «фабричную колонну» втянуты люди, у которых есть души, мечты, права, то, что эти люди так же по-разному несчастны и счастливы, как и «критически мыслящие личности», и только крутая судьба сбила их в «колонну», — от этого А. Лобок как-то отвлекается. «Класс, духовно обездоленный и искалеченный фабричным производством». «Отряды». «Колонны». «Восторженные толпы». Вдруг начинаешь понимать и тот саркастический тон, в котором описано бегство старшего Маркса от грозного Бога иудеев к кроткому Богу христиан: да, думаешь, ТАКОМУ пролетариату и впрямь сгодится в поводьры только Бог карающий и распределяющий — кроткий Спаситель не сдюжит...

Лассаль тоже не сдюжил. Но по другой причине. То, что в роли «местоблюстителя» оказался на историческое мгновение такой шармер, — тоже, так сказать, случайность. Когда учение пошло вширь и в него втянулись массы, по крутости несоизмеримые с цивилизованной социал-демократией Запада, Лассаль просто стерли из триады отцов-основателей, и место третьего занял вождь, в высшей степени соответствовавший ситуации, когда идея, овладевшая массами, становится материальной силой, а там и четвертый — когда на месте коммунистической утопии пришлось строить реальный социализм в одной, отдельно взятой стране.

Счастлив был Маркс, что не увидел всего этого. Он и вообразить себя не мог вождем ТАКОГО пролетариата... но штука в том, что именно ТАКОЙ был в реальности. И — главное — другого БЫТЬ НЕ МОГЛО. Пролетариат все равно нашел бы себе соответствующего поводьры. Не Троцкого, так Сталина. Не Сталина, так Гитлера. «Система фраз» — случайность. Закономерна система власти.

А. Лобок продолжает: «Идея «сильной власти», которая может и должна спасти народ от страданий, а страну от катастрофы... это... ПОДЛИННАЯ НАРОДНАЯ ИДЕЯ, находящая самый горячий отклик и самую горячую поддержку в сердцах миллионов».

И еще:

«Лассалевская программа оказалась программой РЕАЛЬНОЙ, тогда как... программа «коммунизма... творчества» являлась утопией чистой воды...»

И еще:

«Увы, реальный пролетариат заслуживал именно ТАКОЙ партии, а не той, о которой мечтал Маркс».

Так ли? С тяжелым сердцем, с непреходящей тоской и горечью, скручивая себе душу, я вынужден согласиться: да, наверное, так. К несчастью.

Вспоминается А. А. Зиновьев с его поведью, принимаемой за провокацию: да мы ничего другого и не заслужили, чем сталинская диктатура!

Ну, если так, то будем нести дальше свой крест. В нас яд, в нас должно быть и противоядие. Сколько найдем в себе добра, настолько и ограничим зло, в нас сидящее. И пойдём дальше. «Колоннами» или взвробод...

А Маркс?

Он остается в истории наших свершений и бед невольным соучастником. Кабинетный мудрец, искавший путей творческого самоосуществления личности и выстроивший свой духовный мир на том материале, который дал ему его век. Титанический гений, первым почувывший неправивость происходящего. Труженик, бросивший свои недописанные работы на полуслове и в тайном, наверное, ужасе промолчавший еще десять лет, пока смерть не прибрала наконец его изъязвленное, как у Иова, тело.

Маркс остается в истории, а мы продолжаем путь. Но ни одну собаку из наших нескончаемых «комплексов» нам больше не удастся на него повесить.

ВЕРА АЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ

Отречение

Вниманию читателей журнала предложены страницы воспоминаний Веры Михайловны Алексеевой-Борель, дочери Верховного главнокомандующего русской армией в годы Первой мировой войны, впоследствии создателя (вместе с Деникиным и Корниловым) Добровольческой Армии. Книга «Сорок лет в рядах русской Императорской армии (М. В. Алексеев)», из которой здесь печатается лишь небольшой отрывок — это не только личные воспоминания Веры Михайловны, но и собранные ею уникальные документы исторического значения — письма, дневники, записные книжки, служебные документы Верховного главнокомандующего русской

армией, воспоминания и письма его соратников и близких людей. Большая часть документов не известна читателю. Книге воспоминаний Вера Михайловна посвятила жизнь, видя в этом свой долг не только перед памятью отца, но и перед Россией. Дочь генерала Алексеева скончалась в 1992 году в Буэнос-Айресе, вскоре после того, как завершила работу над книгой и отправила рукопись в Москву. Она писала эту книгу для России, издание на родине было ее неперенным условием. Надеюсь, последняя воля Веры Михайловны будет исполнена. И журнальная публикация «Отречения» первый к тому шаг.

Э. БОРЕЛЬ

Полковник Сергеевский прибыл по назначению в Ставку 18 февраля, в полдень явился к своему прямому начальнику генерал-квартирмейстеру Лукомскому и от него узнал, что только-только вернулся из отпуска генерал-адъютант Алексеев и в ночь на 19 февраля вступает в должность. «И поэтому я должен завтра же явиться ему. Я это конечно исполнил и первый раз в жизни увидел этого замечательного человека, по общему убеждению, лучшего генерала нашей армии, чрезвычайно скромного, всегда серьезного, спокойного, всегда занятого. В это утро он был особенно занят. Мое представление продолжалось не более двух минут», — вспоминает Б. Н. Сергеевский.

Государя в Ставке не было, он находился на Межсоюзной конференции в Царском Селе и вернулся в Могилев 21 или 22 февраля вечером, то есть за два дня до начала беспорядков в Петрограде.

Мне кажется, это было первым роковым обстоятельством: отъезд Государя накануне грозных событий, отрыв от правительства и Семьи в такую критическую минуту. Именно в этот день — 22 февраля — начались бунты в Петрограде («в очередях у хлебных лавок»).

А с возвращением Государя и генерала Алексеева работа в Оперативном Отделении Штаба закипела. «В следующие два-три дня наше управление с утра до поздних часов ночи разрабатывало предстоящие, начиная с 12 апреля, операции на русском фронте. Конечно они были уже давно предположены, но теперь нужно было их приурочить к тем совместным с союзниками действиям, которые были установлены на Союзной Конференции» (Б. Н. Сергеевский).

Полковник Пронин пишет:

«Весной 1917 года должно было начаться общее наступление союзных армий. К этому времени генералом Алексеевым был разработан и утвержден Государем план наступления русской армии, которая была в техническом отношении снабжена, как никогда».

Поглощенные оперативной работой в управлении Штаба, они мало обращали внимания на короткие сведения о беспорядках в Петрограде, да и сообщения генерала Хабалова,

В тексте сохранена орфография и пунктуация автора.

градоначальника столицы, были сперва успокаивающие. Но уже 26 февраля в Ставке получены первые телеграммы о начавшемся мятеже.

Б. Н. Сергеевский в своих воспоминаниях отмечает:

«Я только перечислю роковые события, приведшие к отречению Государя, так как все они хорошо известны. Но переживая вновь и вновь все события тех дней, мне всегда приходят на память слова Великого Петра: «Промедление времени смерти безвозвратной подобно» и другого Великого Полководца Александра Васильевича Суворова: «Быстрота и натиск».

К сожалению, тогда промедление исходило от власть имущих, а быстрота и натиск от посягающих на эту власть. Посмотрим, как это было.

27 февраля в Ставке на имя Государя были получены две телеграммы от Военного Министра. В первой, отправленной в 13.20, тот сообщал:

«Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Сейчас не удалось еще подавить бунта, но я твердо уверен в скором наступлении спокойствия, для достижения коего принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие».

Где генерал Беляев видел это «полное спокойствие» властей, когда в тот же день князь Голицын сообщал Государю о катастрофическом положении и просил о роспуске правительства?

Вторая телеграмма генерала Беляева была отправлена в 19.25.

«Положение в Петрограде становится весьма серьезным. Военный мятеж немногими верными долгу частями погасить не удастся. Напротив, многие части постепенно присоединяются к мятежным. Начались пожары. Бороться с ними нет средств. Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, притом в достаточном количестве для одновременных действий в различных частях города».

Военные власти столицы не учли, что запасные батальоны были пополнены распропагандированными рабочими, и успокаивали Государя и Его Штаб, что «волнения твердо и энергично подавляются» и слишком поздно стали требовать «спешного прибытия действительно надежных частей». Опять роковое промедление времени.

После получения этих телеграмм, по докладу Алексеева, 27 февраля Государь изъявил свое согласие на посылку в Петроград войск для подавления мятежа, но выразил желание: «лицо я избираю Сам». Так же и полки с фронта Государь выбрал Сам, как говорили, по имени знакомых Его Величеству командиров.

Из Могилева был отправлен Георгиевский батальон, часть собственного Его Величества пехотного полка, часть конвоя Его Величества и технические части, например, радиостанция. Эти части выехали по железной дороге из Могилева под вечер 27 февраля. Выбор Государя пал на генерал-адъютанта Иванова, как говорят, по совету лиц Свиты, человека, горячо преданного Государю, но уже по возрасту потерявшего и энергию, и инициативу. Генерал-адъютанту Иванову были даны диктаторские полномочия. В качестве начальника штаба был ему назначен подполковник Капустин. Мне неизвестно, кто указал на него, был ли это выбор самого генерал-адъютанта Иванова или опять кого-либо из лиц Свиты, называли генерала Дубенского, ведшего записи ежедневных посещений у Государя, имевшего официальное название «историограф».

Полагаю, что этот выбор произошел помимо отца, как и выбор генерал-адъютанта Иванова. По свидетельству сослуживцев подполковника Капустина по Штабу Верховного, он также не отличался инициативой и энергией, что и доказал на деле, оставшись во главе отряда после отъезда генерал-адъютанта Иванова в Царское Село.

Некоторые из полков, выбранных Государем для посылки в Петроград для подавления восстания, стояли на передовых позициях. Было потеряно около двух суток, чтобы заменить эти полки, находившиеся в окопах, другими частями, подвезти их к железной дороге и погрузить в составы, тогда как было немало частей, стоявших в глубоком тылу около железной дороги, погрузка которых могла произойти немедленно.

«Но по взглядам того времени,— пишет Сергеевский,— и при условии, что несомненно предстояла борьба за Государя и Престол, и раз Его Величество взял на себя лично выбор начальников и частей для этой борьбы, совершенно неудобно было возражать Ему и предлагать для перевозки и борьбы другие части».

Единственное, что генерал Алексеев мог сделать, потребовать телеграмму (от 27 февраля), посланной между 21 и 22 часами, на имя главнокомандующих теми фронтами,

в которые входили назначенные и выбранные Его величеством части (полки), назначения во главу бригад «энергичных, прочных генералов», а также ускорения подвоза частей к станциям погрузки.

Кроме того следует подчеркнуть, что Алексеев советовал Государю отправиться в район расположения гвардейских частей на время беспорядков именно для того, чтобы Государь находился среди надежных и верных ему частей.

Еще в ноябре 1916 г. Великий Князь Михаил Александрович обратился к Его Величеству с письмом:

«Год тому назад, по поводу одного разговора о нашем внутреннем положении, Ты разрешил мне высказать Тебе откровенно мои мысли, когда я найду это необходимым. Такая минута настала теперь, и я надеюсь, что Ты верно поймешь мои побуждения и простишь мне кажущееся вмешательство в то, что меня в сущности не касается. Поверь, что в этом случае мною руководит только чувство брата и долг совести.

Я глубоко встревожен и глубоко взволнован тем, что происходит вокруг нас. Перемена в настроении самых благонамеренных людей — поразительная, решительно со всех сторон я замечаю образ мысли, внушающий мне самые серьезные опасения не только за Тебя и за судьбу Нашей семьи, но даже за целостность Государственного строя.

Всеобщая ненависть к некоторым людям, будто бы близко стоящим к Тебе, а также входящим в состав теперешнего правительства, объединила, к моему изумлению, правых и левых с умеренными, и эта ненависть, это требование перемены уже открыто высказывается при всяком случае.

Не думай, прошу Тебя, что я пишу под чьим-нибудь влиянием: эти впечатления я старался проверить в разговорах с людьми разных кругов, уравновешенными, благонамеренными и преданными которых выше всяких сомнений, и увы — мои опасения только подтверждаются.

Я пришел к убеждению, что мы стоим на вулкане и что малейшая искра, малейший ошибочный шаг мог бы вызвать катастрофу для Тебя, для нас всех и для России.

При моей неопытности я не смею давать Тебе советов, я не хочу никого критиковать. Но мне кажется, что, решив удалить наиболее ненавистных лиц и заменив их людьми чистыми, к которым нет у общества, а теперь это вся Россия, явного недоверия, Ты найдешь верный выход из положения, в котором мы находимся, и в таком решении Ты конечно получишь опору, как в Государственном Совете, так и в Думе, которые в этом увидят не уступку, а единственный выход из создавшегося положения во имя общей победы.

Мне кажется, что люди, толкающие Тебя на противоположный путь, т. е. на конфликт с правительством страны, более заботятся о сохранении собственного положения, чем о судьбе Твоей и России. Полумеры в данном случае только продлят кризис.

Я глубоко уверен, что все изложенное подтвердят Тебе и все те из наших родственников, кто хоть немного знаком с настроениями страны и общества.

Боюсь, что эти настроения не так сильно ощущаются и сознаются у Тебя в Ставке, что вполне понятно, большинство же приезжающих с докладами, оберегая свои личные интересы, не скажут резкую правду.

Еще раз прости за откровенное слово, но я не могу отделаться от мысли, что всякое потрясение внутри России может отзываться катастрофой на войне... Вот почему, как мне ни тяжело, но любя Тебя так, как я Тебя люблю, я все же решаюсь высказать Тебе без утайки то, что меня волнует».

Теперь, в тревожные дни мятежа в Петрограде, Великий Князь 27 февраля вызывает к прямому проводу и аппарату Генерал-адъютанта Алексеева.

Великий Князь: «У аппарата Великий Князь Михаил Александрович. Прошу Вас доложить от моего имени Государю Императору нижеследующее: для немедленного успокоения принявшего крупные размеры движения, по моему глубокому убеждению, необходимо увольнение всего состава Совета Министров, что подтвердил мне и князь Голицын.

В случае увольнения кабинета министров, необходимо одновременно назначить заместителей. При теперешних условиях полагаю остановить выбор на лице, облеченном доверием вашего Императорского Величества и пользующемся уважением в широких слоях — возложить на такое лицо обязанности Председателя Совета Министров, ответственного перед Вашим императорским Величеством. Необходимо поручить ему оставить кабинет по его усмотрению. Ввиду чрезвычайно серьезного положения не угодно ли будет Вашему Императорскому Величеству уполномочить меня безотлагательно объявить об

этом от Высочайшего Вашего Императорского Величества Имени, причем со своей стороны полагаю, что таким лицом в настоящий момент мог бы быть князь Львов.

Подписал Генерал-Адъютант Михаил».

Ответ Государя.

У аппарата генерал Алексеев: «Государь Император повелел мне от Его Имени благодарить Ваше Императорское Высочество и доложить следующее:

1. Ввиду чрезвычайных обстоятельств Государь Император считает невозможным отложить свой отъезд и выезжает завтра в два с половиной часа дня.

2. Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе, Его Императорское Величество отлагает до времени своего приезда в Царское Село.

3. Завтра отправляется в Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве Главнокомандующего Петроградского Округа, имея с собой надежный батальон.

4. С завтрашнего дня с северного и западного фронта начнут направляться в Петроград из наиболее надежных частей четыре пехотных и четыре кавалерийских полка.

Позвольте закончить личной просьбой о том, чтобы высказанные Вашим императорским Высочеством мысли в предшествовавшем сообщении Вы изволили бы настойчиво поддержать при личных докладах Его Величеству, как относительно замены современных деятелей Совета Министров, так и относительно способа выбора нового Совета, и да поможет Вашему Императорскому Высочеству Господь в этом важнейшем деле.

Генерал Алексеев».

В этот день — 27 февраля — восстание в Петрограде среди запасных гвардейских батальонов разрасталось, захватывая все новые части.

27 февраля прекратилось телеграфное сообщение Петроград — Ставка, так как управление телеграфной сети было захвачено мятежниками.

Но еще до прекращения связи Государем была получена телеграмма от Председателя Совета Министров князя Голицына, в которой он указывал, что события принимают катастрофический оборот, умолял Государя немедленно уволить Совет министров: министры оставаться у власти не должны, а присутствие в его составе Протопопова вызывает общее негодование и возмущение, что для спасения положения и даже для спасения династии Государю необходимо пойти немедленно на уступку общественному мнению и поручить составить новый кабинет министров, ответственный перед законодательными палатами, князю Львову или Родзянко.

На эту телеграмму Государь ответил собственноручно карандашом составленной телеграммой Председателю Совета Министров:

«О Главном Начальнике Петрограда мною дано повеление Начальнику Моего Штаба с указанием немедленно прибыть в столицу, также относительно войск. Лично Вам представляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемен в личном составе в данный момент считаю их недопустимыми. Н и к о л а й» (Послана в 11.30 ч. ночи, 27 февраля 1917 г.).

Когда Государь передавал Лукомскому эту телеграмму, узнав, что Алексееву нездоровится и что он прилег, Он сказал: «Сейчас же передайте генералу Алексееву эту телеграмму и скажите, что я прошу ее немедленно передать по прямому проводу. При этом скажите, что это мое окончательное решение, которое я не изменю, а потому бесполезно. Мне докладывать что-либо по этому поводу», — вспоминает Лукомский.

Развязка приближалась.

Мельгунов констатирует:

«Вместо принятия решительных мер Совет Министров сам себя распускает и самочинно перестает управлять Государством. О том, что правительство самовольно отказалось от управления Государством, в Ставке стало известно 28 февраля. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Родзянко и объявил, что функции правительства перешли в руки Временного Комитета Государственной Думы. А министр Иностранных Дел Покровский (правительства князя Голицына) сообщил английскому, французскому и итальянскому послам, что революция — совершившийся факт и что у правительства нет войска для ее подавления».

Князь Голицын донес Государю телеграммой, что правительство сложило свои полномочия. Таким образом с 28 февраля все огромное Государство Российской империи осталось без правительства, без управления. В эти дни железные дороги еще функционировали и правительство, видя всю невозможность борьбы в мятежном Петрограде, могло бы, если не в полном составе, то поодиночке выехать в Могилев и объединиться около Монарха.

Б. Н. Сергеевский в таких словах пишет о последнем Царском Правительстве: «Или же в душе они были рады революции и сознательно облегчали ее дело? Или это все были вовсе беспринципные люди, неспособные не только на личный подвиг, но даже на простое исполнение своего долга, раз это оказывалось связанным с житейскими трудностями или беспокойствами. Думаю, что, как это ни грустно, но налицо было последнее, т. е. полное ничтожество носителей власти».

По свидетельству того же полковника Сергеевского, еще 27 февраля около 8-ми часов вечера, по повелению Государя, генерал Воейков потребовал соединения по прямому проводу с Дворцом Царского Села, и, оставив в аппаратной комнате лишь необходимых телеграфистов, около трех часов вел переговоры с Царским Селом. За это время Воейков несколько раз с телеграфными лентами в руках ходил к Государю, а также к Алексееву. В этот день, по всей вероятности на почве нервного напряжения, у отца поднялась температура и вновь появились боли в почках.

Государь 27 февраля писал Императрице:

«После вчерашних известий из города, я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен, но полагает, что необходимо назначить энергичного человека, чтобы заставить министров работать для разрешения вопросов: продовольственного, железнодорожного, угольного и т. д. Это конечно совершенно справедливо».

Лишь в 12-м часу ночи Воейков закончил переговоры с Царским Селом.

«Мне было ясно,— пишет Сергеевский,— что переговоры шли между Государем и Государыней и касались очень важных вопросов. Теперь я понимаю, что за эти три часа фактически решалась судьба Империи. Решено было то, что повело к двухсуточному перерыву действий Верховной власти. Революция же работала всюю и укрепляла свое положение».

Но теперь вечером отцу стало известно, так как Воейков с лентами телеграфных переговоров ходил и к нему, что решался вопрос о спешном вызове Царской Семьи в Могилев, но ввиду заболевания почти всех Царских детей (кроме Вел. Княжны Марии Николаевны) корью, Государыня настаивала на приезде Государя в Царское Село. Роковая болезнь.

Это известие очень встревожило отца, и он (у него была температура выше 39 градусов!), перемогая свое нездоровье, оделся и пошел во Дворец умолять Государя не покидать Ставки и не ехать в мятежный район. Уходя, отец сказал генералу Лукомскому: «На колени встану,— буду умолять не уезжать — это погубит Россию».

Он, между прочим, так и сделал — Государь обещал ему остаться.

По одной из версий, генерал Алексеев сказал Государю: «Ваше величество, во имя России, умоляю Вас не покидать Ставки». Вернувшись от Государя, Алексеев сказал Лукомскому: «Удалось уговорить».

Об этой своей просьбе-мольбе, отец говорил жене, что он так глубоко переживал эти минуты, что и сам не помнит точных своих слов.

О том же пишет мне полковник Тихобразов (письмо от 11 февраля 1963 г.):

«Несмотря на свое нездоровье и высокую температуру и запрещение (Государя) снова поднимать этот вопрос, генерал Алексеев, около 1 часа ночи, поднялся с кровати и пошел во Дворец, убеждал Государя Николая II отказаться от поездки на север, советуя Ему оставаться в Ставке, а если Он не доверяет ей, то ехать в расположение войск Гвардии, в преданности которой сомневаться нельзя было. И на этот раз Царь не внял мудрому совету».

Государь изменил свое решение,— в 2 часа 30 минут ночи на 28 февраля отбыл, как всегда двумя литерными поездами, в Царское Село. Уже садясь у дворца в автомобиль, Государь велел передать генералу Алексееву, «что Я все-таки уехал».

Когда Алексеев узнал от Лукомского об отъезде Царя, он немедленно приказал подать автомобиль и кратчайшей дорогой поехал на станцию; едва успел приехать, как подъехал Государь. Алексеев подошел к нему с обычным рапортом и молча выслушал слова Государя об Его отъезде. Алексеев был глубоко потрясен и огорчен, что государь все же решил покинуть Ставку и подвергнуть Себя случайностям и опасности.

С отъездом Государя вся войсковая власть, все функции Верховного Главнокомандующего и вся ответственность за фронт по закону переходили к Начальнику Штаба Верховного.

28 февраля в Ставке никаких сведений об Императорских поездках не было, что приводило всех в недоумение и тревогу. После неоднократных запросов по линиям,

управлению Военных Сообщений Ставки удалось выяснить, что Императорские поезда прошли станцию Орша, свернули на линию Вязьма — Москва, а оттуда, уже по Николаевской железной дороге свернули на Лихославль. Но затем след Императорских поездов опять терялся, и теперь пребывание Императора оставалось неизвестным в течение целых 24-х часов.

Потеря времени — смерти безвозвратной подобна.

По свидетельству Начальника Службы Связи, утром 28-го Алексеев отдает распоряжение — прекратить телеграфную связь с бунтующим Петроградом, дабы не иметь сношений с новым незаконным правительством, сохраняя лишь техническую проверку линии телеграфистами, но не принимать от восставших никаких сообщений. Таким образом, и сведений, что в данный момент творится в столице, Ставка не имела. Да и от кого и какие сведения могла бы она иметь? Правительственных учреждений уже больше не существовало, а с революционными вождями отец не считал себя вправе и просто не хотел иметь дело, да и не верил им. Связь с Петроградом, по повелению того же Алексеева, была восстановлена лишь после отречения Государя и признания Временного правительства законной властью.

Можно себе представить душевное состояние отца. Государь уехал в направлении захваченной мятежом столицы. Где Он? Может быть уже пленник этих мятежников? Нет сведений и от генерал-адъютанта Иванова, о его действиях как Диктатора. Нет сведений и о вышедших на подавление мятежа частях из Могилева.

Лишь 1 марта около шести часов вечера генералом Тихменевым была получена со станции Дно телеграмма от Воейкова на имя Алексеева, в которой дворцовый комендант сообщает, что Его Величество желает проехать в Псков, но что железнодорожный путь поврежден революционерами. По получении этого сведения Алексеев немедленно по прямому проводу сделал распоряжение Рузскому выслать навстречу литерным поездам железнодорожную роту, чтобы эта рота исправила путь и тем обеспечила прибытие Царского поезда в Псков. Это распоряжение было немедленно приведено в исполнение, и в 10 часов вечера Императорские поезда прибыли на станцию Псков.

Есть сведения, что не только разобранный путь задержал Государя на станции Дно, но что Государь получил сведения о прибытии к Нему, на станцию Дно, Родзянко для личных переговоров и возможного договора Императора с Государственной Думой. Родзянко действительно пытался выехать из Петрограда и добивался для этой цели паровоза с вагоном, в чем ему, видимо, помешали члены совета рабочих и солдатских депутатов.

Мельгунов вспоминает, приводя документы, что вопрос о Царе перед исполнительным комитетом стал совершенно случайно утром 1-го марта в связи с предположенной поездкой Родзянко на станцию Дно для непосредственных переговоров с Носителем Верховной власти.

Между тем на Николаевском вокзале в Петербурге стоял готовый экстренный поезд и ждал приезда Родзянко. Из думы систематически отвечали: «Родзянко выедет через полчаса». Время шло. Тогда было решено перехватить Императорский поезд на станции Дно, куда Родзянко должен был выехать по Виндавской дороге. Родзянко послал вторую телеграмму царю. Может быть эта «вторая телеграмма» была в действительности единственной — только она одна среди официальных документов до сих пор опубликована. Вот ее текст:

«Станция Дно. Его Императорскому Величеству.

Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для доклада Вам, Государю, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута».

С каким предложением стремился к Императору Председатель Государственной Думы? Если он уже тогда видел и чувствовал, что Дума в лице всех ее умеренных делегатов пасует перед сильнейшими левыми, перед советом рабочих депутатов, почему же тогда он и другие, как тот же князь Львов, Шулгин вместо того, чтобы настаивать на отречении Государя, видя лишь в этом страшном акте спасение, наоборот, не требовали решительного подавления мятежа? Ведь только им, находившимся в центре событий, было известно истинное положение вещей, а они дезинформировали Монарха и военные власти. Давно, давно общественность добивалась власти, кричала о патриотизме, обманывала себя и других, добивалась своих честолюбивых должностных чаяний. А Россия? Ее судьба, необходимая ей и, казалось, такая близкая и возможная победа? Все это были только слова,

и в море этих слов погибла Россия от руки тех, которые хотели и не умели властвовать, править.

Во время отсутствия Государя Алексеев посылает Воейкову телеграмму на станцию Дно с просьбой доложить Его Величеству о желательности Его немедленного возвращения в Ставку, ввиду наступивших уже угрожающих событий. На эту телеграмму генерал Воейков даже не ответил; Алексеевым была отправлена и такая телеграмма Государю:

«Если Ваше Величество считает невозможным идти путем уступок Думе, то необходимо установление военной диктатуры и подавление силой революционного движения».

Эта оторванность от страны в течение двух суток, блуждание в поисках конечной цели — семьи, — поколебали в Государе прежнее твердое намерение — подавить бунт без уступок. Есть неофициальные сведения, что именно во время пребывания поезда на станции Дно к Государю приехал один из посланных Государыней офицеров с письмом, в котором она, находясь в мятежном районе и более осведомленная о событиях, писала, что «уступки необходимы». (По прибытии в Псков Государь дает свое согласие на ответственное министерство.)

Генерал Иванов, имея диктаторские полномочия, выехал из Могилева 28 февраля в 11 ч. утра, а в Орше присоединился к составу, в котором ехал Георгиевский батальон, но затем покинул войска и направился самостоятельно в Царское Село, куда прибыл в 9 ч. утра 1 марта и был принят Императрицей. Этим его диктаторские полномочия и закончились. А много времени спустя, уже в Новочеркасске, зимою 1918 года Николай Иудович со слезами говорил моей матери, что всякое его вооруженное выступление грозило бы гибелью Царской семье. «Мог ли я это допустить?»

Здесь надо еще отметить телеграмму Алексеева, посланную 28 февраля вслед уехавшему Иванову, которая, впрочем, никакого значения уже не имела:

«Частные сведения говорят: войска, примкнувшие к Временному правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное правительство под председательством Родзянко, заседаая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным правительством, говорит о незыблемости монархического начала в России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Жду с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить Ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы Ваших действий. Переговоры приведут к умиротворению, — чтобы избежать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу... Воззвание нового министра путей сообщения Бубликова к железнодорожникам мною получено кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложил все это Его Величеству и убежден, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию».

Видимо, сомневаясь в точности подобных известий, Алексеев предостерегает Иванова и указывает на необходимость их проверки словами «если эти сведения верны».

А между тем войска: Георгиевский батальон и другие посланные с ним части, а также к 1 марта подошедший на станцию Александровская Тарутинский полк, остались без всякого руководства и распоряжений со стороны генерала Иванова. Никаких «прочных, энергичных, решительных» генералов (командиров бригад), как требовал отец, прислано не было. Не оказалось и среди командиров полков человека с инициативой и решительностью. И Георгиевский батальон и Тарутинский полк, не объединенные общим командованием, никакой высшей инстанцией, простоявшие в полном бездействии и уже подвергавшиеся обработке мятежников, приказом Государя Императора в ночь с 1 на 2 марта были возвращены к местам своего расположения.

Но еще худшее произошло со славным боевым Лейб-Бородинским полком, который к ночи с 1 на 2 марта подошел к станции Луга для дальнейшего следования в Петроград. И здесь произошло нечто совершенно невероятное: провокационно полк был разоружен. Если верить запискам ротмистра Вороновича (в будущем предводитель «зеленых» в причерноморских горах Кавказа), когда головной эшелон Лейб-Бородинского полка прибыл на станцию Луга, то он с другими офицерами, перешедшими на сторону мятежников, вошел в офицерский вагон и потребовал от командира полка «разоружения всего полка», так как против них уже стоит огромный вооруженный гарнизон города Луги, «а на самом деле на платформе для устрашения стояла одна недействующая пушка, на что будто бы командир этого доблестного боевого полка, отличенного доверием и выбором самого Государя, посланного для борьбы с восставшими, ему ответил: «Ну что же, против силы не пойдешь».

Так ли это было — неизвестно, но факт, что по приказу командира полк бесславно сложил оружие перед пустотой. Видимо не протестовал никто из офицеров полка.

Не этот ли страшный факт породил в сознании Царя и его военачальников возможность Отречения, ибо регулярной армии, кроме некоторых верных присяге полков, в особенности кавалерийских, больше не существовало, — была лишь «армия нового состава», то есть вооруженный, уже потерявший сознание долга недисциплинированный народ.

Приняв вскоре по прибытии в Псков решение о даровании ответственного министерства, Государь посылает в 0.20 мин. телеграмму генералу Иванову:

«Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне — никаких мер не принимать. Николай».

Базируясь на этом распоряжении Императора, генерал Рузский, ввиду дарования ответственного министерства (но еще не зная, как это известие будет принято в Петрограде) и запрещения генерал-адъютанту принимать какие-либо шаги, высказанного в вышеприведенной телеграмме, ходатайствует перед Императором об остановке войск, посланных на усмирение. В качестве довода приводит тот факт, что переброска войск в Петроград нарушает план перевозки и группировки войск для будущего большого апрельского наступления.

В ночь на 2 марта генерал Рузский вел по прямому проводу переговоры с Алексеевым об остановке войск, но Алексеев категорически отказался отдавать такое распоряжение без личной санкции Государя. И несмотря на заявление Рузского, что Государь только что заснул, и он Его будить не может, — Алексеев наотрез отказался это требование исполнить.

Однако, как пишет Мельгунов: «Наряду с согласием на ответственное министерство, генерал Рузский, как мы знаем, получил (от Государя) разрешение приостановить продвижение войск с фронта». О том же пишет в своих воспоминаниях и Лукомский: «Тогда же (в ночь с 1 на 2 марта) после доклада генерала Рузского, Государь приказал вернуть на фронт все части, которые были двинуты на Петроград для подавления мятежа силой».

Утром 2 марта собственноручно написанной Государем телеграммой № 1064 на имя Главного Начальника Военных Сообщений (Копия Нач. штаба Верховного Главнокомандующего) поступило приказание приостановить движение эшелонов с войсками на Петроград.

А между тем генерал Рузский в 4 ч. утра наконец добился связи по прямому проводу Юза с Родзянко и передал ему для обнародования Манифест Государя об ответственном министерстве.

По словам Мельгунова, Родзянко ответил Рузскому:

«Очевидно, что Его Величество и Вы не отдаете себе отчета в том, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет нелегко. Государственной Думе вообще и мне в частности оставалось только попытаться взять движение в свои руки и стать во главе для того, чтобы избежать такой анархии при таком расстройстве, которая грозила гибелью государству. К сожалению, это мне не удалось. Народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно, — войска окончательно деморализованы. Не только не слушают, но убивают своих офицеров, ненависть к Государыне Императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаясь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умеренно в своих требованиях. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром, сомневаюсь, чтобы можно было с этим справиться».

— Насильственный переворот не может пройти бесследно, — замечает Рузский. — Что, если анархия, о которой говорите вы, перенесется в армию, подумайте, что будет тогда с Родиной нашей?

— Не забудьте, — спешит подать реплику Родзянко: — Переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней. Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу.

Самоуверенность Родзянки — поразительная.

Думаю, представляет интерес и мнение другого очевидца событий — начальника дипломатической канцелярии Базили:

«Тогда боялись, что предполагаемая перемена монарха могла бы снизить свое значение отречением Николая II в пользу Его Сына Алексея. Но это не создавало новые благоприятные условия. Такое решение обеспечило бы соблюдение легитимности. Так как

несовершеннолетний не мог отказаться от своих прав, это создало бы положение, которое не могло бы быть замснено законно, во всяком случае в течение нескольких лет. Существовали большие шансы, что народ и армия приняли бы возведение на Престол милого ребенка, против которого не было никаких обвинений и болезнь которого вызвала бы скорее симпатии. Все это позволяло надеяться удержать монархический строй и поэтому оставляло бы в стороне риск прыжка в неизвестное».

Переговоры Рузского с Родзянко длились с перерывами в течение всей ночи. В эти перерывы Рузский докладывал Государю содержание требований Родзянко, но не знаю, показывал ли он Государю подлинные ленты этих переговоров, а также Рузский два раза в ночь вызывал к прямому проводу большого генерала Алексеева, который, несмотря на 1⁰ 39 гр., каждый раз вставал и выслушивал резюме разговоров генерала Рузского и Родзянко. Этих подлинных лент, к сожалению, в эмиграции не имеется.

О разговоре Рузского с Алексеевым генерал Лукомский в своих «Воспоминаниях» упоминает вскользь:

«Главкомандующий Северным фронтом генерал Рузский, с которым уже переговорил Родзянко, обратился к Нач. Штаба Верховного Главкомандующего с просьбой высказать, как к этому вопросу относятся все Главкомандующие фронтами? Генерал Рузский заявил, что он должен знать всю обстановку для доклада Государю Императору. Он сказал, что Государю, вероятно, будет недостаточно выслушать мнение только его — генерала Рузского. Хотя он лично и думает, что вряд ли есть какой-нибудь иной выход из создавшегося положения кроме того, который будет предложен Государю выехавшей из Петрограда депутацией, но ему необходимо точно знать, как на это смотрит Нач. Штаба Верховного Главкомандующего и другие Главкомандующие фронтов. Генерал Рузский закончил заявлением, что так как у Государя утеряна в данный момент связь с армией, то Начальник Его Штаба, на основании положения о полевом управлении войск, фактически вступил в исполнение обязанностей Верховного Главкомандующего, и поэтому должен с точки зрения боевой — дать оценку происходящим событиям. Генерал Алексеев поручил мне составить телеграмму главкомандующим фронтами с подробным изложением всего происходящего в Петрограде, с указанием о том, что ставится вопрос об отречении Государя от Престола в пользу Наследника Цесаревича с назначением регентом Великого Князя Михаила Александровича и с просьбой, чтобы главкомандующие срочно сообщили по последнему вопросу свое мнение».

Здесь есть явное указание на то, что разговор Рузского с Алексеевым шел о посылке телеграмм главкомандующим.

Как пишет Сергеевский, «в 8-м часу утра 2 марта генералу Алексееву, по-видимому, стало ясно, что прекращение восстания путем дарования ответственного министерства — окончательно отпало, что путь усмирения вооруженной силой после выяснения сдачи Бородинского полка в Луге, отхода Генерала Иванова в Вирицу (Иванов сообщил об этом Алексееву) и остановки всей перевозки войск Высочайшим повелением из Пскова, потерял надежду на успех. Надо было решаться на что-то большее, чтобы не допустить большевистской революции и хоть как-нибудь сохранить монархию... Во всех своих дальнейших распоряжениях и сообщениях Алексеев ставит себе задачей пожарение Наследника Цесаревича Алексея Николаевича для сохранения Династии и Монархии. (Подчеркнуто Сергеевским.— В. А. - Б.)».

Так как Государь Император находился в Пскове и все распоряжения его в эти дни исходили из Пскова, то можно предположить, что распоряжение о запросе мнений Главкомандующих о положении политическом исходило из Пскова. Прямых указаний на это нет, но во-первых, на это указывают вышеприведенные слова Лукомского, во-вторых, запрошен был Главкомандующий Северным фронтом, как инициатор запроса или как находящийся в центре событий и в связи с бунтующими Петрограда, и в-третьих, есть письменные свидетельства, дающие право утверждать, что это было именно так. Первое — запись Государя в дневнике от 2 марта:

«Утром пришел Рузский и прочел длинейший разговор по аппарату с Родзянко — по его словам, положение в Петрограде такое, что министерство из членов Государственной Думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ними борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передат этот разговор в Ставку Алексееву и всем Главкомандующим. В 12.30 пришли ответы. Для спасения России и удержания Армии на фронте Я решил на этот шаг. Я согласился, и из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которы-

ми я переговорил и передал подписанный Мной манифест. В 1 час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством. Кругом измена, трусость и обман».

В этой записи довольно ясно сказано, что инициатором запроса главнокомандующим был, с согласия Государя, генерал Рузский.

О том, что посылка телеграммы главнокомандующим не была инициативой Алексева свидетельствует Лукомский в своих «Воспоминаниях», приводя слова Алексева, обращенные к нему: «Проходя к себе в кабинет, сказал: «Никогда не прошу, что поверил в искренность некоторых людей, послушался их и послал телеграммы главнокомандующим по вопросу об отречении Государя от Престола».

И позже, как свидетельствует Б. Н. Сергеевский: «Примерно через месяц группа чинов Штаба обсуждала в присутствии генерала Алексева мартовские события. Кто-то сказал: «И все-таки одно положительное обстоятельство можно отметить — тогда никто никого не обманул». Генерал Алексеев быстро возразил: «Да, кроме генерала Рузского в ночь на 2-е марта».

«Таким образом все же остается фактом, — пишет Сергеевский, — что генерал Алексеев остался убежденным в совершении генералом Рузским в ночь на 2 марта в докладах своих по аппарату в Ставку чего-то, служебно весьма предосудительного. Что это могло быть? Неточная передача слов Родзянки, с уклоном в сторону необходимости отречения? Не было ли большего? Например, утверждения, что Его Величество желает знать мнение Главнокомандующих. А может быть и передача прямого повеления Государя в этом смысле?.. А если при этом из личных бесед с отрекшимся Императором после возвращения Его в Ставку Алексеев выяснил, что такого повеления Государь не отдавал, то многое из отмеченных мной наблюдений того времени и позднейших получит полное объяснение».

Приблизительно те же слова, которые приводит генерал Лукомский, передал отец и Анне Николаевне, когда мы приехали в Могилев, куда отец нас вызвал сразу после отречения Государя, боясь возможных эксцессов. Никогда больше, даже потом, в трагические дни крушения России и начала Белой Борьбы, не видела я отца таким мрачным, подавленным, угнетенным. Не будь роковой болезни Царских детей, — вся Царская Семья могла бы собраться в Ставке, и не были бы потеряны 48 часов блуждания Царских поездов по железной дороге в полной неизвестности. Кто знает, может быть, вся история пошла бы иначе?

Посылая телеграммы Главнокомандующим, генерал Алексеев дает указания — ответы посылать непосредственно Государю Императору в Псков, но телеграммы-ответы однако пришли через Ставку, видно по чисто техническим условиям — непосредственно прямые провода Юза связывали фронты со Ставкой.

Ответные телеграммы от Главнокомандующих были представлены государю во время подробного доклада генерала Рузского (2 марта около 3 ч. дня). Присутствовали и его (Рузского) сотрудники — Нач. штаба генерал Данилов и Нач. снабжения генерал Савич. Генерал Рузский сообщил Государю о всех последних событиях в столице и других объятых восстанием городах, о переговорах с Родзянко, после чего, по словам Данилова:

«Наступило гробовое молчание. Государь поднялся и уставил свой взор на завешенное окно, очевидно не сознавая, что Он делает. Его в обыкновенное время неподвижное лицо приняло искаженное выражение, которое мною еще ни разу не наблюдалось. Было заметно, что в Его душе происходит ужасная борьба. Наступившая тишина ничем не прерывалась... Вдруг Император Николай Александрович резко повернулся к нам и твердым голосом заявил:

— Я решил... Я решил отречься от Престола в пользу моего Сына Алексея. Благодарю вас за вашу примерную службу. Я надеюсь, что будете служить также верно и моему сыну.

Государь вышел из салон-вагона, но через некоторое время вернулся с двумя телеграфными формулярами в руках, на которых было написано собственноручно рукой Государя:

«Наштаверху Ставка.

Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России, Я готов отречься от Престола в пользу моего Сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно.

Николай».

Надо сказать, что после доклада Рузского и разговора Государя с ним и его начальником Штаба генералом Даниловым, Государь собственноручно начертал две телеграммы, одну адресованную Нач. Штаба Алексеву, другую председателю Государственной

Думы М. В. Родзянко, с копией для Ставки. Содержание второй телеграммы на имя Родзянко следующее:

«Нет той жертвы, которой Я бы не принес во имя действительного блага и спасения родной матушки России. Посему Я готов отречься от Престола в пользу Моего Сына с тем, чтобы Он оставался при мне до совершеннолетия при регентстве брата моего Великого Князя Михаила Александровича, Николай».

Когда эти телеграммы были получены в Ставке и ввиду того, что никакого управления, ни министерств больше не существовало, составление манифеста об отречении пришлось взять на себя гражданским канцеляриям в Ставке. Призвав к себе Начальника дипломатической канцелярии Базили, Алексеев поручил ему составить этот манифест. Базили в своих воспоминаниях пишет:

«Алексеев тогда просил меня скицировать акт об отречении. «И вложите всю душу в него»,— прибавил он. Я тогда занялся в своей канцелярии этой работой, час спустя я вернулся со следующим текстом:

«Во время великой борьбы с внешним врагом, который уже в течение трех лет стремится овладеть нашей родной страной, по воле Божьей, послано России новое тяжелое испытание. Внутренние беспорядки, которые начались среди народа, угрожают ужасными последствиями судьбе России вследствие тяжелой войны. Судьба России, честь ее героической Армии, благосостояние ее народа, все будущее нашего излюбленного отечества требуют, чтобы война была доведена до победного ее завершения, невзирая ни на что. Жестокий враг прилагает свои последние усилия, и время уже подошло, когда наша доблестная Армия вместе со своими славными союзниками будет в состоянии окончательно сокрушить врага. В эти решительные дни жизни России нам казалось нашим долгом помочь нашему народу сильнее объединиться и соединить все силы нации для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, Мы считаем правильным отказаться от Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть. В согласии с порядком, установленным Основными Законами, Мы передаем наше наследие нашему возлюбленному сыну Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу и благословляем Его взойти на Престол Государства Российского. Мы уполномочиваем нашего брата Великого Князя Михаила Александровича взять на себя долг регента Государства, пока наш сын не станет совершеннолетним, править Государством, в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ней — повиновением Царю в эту годовщину народных испытаний помочь Ему, вместе с народными представителями, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».

Этот текст был одобрен генералом Алексеевым, а также генералом Лукомским и Великим Князем Сергеем Михайловичем, двоюродным братом Государя. Я после этого отнес это главному телеграфисту, чтобы послать в Псков, и в тот же вечер этот текст был передан около половины восьмого».

Мельгунов приводит слова генерала Лукомского о том, «что к составлению проекта он и Базили приступили, вооружившись сводом законов, после телеграммы Рузского о том, что Государь просит составить проект манифеста».

Судя по мемуарам Базили, он лично составил этот документ. По воспоминаниям же Сергеевского, как и слышанному мною тогда же в Ставке, Базили взял себе помощником военного юриста Брагина и начальника Оперативного Отделения полковника Тарановского. Задача была трудная, так как основные законы Империи такого положения, как отречение царствующего Императора, не предвидели.

Сергеевский свидетельствует, что этот манифест в 1.30 минут дня 2 марта был передан в Псков для доклада Государю. В 3 часа дня Псков сообщил, что Государь оставил присланный текст Акта у Себя и окончательное решение примет после беседы с двумя лицами, выехавшими к нему из столицы и ожидаемыми в Пскове около 18 часов. Эти лица были Шульгин и Гучков, приехавшие в Псков после 22 часов.

За эти часы 2 марта произошла трагическая перемена в решении Государя — отречение не в пользу Сына. После разговора с доктором Федоровым, удостоверившись в неизлечимой болезни наследника, Государь изменил манифест, назначил преемником власти брата. Перед полуночью на 3 марта в Ставке был получен подписанный Государем текст манифеста.

В аппаратной комнате службы связи, по свидетельству Сергеевского, «собралось большое количество начальствующих лиц, среди них Вел. Кн. Сергей Михайлович и генерал Лукомский — все они толпой окружали псковский аппарат и меня с дежурным чиновником».

Аппарат передавал полный текст посланного из Ставки манифеста, но заканчивался он иначе. Сергеевский пишет:

«Аппарат продолжал щелкать, и лента выползала все дальше: «...подписать указ Правительствующему Сенату: Первый о бытии Председателем Совета Министров князю Львову, Второй — о бытии Верховным Главнокомандующим Вел. Кн. Николаю Николаевичу. После сего Его Императорскому Величеству благоугодно было подписать АКТ ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЛА ЗА СЕБЯ И ЗА СЫНА, и о передаче Престола Вел. Кн. МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ».

Среди шума голосов окружавших меня лиц, я отчетливо слышал крики полного изумления. Лукомского — «Михаилу?» и Вел. Кн. Сергея Михайловича: «КАК МИХАИЛУ? ВОТ ТАК ШТУКА!»

Эта перемена поразила и удручающе подействовала на всех. Лукомский понес ленту наверх Алексееву».

После того, когда, помимо воли Алексеева, вооруженное подавление революции стало невозможным и отречение Государя от Престола было жертвой во имя «Спасения горячо любимой Родины», Алексеев во всех своих последующих действиях стремился во что бы то ни стало сохранить Монархию и Династию. Отречение «и за Сына» — нанесло тяжелый удар этой идее, особенно принимая во внимание характер и отсутствие властолюбия у Вел. Кн. Михаила Александровича. Но отец считал, что спасение будет в скорейшем утверждении на Престоле Вел. Кн. Михаила Александровича и торопил с присягой новому Императору.

Сергеевский продолжает:

«Еще через полчаса-час на службу связи поступила телеграмма генерала Алексеева Главнокомандующим, содержащая полные копии указов и Акта с добавлением распоряжения генерала Алексеева об объявлении этих документов войскам и населению театра военных действий и о приведении войск и населения к присяге на верность «Императору Михаилу Александровичу».

«...Приняв в руки принесенную мне для отправления телеграмму, я напряг все свои познания из Законоведения, и какое-то смутное воспоминание мне подсказало: я сейчас же отправился в кабинет Генерал-Квартирмейстера и доложил ему, что отказываюсь отправить эту телеграмму, как противоречащую Основным Законам Российской Империи, которые устанавливают, что «Ни одно лицо, ни одно учреждение в Государстве не имеет права провозглашать Императора, но Лицо, до коего, в порядке закона о Престолонаследии, дойдет очередь — само объявляет манифестом о своем вступлении на Престол и само повелевает принести присягу на верность ему».

Генерал Лукомский воскликнул: «Благодарю Вас. Благодаря вам мы избежали огромной ошибки».

Телеграмма была взята обратно и вскоре вернулась на службу связи без последних слов: акты приказывалось объявить войскам и населению, но ничего не говорилось о приведении к присяге.

Тогда 2 марта генерал Алексеев телеграфирует кн. Львову, с копией председателю Государственной Думы Родзянко:

«Ввиду состоявшегося подписания Его Величеством акта об отречении от Престола с передачей такового Вел. Кн. Михаилу Александровичу, необходимо скорейшее объявление войскам манифеста вновь вступившего на Престол Государя для привода войск к присяге. Прошу ваше высокопревосходительство содействовать скорейшему сообщению текста означенного манифеста».

Той же ночью Родзянко «Именем Родины» просил Алексеева подойти к аппарату. Впервые с начала мятежа в столице Алексеев говорил с восставшими, теперь уже, после отречения Государя и Его акта сенату, ставшими «законным правительством». Родзянко просил Алексеева задержать передачу в армии манифеста об отречении, так как еще не выяснено отношение Вел. Кн. Михаила Александровича к вступлению на Престол. Пришлось задержать вторично телеграммой на фронты (около 5 ч. утра 3 марта) опубликование манифеста.

Об этом шаге Родзянко писал мне полковник Тихобразов 17 июня 1963 года:

«После ряда колебаний и неудачно опасных ходов, Николай 2-й отказывается от Престола Манифестом 2-го Марта, нарушая закон о престолонаследии, Он лишает наследства Цесаревича и передает власть брату, не только не подготовленному к управлению государством, но и не приемлемому обществом, женатому морганатически и находящемуся в руках кружка людей, к которому враждебно относятся высшие сферы, Государственная Дума и передовые элементы. Эта ошибка на руку революционным элементам, которые получают легкую возможность не только овладеть регентством, но и упразднить само Самодержавие. Единственное препятствие — это Ставка в лице вашего отца. Зная его лояльность, они не посвящают его в намеченный план. Не успел быть обнародованным подписанный к полуночи (с 2-го на 3-е марта) манифест о передаче власти Михаилу Александровичу, «они», в лице Родзянко, просят генерала Алексеева задержать опубликование манифеста. Алексееву остается только, доверяя словам Родзянко, исполнить его Просьбу. Он сам написал текст телеграммы главнокомандующим и просил меня передать ее и его именем задержать опубликование манифеста в военных округах, что мною и было выполнено. Когда же утром Рузский передал Алексееву свой ночной разговор с Родзянко, ваш отец вышел из себя и послал Главнокомандующим пространную телеграмму со словами:

«Родзянко не искренен и не откровенен и находится под мощным давлением левых элементов и совета рабочих и солдатских депутатов. Родзянко имеет в виду поставить представителей армии перед совершившимся фактом».

А задержка вызывается необходимостью получить от не желавшего принять Верховную власть Вел. Кн. Михаила Александровича формальный отказ от Власти в пользу Временного Правительства, что и получается через несколько часов, днем 3 марта, когда оба манифеста узакониваются Сенатом и опубликовываются властями. Таким образом ликвидируется самым законным путем Самодержавие на Руси... С полдня 3-го марта Временное правительство — законная власть, подчиняться которой повелевает самоупраздняющаяся Царская власть.

В своих воспоминаниях Базили пишет:

«Около 3 часов после полудня меня позвал генерал Алексеев и предложил поехать встретить Императорский поезд и оповестить Государя о последних событиях. Паровоз и вагон были сейчас же приготовлены, и в половине 5-го я покинул станцию Могилев. Я взял с собой маленькую записную книжку, переплетенную черной кожей, в которой я записывал резюме — день за днем — главных извещений, полученных Ставкой, или посланных с момента революции...

Немного раньше 5 часов мы прибыли в Оршу, и кондуктор пришел сказать мне, что мы будем ожидать прибытие Императорского поезда, о приближении которого уже было сообщено.

Я только успел сделать несколько шагов по пустой платформе маленькой станции, как вдруг я увидел синие вагоны с правильными золотыми полосками Императорского поезда, который тихонько приближался. Генерал граф Граббе, командир Царского Конвоя, стоял в дверях вагона. Как только остановился поезд, полковник Анатолий Мордвинов, дежурный адъютант Государя, обо мне сразу же доложил Государю. В своих воспоминаниях Мордвинов рассказывает, что я выглядел совсем разбитым и что я был как бы подавлен тем, что произошло. Мое волнение еще увеличилось предчувствием, что я снова увижу Государя в такой тяжелой обстановке. Как только я был непосредственно около Государя, Его сдержанность меня успокоила, Николай 2-й принял меня в маленьком отделении, которое служило канцелярией. Письменный стол из красного дерева стоял под окном, а сбоку стоял диван, обитый зеленой материей. Государь вышел мне навстречу, и я объявил Ему причину моего визита. Он мне указал на маленький стул, стоящий перед столом, а Сам сел на диван. Он был одет в серую пластунскую форму одного из Кавказских пехотных полков. Его лицо и маленькая борода были, как всегда, тщательно прибраны. Выражение лица было совершенно спокойное и не носило следов волнения. Взгляд и Его синие глаза были, как всегда, приятны.

Читая записи из моей маленькой книжки, я собрал для Него как можно более кратко все новости, которые дошли до нас за последние несколько дней, описывая положение, которое становилось все более и более отчаянным. Все рушилось. Столица отказалась принять наследником Вел. Кн. Михаила на Престол. Династия находится в опасности быть свергнутой, страна находится в полной неизвестности.

Государь слушал безучастно. Все время, когда я останавливался, давая некоторые

подробности, он говорил: «Ну, конечно, естественно...» — совершенно спокойным голосом. Я был удивлен спокойным тоном Его ответа, Его невероятным самообладанием. Я не верил своим глазам или моим ушам, когда слышал это: «Ну конечно, естественно», — которое Он повторял как бы отголоском во время моего доклада, и сдержанный тон Его голоса, повторяющего эти слова, навсегда запечатлелся в моей памяти. Он не выразил удивления переверотом, который был совершен в такое короткое время. Можно было подумать, что Он ожидал этого переверота. Невероятно спокойное Его лицо, Его состояние позволило мне сказать в конце моего доклада, в каком отчаянии мы были, что Он не послушался просьбы генерала Алексеева отречься в пользу сына. Он ответил очень просто:

— Вы знаете, что мой сын болен, я не могу расстаться с ним.

К концу моего разговора с Государем Он мне протянул руку и пожал мою. Потом, после одного момента нерешительности, Он меня спросил:

— Хотите ли вы вернуться в вашем поезде в Могилев или предпочитаете ехать обратно со Мной?

Боялся ли Государь, с Его природной деликатностью, скомпрометировать в глазах новых властей лиц, остающихся с ним? Эта мысль была тяжела для меня, и я ответил Государю, что я был бы бесконечно счастлив сопровождать Его. Государь любезно улынулся.

Я расстался с Ним с восхищением за Его благородство, за Его стоицизм перед несчастием. Он принял удар судьбы без какого-либо возмущения, без какого-либо признака злости или большого юмора в Его настроении и не обвинял решительно никого. Этот человек, который, казалось, был так часто безвольным, принял свое решение с большой смелостью и с достоинством — без колебаний. Теперь, когда судьба требовала жертвы, Он ее принял всем Своим сердцем, с действительным величием. Согласно английскому выражению — «он знал, что теряет».

После того, как я расстался с Государем, я вспомнил, что я забыл Ему передать несколько новостей о Его Семье, а поэтому я попросил увидеть Его снова на один момент и сказать Ему, что, согласно последним сведениям, полученным Ставкой, Императрица и Дети находятся еще в Царском Селе и не были потревожены...

Граббе провел меня в свое отделение и спросил о положении. Там находились и другие, которые были вместе с нами. Я вкратце известил их о последних событиях. Старый, славный граф Фредерик был совсем испуган. Нарышкин был спокоен. Долгоруков, человек большого благородства характера, — сохранял свое спокойствие...

Еще до всех этих событий и до самого отречения Государя, в Петрограде советом рабочих и солдатских депутатов 1 марта был опубликован приказ № 1 и разослан на фронты по гражданскому телеграфу, минуя все военные линии, а также через посланные на позиции делегации и агитаторов. Как только об этом стало известно в Ставке, по праву должности во время отсутствия Верховного, генерал Алексеев, чтобы не допустить «заразы в армии» — 3 марта отдал приказ за № 1925, разосланный на все фронты, конечно через Штабы фронтов, «Об уничтожении революционных шаек». Заканчивалось это приказание словами:

«При появлении где-либо подобных самозванных делегаций, таковых не рассеивать, а стараться захватить и по возможности тут же назначить полевой суд, приговоры которого немедленно приводить в исполнение».

Много позднее, во время московского совещания, Алексеев так выразился о приказе № 1:

«Говорят, что акт отвечал моменту. Может быть. Но отвечал ли он миллионам моментов будущего, через которые должна пройти наша страна?»

Беспристрастная история в очень скором времени укажет место и этому акту: не явился ли этот акт актом государственного преступления?»

Ночью на 3 марта было сообщено в Ставку о выезде Государя из Пскова в Могилев. Как сообщалось, Императорские поезда следовали по малым прифронтовым железным дорогам, почему и нельзя было определить точного прибытия поездов в Могилев.

Узнав о возвращении Государя в Ставку, Алексеев отдал распоряжение по всем отделам Штаба Верховного Главнокомандующего о том, чтобы отношения к отрешемуся Императору оставались прежними, чтобы ничем не дать почувствовать Его Величеству каких-либо изменений, величать и титуловать по-прежнему и чтобы вся жизнь Штаба текла по своему обычному руслу.

О прибытии Императорских поездов было сообщено Начальником Военных

Сообщений за короткий срок. Офицеры Штаба ужинали, когда пришло новое распоряжение Алексева — всем генералам и штаб- и обер-офицерам собраться к семи часам вечера на вокзале для встречи Государя. При обычных возвращениях Государя в Ставку, Его никто не встречал, кроме положенных чинов свиты. Поэтому Алексеев отдал распоряжение о встрече отречшегося Императора всем корпусом офицеров Его Штаба, чтобы подчеркнуть любовь, преданность, чтобы морально поддержать Его в эти трагические часы.

Времени оставалось мало, вокзал в Могилеве был почти за городом. Мобилизованы были все автомобили Штаба, а некоторые из них должны были совершить по три рейса.

К семи часам вечера на военной платформе станции Могилев, куда обыкновенно приходили Царские поезда, собрались: Вел. Князя Сергей Михайлович, Георгий Михайлович, Борис Владимирович, союзные военные агенты, генерал Алексеев и длинная шеренга человек около двухсот офицеров с генералами Ставки на правом фланге.

Медленно подошел Императорский поезд. Сейчас же к вагону, в котором находился Государь, были поставлены сходни и выстроились по уставу два часовых казака Конвоя Его Величества с обнаженными шашками. Государь первым вызвал к себе Алексева, который пробыл у Него около пятнадцати минут, и только тогда Государь в форме своего конвоя и в сопровождении генерала Алексева вышел из вагона.

Полковник Сергеевский тоже стоял среди выстроившихся офицеров.

«Государь старался казаться веселым, только левая рука Его как-то неестественно подбрасывала темляк кубанской шашки, этим выдавая Его волнение. Государь поцеловался с Великими Князьями и только тогда заметил выстроившихся офицеров, заполнивших всю длинную платформу. Выпустив из рук темляк шашки, Государь обеими руками поправил на голове свою папаху и, вытянувшись, приложил к папахе правую руку, — быстро направился к правому флангу встречавших офицеров, то есть к иностранным представителям и генералам. Затем Государь стал обходить встречавших его офицеров. По шеренге передали: «Снимите перчатку, — Государь подает руку».

Сергеевский стоял далеко, почти на самом левом фланге, так как приехал одним из последних.

«Рука со снятой перчаткой, приложенная к фуражке, — пишет он, — стала сильно мерзнуть» — было 12 градусов мороза.

«Наконец я увидел Государя. Он медленно двигался в нашу сторону, пожимая руку каждому офицеру... Вот он передо мною. По его лицу текут слезы. Они замерзли сосульками на усах и бороде... Он подал мне руку и так крепко пожал ее, что я внезапно ощутил резкую боль. Невольно взглянув вниз, я увидел на пальце Его перстень с очень большим продолговатым камнем. Мне представилось, что именно этот камень и причинил мне боль. Его Величество задерживается в рукопожатии несколько дольше обычного, Он вглядывается дальше по шеренге и, увидев, что остаются только два офицера, закрывает левой рукой глаза, а правую протягивает в сторону этих двух офицеров. Они подбегают и один за другим пожимают протянутую им Царскую руку.

Тогда Государь закрывает лицо обеими руками и быстро идет к своему вагону. Плечи Его вздрагивают от рыданий. Не останавливаясь, Он входит в вагон. Генерал Алексеев входит за ним, и дверь вагона закрывается. Мы начинаем разъезжаться».

4 марта утром, в обычное для доклада время, Государь пришел в Управление генерал-Квартирмейстера. Как всегда, дворцовый лакей сообщил по телефону, что «Его Величество сейчас выходит на доклад». Генерал Лукомский отдал распоряжение дежурному офицеру — «встретить Государя рапортом. Постарайтесь, чтобы все было как всегда».

В тот день дежурным офицером был Сергеевский, и вот что он пишет в своей книге «Отречение»:

«Я, как полагалось по обычаю, вышел в парадную дверь Управления, чтобы встретить Государя рапортом на тротуаре, недалеко от угла здания. Когда я выходил из двери, которую держал открытой полевой жандарм, то увидел Государя, выходящего из подъезда дворца. За ним шел дворцовый комендант генерал Воейков и урядник конвоя. Пройти до встречи приходилось шагов 50. Отрапортовал точно по уставу: «Ваше Императорское Величество, в Управлении Генерал-Квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем во время дежурства происшествий никаких не случилось!» Я сделал шаг в сторону... Государь очень приветливо улыбнулся и пошел дальше... Входя в двери Управления, Он сказал «Здорово!» полевому жандарму, а в вестибюле — простому рядовому. Оба, как всегда, громко ответили: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!»

По заведенному обычаю, на нижней площадке лестницы встречал Государя генерал Клембовский, помощник Начальника Штаба. На средней площадке стоял генерал Алексеев, а наверху перед кабинетом Государя ожидал генерал Лукомский. Все три генерала входили в кабинет. В их присутствии Государь выслушивал краткие доклады и узнав, что в Его отсутствии никаких крупных событий не произошло, сказал:

«Слава Богу! Я очень рад,— беспокоился об этом, ведь ответственность за фронт все еще лежит на мне...»

После чего Государь выразил желание официально сдать фронт и на листе бумаги написал:

«Сдал фронт. Николай».

Ниже генерал Алексеев подтвердил:

«Принял фронт. Алексеев».

Пока Государь и генералы находились в кабинете, продолжает Сергеевский, «я остался стоять на верхней площадке, около стоящего здесь полевого жандармского унтер-офицера. Со всех сторон подходили офицеры Штаба... Затем Государь вышел. Он с удивлением оглянулся: площадка, прилегающий к ней коридор и лестница в 3 этаж были заполнены офицерами и писарями Штаба, Государь приветливо улыбнулся, любовно кивнул направо и налево и стал спускаться по лестнице. Я шел за ним. Когда я выходил из здания, то я увидел, что за решеткой, отделявшей часть площади перед нашим Управлением и Дворцом от остального ее пространства,— собралась толпа народа, чтобы увидеть отрешенного Царя. Я предполагал, как это всегда делалось, сопровождать Его Величество до угла здания Штаба. Но еще в самых дверях Государь остановился, повернулся ко мне и, приложив руку к папахе, сказал:

— А теперь Я вас прошу Меня больше не сопровождать.

Я ответил: «Слушаю, Ваше Императорское Величество» — по-строевому повернулся «кругом» и ушел в здание Штаба.

Государь пошел к подъезду Дворца в сопровождении только одного урядника — казака.

Формально, сдав Верховное Командование, отрешившийся Император, в Его представлении, стал уже частным человеком».

Через некоторое время после этого Государь выехал на автомобиле на вокзал для встречи прибывшей из Киева Императрицы Матери.

«По выезде за ворота,— пишет полковник Сергеевский,— Его автомобилю пришлось медленно проходить через густую толпу собравшегося народа... Случайно оказавшийся в толпе офицер (Ген. Штаба полковник Тихобразов) рассказал нам в тот же день, что толпа держала себя, как на погребении знакомого человека: царил полная тишина, все мужчины сняли шапки, лишь слышались отдельные сдержанные женские рыдания... Такова была первая реакция рядовых русских людей на уход от Власти их Государя».

Государь с Императрицей Матерью, как всегда, присутствовал на литургии в штабной церкви и стоял на своем обычном месте — на правом клиросе. Как мне говорили — в этот первый воскресный день после отречения Государя за ектинией уже не поминали: «Благочестиваго, Самодержавнейшего и т. д.», но поминали «Державу Российскую». Выходя из церкви боковыми дверями, перед Государем оказалась группа солдат одной из команд Ставки, находившейся тоже в церкви. Офицер еще не вышел, но старший из солдат, заметивший Государя, немедленно скомандовал: «Смирно!» Солдаты выстроились и на приветствие Государя ответили как всегда стройно и строго, по-уставному.

В Ставке после отречения Государь пробыл до 8 марта — время Его пребывания зависело от Временного Правительства, от которого Государь затребовал гарантий. Как пишет мне полковник Тихобразов (письмо от 21 октября 1963 года):

«Мне же было поручено вашим отцом составить телеграмму по собственноручной записке Государя: «Потребовать от Временного Правительства:

1. Мой беспрепятственный проезд в Царское Село для соединения с моей семьей.
2. Свободное пребывание в Царском Селе до полного выздоровления моей семьи.
3. Беспрепятственный выезд с семьей в Англию.
4. Возвращение, после окончания войны, в Россию, для постоянного жительства в Ливадии».

Телеграмма была составлена и послана, в нее не был лишь включен пункт 4-й, который едва ли пришлось бы решать «Временному Правительству». Ответа на эту телеграмму не приходило, и генералу Алексееву пришлось вторично запросить князя

Львова, и лишь к 8 марта телеграмма с гарантиями была получена, и на этот день Государь назначил свой отъезд.

Кто-то из генералов Ставки волновался, что долгое пребывания Государя в Могилеве может «скомпрометировать» Штаб Верховного перед новыми властями. Отца очень возмутило подобное высказывание, и он ответил этому генералу:

«Его Величество пробудет в Ставке столько, сколько Ему будет угодно».

Вообще, с первых часов Временное Правительство выявило всю свою сущность и покрыло себя несмываемым позором своим отношением к отрекшемуся Императору, от которого получило власть, благодаря которому стало «правительством». Началось с того, что, как пишет Тихобразов, «революционные власти восстали против посещения Царем оперативного отделения, но Алексеев продолжал ходить к Николаю 2-му и передавать ему оперативные сводки подобные тем, которые посылались ему, когда он уезжал из Ставки. Конечно, делалось это с соблюдением строжайшей тайны. Текст доклада и сводки составлялись самим генералом, как то бывало и раньше. Выстукивал на машинке на Царской бумаге половину первого доклада полковник Щепетов, а конец его и все последующее полковник Тихобразов. Однажды, когда в оперативном отделении никого, кроме меня, не было, пришел генерал Алексеев. Я сидел за пишущей машинкой.

— Дмитрий Николаевич! К единственному, к кому я мог обратиться — это к вам, — сказал генерал Алексеев. — Государь хотел бы ознакомиться с «приказом № 1» совета рабочих и солдатских депутатов. Не можете ли вы его настучать? Только лично мне не передавайте вашу работу. Когда это будет удобно, я лично (подчеркнуто в письме) — заеду за ней.

Конечно, просьба Михаила Васильевича была исполнена и с соблюдением «прежних» форм, на Царской бумаге отпечатан разрушающий армию приказ. Когда издан был приказ № 2, ваш отец снова обратился ко мне» (письмо от 11 февраля 1963).

Перед своим отъездом из Ставки, Государь собственноручно написал приказ войскам. Государевы слова к воинам Российской Императорской Армии были объявлены в приказе Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 8 марта 1917 года, за № 371:

«Отрекшийся от Престола Император Николай Второй, перед своим отъездом из района Действующей Армии, обратился к войскам со следующим прощальным словом:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и за сына моего от Престола Российского, власть передана временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути Славы и Благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага.

В продолжении 2-х с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую службу и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайте ваших начальников и помните, что всякое ослабление порядка службы — только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине.

Да благословит вас Господь Бог, и да ведет вас к победе Святой Великомученик Победоносец Георгий.

Николай
8-го марта 1917 года

Ставка

Подписал Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего
Генерал Алексеев.

Это удивительное прощальное обращение Государя было составлено в совершенно исключительных выражениях. Каждое слово было строго продумано. Государь уже не употреблял выражения «нижние чины», а заменял его словом «воины». Он деликатно обошел каждое выражение, которое могло бы быть фальшиво понято или двусмысленно истолковано. Кроме того это обращение было составлено в очень сердечном тоне и в таких словах, которые невольно проникали в самую глубину сердца человека.

Как было сказано раньше, Государь наметил свой отъезд на 8 марта. Полковник Тихобразов пишет:

«Телеграмма с гарантиями (от Временного Правительства.— В. А. - Б.) была получена накануне. 8-го утром произошло прощание Царя со Ставкой. Оно было драматично. Атмосфера была тягчайшая, и почти у всех чинов Ставки появлялись слезы на глазах, слышались всхлипывания. Стоявший недалеко от меня конвоец упал в обморок. Государь один сохранил спокойствие при земельном сером цвете лица. Государь подавал каждому руку, в том числе и мне (я был в первом десятке, начиная с начала собранных в зале офицеров). Ваш отец был заметно взволнован. Ответную речь произнес с большим чувством. Мне казалось, что у него влажные глаза. Их прощальный поцелуй был искренен и сердечен» (Письмо от 21 октября 1963 года).

Полковник Сергеевский тоже описывает прощание Государя со своим Штабом.

«Утром 8-го марта последовало телефонное извещение генерала Алексева, что отрекшийся Император отбывает к семье в Царское Село и в 10 ч. будет прощаться с чинами Ставки (В ближайшие дни в Ставке говорили, что 8 марта рано утром прибыли в Могилев уполномоченные нового правительства, привезшие генералу Алексеву указ об аресте отрекшегося Императора и отправлении его в Царское Село, последнее отвечало желанию Государя. Генерал Алексеев, как тогда утверждали, немедленно доложил Государю этот указ, на что получил ответ Государя, что надо повиноваться, однако Монарх поставил Алексеву условие, чтобы вплоть до его отъезда никто в Могилеве не знал об этом указе.— Это и было выполнено Алексеевым). Предписывалось всем генералам и офицерам Ставки собраться в большом зале Управления Дежурного Генерала. Военским частям Ставки надлежало командировать туда же по одному нижнему чину, по выбору нижних чинов части.

К 10 часам все собрались в указанном зале (через площадь от Дворца и нашего Управления). Офицеры стали плотной массой вдоль обеих длинных и задней короткой стен зала,— оставив свободным четырехугольное пространство посреди зала. Нижние чины стали в 2 шеренги вдоль 4-й стенки, у входной двери... Я, в составе нашего Управления, оказался в первом ряду, шагах в десяти от входа. Вокруг меня стояли обер-офицеры службы связи.

Ровно в 10 ч. раздалась команда «Господа офицеры». Вошел Государь. Он был по-прежнему в казачьей форме с папахой в руках. Сделав несколько шагов, он остановился лицом в глубину зала, левым плечом ко мне, всего в шаге от меня. Он тяжело дышал, казалось, что узкая портупея его кубанской шашки давит ему на грудь. Правой рукой он оттягивал портупею от груди. Несколько секунд стояла мертвая, абсолютная тишина. Наконец он заговорил. Я лично так волновался и в то же время напрягал все усилия, чтобы стоять неподвижно (это же, по-видимому, испытывали и почти все присутствовавшие), что слушал и не слышал или, вернее, далеко не все из сказанного понимал. Ряд лиц передали потом содержание его слов совершенно по-разному. Мне запомнилось так:

— Господа! Мне очень тяжело говорить. Это последствие принятого мною решения. Но решение это принято мною окончательно и бесповоротно! Прошлое не может возвратиться.

Мне кажется, что только эти слова и касались политического смысла происходящего. Дальше перед нами говорил только покидающий свою должность Верховный Главнокомандующий. Он благодарил генералов и офицеров своего Штаба за сверхличную несущую ими службу. Он призывал и впредь, под новым правительством, добиваться и добиться полной победы над внешним врагом — победы, которая необходима Родине. Сказано им было много больше слов, до сознания дошли и запомнились только эти мысли.

Затем он начал медленно обходить собравшихся. Говорят, что он каждому подавал руку. Утверждаю, что этого не было, да и быть не могло: мы, как я уже говорил, стояли плотной массой. Я ясно запомнил, что он шел чрезвычайно медленно, как бы стараясь заглянуть в глаза и впереди стоявшим и стоявшим за ними, и стоявшим в глубине.

Пока он говорил, было очень тяжело, но теперь, в полной тишине, стало совсем непереносимо. Он уже обошел половину зала, и вдруг оказавшийся перед Государем огромного роста есаул Его Конвоя, как мертвый, упал на пол, произведя своим падением невероятный среди царившей тишины грохот.

Это послужило как бы сигналом. В нескольких местах зала начались припадки, истерики. Мой сосед, молодой, бледный и очень слабый после ряда ранений, подпоручик пехоты Бронштейн (какие бывают совпадения!) сел на пол и начал визжать и кричать. Я и мои соседи, чтобы как-нибудь прекратить это, затолкали его под стоявший за нами рояль, где он и затих.

В других местах старались успокоить других заболевших. Государь, точно ничего не замечал, продолжал медленно делать свой обход.

Окончив его, он повернулся к нижним чинам. Последние стояли совершенно недвижно. Но почти у всех лица были красны от слез, а на груди их солдатских рыжеватых шинелей были большие темные пятна. Я только потом понял, что это был след их слез. Простолудин не падает в обморок, но его чувство выражается в других проявлениях. Государь сказал и им краткое слово того же содержания, в простых, но сердечных словах. Затем снова повернулся к офицерам, отдал им честь отчетливым «строевым поклоном» — и повернулся к выходной двери.

Но генерал Алексеев заступил ему дорогу и твердым голосом сказал ему несколько слов благодарности, но подчеркнуто только как Верховному Главнокомандующему, покидающему свой глубоко его почитающий штаб. А затем очень громко и отчетливо произнес:

— Счастливого Вам пути, Ваше Императорское Величество! Счастливой Вам жизни, Ваше Императорское Величество! — и сделал шаг в сторону. Но Государь обнял его, крепко прижал к себе и трижды облобызал...

Затем, молча, и не оборачиваясь, он пошел к выходу. Я смотрел вслед и отчетливо видел совершенно неожиданную картину: дверь была закрыта, ее распахнули перед самым Государем, он сделал шаг через порог и... вдруг быстро шагнул назад: вся площадка лестницы и сама очень широкая лестница вверх и вниз (зал был на 2 этаже) были битком набиты солдатской массой. Но в следующий момент Государь решительно шагнул вперед и послышался его очень громкий голос:

— Здорово, братцы!

И захохотал такой ответ, какого я, кажется, никогда не слышал — все окна дребезжали:

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!

— Прощайте, братцы!

— Счастливого пути, Ваше Императорское Величество!

И вслед за этим многосотголосый рев рыданий.

Ничего подобного я никогда не слышал. Мы стояли на своих местах, повернувшись к дверям. Фигура Императора Николая 2-го постепенно исчезала, спускаясь по лестнице среди с трудом расступавшихся и стихийно рыдавших солдат. Наконец скрылась и голова Монарха... стихли и рыдания.

— Это называется революция, — раздался чей-то голос около меня.

Но это была революция: через несколько минут я видел из окна Штаба, как увозивший в последний раз Монарха автомобиль, сворачивал с площади в соседнюю улицу, а с углового здания (Земской Управы) свисали два огромных красных флага».

Новые самодержцы

Закамуфлированный в псевдосоциалистические одеяния контрреволюционный переворот слева, следствием которого станет приход к власти нового самодержца,— так оценили события 25 октября 17-го года либерально-демократические газеты в обеих столицах, и история, как теперь очевидно, с лихвой подтвердила эту оценку. Либеральному центру уже в силу своего положения в наибольшей степени свойственно юмористическое восприятие действительности, ее не только грустных,

но и смешных сторон. Не удивительно, что как до, так и после октябрьского переворота эти же примыкавшие главным образом к Конституционно-демократической партии газеты, в отличие от своих чрезмерно «серьезных» собратьев левой и правой ориентации, отразили на своих страницах не только трагизм, но в ряде случаев и комизм происходившего... Увы, приходится признать, кое-что, ими тогда подмеченное, переключается с нашим сегодняшним днем.

В. ИРЕЦКИЙ

Словесная одурь

От моря до океана, от финских хладных скал до Трапезунда, не смолкая ни на мгновение, однотонно звучит праздная, никчемная болтовня. Гуторит Русь. Без конца в ширину и без меры в длину протянулся этот поток шелудивых, нудных слов, освещаемых тусклым светом бездарности.

Ни одной яркой новой мысли. Ни одного выражения, из которого впоследствии можно было бы сделать... хотя бы нескучную цитату. Ни одного освежающего образа. Все плоско и ничтожно и все отдает бездушной прокламацией... Я говорю не тол-ко о Советах рабочих депутатов — они-то определенно бездарны,— я говорю о всей России, праздноболтающей, бездельничающей и не умеющей претворять слов в дело.

Слова, слова...

Несколько лет назад в Тифлисе собрался съезд городских деятелей. Участники съезда просили наместника, которым тогда был покойный граф Воронцов-Дашков, дать им полную свободу слова. И вот что сказал им, улыбнувшись, этот поседевший в приказах человек:

— Моя долгая жизнь и мой служебный опыт убедили меня в том, что слова в России никому ничего не стоят и ни к чему не обязывают. Можете говорить все, что вам угодно. Объявляю съезд открытым.

Не правда ли, эти слова достойны Вольтера и оскорбительны для русского самолюбия, но разве нынешняя болтовня не доказывает убедительно, что Воронцов-Дашков был прав?

Болтайте, болтайте! Этот самум слов, как сыпучий песок пустыни, покроет всю нашу печальную землю толстым слоем, в котором вы первые задохнетесь. Долго ли могут слова управлять коллективным умом? Изболтавшись, вы скоро утомитесь, а утомленные — вы скоро перестанете отличать красное от черного, черное от красного. Вяльми вашими умами прочно завладеет Санин, кстати, вышедший новым изданием, эротика, босоножки и пряное искусство.

Тогда придут те, которые не болтали, а только слушали.

Тогда действительно заговорят молчавшие.

«Речь», 14 (27) сентября 1917 г., № 216, стр. 2.

Современный курьез

Частая смена министров и товарищей министров влечет за собою нередко курьезы. На днях такой курьез произошел в заседании Временного правительства.

В Малахитовый зал во время заседания вошел человек, обратившийся к одному из чиновников канцелярии с вопросом: «Где здесь можно присесть?» Чиновник указал неизвестному стул. Министры с недоумением стали оглядывать незнакомца, который внимательно прислушивался к прениям. Шепотом начали спрашивать друг друга, кто этот незнакомец, а так как никто из присутствовавших на заседании министров и их товарищей, и чиновников канцелярии не знал незнакомца, то все пришли к заключению, что он попал на заседание Временного правительства по ошибке.

Один из министров попросил тогда управляющего делами Временного правительства спросить посетителя, кто он, что ему надобно, и если окажется, что это человек, случайно попавший на заседание, указать ему на неуместность присутствия посторонних лиц на заседаниях Временного правительства.

На вопрос управляющего делами Временного правительства незнакомец ответил:

— Я — новый товарищ министра продовольствия Орлов.

«Речь», 1 (14) октября 1917 г., № 231, стр. 3.

Разные известия

В последнем заседании Комиссии по разработке законопроекта о возмещении убытков от революции был возбужден вопрос о вознаграждении лиц, получивших во время государственного переворота в феврале-марте телесные повреждения.

Для всестороннего освещения этого вопроса образована особая подкомиссия. Между прочим, намечаемым законопроектом из числа пострадавших и имеющих право на вознаграждение категорически исключаются все служившие в полиции, жандармских управлениях и охранных отделениях.

Не тронь меня

(Письмо в редакцию)

В вашей газете от 29 сентября с. г. за № 229 напечатана телеграмма из Одессы, в которой сообщается о закрытии газеты «Южная мысль» самочинными организациями. Прошу не отказать в разъяснении и разрешении невольно возникающей «загадки»:

«Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов... — гласит, между прочим, телеграмма, — ставит на вид рабочим, работающим в буржуазных газетах, недопустимость появления в этих газетах статей и заметок, роняющих достоинство демократии».

Я лично никак не могу уразуметь: что больше роняет «достоинство демократии», газетные ли статьи и заметки (даже заметки!) или резолюции Советов, подобные приведенной выше.

Бедная демократия! Бедная «мимоза»! Не угрожайте же, граждане, сохранению ее «достоинства» — воздерживайтесь от «заметок» в буржуазных газетах!

С совершенным почтением!

А. Р.

«Речь», 3 (16) октября 1917 г., № 232, стр. 2, 4.

Инцидент в театре

5 октября в 11 час. вечера в «Троицком фарсе» произошел крупный инцидент, вызвавший панику в публике. Во время представления фарса «Царские грешки» неизвестный офицер, поднявшись с места, стал громко протестовать против осмеяния «монархических принципов». В ответ на это несколько солдат, находившихся в театре, стали угрожать офицеру. Находившиеся в зале офицеры частью присоединились к протестовавшему офицеру, частью стали возражать против огульных обвинений офицеров в контрреволюционности. Возбуждение росло, и как офицеры, так и солдаты обнажили оружие. Штатская публика, особенно дамы, в панике бросилась к выходу. С несколькими зрительницами сделалась истерика. Появившаяся милиция и артисты со сцены старались успокоить расходившихся «политиков фарса». Порядок с трудом был восстановлен. Пьеса продолжалась и доведена была до конца благополучно, без политических осложнений.

Хроника

Министерство иностранных дел категорически опровергает сообщение о последовавшем якобы отказе американцев от посылки в дар российской демократии Статуи Свободы.

«Речь», 6 (19) октября 1917 г., № 235, стр. 5.

Платеж по векселям

Азовская городская дума, конечно, почти всецело эсеровская и эсдековская, обсуждала вопрос о сдаче в аренду городской земли. Понятно, получена была бумага от Совета крестьянских депутатов с требованием сдать землю за гроши.

Гласный Карасев заявляет, что дума не должна считаться ни с какими комитетами, так как «они у нас вот где сидят», — показывает он на шею, — да к тому же в городе и крестьян нет, в Совете же заседают лица, ничего общего с крестьянами не имеющие.

Крапивкин, в свою очередь, убеждает думу не считаться с комитетами, так как касса городская пуста, между тем земля часто снимается со спекулятивными целями, что и раньше наблюдалось.

Затем выступают представители крестьян и обрушиваются на лиц, говоривших против комитетов.

Нуждающаяся в деньгах городская дума требований Совета не уважила. Тогда, по словам «Приазовского края», произошло следующее.

Один «крестьянин» спокойно заявляет:

— Спасибо вам, товарищи, спасибо вам, мерзавцы, шарлатаны, подлецы.

— Самозванцы! — кричит другой. — Мы вас выбирали, подавали за вас голоса, а вы нас за горло хватаете!

Председатель г. Магин усиленно звонит, пока у звонка не отрывается язычок. Стоит страшный шум, среди которого прорываются отдельные голоса с ругательствами по адресу думы.

По закрытии заседания происходят еще более возмутительные сцены.

Некоторые хлеборобы кричали:

— Вы нам обещали землю даром отдать, водопроводы провести, бани понастроить и т. д., а теперь вот почему отдаете землю!

Незавидно положение социалистов, когда им приходится платить по векселям.

Возмущение совести

В Саратове состоялся съезд крестьян для намечания кандидатур в Учредительное собрание. Когда от Кузнецкого уезда был намечен Ульянов, председатель Саратовской губернской земской управы первоудец С. Аникин сказал такую речь:

«Братие! Два миллиона наших братьев в германском плену терпят муки, страдают, умирают с голоду, на них возят воду, содержат их вместе с свиньями, и нет слов описать весь ужас, который переживают наши братья. Я тоже страдал, сидел в тюрьме, бежал за границу и жил там, пока не пришла революция и я вернулся на родину. Мне стоило больших трудов и страданий пробраться в Россию, но все же я не поехал через Германию, как это сделал Ульянов. Он, товарищи, приехал через Германию в Россию! (Крики: «Долой, долой!») Уважая пролитую кровь, я не желаю сидеть с ним за одним столом.

До Первой Государственной думы я работал в партии социалистов-революционеров, и этой программе я не изменю. Но в партию социалистов-революционеров вошли такие люди, которые разбивают эту партию на части, вносят в нее неправду, и я теперь в этой партии работать с такими людьми не могу.

Ульянов дает пространные объяснения: другого выхода не было, как только просесть через Германию, потому что пути через другие государства, как Англия и Франция, были слишком перегружены разными грузами, и не могли там ничего добиться. Нас везли, как арестованных, со стражей и т. д.»

У Ульянова нашлось много защитников среди социалистов-революционеров.

Происшествия

Самозванцы. 8 октября, ночью, четверо неизвестных с повязками милиционеров под предлогом производства обыска проникли в квартиру В. Н. Николаевой в д. № 72 по Лиговской ул. Произведя тщательный обыск, неизвестные удалились. После их ухода обнаружена кража вещей на 3 тыс. руб.

Городские дела

К городскому голове поступило заявление о том, что 8 октября больные 6-й палаты Алафузовской больницы объявили голодовку и не принимали пищи. Больные требуют увеличения хлебного пайка, выдачи халатов и туфель, так как приходится ходить босиком. В заявлении, между прочим, указывается, что в палате от холода и сырости выросли грибы. Указывается также, что на почве недоедания среди больных были случаи цинги. На почве обостренных отношений между больными и администрацией, как указывается в заявлении, возможны эксцессы.

Бойцы городских скотобоен отказались производить убой скота до удовлетворения городом их требований об уплате денег за сапоги, приобретенные бойцами за свой счет. Вопрос этот будет обсуждаться в ближайшем заседании Думы.

«Речь», 10 (23) октября 1917 г., № 238, стр. 5.

ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вопрос о псевдонимах

11 октября под председательством Н. Д. Авксентьева состоялось заседание президиума, на котором был поднят, между прочим, вопрос, могут ли выступать члены Совета под псевдонимами. В президиуме было указано, что вопрос о псевдонимах уже разрешен по отношению к Учредительному собранию. Особое совещание по выборам в Учредительное собрание признало, что и в избирательных списках и при выступлении с трибуны все должны фигурировать под своими настоящими фамилиями, но желающим разрешается прибавить к своей фамилии свой псевдоним. Президиум решил руководствоваться этим и по отношению к членам Совета. При вызове ораторов председатель будет называть его настоящую фамилию, а если он пожелает быть занесенным в списки с требованием его псевдонима, то будет называть и его псевдоним (например, Цедербаум — Мартов и т. д.). В стенограммах также будет обозначаться настоящая фамилия с прибавлением в таких случаях псевдонима. Между прочим, от одного левого эсера как раз 11 октября поступило заявление с просьбой именовать его не его настоящей фамилией, а по псевдониму.

Разные известия

В Саратовскую городскую думу ворвалась толпа городских служащих, требовавших повышения жалованья, и ругала гласных социалистов, в том числе и большевиков: «Буржуи! Наш чай пьете!»

«Речь», 12 (25) октября 1917 г., № 240, стр. 4, 5.

Хроника

Центральный комитет по делам о военнопленных в ответ на вербальную ноту германской миссии в Стокгольме, переданную через посредство королевской шведской миссии, о выдаче жалования русским военнопленным офицерам в Германии, пытавшимся бежать и затем задержанным, даже за время отсутствия, высказался в том смысле, что побег может считаться

законченным, лишь когда он осуществлен в действительности, и признал, что какие-либо вычеты за поимку или порчу имущества недопустимы.

«Речь», 13 (26) октября 1917 г., № 241, стр. 4.

В «Крестах»

У нас уже сообщалось о том, что содержащиеся в «Крестах» большевики Алексеев и Горбачев из солидарности с товарищами отказались покинуть тюрьму, когда состоялось постановление об их освобождении. Оба большевика удалены из тюрьмы вооруженными конвойными. Уходя, они заявили, что подчиняются силе и что в свободной России подобное явление не должно иметь место: им должна была быть предоставлена возможность сидеть в тюрьме до тех пор, пока они сами этого желают.

«Известия», 15 (28) октября 1917 г., № 198, стр. 5.

Разные известия

В отчете о заседании Совета Республики 12 октября было написано в связи с выступлением М. И. Либера, что ораторы «революционной демократии охрипли не то от митингов, не то от простуды».

Вместо слова «простуды» оказалось набранным другое слово, совершенно извратившее смысл написанного. Выпускающий, заметив это, восстановил написанное. Но полоса уже была сдана в стереотип, и в номере вместо слова «простуда» оказался пробел. Этот пробел чрезвычайно взволновал газетного обозревателя «Дня», заподозрившего автора отчета в том, что он хотел сказать какую-то «гадость». Это предположение можно объяснить только тем, что курице просо снится.

«Речь», 15 (28) октября 1917 г., № 243, стр. 4.

П. МАРТЫНОВ

В защиту болящих

Вторую неделю длится аптечная забастовка. Больные прямо в отчаянном положении. Аптек открыто мало, и прислуга боится в них ходить, так как каждое такое «хождение» сопряжено с риском нарваться на скандал. Без того больным было трудно. Извольте-ка получить молоко, белый хлеб или лекарство. Цены на заграничные лекарства стоят невозможные, а многих лекарств и нет совсем. В данную минуту мы переживаем, например, кризис «морфия». Его нигде не достать. А тут еще забастовали аптеки. Это у нас, в Петрограде. В Москве еще хуже. Там бастует больничная прислуга, выгоняет из палат врачей и наносит им оскорбления, требуя от них «свержения правительства». Впрочем, то же самое будет на днях и у нас.

Что касается аптечной забастовки, то я не вхожу в интересы аптекарей и фармацевтов. Не знаю, кто из них прав и кто виноват. Мне дороги интересы **больных**. Знаю один отвратительный случай, когда не могли вовремя достать кровоостанавливающего средства для родильницы. Таких случаев, конечно, мало. И вот я прямо отказываюсь понимать, как это при таком остром положении дела министр внутренних дел имел мужество заявить аптековладельцам, что он «не считает возможным вмешиваться в забастовку». Это очень мило с точки зрения эдесской доктрины, но не может быть названо иначе, как **неисполнением прямых служебных обязанностей**. Аптека не мелочная лавка. Открывать ее может не всякий встречный и поперечный. Аптеки находятся в непосредственном ведении медицинского департамента и живут по особому, очень строгому закону. Уже это одно давало повод вмешаться в это дело, предложить свое посредничество. Почему это, когда бастует «Треугольник» или «Скорород», министр труда образует согласительные комиссии и всячески старается помирить обе стороны, а когда бастуют аптеки, товарищ Никитин умывает руки?

Объяснение одно: больные — обывательский сброд, не организованный, не «революционный». На них можно и наплевать.

Невольно вспоминается анекдот о прибавке содержания профессорам. Как известно, обычные и экстраординарные профессора получают жалованье меньшее, нежели вожатый

трамвайного вагона. Говорят, что, когда один из министров народного просвещения поднял во Временном правительстве вопрос об увеличении профессорского оклада, ему ответили: «Ведь профессора не забастуют, так что же о них беспокоиться?»

Не будут протестовать и тифозные, чахоточные, люди со сломанными ногами, родильницы, дети, умирающие от скарлатины.

Но неужели же это может служить достаточным основанием для продления забастовки?

Городская дума выдвинула блестящий проект: реквизировать аптеки. Не вхожу в обсуждение этой меры по существу. Но скажите по совести, кто может поверить в то, что наша дума способна водворить хоть какой-нибудь порядок в реквизированных аптеках? До сих пор, кроме хаоса, мы в думских хозяйственных операциях ничего не видели.

«Речь», 17 (30) октября 1917 г., № 244, стр. 2.

В. ИРЕЦКИЙ

Из дневника «контрреволюционера»

⟨...⟩ Один англичанин говорил: «Если бы в Лондоне на улице предлагали каждому встречному взять в свои руки управление страной, то из тысячи прохожих девятьсот девяносто девять человек отказались бы от этого предложения».

У нас, в России, было бы как раз наоборот.

Из подслушанного разговора:

— В России теперь 20 тысяч законодателей, которым никто не подчиняется, кроме Николая II.

В Штутгарте есть музей дурного вкуса. Это очень воспитательное учреждение, в котором наглядно иллюстрируется человеческая пошлость, пределы которой безграничны и измышления беспредельны. Но при нашей отечественной безвкусице, сопровождаемой еще и бестактностью, и узколобым сектантством, блистательно ныне проявляемым, ограничиться устройством у нас такого музея было бы мероприятием крайне односторонним. Делать — так делать! Нам просто надо завести музей безнадежной человеческой глупости, и наряду с самоваром, икрой и тифозными вшами это явится тем примечательным, чем долго будет славиться наша своеобразная родина. ⟨...⟩

Усердным поставщиком проектируемого мною музея будет, по-видимому, г. Полтава. Местный комитет по борьбе с реакцией составил список контрреволюционеров, и первым из них значится Владимир Короленко.

Полтавские головоотяпы, ради Бога, пришлите скорей ваше постановление о Короленко. Для музея безнадежной человеческой глупости это будет один из лучших номеров. Хотите, номер первый?

Что если бы был жив Толстой? Не прозвучало ли бы снова среди маскарада анархии, среди революционных скоморохов, бесстыдно кажущих язык человеческой культуре, его громогласно величавое: «Не могу молчать»?

Глухой, бесчувственный как истукан старый режим — и тот затрепетал и смущенно опустил глаза. А новый?..

Новый... Он записал бы Толстого в контрреволюционеры.

«Речь», 18 (31) октября и 22 октября (4 ноября) 1917 г., №№ 245 и 249, стр. 2.

Диктатура Ленина

В последнем заседании Ц.И.К. Ленину был задан вопрос, почему он публикует свои декреты без рассмотрения Центрального Исполнительного Комитета. Ленин на это ответил, что отчитывание перед парламентом он считает предрассудком. Кроме того, у него не имеется свободного времени. «Мы переживаем сейчас революционный период, — заявил Ленин, — поэтому надо спешить с изъяснением воли революционного народа».

«Русские Ведомости», 8 (21) ноября 1917 г., № 245, стр. 2.

Разные известия

Через несколько дней после переворота в холодильники, помещающиеся на Черниговской ул. и хранящие в своих складах провиант для столицы и фронта, явился комиссар от большевиков и потребовал передачи ему руководства всеми делами. Ввиду категорического отказа служащих подчиниться комиссар просто переселился туда и стал контролировать вывоз грузов, давая им иногда иное направление.

Следует отметить, что большевистский комиссар служил на этих же холодильниках в качестве слесаря и за пьянство был удален со службы.

Тоска по городовому

Дела и дни большевиков, их агитация словами и делами быстро приносят пышные плоды, но только, так сказать, наоборот — толкают страну вправо. Анархия, в сфере которой теперь приходится жить, довела население столицы до тоски по городовому, который в глазах масс сделался символом личной безопасности и порядка.

Это печальное состояние тоски по городовому выражено было яркой демонстрацией в Александринском театре на последнем представлении «Живого трупа». В последней картине толстовской пьесы на сцене изображен суд и у дверей судебного зала стоит во всей парадной форме городской. Когда поднялся занавес и публика увидела городского, раздалась аплодисменты, перешедшие в овацию, продолжавшуюся несколько минут. «Сам Шаляпин не видел таких оваций, какая выпала на долю статиста, представшего пред публикой в образе городского» — восклицали в театре.

Вот где поистине можно сказать — все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

«Наша Речь», 16 (29) ноября 1917 г., № 1, стр. 4.

Немецкие солдаты в Петрограде

Не успела еще окончательно утвердиться большевистская власть, как в Петрограде появились немецкие солдаты. Они ходят по улицам столицы в полной форме и без всякого конвоя. Как и для какой цели они сюда попали, остается загадкой.

16 ноября, около 4 час. дня, среди публики, ожидавшей трамвая на Николаевской набережной, оказались три германских солдата в полной форме. Они имели при себе какие-то тюки, по-видимому, собираясь в долгий путь. Держались они довольно высокомерно, но, впрочем, любезно отвечали на вопросы.

Публика отнеслась к появлению в столице германских солдат без всякого возмущения, видимо, понимая, что ничего иного теперь и ожидать нельзя.

Один из публики стал на немецком языке расспрашивать солдат, когда они устроят революцию у себя в Германии. Немцы весьма обстоятельно разъяснили, что они «и так свободны», а кроме того, «видели русскую революцию, и этого вполне достаточно».

— Мы, немцы,— сказал один из солдат,— вполне удовлетворены русской революцией — она принесла нам много пользы..

В городской думе

Поход против городской думы со стороны большевиков принял новые формы. Под влиянием большевистских агитаторов рабочие нескольких заводов вынесли резолюции, в которых требуют роспуска думы. Эти резолюции, написанные по одному типу, были доставлены городскому голове, доложены в заседании думы 16 ноября и вызвали ряд совершенно исключительных и небывалых сцен в стенах думы.

Рабочие, переполнившие хоры и думские кулуары, вели себя с исключительной дерзостью, кричали по адресу городского головы и гласных: «Вы нахально врите!», «Вас выгонят грязной метлой!» и пр. Городского голову при появлении его на кафедре встретили свистом.

Городской голова Г. И. Шрейдер с думской кафедры прямо обратился к рабочим и заявил, что все обвинения по адресу думы, приведенные в их резолюциях, ложны.

Г. И. Шрейдер предложил рабочим прийти в думу 17 ноября, чтобы убедиться по документам в ложности этих обвинений.

— Нет, вы обманываете нас! — кричала часть рабочих.— Не хотим вас слушать!

— Это самый удобный способ ответа для тех, кто не желает знать истину,— говорил городской голова рабочим, но они, не слушая его, с шумом начали покидать думский зал.

Социал-демократ, меньшевик Щупак-Владимиров, взволнованный происшедшим, вскочил с места и, обращаясь к рабочим, кричал: — Вы не имеете права уходить, не выслушав наш ответ на ваши обвинения!

— Вы нахально врете,— кричали ему рабочие,— а нахалов мы слушать не хотим! Недолго вам осталось здесь быть, мы вас разгоним!

Эта возмутительная сцена взволновала всех гласных.

Плата красногвардейцам

Рабочие-красногвардейцы требуют от владельцев предприятий оплаты их труда по службе новой власти. Отказывающихся платить им они подвергают насилиям. Совет Общества заводчиков и фабрикантов принял по этому поводу следующую резолюцию:

«В целом ряде фабрично-заводских предприятий рабочими предъявляются ничем не обоснованные, недопустимые требования, в частности, об оплате предприятиями рабочих-красногвардейцев, выступление которых не находилось ни в какой связи с работой промышленных предприятий.

В случае отказа предпринимателей в удовлетворении таких требований владельцы и заведующие предприятиями подвергаются со стороны отдельных групп рабочих всяким насилиям, вплоть до ареста.

Производя аресты, рабочие ссылаются на приказы, а иногда и представляют письменные предписания Военно-революционного комитета или районных Советов р. и с. д.

Считая разрешение спорных вопросов путем применения насилия абсолютно недопустимым ни при каких условиях и ни при каком государственном строе, Общество заводчиков и фабрикантов считает нужным самым решительным образом протестовать против такого образа действий.

Стрельба в кафе

Днем 16 ноября наряд солдат и красногвардейцев явился в кафе «Централь» на Невском пр., около Пассажа, для задержания подозрительных лиц. Среди посетителей кафе произошла паника. Во время суматохи из глубины кафе раздалось несколько выстрелов, произведенных из револьвера. Одной из пуль смертельно ранен один посетитель, в котором опознан карманный вор К. Чумовой. Виновник стрельбы не обнаружен. По производстве обыска, длившегося около часу, красногвардейцы удалились, задержав 5—6 подозрительных лиц.

Разные известия

Большевики ввели новый вид цензуры, которого не знал даже царский режим,— цензура телефонных разговоров. Согласно инструкции комиссара междугородской телефонной станции Пфафродия-Бруно, не разрешаются разговоры по телефону «явно контрреволюционного содержания». Что такое «контрреволюционное», об этом инструкция не говорит. Но из откровенных заявлений «Известий ЦИК Советов р. и с. д.» известно, что все, что приятно большевикам,— революционно, а все, что неприятно им,— контрреволюционно.

«Наша Речь», 17 (30) ноября 1917 г., № 2, стр. 5.

Арест журналистов

Вчера вечером арестованы сотрудники и редакторы газет «Воля народа» (Аргунов, Дмитриев и др.), «Трудовое дело». Задержанные были препровождены в Смольный институт. Журналисты социалистических газет были оставлены внизу, а буржуазных были переведены

в средний этаж. В половине четвертого утра после целого ряда протестов со стороны задержанных к ним явился член Следственной комиссии Военно-революционного комитета, редактор социалистической латышской газеты Петерс. По ходу допроса у арестованных журналистов сложилось убеждение, что Военно-революционный комитет смотрит на них как на заговорщиков в связи с опубликованием воззвания Временного правительства в газетах.

По этому поводу Комитет пришел к заключению, что в Петрограде существует заговор, в состав которого входят члены Временного правительства, гласные городской думы, сотрудники и редакторы газет, а также другие общественные деятели. В целях выявления всех нитей этого заговора и велся допрос.

Все журналисты решительно отказались от всяких показаний. Аргунов, кроме этого, указал, что он лично считает возмутительным, что его, редактора социалистической газеты, допрашивает редактор другой социалистической газеты. К утру некоторые задержанные были освобождены и отпущены на свободу. Между прочим, задержан Аргунов, и все протесты его в этом направлении ни к чему не привели.

Передают, что, когда Аргунов был привезен в Смольный институт, он обратился к одному из принимавших его большевиков с указанием на недопустимость ареста Г. И. Шрейдера, являющегося выбранным от Петрограда в члены Учредительного собрания. На это последовал ответ, что неприкосновенность личности членов Учредительного собрания является буржуазным предрассудком.

«Русские Ведомости», 29 ноября (12 декабря) 1917 г., № 254, стр. 4.

Дезорганизация в больницах

(Письмо в редакцию)

С самого начала революции все больницы министерства государственного призрения были перестроены на демократических началах с участием в ведении дел младшего персонала. Материальное положение младших служащих во много раз улучшилось.

Несмотря на это, демагогические приказы народного комиссара министерства государственного призрения призывают младший персонал больниц к полному игнорированию участия остальных групп в ходе больничной жизни в ущерб интересам больных.

Результаты налицо. В психиатрической больнице Всех Скорбящих младшие служащие насильственно овладели кассой, в которой находились не только деньги, но и ценности душевнобольных.

В Воспитательном доме помощник директора под угрозой револьвера был привезен к г-же Коллонтай.

«Наш Век», 15 (28) декабря 1917 г., № 14, стр. 4.

Кража серебра в революционном трибунале

Из произведенного дознания по поводу грабежа, совершенного во дворце великого князя Николая Николаевича, выясняется, что разгрому подверглось 8 ящчков. Караул в революционном трибунале нес Гренадерский полк.

Председатель революционного трибунала, рабочий Жуков, предложил милиции принять особо строгие меры для обнаружения воров.

Показания по поводу разгрома во дворце дала жена председателя суда Жукова, живущая во дворце. Она слышала три дня тому назад подозрительный шум в подвале.

Предполагают, что из дворца унесено серебра на 70 000 руб. Унесена посуда, украшенная вензелями, и громадный самовар.

«Наш Век», 16 (29) декабря 1917 г., № 15, стр. 3.

Б. САВИНКОВ

О словах и делах

Очень давно, в 1905 году, когда мне, так же как и теперь, приходилось быть «нелегальным», я «по делам революции» встретился с одним из членов армянской партии «Дашнак-

цтун». Он только что вернулся из Турции и с негодованием рассказывал о турецких, тогда еще младотурецких, порядках:

— У вас, в России,— свобода: у вас, в России,— паспортная система. Взял чужой паспорт и поезжай, куда хочешь... А в Турции черт знает что... Паспортов, разумеется, нет — ни фальшивых, ни настоящих, а есть винтовки и револьверы. Вооружен и умеешь стрелять — значит, жив. Невооружен или плохо стреляешь — значит, секим башка... А вы, русские, жалуетесь на Николая II...

Выбирая между диким курдом и Николаем II, армянский революционер предпочитал Николая II. Я бы воздержался от выбора. Я не хочу ни того, ни другого. Но справедливость заставляет меня сказать, что действительно фальшивый паспорт — лучше браунинга и кольта и что я не без зависти вспоминаю то «спокойное» нелегальное время, когда прописанная в полицейском участке «фальшивка» служила гарантией «неприкосновенности личности и жилища». Теперь этой гарантии нет. Не только «фальшивка», но даже самый подлинный паспорт — «удостоверение» от Военно-революционного комитета за подписью самого товарища Стучки — не страхует вас от «прискорбного недоразумения». Страхует только браунинг или кольт.

— Иду я в Воронеже вечером,— рассказывал мне один из моих приятелей, тоже вечный, как «вечный жид», «нелегальный»,— навстречу едет пролетка. В пролетке — «товарищ». Поравнялся со мной, вынул револьвер и «дунул». Раз три в меня «дунул»... Но разве «товарищи» умеют стрелять?

— Еду я на извозчике в Харькове,— рассказывал мне другой «вечный жид»,— на углу вдруг: «Стой! Кто идет?..» А затем: «Руки вверх!» Ну, я рук не поднял, однако. Вернее, поднял одну. И выстрелил. И, слава Богу, попал. И поехал дальше домой. А если бы я не попал, то вероятно, уже бы не жил на свете...

— Сажу я у себя дома в Казани,— рассказывал мне третий приятель,— слышу, звякнуло что-то... Гляжу, двойная рама пробита пулей и на противоположной стене — дыра. «Товарищи» забавляются...

Армянский революционер, конечно, был прав. Если Николай II лучше дикого курда, то браунинг неизмеримо удобнее, чем «удостоверение» от Военно-революционного комитета. Лично я считаю долгом принять это к сведению и отметить: в 1905 году, при царском режиме, револьвер был почти игрушкой, в 1918 году, при «социалистическом строе», без револьвера — как без рук: «израсходуют», по выражению «товарищей».

Такова свобода личности в Российской республике. Свобода слова не лучше.

— Товарищи! Да ведь он за буржуазию!.. Слышите, за Учредительное собрание!.. На что нам Учредительное собрание? У нас народные комиссары. Мы сами теперь хозяева! Довольно кровушку нашу пить! Товарищии! Он калединец, он — за Керенского и за Корнилова! Товарищии! Бей его!..

Эту «речь» я слышал собственными ушами. И собственными глазами видел, как несчастный, перепуганный насмерть «эсерик» со всех ног убежал от разъяренной толпы. У него, вероятно, не было ни браунинга, ни кольта. Или «эсеры», как теперь утверждают многие, окончательно разучились стрелять? Я склонен думать второе. Ведь вся российская революция прошла под знаком партийного разглагольствования. «В борьбе обретишь ты право свое...» Какая уж тут борьба, когда «израсходуют». Да и уместно ли, в самом деле, бороться, если борются «контрреволюционеры» Алексеев, Корнилов и Каледин? Пусть сражаются юнкера, казаки, а партийные люди, соблюдая партийную чистоту, будут действовать «убеждением».

Как действовать «убеждением», я не в состоянии уразуметь. Свободы слова нет и в помине, а что касается свободы печати, то, пожалуй, лучше об этом не говорить. Да и «убеждение» — то изжито, кажется, до конца. «Убеждал» Керенский, «убеждали» всевозможные комиссары, «убеждали» пропагандисты, «убеждали» Даны и Гоцы, и Россия превратилась в огромную говорильню. Потом пришел Ленин и сказал: «Баста! Поговорили, и будет. Теперь пожалуйста, будьте любезны, в «Кресты». И «ораторы» были препровождены в «Кресты».

Весною и потом, во время июньских боев, на фронте уже предчувствовалось, уже провиделось поражение России. Не только поражение России, но и гибель свободы, гибель родины, то бедствие и тот всенародный позор, который мы переживаем теперь. И, я помню, было тогда непонятно: неужели в Петрограде слепцы, и если нет, то неужели люди, не любящие России? И было жутко от этих мыслей и не хотелось делиться ими ни с кем. А прежде «агитаторы» объясняли: «Подождите, в Германии будет революция», или: «Надейтесь на Керенского и на партию эсеров», или: «Вы пессимисты и не видите величия развертывающихся событий». И когда умолкали ночью орудия и наступала долгожданная

тишина, и перед глазами еще металась взрывы, в ушах раздавались эти легкомысленные слова: «Революция в Германии... Керенский... Величие событий...» И я не раз видел, как, отвернувшись к стене, тихо плакали юные офицеры — те офицеры, которые потом одни, без солдат, под пулеметами шли в атаку.

Революцию не только «пролузгали», но еще и «проговорили». Убеждаемые лужали семечки, убеждающие исходили словами. Не потоки, а водопады слов заливали и Петроград, и Москву, и армию, и Россию. Были букеты, красные ленты, «братские» поцелуи, «ура», «за землю и волю» и тому подобные упражнения. Но дела не было. Революция оказалась **бездейственной**. Керенский не понимал разницы между делом и словом. Как не понимали ни Чхеидзе, ни Скобелев, ни Чернов, ни те, кто, как послушное стадо, брели за Керенским, за Чхеидзе и за Черновым. Не только безвластием, безволием и слабодушием, но и маниловщиной чистой воды дьяшала русская революция. В Петрограде произносились благородные речи, а в Выборге расстреливались не повинные ни в чем офицеры, и на фронте лилась кровь, как клюквенный сок. Армия разрушалась, страна гибла, свобода попиралась ежеминутно, а Маниловы продолжали безудержно восхвалять «истину, красоту и добро».

Не Маниловы, разумеется, виноваты. И Керенский, и Чернов, и Чхеидзе — плоть от плоти и кровь от крови российской интеллигенции, а интеллигенция наша всегда страдала болезнью воли. Ею не страдают Ленин и Троцкий. С этой точки зрения я не могу им отказать в уважении и не могу не признать, что в них — огромная сила.

Россия достойна свободы уже потому, что в России был Пестель, был Желябов и был Сазонов. И Россия не может погибнуть потому, что в России был Суворов, был Кутузов и был Нахимов. Но и Пестель, и Суворов, и Желябов, и Кутузов, и Нахимов, и Сазонов одинаково бы сказали: «Надо **делать**. Надо бороться. Слово — не дело. Побеждает только тот, кто действительно хочет победы».

Вспомнят ли об этом наши целомудренные революционеры, или мой голос — голос изгнанного из партии «за патриотизм» человека, — затеряется в пустыне уныния, любоначалия и празднословия? Мой голос слаб. Но есть другие, более громкие голоса. Прислушайтесь к ним и отзовитесь на них. Или и в самом деле:

Паситесь мирные народы,
Вас не разбудит чести клич.
Зачем стадам дары свободы?
Их нужно резать или стричь...

«Русские Ведомости», 25 января (7 февраля) 1918 г., № 16, стр. 1.

Публикация И. МОЧАЛОВА

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 1993 ГОД

	№,	стр.			
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ					
АННИНСКИЙ Л. Не кровь и не почва	XI,	3	ИАТАШВИЛИ Ш. Большой город. Повесть. С грузинского. Перевод и вступительное слово А. Эбанодзе	IX,	13
БАХНОВ Л. «...Без козней, розни и надсады»	VI,	3	КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю. Каждый раз весной. Повесть. Вступительное слово Л. Бахнова. Публикация и подготовка текста С. Карабчиевской	VIII,	10
ДРАГУНСКИЙ Д. «Уж сколько их упало в эту бездну...»	V,	3	КЛИМОНТОВИЧ Н. Джапан. Рассказ. Из книги «Дорога в Рим»	XII,	67
КОЗЬКО В. Житейская история	II,	3	ЛИХОДЕЕВ Л. Жили-были дед да баба. Давняя история	I,	17
КОНДРАТЬЕВ В. Разум против безумия	IV,	3	ЛЮБИМОВ Н. В некотором государстве. Из воспоминаний «Неуядаемый цвет». Публикация и подготовка текста Б. Н. Любимова	VI,	48
ПЬЕЦУХ В. Русская тема	VII,	3		VII,	98
ПЬЕЦУХ В. В чем наша вера	X,	3	МАЛАМУД Б. Еврей-птица. Рассказ. С английского. Перевод В. Гольщева. Месть сводника. Рассказ. С английского. Перевод Л. Беспаловой	IV,	107
ПЬЕЦУХ В. Что это было	XII,	3	МАМЕДОВ А. Свадьбы. Рассказы	V,	56
ХОЛОПОВ Б. Самостояние и общезнание. Взгляд на интеллигенцию из домашней библиотеки	IX,	3	МАРКИШ Д. Тенти. Повесть	II,	124
ЧИЧИБАБИН Б. Просто, как на исповеди	I	3	МРОЖЕК С. Как я сражался. Рассказ. С польского. Перевод А. Базилевского. Тот, который падает. Рассказ. С польского. Перевод В. Климовского. Последнее слово. Рассказ. С польского. Перевод Е. Лысенко	IX,	43
			МУРАВЬЕВА И. Ляля, Наташа, Тома... Повесть	X,	98
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ			ПОЛЯНСКАЯ И. Побег. Рассказ	XII,	62
АДАМОВИЧ А. Vixi. Законченные главы незавершенной книги	X,	14	ПОПОВ Е. Магазин «Свет», или Сумерки богов. Рукопись, найденная в третьем микрорайоне	IV,	78
АЛЕКСИЕВИЧ С. Зачарованные смертью	IV,	15	ПУТКО А. Эпиталама по-фронтальному. Рассказы. Вступительное слово Евг. Беньяша	VI,	91
АЛЕШКОВСКИЙ П. Жизнеописание Хорька. Повесть	VII,	8	ПЫДЕР Р. Цветущая комната. Рассказ. С эстонского. Перевод Н. Абашинной	X,	120
АТТАЛИ Ж. Первый день после меня. Роман. С французского. Перевод М. Гребнева	XII,	13	ПЬЕЦУХ В. Четвертый Рим. Повесть	V,	16
БЕРБЕРОВА Н. Чайковский. История одинокой души	V,	76	САПГИР Г. Человек с золотыми подмышками. Рассказ	VIII,	164
БЛОЦКИЙ О. Афган. Рассказы и повесть. Вступительное слово О. Блоцкого и С. Алексиевич	II,	27	7 НОЯБРЯ. Анекдоты и факты. Издание подготовил А. М. Песков	XI,	7
БЛОЦКИЙ О. Ночной патруль. Рассказ	XI,	65		XII,	77
ГАЗДАНОВ Г. Полет. Роман. Вступительное слово Ф. Хадоновой	VIII,	96	ХАРИТОНОВ М. Рассказы. Из цикла «Голоса»	II,	71
ГОЛУБКОВ Д. Восторги. Роман. Подготовка текста и публикация М. Голубковой	IX,	95			
ГОЛУБКОВ Д. Восторги. Роман. Подготовка текста и публикация М. Голубковой	III,	17			
ДЕМИДОВ Г. Интеллектуал (признак Коши). Вступительное слово В. Демидовой	VI,	83			
ДИЕНЕШ Л. «Рождению мира предшествует любовь...» Заметки о романе «Полет»	X,	131			
ЗИНИК З. Дорога домой	II,	103			

ШИШКАНОВ С. Про Пианино. Рассказ	VII, 87	НЕКИПЕЛОВ В. Тюрьма. Лю- бовь. Россия. Из книги «Стихи»	III, 143
ЭЛИАДЕ М. Рассказы. С ру- мынского. Перевод и послесловие А. Старостиной	VIII, 57	НЕРПИНА Г. Пенелопа	IX, 62
ЭППЕЛЬ А. Из книги рассказов «Травяная улица»	IX, 66	НОРИНИСО. Саженец радости. С таджикского. Перевод Е. Печерс- кой	II, 101
СТИХИ И ПОЭМЫ			
АЙГИ Г. Из книги «Поклон-пе- нию». Вариации на темы чувашских и татарских народных песен (1988— 91)	X, 11	ПОЛЯКОВА Н. На злых ветрах... ПРОМЕТ Л. Право, не знаю... С эстонского. Перевод Е. Печерской	XII, 74
АРСЕНЬЕВ Г. Дыханье исконно- го лада... Стихи разных лет	VIII, 91	РЕЗНИК В. Только сердце — бес- сонный акустик...	XII, 127
БЕЛЯЕВ А. Тени Тартара	VII, 95	РЕЙН Е. Песок. Маленькая поэма	II, 158
БЕЛЯКОВ А. Никогда мне не быть бизнесменом...	V, 13	СЕДАКОВА О. Лицо сновиденья, смущенья, дождя...	IV, 12
БЕНН Г. Фрагменты. С немецко- го. Перевод С. Морейно	XI, 61	СОБИР Б. Осень в сердце... С тад- жикского. Перевод М. Синельникова	XI, 121
БИТОВ А. Пока на дно уходит Атлантида...	IV, 75	ФИЛИПОВИЧ П. Единый дух единым правит светом... С украин- ского. Перевод Л. Червичника. Всту- пительное слово М. Жулинского	X, 118
ВАЛЛИСОО М. Неминуемое. С эстонского. Перевод Е. Печерской	VIII, 160	ЧИЧИБАБИН Б. Новые стихи	I, 72
ВОЗНЕСЕНКИЙ А. Россия воск- ресе. Безразмерный молитвенный сонет	X, 123	ЭЛСБЕРГ К. Так бабочки рвутся к лампе... С латышского. Перевод С. Морейно	I, 12
ДЫМАРСКИЙ Я. Гул истории	VI, 79	ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	
ЕВСЕЕВ Б. Мы — пламя печал- ли...	XII, 59	РОБАКИДЗЕ Г. Меги. Грузинс- кая девушка. Роман. С немецкого. Перевод С. Окроперидзе	I, 75
КАЙДАНОВ А. Загоняем сердца, как коней... Стихи разных лет	X, 93	РОБАКИДЗЕ Г. Лира Акакия. С грузинского. Перевод Д. Кондах- сазовой. Из лирики. С грузинского. Перевод В. Еременко	VI, 101
КИБИРОВ Т. Летние размышле- ния о судьбах изящной словесности	III, 3	СЛУЦКИЙ Б. Запевает строчка одна. Стихи. Публикация и вступи- тельное слово Ю. Болдырева	IX, 90
КОБЕРИДЗЕ М. Черно-белые сны. С грузинского. Перевод Т. Бек	III, 171	ЦЕРЕТЕЛИ А. Григол Робакид- зе. С грузинского. Перевод Д. Кон- дахсазовой	VI, 100
КРАСНОВА Н. Подвал. Венок сонетов	VII, 81	ПУБЛИЦИСТИКА	
КРЮКОВА Е. Оставьте место Божьему огню...	II, 65	АКАЕВ А. Преодолеть страх пе- ред будущим. С Президентом рес- публики Кыргызстан беседует корре- спондент «ДН» В. Медведев	II, 149
КУБЛАНОВСКИЙ Ю. ...Над се- верным Нилом	V, 53	БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ В. Кто не работает, тот не владеет	IV, 149
КУДИМОВА М. Поззии язычес- кий приют...	III, 14	БЕРГ М. Вереочная лестница	VII, 176
ЛАПИН В. Из цикла «Микро- район»	VIII, 161	ВЕРНАДСКИЙ В. И. Дневник 1940 года. Публикация и коммента- рий И. И. Мочалова	IX, 173
ЛЕОНОВИЧ В. Жизни имена пе- ребирая... Из поэмы «Четверик»	XI, 117	ГРЕХОПАДЕНИЕ ПОСЛЕ ПУТ- ЧА. С председателем Народного руха Украины В. Чорновилом бесе- дует корреспондент «ДН» Л. Тар- хова	
ЛИСНЯНСКАЯ И. После всего	VIII, 52	ИОНОВ А. Я — хозяин	II, 160
МАРК Г. Но неба свиток приотк- рыт до середины...	VII, 139		
МОРШЕН Н. Встреча с необъяс- нимым. Публикация и вступитель- ное слово Е. Витковского	IV, 103		
МУРАН А. Блуждают звезды в языке	XI, 87		
НАЙМАН А. Торжествующий свет бытия	IX, 88		

КРИВУЛИН В. Охота на мак-монта	V,	180	ДЕДКОВ И. Объявление вины и назначение казни	X,	186
ЛИСИЧКИН Г. Непонятый Маркс	XII,	160	ДРАГУНСКИЙ Д. Самый короткий день (Россия — новое амплуа)	I,	209
МАЛАШЕНКО А. Ислам в нашем доме	X,	151	ИСАЕВ И. Геополитические корни авторитарного мышления. Исторический опыт евразийства	XI,	142
МЕДВЕДЕВ В. Сага о бобо Сангаке, воине	VI	187	КАГРАМАНОВ Ю. Украинский вопрос	X,	175
МЕДВЕДЕВ В. «Как тяжело мертвецу среди людей...» Три типа сознания в «Преступлении и наказании»	X,	160	КАЛЯЕВА Э. Бывший поэт бывшей республики	VIII,	189
ОБОЛОНСКИЙ А. На краю пропасти. Русская интеллигенция и трагедия русской истории (XIX век)	IX,	140	МИЛОШ Ч. Город юности. Из книги «Наша Европа». С польского. Перевод и вступительное слово Б. Дубина	VI,	205
РУДЕНКО Б. Война без победителей	V,	5	НОВИКОВ А. Отрывок революции. Советский экстремизм: психологический портрет явления	II,	12
РУДЕНКО Б. Донской ренессанс. Заметки о движении неоклассицизма	XI,	163	НОВИКОВ А. Что объединит нацию? Гипотеза	III,	9
СЕРЕБРОВСКИЙ В. Письма из Индии. Вступительное слово В. Медведева	IV,	155	НОВИКОВ А. Люди из бункера. Политические режиссеры	IV,	7
СЕНИЦЫНА Л. Когда святые маршируют	VII,	166	НОВИКОВ А. Перспективы русского национализма	IX,	195
ТАРАСОВ А. Байконур — Тюратам: конец или начало?	III,	173	САЛЛЕНАВ Д. Конец коммунизма: холод в сердце	XII,	129
ФУРМАН Д. Эстонская революция	XII,	138	РАССЛЕДОВАНИЕ «ДН»		
ХОЛОПОВ Б. Воркута и Воргашор. Шахтерский Север времен конфликтов и приватизации	VIII,	169	ЗОЛОТОНОСОВ М., КЕЛЬНЕР В. Сказание о погроме	V,	186
НАЦИЯ И МИР			СУВОРОВ В. Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?	I,	133
АХИЕЗЕР А. Россия — кризисная точка мировой истории	XI,	124	ШУБИН А. Махновское движение 1917—1921 годов	III,	147
АХИЕЗЕР А., ВОРОНИН О., МАТВЕЕВА С. Наше общество — уникальный предмет для социологов	XI,	136	ПОВТОРЕНИЕ НЕПРОЙДЕННОГО	IV,	179
БАРАЕВ В. Огни Гэсэра	XI,	154	БОЧКАРЕВА М. Яшка. Вступление Сергея Дрокова. С английского. Сокращенный перевод И. Дорониной	VI,	5
БЕЛЯЕВА Г., ДРАГУНСКИЙ Д., ЗОТОВА Л. Многонациональный мир Москвы. Социологический автопортрет	IV,	134	КРИТИКА		
БЕНЬЯШ Е. У разбитых скрижалей	XII,	135	АЛЕКСИЕВИЧ С. «А потом я напишу о любви...» Беседу ведет Н. Игрунова	X,	203
БОЛДЫРЕВ Ю. Русский век	VII,	143	АННИНСКИЙ Л. Лучина и свеца. Армения в русской лирике	II,	169
БУГАЙ Н. «Жду Вашего справедливого решения...» Из писем спецпереселенцев	VIII,	196	АРХАНГЕЛЬСКИЙ А., НИВА Ж., МАРКИШ С. Утби эт Горби	I,	186
ВОРОШИЛЬСКИЙ В. Разговор с Россией. С польского. Перевод А. Коростелевой	V,	211	БЕК Т. Слово о «Слове». Всего лишь заметки читателя	III,	191
ГЛОБАЧЕВ М. В кошачьем концерте наций	I,	219	БЕК Т. Пространство открытых сторон	VII,	195
ГОРДОН Л. Безумная утопия против сумасшедшей реальности	III,	137	ГАБРИЭЛЯН Н. О путешествующих днем и о путешествующих		

в ночи. Медитации на тему современной поэзии	V,	228			
ЗВЕРЕВ А. Грезы любви. Книжный развал	IV,	205			
КОНДАХСАЗОВА Д. Факты без цифр. Интервью Р. Миминошвили, Д. Гвинджилия, Р. Гвердцители и М. Гонашвили	II,	187			
КУРАЕВ М. Кто войдет в дом Чехова?	I,	198			
ЛЕОНОВИЧ В. Венок Галактиону Табидзе	IV,	199			
«МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО» ПОД АРЕСТОМ. Архивные материалы о судьбе повести В. Быкова. Публикация П. Мещерякова	IX,	204			
«НЕИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН, КОТОРОГО ЗВАЛИ ЗОЩЕНКО». По страницам эмигрантских изданий 1920—1930-х годов. Вступительное слово Ю. Томашевского	VIII,	200			
НЕМЗЕР А. Три сосны. К вопросу об исчезновении «классики»	XI,	187			
ПАНЧЕНКО О. Грюсс аус Бромберг. Переводы с быдгоского	XI,	201			
ТУРБИН В. Маяковский: революция — любовь — бутафория	VII,	206			
ТЫЧИНА М. Там, где тишина и покой	XII,	169			
ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ					
АЙГИ Г. Обыденность чуда	XII,	186			
ПРИШВИН М. «Вексея, по которым когда-то придется расплачиваться...» Вступительная заметка, примечания и публикация Л. Рязановой	VI,	229			
РЕЙН Е. Гений и красавица	XII,	198			
БРЕМЯ БЫТИЯ					
ДУНАЕВСКИЙ И. «Может быть, я Вас не понял...» Почтовый роман И. Дунаевского и Л. Головиной (Райнль). Предисловие, публикация и комментарии Н. Шафера	VI,	111			
СТАНЮТА А. Мираж (Стефания). Вступительное слово Я. Брыля	XI,	211			
ВЗГЛЯД					
ДЖУГАШВИЛИ Г. Дед, папа, Ма и другие. Воспоминания	VI,	174			
ГОЛОСА					
АЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ В. Отречение. Вступительное слово Э. Борель	XII,	206			
БИРБАУМ Ф. История фирмы «Фаберже». Записки главного мастера. Вступительная статья, примечания и послесловие В. В. Скулова	VII,	223			
НОВЫЕ САМОДЕРЖЦЫ. Публикация И. Мочалова	XII,	225			
ПУТКО А. О кавалерах красной пуговицы. Воспоминания несостоявшегося актера	XI,	91			
САМОЙЛОВ Д. Из книги «Памятные записки». Сны об отце. Подготовка текста и публикация Галины Медведевой	X,	211			
ШИНГАРЕВ А. «Исполнская нечаевщина охватила Россию...» Предисловие, публикация, примечания и послесловие И. Мочалова	VIII,	225			
ЭХО					
Рубрику ведет Л. АННИНСКИЙ	I—XII				
БАГИНСКАЯ-ГУРДЖИ В. Свадьба в крымчакской семье	VIII,	219			
ХОЛОПОВ Б. Поиск утерянных опор. Обзор читательских писем	II,	199			
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ЧТЕНИЯ					
ВОЛОШИН М. «Так будь же сам Вселенной и творцом...» Письма М. А. Волошина к В. В. Версаеву. Предисловие, публикация и комментарии А. Ф. Маркова	IV,	222			
КАЛЕНДАРЬ. Православные и католические праздники	I,	236			
КАЛЕНДАРЬ. Мусульманские праздники	III,	239			
ЛАРИН О. Эхо вешего дерева	I,	231			
ЛЬЮИС КЛАЙВ С. Переландра. Роман. С английского. Предисловие О. Неве. Перевод Л. Сумм. Под редакцией Н. Трауберг	II,	205			
	III,	203			
	I,	229			
ХОЛОПОВ Б. Дом как миф					
ЭБАНОИДЗЕ А. Имеретинская ода	IV,	217			

239

Summary

JACK ATTALY. *The First Day After Me.*

This is the first publication in Russian of a well-known French author and politician, a winner of «Grand Pris» of French writers' association.

BORIS EVSEEV. *We Are a Flame of Grief.*

Obvious for the author illogicality of the Univers is reflected in almost illogical collisions of images, unusual metaphors and confusion of expressive manners.

NADEJDA POLIAKOVA. *Under the Angry Winds.*

These verses accumulate bitterness and anguish of our «time of troubles». The author develops the best traditions of Russian versification.

LILLY PROMET. *I Really Don't Know...*

This well-known Estonian poet was influenced by modern European school of poetry like almost all the poets of the Baltic region. *Vers libres*, rationalistic way of thinking, sometimes a little bit of cool cruelty... And at the same time retiring into illogicality of surrealism from time to time.

DMITRY FURMAN. *Estonian Revolution.*

A detailed analysis of the political life in Estonia on the eve of August putsch and the statement of Estonian sovereignty.

MIKHAS TICHINA. *Where the Silence and Peace Are Ruling.*

The Belorussian critic is focused on the processes taking place in national politics and culture today. He analyses the fiction lately published in Belorussian periodicals.

GENNADY AIGUI. EUGENY REIN. *A Wreath for Boris Pasternak.*

The mental atmosphere of the 50-s and the characters of the authors — wonderful poets of Russia — are showing through very distinctly.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-03-54.

Сдано в набор 29.10.93. Подписано в печать 15.12.93. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 22,87. Тираж 55 000 экз. Заказ 4079. Цена свободная.

Российский информационно-издательский центр «Республика».

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1993, № 12, 1-240